

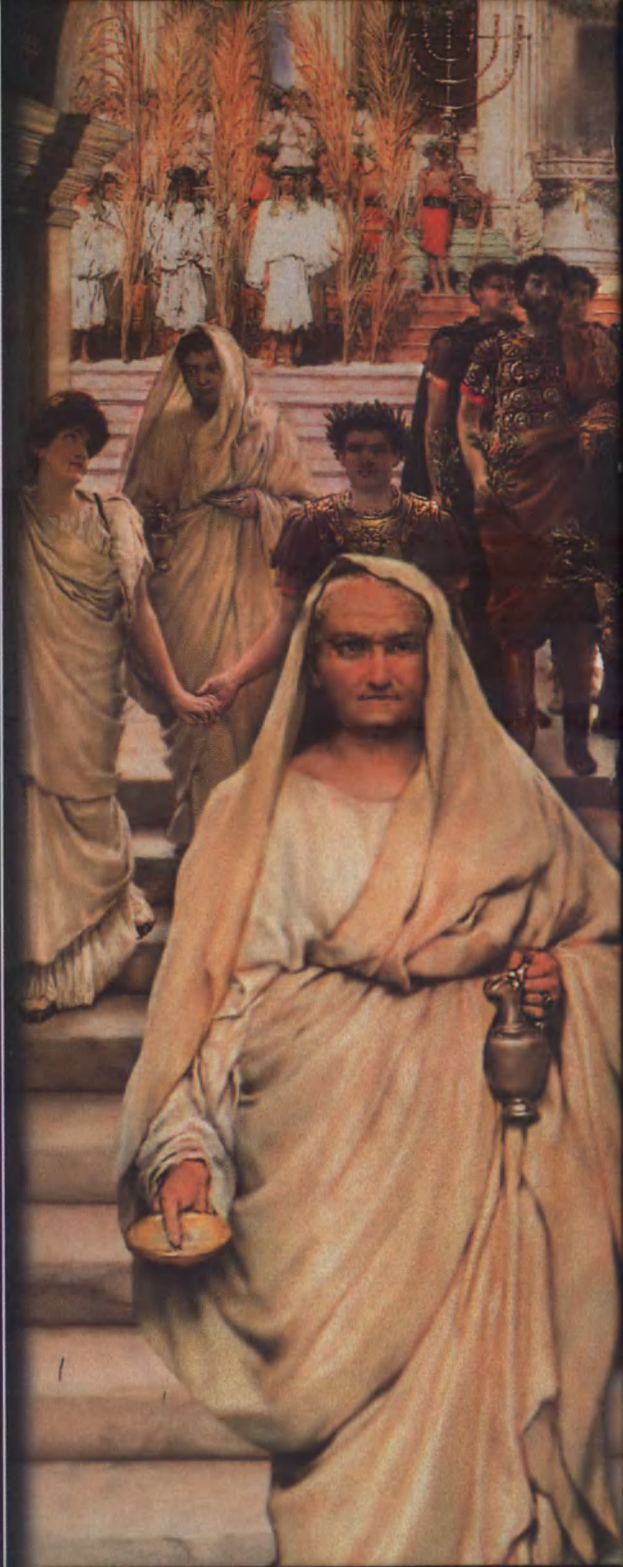


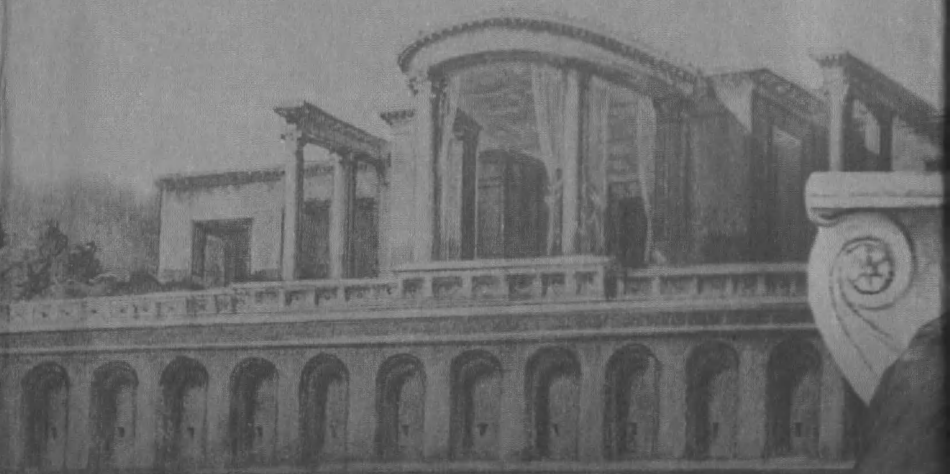
Жером Каркопино

НОВСЛАВНА ЖУЗНА

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

ДРЕВНЕГО РИМА. АПОГЕЙ ИМПЕРИИ











ПОВСЕДНЕВНАЯ

Жером Каркопино

Jérôme Carcopino
ROME À L'APOGÉE DE L'EMPIRE



ЖИЗНЬ

ДРЕВНЕГО РИМА.
АПОГЕЙ
ИМПЕРИИ



УДК 94(37)
ББК 63.3(0)32
К 23

*Перевод с французского
И. И. МАХАНЬКОВА*

*Серийное оформление
Сергея ЛЮБАЕВА*

*Перевод осуществлен по изданию:
Jérôme Carcopino. Rome à l'Apogée de l'Empire.
Paris, Hachette Littératures, 1939*

ISBN 978-5-235-03085-5

© Hachette Littératures, 1939
© Маханьков И. И., перевод, 2008
© Издательство АО «Молодая гвардия»,
художественное оформление, 2008
© «Палимпсест», 2008



Книга Жерома Каркопино «Повседневная жизнь Древнего Рима. Апогей империи» вышла в свет в 1939 году, как раз накануне последней войны. Что до меня, я сохранил об этом самое живое воспоминание. Каркопино возглавлял тогда Французскую школу в Риме, и я вместе с другими сотрудниками школы посещал дворец Фарнезе. Специалисты по Античности, Средневековью и Возрождению, все мы охотно собирались в одном из камерных залов библиотеки, в «студии», чьи окна выходили на величественный двор палаццо. Жером Каркопино охотно покидал свои директорские апартаменты и нередко наносил нам ответные дружеские визиты. В один прекрасный день он, ни слова не говоря, выложил на наш рабочий стол новый том — свою «Повседневную жизнь Рима». Так мы, сами о том еще не догадываясь, обрели верного спутника в наших исследованиях.

Новое издание, которое выходит в свет теперь, воспроизводит (стоит ли об этом упоминать?) изначальный текст во всей его полноте, отличаясь от него лишь добавлением некоторых библиографических справок в конце. Книга нисколько не устарела, никакие признаки обветшания не обезобразили ее стройный вид, и новые поколения учащихся, в свою очередь, обретут в ней незаменимое подспорье. Стоит поразмышлять над причинами этого столь редкого явления.

Жером Каркопино поистине филигранно оперировал различными вспомогательными историческими дисциплинами. Он владел текстуальной критикой литературных источников, прекрасно анализировал надписи, обладал превосходным чувством предмета. Так он вступал в непосредственный контакт с реалиями римской истории и сам ощущал себя до некоторой степени гражданином Города. Здесь-то и коренится та безграничная легкость, с которой ему удавалось восстанавливать не только принципиальную канву жизни римлянина, но и мелкие детали этой жизни.

Не то чтобы он не видел затруднений: он сам довольно часто говорит о них. Какого доверия заслуживают свидетельства современников, скажем, Марциала и Ювенала, заботившихся прежде всего о том, чтобы поострее заточить жала обращенных против сограждан эпиграмм и сатир? Какую оценку дать количеству населения императорского Рима, когда этот вопрос получает у исследователей нашего времени столь различную трактовку? Как примирить безупречный нравственный облик многих римских мыслителей, а также высокий уровень цивилизации империи на высшей ступени с бесчеловечными овациями, которыми приветствовала публика умерщвление поверженного гладиатора?

Столкнувшись с проблемами такого рода, только настоящий историк в состоянии сохранить необходимую меру, остановиться на решениях, соответствующих надежным данным, сохраненным традицией, и разрешить возникающие противоречия. В этом томе «Повседневной жизни» Жерому Каркопино, как художнику, хранящему верность натуре, удалось собрать характерные черты исчезнувшего облика и оживить его, пользуясь всеми цветами своей богатой палитры. Как мне представляется, уже ничто не сможет замутить свежесть и правдивость созданного им образа.

*Раймон Блок,
заведующий учебной частью
Высшей практической школы*

*Профессору Эмилю Сержану,
учителю моего сына Антуана,
врачу и другу*

Если мы не хотим, чтобы «жизнь римлянина» утонула в анахронизмах или застыла в абстракциях, следует приступить к ее изучению в строго очерченных рамках вполне определенного периода. Ничто не меняется так быстро, как человеческие привычки. Даже если не говорить о революции, потрясшей современный мир недавними научными открытиями, такими, как энергия пара и электричества, изобретение железнодорожного и автомобильного сообщения, а также авиации, очевидно, что даже в куда менее подвижные эпохи, не обладавшие столь совершенной техникой, элементарные формы повседневного существования подлежали стремительным переменам. Кофе, табак, шампанское вошли в наш быт лишь в XVII веке. Картофель появился в меню только в конце XVIII века, бананы стали заурядным десертом не ранее начала XX века. Подобные же изменения претерпела и римская античность. Общим риторическим местом стало противопоставление роскоши и утонченности императорских веков грубоватой простоте республики, когда тот же Маний Курий Дентат* «собирал на огороде скудные

* Государственный деятель и военачальник III века до н. э., четырежды консул (290, 284, 275, 274 годы), цензор (272 год), победитель Пирра и соседних с Римом народов, хрестоматийный образец скромности, неподкупности и непобедимости. *Здесь и далее – прим. пер.*

овоци и сам их варил на небольшом очаге»¹. Между столь различными эпохами невозможно отыскать какую бы то ни было общую меру ни в отношении пищи, ни жилья, ни обстановки:

*Tales ergo cibi qualis domus atque supellex*².

А поскольку на чем-то все же следует остановиться, я делаю выбор произвольно: буду ориентироваться на поколение, которое, явившись на свет в конце правления Клавдия и в начале правления Нерона, около середины I века н. э., смогло дожить до эпохи Траяна (98—117) и Адриана (117—138). Поколению этому дано было увидеть максимальный подъем римского могущества и процветания. Оно было свидетелем последних завоеваний, которые удалось завершить императорам: покорения Дакии (106), когда богатейшие трансильванские прииски пролились на империю золотым дождем, а также покорения Аравии (106), которое, будучи дополнено успехами в Парфянской войне (115), привлекло в империю под защитой расквартированных в Сирии легионеров и их союзников, обитателей пустынь, богатства Индии и Дальнего Востока. В плане материальной культуры это поколение поднялось на высшую среди всех древних цивилизаций ступень. И в то же самое время, благодаря совпадению, тем более счастливому, что уже спустя несколько лет латинская литература исчерпала себя, как раз это поколение способно предоставить нам документы, которые, дополняя друг друга, вместе составляют тщательнейше прописанный портрет. Необозримый археологический материал предоставляют нам форум Траяна в самом Риме, а также развалины Помпей и Геркуланума — двух городов-курортов, заживо погребенных извержением 79 года. К этому следует прибавить развалины Остии, возвращенные нам последними раскопками; развалины, которые в своей совокупности восходят к реализации в этом большом торговом городе урбанистических идей императора Адриана. Сюда же присоединяются, открывая нам глаза на многое, живые и красочные описания, точные и чрезвычайно смачные, которыми так

¹ Так что пища вполне соответствовала и жилищу, и утвари (*лат.*).

изобилуют роман Петрония*, «Сильвы» Стация, эпиграммы Марциала, письма Плиния Младшего, сатиры Ювенала. Здесь в самом деле сама судьба благоприятствует художнику, давая ему материал как для лицевой, так и для оборотной стороны картины.

Впрочем, картина эта не будет правдива и верна, если в ней не получит должного отражения убранство, не только окружающее, но и определяющее ее. Даже будучи однозначно привязана к данному моменту истории, жизнь римлянина окажется лишенной обоснования и почвы, если мы не сможем ограничить ее в пространстве, поместив то ли в село, то ли в город. Еще и сегодня, когда многообразие средств связи, распространение газет, электрификация самых крошечных деревень, размещение радиоприемников в убогих хижинах доносят даже до уединенных ферм толику столичного шума, столичных идей и удовольствий, все же громаден разрыв между монотонностью крестьянского образа жизни и искрометной лихорадкой городских центров. В античности же эта пропасть между горожанами и селянами была поистине бездонной. Она создавала между ними возмутительное неравенство, вынуждая их, если верить историку Ростовцеву, ополчаться друг на друга в молчаливой и ожесточенной схватке, что при сознательном попустительстве отверженных и привело к прорыву плотин, возведенных привилегированными группами населения против натиска варваров. И в самом деле, одним предназначались все земные блага и все мыслимые привилегии. Вторым — бесконечный тяжкий труд без каких-либо выгод, а также постоянное лишение тех удовольствий, что так согревали сердца обездоленных в городах: радость, даруемая палестрой, расслабление бань, ликование пиршеств, устраиваемых коллегиями, изобильные подачи патронов, великолепие представлений. Не следует мешать друг с другом столь несхожие краски, и нам приходится сделать выбор еще раз, про-

* Хотя датировка «Сатирикона» до сих пор является предметом обсуждения (его относили даже к IV веку н. э.), следует все же сказать, что роман почти наверняка относится к более раннему периоду, а именно к правлению Нерона.

возгласив: дни римлянина, подданного первых Антонинов, которые мы предполагаем последовательно проследить ниже, протекали исключительно в городе или даже скорее в Городе как таковом, то есть в Риме, центре и высочайшей точке Вселенной, этом горделивом и самодовольном царе мира, окончательно, как казалось на тот момент, усмиренного им.

Но что касается этого существования, нам не удастся постигнуть его в его действительности, если только мы не постараемся сформировать у себя (заранее и вне привычных моделей, слишком часто искажающих картину) огрубленное, однако по сути верное представление о той среде, в окружении которой это существование протекало, неизбежно усваивая цвета и оттенки этой среды. Я говорю о материальной среде того колоссального образования, в которое это существование вписывалось чисто физически; о социальной среде четко обособленных классов, иерархическая лестница которых его определяла; о нравственной среде тех чувств и идей, которые последовательно изъясняют сильные и слабые стороны этого самого существования. Вот почему мы приступим к рассмотрению образа жизни этого римлянина, обитающего в Риме, не ранее, чем предварительно наметим те рамки, в которые эта жизнь вписывалась: за их пределами его повседневная жизнь останется почти недоступной нашему разумению.

Ла Ферте-сюр-Об, 1 сентября 1938 года.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ РИМСКОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Раздел первый

МАТЕРИАЛЬНАЯ СРЕДА

Черты, обрисовывающие материальный облик императорского Рима, противостоят друг другу настолько резко, что их было бы невозможно примирить без гармонизирующих воздействий истории и жизни.

С одной стороны, как значительная численность населения, так и архитектурный блеск и мраморное величие общественных построек в Риме вроде бы позволяют сравнить его с великими современными мегаполисами Запада. С другой стороны, скученность, на которую он обрекал эти толпы, селившиеся на весьма разнородных пространствах, в области, ограниченной как природой, так и людьми, переплетения суженных сверх всякой меры переулочков, вопиющая скудость муниципальных служб, опасная затрудненность средств сообщения сближают Рим с теми средневековыми городами, описания которых известны нам по хроникам. Представление о живописности этих городов мы можем теперь отчасти получить по некоторым мусульманским городам — одновременно привлекательным и внушающим отвращение внезапными безобразиями и хаотическим кишением на улицах.

Вот этот-то базовый контраст и следует выделить и подчеркнуть с самого начала.

Глава первая
Город и его население

Великолепие Города: форум Траяна

Да будет мне позволено не живописать тот блеск величия и красоты, что исходил от Города в начале II века н. э. Убранство руин, которые все еще продолжают излучать это сияние, невозможно сравнить с чем бы то ни было; однако весьма обременительно было бы даже их перечислять, уж не говоря о том, чтобы поочередно описывать. Довольно будет ненадолго остановиться на той их группе, с которой связано имя Траяна и в которой дух той эпохи достиг своей высшей точки¹. В самом деле: среди яркого всепроникающего света все римские развалины исполнены неколебимой монументальной мощи (притом что чаще всего мы видим перед собой не более чем лишенные плоти остовы памятников). Тем не менее, глядя на форум Траяна, расположенный в самом центре Города и связывавший форум Цезаря с форумом Августа, мы осознаем, что, быть может, ни одно другое сооружение не внушает нам столь благородных и в то же время столь утешительных для нашего с вами переживания воззрений на ту цивилизацию, чьи богатства были здесь столь широко представлены, на то общество, о дисциплинированности которого эти богатства напоминали, на тех людей, наших предков, столь на нас похожих, чьи интеллектуальные ценности и художественное мастерство эти богатства выражали и продолжают выражать.

В самом деле, в период с 109 по 113 год Траяну удалось создать произведение, которое не только вызывает наш восторг, но и отвечает нашим чаяниям. Широтой замысла, гибкой усложненностью и щедрым использованием частей, роскошеством использованных материалов, дерзостью и округлостью очертаний, упорядоченностью и подвижностью декора этот ансамбль, такой, каким нам его смогли представить в изначальном совершенстве недавние раскопки Коррадо Риччи, вполне может соперничать с самыми честолюбивыми творениями современных архитекторов, поучением и образцом для которых он не перестает служить при всем своем нынешнем запустении. Ярчайшее и наиболее верное выражение своего времени, этот форум, можно сказать, еще и приближает его к нашей эпохе.

Несмотря на препятствия, чинимые его развитию сложными грунтами и стесняющим соседством более ранних построек, данный ансамбль соединял в себе в наиболее целостном и уравновешенном единстве общественную площадь или форум, базилику для судопроизводства, две библиотеки, знаменитую колонну, высившуюся меж двух этих зданий, и колоссальный крытый рынок. Мы не знаем, когда этот рынок был завершен, но нет сомнения в том, что он был выстроен прежде колонны, высота которой, как мы еще увидим, зависела от высоты рынка. Форум и базилика были торжественно открыты Траяном 1 января 112 года, колонна же была открыта 13 мая 113 года. Все это сопровождалось целой чередой всевозможных, самых немислимых затей и щедрых раздач.

Прежде всего, если начинать с юга, нам открывается величественная простота *форума* в собственном смысле этого слова: обширная вымощенная плитами эспланада длиной в 116 метров и шириной в 95 метров, окруженная портиком, поддерживавшимся со стороны входа, на юге, простой одинарной вереницей колонн; с трех же прочих сторон колоннада была сдвоенной. Возведенная с восточной стороны из облицованного мрамором вулканического туфа задняя стенка колоннады выгибалась посередине, образуя полукруг радиусом в 45 метров. Посреди площади возвышалась

конная статуя императора, отлитая из бронзы и покрытая золотом. Компанию ей составляли более скромные скульптуры знаменитых людей, сослуживших хорошую службу империи — кто мечом, а кто словом. Эти статуи были вставлены по периметру в промежутки между колоннами. Отсюда вы, взойдя по трем ступеням из желтого мрамора, попадали к входу в базилику Ульпия, названную так в честь Ульпиев — предков Траяна. Простираясь на 159 метров с востока на запад и на 55 метров с севера на юг, поднятая над форумом на метр, она превосходила его своей пышностью. Это был колоссальный зал с колоннами в несколько восточном стиле, к которому посетитель приступал, восходя со стороны одной из длинных стен. Разделенный четырьмя внутренними колоннадами, образованными всего 96 колоннами, на пять нефов длиной в 130 метров каждый, причем центральный из них достигал 25 метров в ширину, вымощенный по всей площади мрамором из Луны и крытый бронзовой черепицей, этот «зал» был опоясан портиком, чьи промежутки заполняли скульптуры. Аттик украшали барельефы, замечательные как изяществом исполнения, так и живостью того, что было на них изображено, и, наконец, антаблемент с каждого из боков многократно повторял краткую и гордую надпись: *e manubiis*, то есть «возведено на доход от добычи» (захваченной у даков под предводительством Децебала). Далее, восходя над низшей отметкой базилики на ту же высоту, на которую возвышалась над уровнем форума она сама, параллельно ей располагались прямоугольники двух «Ульпиевых» библиотек. Библиотеки, как и сама базилика, были названы родовым именем их основателя: одна предназначалась для греческих сочинений, другая — для латинских, а также для государственных архивов. Поверх *plutei* или шкафов, в которых помещались рукописи, обе библиотеки были украшены целой шеренгой портретных бюстов писателей, составивших себе наиславнейшее имя на двух государственных языках империи.

Обе библиотеки были разделены четырехугольником размером 24 на 16 метров, посреди которого возвышалось и продолжает возвышаться почти нетронутое

чудо из чудес всего форума: колонна Траяна. Ее пьедестал образован каменным кубом почти правильной формы, высотой 5 метров 50 сантиметров. С юга этот куб прорезала бронзовая дверь, над которой можно было прочесть посвятельную надпись, с трех прочих сторон он был украшен изображениями трофейного оружия, и со всех четырех его обрамляли валики, оплетенные лавровыми ветвями. Ствол колонны, выполненный полностью из мрамора, имел 3 метра 70 сантиметров в диаметре и 100 футов (29 метра 77 сантиметров) в высоту. На стволе, заключающем в себе винтовую белого мрамора лестницу, которая начиналась в помещении пьедестала и насчитывала 185 ступеней, покоилась громадная дорическая капитель, вначале несшая на себе бронзового орла с распростертыми крыльями. Затем, после смерти Траяна, на капители помещалась статуя самого императора, также бронзовая, вероятно, низвергнутая и переплавленная в сумятице вторжений, и замененная в 1588 году статуей апостола Петра, которую мы и видим сегодня. Общая высота сооружения была и остается равной приблизительно 38 метров, что соответствует 128 с половиной футам, указываемым в древних свидетельствах. Однако какими бы грандиозными ни были пропорции колонны Траяна самой по себе, производимое ею впечатление еще усиливается внешним оформлением блоков, из которых она составлена. В самом деле, по поверхности 17 исполинских каменных блоков расположены по спирали 23 композиции, которые, если вытянуть их по прямой линии, составляли бы почти 200 метров. Здесь, от самого основания и до капители наверху, были последовательно запечатлены в том порядке, в котором они происходили в действительности, все основные события двух войн с даками, начиная с открытия первой кампании и вплоть до завершения второй. Следует упомянуть, что мастера, с которым были выполнены эти барельефы, хватило на то, чтобы скрыть от глаз пробитые в колонне с целью освещения внутренней лестницы 43 окошка. В результате всех ненастий, которым подвергалась колонна, насчитывающиеся на ней 2500 фигур обрели теперь теплый, но однообразный цвет парос-

ского мрамора, по которому они и вырезаны. Некогда же они блистали разноцветьем живых расцветивавших их красок, возвещая о триумфе римских скульпторов в данном жанре исторического рельефа, в котором они так преуспевали и выделялись.

Известно, что после смерти Траяна, внезапно постигшей его в первые дни августа 117 года, когда, передав Адриану командование армией, собранной против парфян, он уже находился на пути в Италию, прах императора был перевезен из Азии в Рим, заключен в золотую урну и поставлен в помещении внутри пьедестала колонны. Удостоив Траяна этого рода погребения, располагавшегося внутри линии померия*, где хоронить простых смертных законы запрещали, Адриан и сенат единодушно провозгласили, что покойный вышел за рамки обычного человеческого состояния. Однако тем самым они взяли на себя инициативу, которой Траян не желал и не предвидел. Лишь задним числом колонна Траяна стала гробницей своего создателя, между тем как сам он принял решение ее соорудить в двух мемориальных целях: изображения, которыми колонна уснащена, должны были увековечить победы, одержанные им над внешними врагами, а неслыханные размеры, приданные колонне, — обессмертить сверхчеловеческие усилия, затраченные Траяном ради процветания и украшения Рима. В последнем отношении намерения императора изъясняли последние две строчки надписи. Сегодня от них уцелело лишь несколько букв, однако в VII веке неизвестному посетителю, которого мы называем теперь анонимом из Айнзидельна (*Einsiedeln*), удалось их полностью переписать, и теперь смысл этих строк всецело нам понятен: *ad declarandum quantae altitudinis mons et locus tantis operibus sit egestus*". Ясно, что поскольку в латинском языке глагол *egerere* имеет два противоречащих друг другу значения — «опустошать» и «возвышать», —

* Померий (*pomerium*) — незастроенная полоса земли по обе стороны городской стены, священная черта, считавшая неприкосновенной и находявшаяся под защитой богов-покровителей города.

" С целью выявить, на какую глубину была скрыта гора и на сколько возвысились возведенные сооружения (*lam.*).

при буквальном истолковании этой горделивой фразы колонна должна была своим возвышением возвещать, на какую глубину и ценой каких усилий был скрыт отрог холма (*mons*), соединявший Квиринал с Капитолием. Кроме того, само место (*locus*) должно было задать меру громадных строений, завершавших всю композицию с восточной стороны: в 1932 году Коррадо Риччи с его просвещенной убежденностью удалось завершить расчистку общего вида замысла и обеспечить доступ к ансамблю.

Очевидно, речь здесь идет о величественном кирпичном полуцилиндре, который ограничивает форум Траяна в собственном смысле со стороны холмов Квиринала и Субуры и с царственной легкостью поддерживает шесть этажей, по которым были распределены 150 рыночных лавок или *tabernae*. На первом этаже наружу открываются небольшие по глубине помещения, в которых на одном уровне с форумом, вероятно, продавались фрукты и цветы. На втором этаже друг к другу жались, будучи обрамлены лоджиями с широкими аркадами, длинные сводчатые залы, в которых хранились вино и масло. На третьем и четвертом этажах торговали более редким товаром, а именно доставленными с далекого Востока перцем и специями, *pipera*, воспоминание о чем претворится в Средневековье в название избегающей извивами вверх улицы, послужившей торговцам, прежде чем сюда явились папские подданные: *via Biberatica*. На пятом располагался парадный зал, в котором происходила выдача подарков, а начиная с конца II века н.э. на постоянной основе обосновалось бюро императорской помощи — *stationes arcariorum Caesarianorum*. На последнем, шестом, располагались садки рыбного рынка; часть из них была связана системой труб с акведуками, по которым сюда поступала пресная вода, в другие же заливалась доставляемая из Остии морская вода.

Уже на основе сказанного мы начинаем понимать колоссальность дел Траяна. Вы осознаете, что находитесь теперь точно на уровне нимба апостола Петра, стоящего на колонне, а постигнув смысл надписи, который с тех пор никем не оспаривался, в полной мере

оцениваете несравненное величие работ, исполненных архитектором Аполлодором из Дамаска по приказу лучшего из императоров. Эти архитектурные массы штурмуют и скрывают под собой отроги Квиринала, к которым они прислонены, выровненные специально для этого, причем без всякой помощи взрывчатых веществ, которыми располагают наши инженеры. Пропорции строений избраны столь удачно, что мы забываем их вес, ощущая лишь равновесие. Это подлинный шедевр, переживший целые эпохи, не переставая задевать их за живое. Когда-то римляне отдавали себе отчет в том, что их город и мир не способны предложить изумленному человечеству ничего более прекрасного. Аммиан Марцеллин рассказывает, что император Констанций, прогуливаясь впервые в сопровождении персидского посла Ормизда по плитам форума Траяна в 356 году, когда он торжественно вступил в Рим, не смог удержаться ни от крика изумления, ни от горестных сожалений при мысли о том, что никогда он не сможет удостоиться конной статуи, которую можно было бы сравнить со статуей его предшественника. «К чему твои жалобы? — отвечал ему посланник царя царей. — Ведь ты все равно не сможешь поставить свою лошадь в такую конюшню». Люди времен упадка империи ощущали бессилие перед лицом монументального расцвета, через который проглядывал гений их предшественников на вершине славы. И как бы ни полны мы были гордыни своими достижениями, мы также полагаем, что в Древнем Риме не было ничего, что можно было бы любить больше.

В Колизее, какое бы совершенство ни исходило от его эллипса, нас охватывает неодолимое чувство неловкости ввиду тех чудовищных побоищ, свидетелем которых он был. В термах Каракаллы имеется некая чрезмерность и головокружительность, предвещающие упадок. Напротив, ничто не возмущает благородства наших впечатлений перед лицом форума и рынка Траяна. Они внушают уважение к себе, при том что вас не раздавливают. Они искупают собственную грандиозность чистым изгибом своих кривых. Они знаменуют одну из тех вершин искусства, где встречаются строи-

тели лучших эпох, на которую поднимались, в качестве рьяных учеников или же покорных подражателей, как Микеланджело, перенесший что-то от этого трезвой и энергичной архитектоники на фасад дворца Фарнезе, так и архитекторы Наполеона I, отлившего Вандомскую колонну из бронзы пушек Аустерлица. Это величавое зеркало, в котором отражается лик Рима на вершине его могущества; и этот лик представляется в нем городом — мировой столицей, родным братом наших городов: отвечая на потребности, во многом аналогичные нашим, он уже испытывал чувства, которые сделали бы честь современным элитам.

В самом деле, в глаза бросается то, что Траян здесь явно старался не только напомнить о победе, разом вновь залившей золотым сиянием императорскую казну, победе, из которой вышли все хранившиеся в ней богатства, но еще и оправдать ее превосходством культуры, принесенной воинами побежденным. В статуях, размещенных в портиках, постоянно проводилась идея сближения славы разума и славы оружия. У подножия рынка, откуда народ уносил домой пропитание, по бокам форума, где устраивали аудиенции консулы, а императоры произносили свои торжественные речи, как, например, Адриан, объявлявший об уменьшении налогов, или Марк Аврелий, обращавший свое имущество в общественную собственность, находилось полукруглое здание, в котором, как это показал М. Марру, литературные мэтры продолжали собирать студентов и вести преподавание еще в IV веке.

Сама же базилика, с ее ослепительной роскошью, находилась в отношении тройкого подчинения к соседним библиотекам. Между тем высившейся между ними изукрашенной барельефами колонне, чье наследие мы способны обнаружить как в самом Риме (колонна Марка Аврелия), так и в колоннах Феодора и Аркадия*,

* В Константинополе. Насчет «колонны Феодора», вероятно, ошибка автора: среди императоров Восточной римской (а затем Византийской) империи Феодоры встречаются лишь начиная с XIII века. Так что, судя по всему, под нею следует понимать либо нижнюю часть колонны Константина (в Стамбуле ее зовут «Горелой колонной»), либо колонну императора Маркиана.

если останавливаться лишь на античных примерах, до сих пор никто так и не смог подыскать прообраза. В соответствии с выдвинутым недавно истолкованием, пущенным в обращение в сборнике в честь М. Парибени, колонну Траяна следует понимать как оригинальное воплощение концепции, характерной для императора: поместив посреди города книги, Траян желал развернуть два *volumina*, свитка, воплощающих в мраморе его военные подвиги и возвышающих до небес его могущество и милосердие. Впрочем, смысл всей концепции открывает нам рельеф, величиной в три раза превышающий остальные*. На нем изображена Победа, которая пишет что-то на щите. *Ense et stylo*, «пером и мечом» — вот как можно было бы это истолковать. Вот вполне прозрачный символ цели умиротворения и приобщения к цивилизации, которую Траян искренне ставил перед своими завоеваниями. Он проясняет идею, которая господствовала над его замыслами: в них римский империализм, силясь избавиться от несправедливости и насилия, любой ценой добивается своего духовного оправдания.

Однако как раз там, где мы наблюдаем расцвет идеала новой империи, слышится биение сердца столицы, рост которой сопровождался исполинским расширением, дошедшим до того, что в чисто числовом измерении сравнился с наиболее выдающимися из тех, которыми можем похвастаться мы. В самом деле, отстроив свой форум, Траян завершил то обновление Города, в ходе которого он попытался сделать его достойным собственного господства и тем самым облегчить положение населения, перегруженного растущим количеством обитателей. С этой целью он расширил Большой цирк, выкопал бассейн для навмахии**, пустил Тибр по новому руслу, отстроил новые акведуки, возвел самые обширные термы из всех, какие когда-либо существовали в Риме, подчинил скрупулезной и жесткой регламента-

* Правильнее было бы сказать: «рельеф с фигурой, втрое превосходящей прочие», потому что сама спираль, по которой развивается действие, повсюду одинаковой высоты.

** Игровая имитация морских сражений.

ции всю частную инициативу в области строительства. На этот раз он уготовил своему делу достойный венец: глубоко врезавшись в Квиринал, он освободил для движения новые пути; добавив обширную общественно полезную площадь к тем, с помощью которых его предшественники — Цезарь, Август, Флавии, Нерва, — пытались последовательно избавить Форум в тесном смысле этого слова от переполнения, он разгрузил центр метрополии. Окружив эту площадь экседрами, базиликой, библиотеками, он облагородил занятия толп, притекавших сюда ежедневно. Продолжив пространство площади крытым рынком, который действительно можно сравнить по размаху и изощренности конструкции с теми, которыми Париж обзавелся лишь в XIX веке, он облегчил снабжение толпы горожан продовольствием. В самом деле, предпринятые им труды невозможно было бы представить без колоссального скопления людей, существование которых таким образом улучшалось. Именно громадные людские толпы следует неизменно домысливать, взирая на эти обезлюдившие развалины. Они предполагают такие толпы, и их было бы достаточно для того, чтобы свидетельствовать о наличии толп, если бы оно не было уже давно подтверждено неопровержимыми доказательствами.

Городские стены и истинные размеры Города

Нет проблемы, которая бы обсуждалась так часто, как вопрос о населении столицы Римской империи². И в самом деле, нет более неотложного вопроса для историка, если правда то, что утверждал уже берберский историк Ибн Хальдун, — а именно, что рост городов, неизбежное последствие развития человеческих обществ, до некоторой степени является показателем уровня их цивилизации. Но увы! Ни по какой другой теме не возникало больших споров и противоречий, нежели чем по этой. Со времен Возрождения приступавшие к ней ученые постоянно делились на два противоборствующих лагеря. Первые из них, словно окол-

дованные предметом своих исследований, изначально приписывают античности, дорогой им как некое воспоминание о золотом веке, те размах и подъем, которыми наделил нашу эпоху научный прогресс, так что Юст Липсий, наряду с другими, преспокойно оценивает численность обитателей императорского Рима в четыре миллиона. Другие же, напротив, будучи убеждены в немощи и слабости людей прошлого, априори отказывают им в такой степени развития, которая отводится ими исключительно нашей эпохе, и Дюро де ла Малль, первый исследователь нашего времени, который серьезно подошел к античной демографии, опускает до приблизительно 261 тысячи максимальное число обитателей, насчитывавшихся когда-либо в городе императоров. Однако как Дюро де ла Малль, так и Юст Липсий, так сказать, изначально сделали свой выбор, и в промежутке между этими крайними преувеличениями непредубежденный критик в состоянии прийти к истине, вполне удовлетворительно описывающей действительность.

Приверженцы того, что я бы назвал «малым Римом», — это, как правило, статистики, которые исследованию свидетельств предпосылают предварительную постановку вопроса. Они изначально отвергают указания античных авторов, какими бы явными они ни были, и основывают свои выводы на рассмотрении местности. Для них существует лишь один показатель, а именно тот, что основывается на отношении известной площади города и возможного на такой площади населения. Вследствие этого они полагают, что императорский Рим, территория которого представляется им в точности соответствующей Аврелиановой стене, почти совпадая с той, на которой располагается тот Рим, где им доводится бывать ныне, не был в состоянии дать убежище населению, превышающему по численности современное. На первый взгляд данный аргумент кажется неоспоримым. Но, поразмыслив, убеждаешься, что он основан на иллюзии, заключающейся в вере, что мы располагаем сведениями о полном территориальном размахе Древнего Рима, и на ошибочной посылке, состоящей в насильственном переносе на эту площадь

демографических соотношений, полученных из недавней статистики.

Ибо в первую очередь ложность этого метода заключается уже хотя бы в том, что он не принимает во внимание «упругости» местности или, лучше будет выразиться, сжимаемости человеческого материала. Дюро де ла Малль получил свой результат, отнеся к площади, обнесенной Аврелиановой стеной, плотность населения Парижа при короле Луи-Филиппе, то есть 150 жителей на гектар. Если бы он писал 75 годами позже, когда плотность эта выросла, как это случилось в 1914 году, до 400 жителей на гектар, его результат получился бы в три раза большим. Г-н Фердинанд Лот повинен в той же логической ошибке *petitio principii*^{*}, когда он изначально приписал Риму Аврелиана плотность населения Рима в 1901 году, когда Вечный город населяли 538 тысяч душ. С тех пор территория Рима, при всем послевоенном строительстве, уж никак не удвоилась, и тем не менее перепись 1939 года обнаружила в нем более чем в два раза больше жителей, а именно 1 284 600 человек. В этих двух случаях пространство, которое, как считается, занимал Древний Рим, соотносится не с тем населением, которое, как полагают, проживало здесь в прошлые времена, но с тем, которое могла вместить данная территория в период, на который указывают нам первоисточники; выбор же арифметических соотношений остается во всех случаях сугубо произвольным. Даже на одной и той же территории условия проживания изменяются от эпохи к эпохе. Ясно ведь, что соотношение, существующее, как мы полагаем, между площадью, которая, как считается, нам известна, и неизвестным по численности населением, не может не быть величиной неизвестной.

Я прибавлю сюда еще одно неизвестное, которое изначально отягощает наши изыскания ошибкой. Что, если, как полагаю я, Древний Рим вовсе не оставался в пределах того периметра, в который, как принято

* Или круг в доказательстве, *circulus in demonstrando*, ошибка, при которой то, что еще нуждается в доказательстве, само становится одной из посылок.

считать, он был заключен? Аврелиановы стены, которыми ограничивают императорский Рим, не в большей степени заключали его в себе, нежели *pomerium* или стены, ложно приписываемые Сервию Туллию, способны были вместить в себя Рим республиканский в более ранние времена. Однако это побуждает нас сделать некоторые ретроспективные пояснения.

Как и все греческие и римские города античности, Древний Рим всегда, с самого начала легенды о нем и до конца его истории, был образован двумя нераздельными частями: а именно *Urbs Roma*, городское поселение в тесном смысле этого слова, и *Ager Romanus*^{*}, то есть приданная ему сельская территория. Эта последняя заканчивалась на границах лимитрофных городов, политическая аннексия которых не должна была и не могла уничтожить их муниципальной индивидуальности: Лавиний, Остия, Фрегеллы, Вейи, Фидены, Фикулея, Габии, Тибур, Бовиллы. Если при измерении мы применим данные, сообщаемые византийцем Захарией, *Ager* представится нам эллипсом, который при осях в 17,65 километра и 19,1 километра соответственно давал, при периметре приблизительно в 57 километров, площадь в почти 25тысяч гектаров. Разумеется, мы никоим образом не в состоянии ни уточнить границы этой территории, ни дать оценку количеству населения, которое было по ней разбросано. Ее обитатели были римлянами точно в такой же степени, как и *cives*, граждане, жившие в городском центре. Однако последние — единственные, кто, собственно, составлял городской плебс в пределах той линии, что ограничивала местоположение города в собственном смысле слова, *Urbs*.

Здесь обитали боги и их служители, царь, а позднее — магистраты, унаследовавшие его раздробленную на части власть. Здесь же находились сенат и комиции, которые вначале совместно с царем, а после с магистратами управляли государством, сформированным

^{*} *Urbs Roma* — буквально «город Рим», или просто *Urbs*, Город, как в посланиях папы римского *Urbi et Orbi*, Городу и миру; *Ager Romanus* — букв. «римское поле».

городом. Так что первоначально Город представлял собой нечто совершенно иное — и лучшее — нежели более или менее тесное скопление зданий: это был «храм», возведенный в соответствии со строгими правилами авгуров и в таковом качестве строго ограниченный той бороздой, которую прорезал вокруг всего будущего поселения его основатель-латинянин, покорный ритуалу, пришедшему из Этрурии. В его упряжку были запряжены бык и корова ослепительной белизны, и он поднимал сошник над проходами, то есть там, где, возможно, будут со временем возведены ворота; при этом он бережно отбрасывал внутрь городской черты те комья земли, которые были вывалены его плугом. От этого-то священного обвода, уже заранее обтянутого будущими укреплениями и стенами, как бы сокращенным образом которых он и являлся, и называемого по этой причине *pomerium* (*pone muros*), *Urbs** и получил как имя, свое изначальное определение, так и свою сверхъестественную защиту, обеспеченную запретами, удалявшими с его территории и порчу со стороны чужеземных культов, и угрозу вооруженных восстаний, и загрязнение погребением мертвых. Однако если в классическую эпоху *pomerium*, подвергшийся, впрочем, перемещению в силу последовательно проходившего синойкизма, из которого и появился исторический Рим, сохранял религиозное значение и продолжал гарантировать политическую свободу граждан, будучи наглухо затворен для собравшихся легионов, служить границей города он перестал. Отодвинутый в область символов, он оказался замененным в своей практической функции вполне конкретной действительностью: стена, которую традиция ложно приписывает царю Сервию Туллию, возведенная по повелению республиканского сената в промежуток времени с 378 по 352 год до н. э. из туфовых блоков, которые столь хорошо подо-

* *Pone muros* — букв. «позади стен», однако авторитетный этимологический словарь Вальде-Хофмана предлагает этимологию *post moiriam*, что по смыслу означает точно то же самое. Родство *urbs* и *orbis* (круг), согласно тому же Вальде-Хофману, не представляется столь однозначным.

гнаны друг к другу, что еще в Риме XX века обнаруживаются целые ее куски, прежде всего на Виа делле Финанце, в садах дворца Колонна, на Пьяцца дель Чинквеченто и напротив вокзала, так что обилие следов позволило ее реконструировать.

Начиная с III века до н. э. городской дух Рима определяется уже не *pomerium*, но скорее стеной, чья мощная кладка дала отпор нападению Ганнибала. С *pomerium* она больше не совпадает. Если в качестве *pomerium* стена эта оставляет за своими пределами обширную равнину между Тибром и холмами, известную под именем Марсова поля и использовавшуюся для военных упражнений и богослужений, она все же более протяженна, чем *pomerium*, и включает территории, им не охваченные: крепость и Капитолийский холм, северо-восточную оконечность Эсквилина, Велабр, но прежде всего две вершины Авентина, а именно северную, которая была охвачена стеной с самого начала, и южную, которая оказалась в ее пределах, когда консулы 87 года до н. э. довели ее сюда, чтобы лучше противостоять нападению Цинны. В такой форме стена, как считается, охватывала 426 гектаров. Это немного по сравнению с 7 тысячами гектаров нашего теперешнего Парижа, но это немало в сравнении с 120 гектарами, которые занимала античная Капуя, с 117 гектарами Цере, с 32 гектарами, которыми удовлетворялся тогда Пренесте. Но к чему столько сопоставлений? Подсчет площади *Urbs* вовсе не предполагает подсчета его населения. В самом деле, с тех пор как римляне, занятые покорением мира, перестали опасаться своих врагов, стены, которыми они стали отгораживаться тотчас после «галльского ужаса»*, утратили военное значение и обитатели Города начали выходить за пределы своих стен, подобно тому, как некогда сами эти стены вышли за пределы *pomerium*.

В 81 году до н. э. Сулла, ссылаясь на право императоров**, расширивших пределы государства, а на

* Речь идет об опустошительном нашествии галлов в 390 году до н. э.

** Здесь – в изначальном значении этого слова, означавшего полководца, главнокомандующего.

самом деле настолько же и с той целью, чтобы облегчить положение городского плебса, открыл для заселения часть Марсова поля на участке между Капитолием и Тибром, хотя ее размеры мы, как это ни печально, оценить не в состоянии. Таким образом, с этой стороны Город вышел за пределы своих стен официально, как, впрочем, это было практически осуществлено и в прочих местах. Цезарь всего лишь узаконил фактическое положение дел, восходящее, вне всякого сомнения, ко II веку до н. э., когда он перенес на милю (1478 метров) от стен границы, определяющие для Рима положения посмертного закона, известного нам по Гераклеийской таблице*.

В свою очередь также и Август всего только подхватил инициативу своего приемного отца, еще ее приумножив, когда в 8 году до н. э. завершил межевание Города на 14 районов, между которыми он распределил старинные и новые кварталы: 13 районов на левом берегу Тибра и 14 — на правом, через реку, *regio Transstiberina*, воспоминание о котором продолжает жить в нынешнем Трастевере.

Август, гордившийся тем, что умиротворил обитаемый мир и торжественно закрыл храм Януса, не испытывал опасений в связи с разрушением старинных республиканских укреплений. И Рим, избавленный от забот о своей безопасности благодаря своей славе и своим завоеваниям, прорвал эти укрепления во все стороны. Если пять из 14 районов Августа оставались внутри древнего ограждения, а четыре располагаются по одну и другую сторону его очертаний, то четыре оказались полностью снаружи: это V (Эсквилин), VII (Виа Лата), IX (Цирк Фламиния) и XIV (Транстиберим). И, как бы для того чтобы лучше подчеркнуть намерение императора, уже вскоре народная молва дала первому

*Бронзовая таблица, обнаруженная при раскопках неподалеку от древней Гераклеи (Лукания) в 1732 году и содержащая, по-видимому, только заключительную часть закона Юлия о муниципиях 44 года до н. э., то есть опубликованного, вероятно, уже после смерти Цезаря, убитого в марте того же 44 года, почему Ж. Каркопино вслед за другими исследователями и называет этот закон, наряду с другими, «посмертным». Текст см.: http://www.nsu.ru/classics/makin/ancient_law.htm.

из них наименование Капенских ворот (*Porta Capena*): находившиеся некогда с краю, с этих пор они оказались в центре³.

14 районов Августа просуществовали столько же, столько и империя: это в их рамки нам следует помещать Рим первых Антонинов, и это их границы определяли сам Рим. Однако точные их размеры никак не могут быть оценены и, во всяком случае, нельзя и помыслить большего презрения к ним, чем желание уподобить их тем, что выгородила у нас на глазах кирпичная стена, которой Аврелиан, при приближении варваров, желал защитить столицу империи и которая, начиная с 274 года н. э., вобрала в себя как *pomerium*, так и бастион. Еще в наши дни эта стена, со своими рушащимися куртинами и сбивчивой последовательностью башен, это величественное произведение, кирпичная кладка которого восхитительно воспламеняется лучами заходящего солнца, внушает самому бесчувственному туристу непосредственное видение того величия, которым блистал Рим даже в эпоху упадка. Хотя дозорный путь Аврелиановой стены и тянулся на 18 километров 837 метров, включая в свой периметр площадь в 1386 гектаров 67 аров 50 сантиментов, все же по исполнению она не слишком отличалась от почти современных ей стен, которыми оцетилилась Галлия навстречу германским племенам: последние у нас хорошо изучил Адриан Бланше. Точно так же, как эти стены никогда не защищали всего города целиком, но лишь жизненно важные его части, как панцирь — грудь воина, так и Аврелианова стена не защищала всего Рима с четырнадцатью его районами, и вместо того, чтобы следовать его конфигурации, инженеры Аврелиана предпочли связать между собой стеною его основные стратегические пункты, в максимальной степени воспользовавшись с наименьшими затратами более ранними сооружениями, такими, как акведуки, которые довольно просто включались в оборонительную систему. От Пинчио до Соляных ворот в VII районе знаки акцизного поста были обнаружены в сотне метров снаружи стен. В промежутке от Пренестинских до Ослиных ворот V район простирался на 500 метров по

другую сторону, поскольку именно на таком расстоянии высится обелиск Антиноя, воздвигнутый, согласно имеющейся на нем иероглифической надписи, «на границе города»*. Точно так же от ворот Метровиа до Адреатинских I район выходил за стену в среднем на 600 метров, поскольку куртина проходит в этом секторе в миле (1478 метров) к югу от Капенских ворот и I район включал *aedes Martis* (храм Марса), отстоявший на 1,5 мили, и доходил до самого ручья Альмо (ныне Акватаччо), который протекает дальше еще на 800 метров. Наконец (и прежде всего) было бы весьма нетрудно показать, что XIV район, периметр которого повторяет конфигурацию стены по другую сторону Тибра, выходил за нее на 1800 метров на севере и на 1300 метров на юге.

С учетом сказанного не может быть никаких оснований для того, чтобы смешивать 14 районов, с которыми отождествляется императорский Рим, с территориями, окруженными стеной Аврелиана. Неверно будет также ограничивать их площадь примерно двумя тысячами гектаров, которым приблизительно равнялась подвижная граница районных акцизных постов, потому что начиная с эпохи Августа юристы стали в принципе исходить из того, что Рим 14 районов не связан с неизменным поясом, но как в области права, так и на практике он представляет собой как бы постоянное творение, автоматически распространяющееся, по мере своего возведения, новыми жилищами, которые беспрестанно продлевали в том или ином районе кварталы старинных зданий, и все это вплоть до расстояния в милю (1478 метров) от последнего из этих зданий: «*Roma continentibus aedificiis finitur, mille passus a continentibus aedificiis numerandi sunt*»^{4*}. Этого в высшей степени реалистического юридического понятия достаточно не только для того, чтобы изна-

* Относительно первоначального местонахождения обелиска, стоящего теперь на площади Пинчио, существуют разные мнения. Обелиск был найден расколотым натрое в 1570 году, но гравюра XVI века дает возможность предполагать, что во времена поздней античности обелиск находился посреди цирка Аврелиана.

** Рим определяется непрерывно стоящими строениями, причем от этих сплошных строений следует отсчитать милю.

чально опровергнуть все попытки установить население Рима на основе столь неопределенного и подвижного понятия, как площадь 14 районов, но еще и предполагает доверие к тем, кто основывает эту веру на неопределенном росте имперского града.

Прирост римского населения

Впрочем, этот рост вполне убедительно вытекает из документов, которыми мы располагаем. Постоянный рост, наблюдавшийся начиная с эпохи Суллы и вплоть до принципата, еще ускорился в благодатное правление Антонинов. Чтобы в этом убедиться, достаточно сопоставить два случайно дошедших до нас статистических показателя, разделенных интервалом в три столетия, а именно численности в Риме *vici*, то есть кварталов, определяемых улицами, в которых они были заключены в рамках 14 районов. После времени Августа эти *vici* были наделены особыми органами власти под руководством своих мэров, *vicomagistri*, а кроме того, им было поручено попечение о ларах на перекрестках. С одной стороны, от Плиния Старшего мы узнаём, что в ходе переписи 73 года н. э., которой заведовали в качестве цензоров Веспасиан и Тит, Рим был разделен на 165 *vici*. С другой стороны, «Регионарии»*, это бесценное собрание IV века, которое было названо Ланчиани «античной Готой»** и которые и в самом деле достаточно успешно объединяют выжимку из Боттена с обобщением Жанна***, насчитывают всего 307 *vici*. Таким образом, в период с 73 года н. э. по, если угодно, 345 год н. э.

* «Регионарии» — условное название, данное в науке двум описаниям Рима, упоминаемым ниже — *Notitia* и *Curiosum*. С их текстом можно ознакомиться в Интернете: http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Gazetteer/Places/Europe/Italy/Lazio/Roma/Rome/_Texts/Regionaries/text.html

** Имеется в виду издававшийся в Готе (Германия) на протяжении двух веков (до 1944 года) Готский альманах, содержавший сведения о всей европейской знати.

*** Популярны во Франции справочники. Боттен (*Bottin*) — это адресная и телефонная книга, ставшая нарицательным названием для любого подробного каталога, Жанн (*Joanne*) — путеводители.

(среднее арифметическое между 334 годом, начиная с которого составлялся более старинный из «Регионариев», *Notitia*, и 357 годом, к которому восходит составление более нового, *Curiosum*) число *vici* увеличилось на 46, что означает для Рима территориальный рост в 15,4 процента.

В то же самое время начиная с эпохи Цезаря и до Септимия Севера, отмечается соответствующий демографический рост, прямых свидетельств которого у нас не имеется, но он несомненно вытекает из увеличения расходов на общественное вспомоществование римскому плебсу. Во времена Цезаря и Августа на попечении Анноны* находилось 150 тысяч неимущих, между которыми она распределяла бесплатное зерно. В начале правления Септимия Севера, в ходе конгиария** 203 года н. э., щедрость которого превозносит Дион Кассий, число покровительствуемых возрастает до 175 тысяч, что дает численное увеличение в 16,6 процента. Близость того и другого процента поучительна с двух точек зрения. Прежде всего она доказывает, что, как и следовало предполагать *a priori*, физическое расширение Рима 14 районов выражало на местности его демографическое развитие. Кроме того, как и следовало заключать из упрочения римского мира на протяжении первой половины II века, эта близость доказывает, что именно ему обязан был Рим львиной долей своего роста, о котором свидетельствуют «Регионарии» в IV веке, но который ясно обрисовался именно до щедрых раздач 203 года. А уже отсюда для нашего непосредственного предмета вытекает то поистине счастливое следствие, что при первых Антонинах, то есть в период беспримерного благосостояния, относительно которого мы, к несчастью, не располагаем никакой статистикой, население Рима следует оценивать в показателях, превышающих те, что дают нам предшествующие периоды, но близкие к тем, что предполагаются более поздними сведениями «Регионариев».

Итак, с начала I века до н. э. до середины I века н. э.

* Годовой сбор зерна и одновременно богиня урожая, почитание которой развилось в Риме в императорскую эпоху.

** Раздача подарков по случаю какого-либо торжества.

мы можем следить за неодолимым движением, которое непрестанно увеличивало население Города и, впоследствии еще усилившись, довело его до уровня, по достижении которого его целостность оказалась подорванной, а снабжение продуктами питания поставлено под угрозу. Так, в соответствии с тем, что было мной показано в другом месте, вспыхнувшая в 91 году до н. э. Союзническая война, заставившая стечься в Рим беспорядочной толпой всех италиков, отказавшихся выступить с повстанцами и искавших здесь спасения от их мести, повлекло за собой скачок в численности населения, аналогичный тому, который пятнадцать лет назад выдвинул Афины, ставшие убежищем для греков из Малой Азии, на уровень крупнейших европейских столиц*. Перед лицом Италии и провинций, разодранных между демократическим правительством в Риме и армией, набранной в борьбе против него сенатской знатью, цензоры 86 года до н. э. были вынуждены отказаться от всеобщей переписи граждан римского государства, а напротив того, приступили к исчислению всех категорий обитателей, набившихся в Город. Святой Иероним в своей «Хронике» отметил результат этой процедуры, проведенной без различия пола, возраста, состояния или гражданства, всего 463 тысячи душ: *descriptio Romae facta inventa sunt hominum CCCCLXIII milia*. Тридцатью годами позднее число это весьма чувствительно округлилось, если правда то (как утверждает схолиаст Лукана), что Помпей, принявший на себя в сентябре 57 года до н. э. заведование пропитанием населения, смог организовать доставку в город пшеницы, необходимой для прокорма по крайней мере 486 тысяч ртов. После триумфа Юлия Цезаря в 45 году до н. э. мы становимся свидетелями нового скачка, размер которого не в состоянии оценить за неимением цифр, однако общее его направление не вызывает сомнений, поскольку вместо 40 или 50 тысяч людей, получавших

* Речь идет о последствиях греко-турецкой войны 1919—1922 годов, которая привела к обмену населением между этими странами, а правильнее будет сказать, к массовому изгнанию греков из Турции и турок из Греции (число первых оценивается в 1,3 миллиона человек, вторых — в 400 тысяч).

продовольственную помощь в 71 году до н. э., о которых упоминает Цицерон в своих речах против Верреса, Цезарь в 44 году до н. э. допускает к льготе получения бесплатной пшеницы 150 тысяч, а в своем качестве префекта нравов он обобщил разовую практику цензоров 86 года до н. э. и предписал дублировать традиционный *album** граждан римского государства полной статистикой обитателей Города, которая с этих пор и впредь устанавливалась, по улицам и по домам, на основании указаний и под ответственность собственников.

Рост продолжился в принципат Августа, на протяжении которого согласующиеся между собой указания принуждают нас оценить численность населения Рима примерно в 1 миллион человек. Прежде всего это количество пшеницы, которую, на протяжении его правления, необходимо было ежегодно накапливать для его пропитания: 20 миллионов модиев (1 миллион 750 тысяч гектолитров), поставлявшихся из Египта, как говорит Аврелий Виктор, и вдвое большее количество, поставлявшееся из Африки, как говорит Иосиф Флавий, итого 60 миллионов модиев (5 миллионов 250 тысяч гектолитров), что, исходя из среднего душевого потребления в 60 модиев (5,25 гектолитра), дает миллион получающих продовольствие лиц. Далее можно сослаться на заявление Августа в его «Деяниях», когда он, в двадцать второй раз наделенный трибунскими полномочиями и в двенадцатый — консульскими, то есть в 5 году до н. э., говорит, что «выдал по 60 денариев каждому из 320 тысяч граждан», составлявших тогда городской плебс. Однако, следуя терминам, сознательно употребленным императором, раздача эта была произведена исключительно взрослым мужчинам: в латинском тексте говорится *viritim*, греческий вариант переводит как *ἄνδρα*. Таким образом, отсюда были исключены женщины и мальчики моложе одиннадцати лет, входившие вместе с ними в городской плебс. А отсюда следует, если опираться на соотношения между мужчинами, женщинами и детьми, установленные в наши дни палеографами,

* Список, от слова *albus* (белый), так как таблицы для письма выбелывались.

что общее число римлян, обитавших в Городе, увеличилось самое меньшее до 675 тысяч одних только *cives*. Однако к ним следует прибавить и гарнизон, составлявший около 10 тысяч воинов, которые обитали в Риме, однако в конгиариях ни в коем случае не участвовали, и целую толпу проживающих здесь чужеземцев, и, наконец, что еще более важно, рабов. Так что сам Август наводит нас на мысль, что общее население Рима при его правлении составляло что-то около миллиона, если не превосходило эту цифру.

Наконец, статистические сведения, включенные в «Регионарии» IV века н. э.⁵, принуждают нас еще увеличить эту цифру для того периода II века, в который, как мы заметили, население Рима выросло наиболее значительно. Между тем, последовательно складывая, от района к району, жилища Города, которые перечисляет *Curiosum*, мы приходим к двум итоговым показателям, 1782 *domus* и 46 290 *insulae*^{*}, то краткое изложение, которым начинается *Notitia*, говорит одновременно о 1797 *domus* и 46 602 *insulae*. Несомненно, разброс в данных между этими документами объясняется отупением переписчика *Curiosum*, усыпленного утомительными перечислениями, которые ему приходилось копировать, и потому искажившего или пропустившего какие-то из данных, имевшихся перед глазами, если только он их не просто сдублировал такими же повторами, как совершенные им при приписывании одного и того же числа *domus* X и XI районам, одного и того же числа *insulae* как в III и IV, так и в XII и XIII районах. Мы были бы неправы, когда бы стали отыскивать между *Notitia* и *Curiosum* какое-то чрезмерное совпадение. Из этих двух «Регионариев» лучше было бы выбрать тот, содержание которого таит в себе меньше возможностей для ошибки. Иначе говоря, вполне оправданно принимать во внимание лишь изложение *Notitia*, и из того числа, которое дает она нам в отношении зданий Рима, следует выводить то, которое она не дает, но из него вытекает, то количество жителей, обитавших в 1797 *domus* и 46 602 *insulae* по исчислению *Notitia*.

^{*} Рассуждение о том, что следует понимать под *domus* и *insula*, см. в следующем абзаце.

Разумеется, результат может быть всего только приблизительным; к тому же преувеличенные сомнения современной критики еще осложнили условия подсчета — и совершенно напрасно. Именно г-н Эдурд Кюк и г-н Фердинанд Лот во Франции поняли дело так, что множественное *domus* в *Notitia* охватывает все вообще жилые здания Города, а *insulae* трактуют в качестве синонима *cenacula*^{*}, то есть как квартиры, устроенные в этих зданиях. Следовательно, они считают, что первое из этих понятий включает в себя второе, и, принимая среднее число обитателей квартиры равным пяти, насильно прикладывают его к 46 602 *insulae*, упомянутых в *Notitia*, дабы ничтоже сумняшеся вывести отсюда общее число жителей, оцениваемое в 233 010 человек. Однако их расчеты изначально порочны вследствие очевидной ложности их собственных толкований смысла слов. Ведь для латиниста *domus* (само это слово этимологически выводит на понятие наследственного владения) — это особняк, в котором обитает, если отвлечься от всевозможных разделов имущества, исключительно семья его владельца. В то же время, *insula*^{**}, обособленное строение, само имя которого позволяет составить образное о нем представление — это доходный дом, жилой блок, разделенный на множество квартир, или *cenacula*, каждая из которых дает кров одному квартиросъемщику или семье. Примеры можно исчислять без конца: Светоний, который упоминает о предписании Цезаря, возложившего составление переписных списков на собственников *insulae: per dominos insularum*; Тацит, который отступает перед затруднением дать точные сведения о числе храмов, *domus* и *insulae*, уничтоженных в результате пожара 64 года н. э.; биограф «Истории Августов», который рассказывает, что за один день в правление Антонина Пия огонь уничтожил в Риме 340 жилищ — доход-

* Первоначально слово означало «столовую» (так, помещение Тайной вечери в западной традиции принято именовать *cenaculum* или чаще, на средневековой латыни, *coenaculum*), но поскольку столовая находилась на верхнем этаже, со временем так стали называть верхние этажи вообще, в частности у многоквартирных домов.

** *Insula* буквально означает «остров».

ных домов или усадеб: *incendium trecentas quadraginta insulas vel domus absumpsit*. Во всех этих текстах *insula* подразумевает исключительно отдельное здание. Это — единица архитектурная, а никак не арендная; и доказательство того, что именно в этом смысле данное слово фигурирует во всей вообще *Notitia*, вне всякого сомнения вытекает из того факта, что детализованное описание этого самого документа содержит упоминание, среди прочих зданий, достойных внимания туристов в IX районе, *insula Felicles*, то есть «квартала» Феликулы, экстраординарные размеры которого у нас еще будет случай упомянуть. Итак, недопустимо включать 46 602 *insulae* в 1797 *domus*, о которых говорит статистика. Напротив того, их следует складывать, так что для того, чтобы подсчитать их емкость в смысле человеческих ресурсов, надо не только умножить их число на среднее число обитателей *cenaculum*, но и вслед за этим умножить на среднее число *cenacula*, или квартир, которые должна была включать *insula*.

К тому же общее число в 233 010 жителей, полученное калькуляторами, начавшими с того, чтобы навязать понятию *insula* эту искажающую редукцию, представляет собой величину, недопустимо меньшую по отношению к общему числу одних только взрослых граждан, допущенных в Городе к щедрым пожалованиям Августа: промах настолько смехотворный, что уже он один звучит приговором той бессмыслице, из которой он возник. Уж не следует ли нам, в соответствии с такой системой понятий, исходить из того, что каждую *insula* образовывали от 21 до 22 *cenacula*, что получается в *Notitia* из соотношения между 1797 *domus*, если считать их за *insulae*, и 46 602 *insulae*, если определять их в качестве *cenacula*? Однако это значило бы впасть в чрезмерность столь же предосудительную, как и теперешний недостаток. Когда в следующей главе мы рассмотрим тип римского дома, то уже вскоре убедимся в том, что средняя *insula* должна была иметь 5—6 *cenacula*, или квартир, в каждой из которых ютились как минимум 5—6 жильцов. Таким образом, теперь мы должны заключить, на основании свидетельства «Регионариев» насчет

IV века, что уже во II веке, когда Рим, вероятно, завершил свой рост или, во всяком случае, сильно его ускорил, Город, помимо примерно 50 тысяч граждан, вольноотпущенников и рабов, распределенных, самое меньшее, по тысяче его *domus*, насчитывал еще, рассыпанными по 46 602 доходным домам, население, которое должно было колебаться в пределах от 1 165 050 и до 1 677 672 жителей. Даже если мы остановимся на меньшей из двух этих цифр, даже если мы оценим население Города при Антонинах приблизительно в миллион 200 тысяч человек⁶, становится ясно, что она приближается к тем цифрам, которые имеем мы для наших городов, притом что тогдашний Рим не располагал ни техникой, ни средствами сообщения, которые облегчают сосредоточение населения и поддержание его жизни в современных городах.

Не следует также обманываться на тот счет, что столица империи должна была в таком случае становиться жертвой куда более жестоких бед перенаселения, чем те, которые известны нашим столицам. Если она уже в то время достигла столь же гигантского роста, как, в соответствующих пропорциях, Нью-Йорк в нашу эпоху, если Рим, этот царь античного мира,

Terrarum dea gentiumque, Roma,
Cui par est nihil et nihil secundum⁷ —

то есть «богиня земель и народов, о Рим, которому нет равных и близких» — сделался в эпоху Траяна исполинским городом-спрутом, величие которого ошеломляло чужеземцев и жителей провинций, как колоссальность американской метрополии ошеломляет сегодняшнюю Европу, он, как кажется, платил еще более высокую цену за тот гигантизм, который сделался ценой его господства и в конце концов стал его бичом.

Глава вторая

Дома и улицы, величие и беды

Даже если предположить, что площадь Рима превышала 2 тысячи гектаров, его периметр оказывался излишне тесным для того, чтобы с легкостью вмещать миллион 200 тысяч жителей. Это еще усугублялось тем обстоятельством, что далеко не вся она использовалась для их размещения, да и не могла для него использоваться. В самом деле, из нее следует частично вычесть те многочисленные участки, где общественные здания, святилища, базилики, пакгаузы, термы, цирки и театры были выделены органами государственной власти в пользование горстке нанимателей, привратников, владельцев товаров на складе, писцов, технического персонала, общественных рабов или же членов определенных привилегированных корпораций. Но в первую очередь отсюда следует полностью вычесть своенравную пойму Тибра и примерно сорок парков или садов, раскинувшихся главным образом по Эсквилину, на Пинчио, вдоль обоих берегов реки, а также квартал Палатина, пользование которым император зарезервировал исключительно для себя, и, наконец, Марсово поле, храмы, портики, палестры, *ustrina** и надгробия которого занимали более 200 гектаров, на которых, из чувства благоговения перед богами, продолжало действовать запрещение на обитание людей.

* Место сжигания трупов.

Если мы примем во внимание, что древние не предполагали едва ли не безграничными возможностями, предоставляемыми теперь для развития современных метрополий прогрессом в области наземного и подземного транспорта в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, сразу же выясняется, что в силу недостаточности средств передвижения они были обречены на то, чтобы никогда не выходить за пределы определенных территориальных ограничений, вне всякого сомнения — тех самых, которые Август и его преемники назначили Городу. За пределами их его жизнь оказывалась раздробленной, а единство оборачивалось разобщенностью. Римляне, неспособные наращивать территорию по мере роста численности на той площади, что была им строго предписана по причине несовершенства техники, ограничивались тем, что наверстывали пропадающее пространство с помощью средств, которые можно назвать противоречивыми по определению паллиативами, а именно узостью улиц и высотой строений. Кроме того, императорский Рим постоянно и повсюду противопоставлял монументальному великолепию несовершенство своих же жилых строений, которые были в одно и то же время неудобными и пышными, лишеными чувства меры и непрочными, будучи связаны меж собой узкими переулочками и затененными проходами. Когда мы пытаемся отыскать черты истинного лика Рима, то оказываемся сбитыми с толку контрастами, которые приводят в нашей памяти в смешение представления о современном величии со средневековой простотой, где светлое прозрение американской упорядоченности вдруг тормозится на смутном видении восточного лабиринта.

Современное видение римского дома

Начать с того, что мы сразу же оказываемся поражены «нынешним» видом того, что некогда являлось распространенным типом римских жилищ. Предпринятая мной в 1910 году публикация о квартале доков в Остии и раскопки, которые начиная с 1907 года прово-

дились на месте этой колонии, являвшейся пригородом и, в сокращенном виде, верным слепком Рима (десять лет спустя эти раскопки послужили основанием для весьма логичных выводов, пронизательно сформулированных Гвидо Кальца), возрождение в самом Риме строений, стоящих на «Перцовой улице», виа Бибера-тика, на рынке Траяна, расчистка остатков, сохранившихся под Скала дель Ара Чели, изучение построек, существовавших на склонах Палатина, виа деи Черки, и под галереей площади Колонна, раскрыли нам глаза на их размеры, планировку и вероятную конструкцию¹. Разумеется, когда, вот уже тридцать лет тому назад, мы пробовали их себе представить, наше воображение переносило на берега Тибра совершенно иные в конструктивном плане модели, высвобожденные из-под лавы Везувия, и мы тешили себя надеждами, воссоздавая образы Города в подражание тем, что были составлены по Геркулануму и Помпеям. Напротив того, в наше время уже не отыскать искушенного археолога, который пожелал бы применить этот метод как чересчур приблизительный и совершенно иллюзорный. Разумеется, тот дом на Палатине, что именуют «домом Ливии», и дом Гамала в Остии, перешедший впоследствии к некоему Апулею, напоминают кампанские дома*, и в крайнем случае можно допустить, что «особняки» богачей, усадьбы или *domus*, которые учтываются в «Регионариях», по большей части заимствовали свою форму у них. Однако в «Регионариях» насчитывается всего лишь 1797 *domus* против 46 602 *insulae*, а это означает, что на 26 доходных домов здесь приходился всего лишь один особняк. И последние исследования, проведенные на основании свидетельств текстов и объективного истолкования фрагментов городского кадастра, который Септимий Север снова выставил на форуме Мира, показали, что подавляющему большинству *insulae* так же далеко до того исключения, которое представляют из себя *domus*, как от римского палаццо до дачки на берегу моря, или же от «домов» на рю де

* То есть дома в Помпее и Геркулануме, которые находились в области Кампания (сохранившей свое название в современной Италии).

Риволи и больших парижских бульварах — до «коттеджей» на Изумрудном берегу*. На самом деле, каким бы парадоксальным это ни представлялось на первый взгляд, прослеживается несомненно куда больше аналогий между *insula* императорского Рима и «общедоступными» *case*** Рима современного, чем у них же — с *domus* помпейского типа.

Этот последний, повернутый к улице исключительно глухой и непроницаемой стеной, выглядывает всеми своими проемами в сторону внутреннего пространства. Первый же всегда открыт наружу, а иногда, когда он прямоугольником располагается вокруг центрального двора, то он открыт своими дверьми, окнами и лестницами как наружу, так и внутрь.

Domus составлен из помещений, чьи пропорции рассчитаны раз и навсегда, а предназначение заранее предрешено. Они располагаются одно позади другого в неизменном порядке: *fauces, atrium, alae, triclinium, tablinum****, перистиль. *Insula* же образована комнатами, объединенными меж собой в *cenacula*, то есть в отдельные и обособленные жилища, подобные нашим «квартирам». Однако у комнат этих нет какого-то заранее предопределенного назначения, и они, будучи взаимозаменяемыми между собой на уровне одного этажа, следовали друг за другом сверху вниз здания, строго накладываясь одна на другую. *Domus*, вышедший непосредственно из эллинистической архитектуры, распространяется в горизонтальном направлении. Напротив того, *insula*, появившаяся, вероятно, в течение IV века до н. э., ввиду необходимости дать крышу за так называемыми Сервиевыми стенами постоянно растущему населению развивается в вертикальном направлении. В противоположность помпейскому *domus*, римская *insula* росла ввысь и пришла к тому, что достигла поистине головокружительных размеров. Отсюда-то и происходит ее преобладающий характер, и потому-то, поражая прежде древних, она неизменно продолжает изум-

* Северное побережье Бретани, известный курорт для небогатых французов.

** Домами (*um.*).

*** Вход, атриум, колоннада, триклиний, терраса.

лять нас: настолько бьет в глаза их сходство с нашими городскими строениями — наиновейшими и наиболее дерзкими по замыслу. Уже в III веке до н. э. *insulae* в три этажа (*tabulata, contabulationes, contignationes*) стали столь многочисленными, что на них уже не обращали внимания. Так, Тит Ливий², перечисляя чудесные явления зимы 218—217 гг. до н. э., предвещавшие вторжение Ганнибала, упоминает, нисколько на это не упирая, такую *insula* по соседству с *forum boarium*, Бычьим рынком: убежавший отсюда бык поднялся по лестнице до третьего этажа, после чего спрыгнул вниз, провожаемый криками перепуганных жильцов.

В конце республиканской эпохи средняя величина, о которой вскользь говорит данный анекдот, была превзойдена. Рим Цицерона, в силу повышенной этажности своих квартир, уже как бы подвешен в воздухе: *Romam cenaculis sublatam atque suspensam*³. Рим Августа вздымается еще выше. Тогда, как пишет Витрувий, «величие Города, значительный рост его населения требовали чрезвычайного роста его жилищ, и само положение дел принуждало искать спасения в высоте зданий»⁴. Впрочем, спасение это было само по себе столь рискованным, что император, устрешенный опасностями, угрожавшими благополучию граждан и обрушениями, с которыми оно было сопряжено, подверг его регламентации и запретил частным лицам возводить сооружения выше 70 футов (20 метров)⁵. Впоследствии, однако, хозяева и предприниматели вступили друг с другом в бескомпромиссную схватку в части корыстолюбия и безрассудства, стараясь выжать до дна те поблажки, что предоставлялись им этим указом. И пока империя была на подъеме, мы располагаем многочисленными свидетельствами этого взлета вверх, поверить в который, принимая во внимание эпоху, удастся лишь с трудом. Страбон, описывая Тир начала нашего летоисчисления, удивленно отмечает, что дома этого знаменитого восточного порта едва ли не выше, чем в императорском Риме⁶. Сотней лет позднее Ювенал высмеивает этот воздушный Рим, покоящийся всего лишь на жердях — тонких и длинных, как флейта⁷. Пятьдесят лет спустя Авл Геллий жалуется на эти дома

с многочисленными крутыми этажами: *multis arduisque tabulatis*⁸. А ритор Элий Аристид предполагает всерьез, что если бы жилища Города вдруг разом понизились до одного этажа, они протянулись бы до самой Адрии на Верхнем море⁹. Впустую возобновлял Траян¹⁰ ограничения, наложенные Августом, еще ужесточив их и установив на 60 футах (18 метрах) предельную высоту частных домов: необходимость оказалась сильнее закона, и еще в IV веке среди достопримечательностей Рима, наряду с Пантеоном и колонной Аврелиана, показывали громадный дом, баснословная высота которого постоянно заслуживала того, чтобы привлечь внимание посетителя: *insula Felicles*, дом Феликулы. Выстроили его двумястами годами прежде, поскольку в начале принципата Септимия Севера (193—211) его слава уже перемахнула море, и когда Тертуллиан пытался убедить своих африканских соотечественников в нелепости изобретений, которыми валентиниане* пытаются заполнить бесконечность, отделяющую творение от Творца, ему не удалось отыскать более назидательного примера: он безжалостно высмеивает этих еретиков, переполненных всеми этими посредниками, промежуточными звеньями, порожденными их безумием, говоря, что они «превратили Вселенную в своего рода мебелирашку», сверху которой — под самой крышей (*ad summas tegulas*) — помещают Бога, так что она «вздымает в небо столько же этажей, сколько мы видим в Риме в доме Феликулы»¹¹.

Разумеется, несмотря на все указы Августа и Траяна, строители умножили свою отвагу, так что *insula Felicles* возвышалась над Римом Антонинов подобно небоскребу. Даже если она осталась из ряда вон выходящим исключением, своего рода чудовищным предельным случаем, точно известно, что вокруг пяти-шестиэтажных домов было видимо-невидимо. В том доме на Квиринале, в котором обитал Марциал, поэту приходилось подниматься, чтобы попасть к себе всего лишь на третий этаж, однако он обитал вовсе не в самых скверных условиях. Как в его *insula*, так и в соседних было полно

* Гностическая секта II века, названная в честь своего основателя Василия Валентина из Александрии.

квартиросъемщиков, размещавшихся в куда большем стеснении, потому что они жили гораздо выше, и в той жестокой картине римского пожара, которую рисует нам Ювенал, он словно бы обращается к тому несчастному, который, подобно Богу валентиниан, обитает под самой крышей: «Вот уже третий этаж объят пламенем, а ты не знаешь об этом ничего. На первом этаже толчея в разгаре, но последним сгорит тот, кто защищен от дождя всего только черепицей, там, где несут яйца томные голуби»¹².

Эти впечатляющие строения, которым не было ни конца ни края, а для того, чтобы увидеть их крышу, проходиму приходилось отойти в сторону, подразделялись на две категории. В первую входили более роскошные, первый этаж которых как бы образовывал единое целое; предоставляясь в распоряжение одного-единственного владельца, он приобретал престиж и преимущества особняка в основании *insula*, откуда и происходило наименование *domus*, который ему часто давали в противоположность квартирам или *cenacula* на более высоких уровнях. Вторую группу образовывали более простонародные дома, первый этаж которых подразделялся на бесконечное число лавочек и магазинов, тех самых *tabernae*, которые часто упоминаются в текстах. Представить их тем более легко, что остовы некоторых из них на виа Бибератика и в Остии уцелели до наших дней. Лишь выдающиеся люди, располагавшие неограниченными средствами, могли позволить себе роскошь жить в *domus*, являвшихся частью первой категории, и нам известно, например, что уже во времена Цезаря Целий платил за такое свое жилище 30 тысяч сестерциев, что равно 30 тысячам франков времен Пуанкаре или 6 тысячам довоенных франков в год¹³. Напротив того, под сводами *tabernae* ютились жильцы с весьма скромным достатком. На первый взгляд каждая из них, открывавшая на улицу свою широкую полукруглую сверху дверь, занимавшую почти всю ее ширину, причем ее деревянные створки каждый вечер опускались (или натягивались) на порог и заботливо затворялись на засов, вмещала один только склад купца, мастерскую ремесленника, прилавок или же витрину торговца.

Однако почти во всех случаях в одном из углов *taberna* отыскивалось место для лестницы в четыре или пять кирпичных или каменных ступеней, которые продолжались ступеньками из дерева. Поднявшись по ней, вы попадали в антресоли, которые освещались непосредственно единственным вытянутым окошком, прорезанным над дверью по ее центру. Антресоли эти служили укромным обиталищем содержателям лавки, сторожам магазина, работникам мастерской. Как бы то ни было, свободные рабочие и слуги-рабы, персонал *taberna*, располагали для себя и своих близких всего-навсего одной комнатой: здесь они работали, стряпали, ели, спали — в неразберихе, которая по крайней мере ничем не уступала той, от которой, как мы еще увидим, страдали квартирносъемщики последних этажей. Быть может, первые были даже, вообще говоря, еще беззащитнее. Кажется, во всяком случае, что они нередко сталкивались с серьезными трудностями при взносе установленной платы. Для принуждения неаккуратных должников собственник, как сообщают, ограничивался тем, что забирал лестницу, ведущую в их клетушку, и так, лишив продовольствия, побуждал к погашению задолженности. Ведь образное выражение *percludere inquilinum*, «запереть съемщика», не стало бы у юристов синонимом для принуждения съемщика к платежу, если бы действие, на которое оно указывает, понятное лишь в убогих условиях *taberna*, не было широко распространено в императорском Риме. Так что между двумя категориями доходных домов, к которым приложимо слово *insula*, существовали отличия; однако происходят они почти исключительно от разницы между *domus* и *tabernae* на первом этаже и нисколько не препятствуют тому, чтобы *insulae* одной и другой категории соседствовали в городе и подчинялись одним и тем же правилам во внутреннем устройстве и внешнем виде верхних этажей.

Бросим взгляд на современный Рим. Нельзя отрицать, что за последние 60 лет, и особенно после разделения виллы Людовизи на участки, здесь стала известна такая вещь, как обособленное единство «аристократических кварталов». Однако в прежние времена дух

равноправия неизменно сближал здесь самые благородные особняки и наиболее скромные жилища. Еще и сегодня иностранец здесь бывает подчас удивлен, когда на выходе из улиц, кишаших простонародьем, перед ним вдруг оказывается величественный дворец Фарнезе. Именно этой чертой панибратства Рим ныне живущих воскрешает императорский Рим, в котором высшие слои общества и простые люди повсюду соприкасались между собой, нимало друг другу не досаждая. Надменный Помпей совсем не думал, что похож на неудачника, храня верность Каринам*. Перед тем как удалиться отсюда по политическим и религиозным мотивам в Регию**, Юлий Цезарь, самый рафинированный из патрициев, проживал в Субуре***. Впоследствии Меценат разместил свои сады на участке Эсквилина, пользовавшемся самой дурной славой. Примерно в ту же эпоху баснословно богатый Азиний Поллион избрал в качестве своей резиденции плебейский холм Авентин, который также избрал в качестве места жительства Лициний Сура, вице-император в правление Траяна. В конце I века н. э. племянник императора Веспасиана и поэт-паразит Марциал**** обитали на склонах Квиринала поблизости друг от друга. А в конце II века императора Коммода убили в укромном уголке, который он приберег для себя посреди демократического Целия.

Разумеется, всякий раз, как очередной пожар опустошал их, различные кварталы Рима восставали из пепла еще более прочными и великолепными. И тем не менее сближение противоположностей, которое повторяется вновь у нас на глазах, продолжает существовать после каждого из этих обновлений, пусть в слегка ослабленном виде. Любая попытка как-то специализировать четырнадцать районов Города обречена на провал.

* Западный склон Эсквилина.

** Р е г и я , стоявшая на форуме, — одно из старейших в Риме зданий, восходившее к эпохе первых царей и в значительной степени перестроенное в 148 году до н. э. и 36 году до н. э.

*** С у б у р а — низина севернее Карин, над которой нависают с севера и востока холмы Квиринал, Виминал и Циспий.

**** Здесь в достаточно нейтральном античном значении — «человек, живущий за счет подарков и гостеприимства богатых покровителей».

Самое большее, на что можно было согласиться, — это чтобы утонченным натурам, желавшим отгородиться от толпы, приходилось удаляться все дальше, убежать на границу «сельской местности», в сосновые леса Пинция и Яникула, где простирались парки их пригородных вилл¹⁴, между тем как простонародье, вытесненное из центра присутствием здесь двора и обилием общественных зданий, но в то же время притягиваемое к нему той деловой активностью, что здесь кипела, предпочитало по преимуществу промежуточный между форумами и пригородами пояс, в районах внешних к республиканским стенам, но с ними соприкасавшихся, разом включенных в Город благодаря реформе Августа. В самом деле, стоит только обратиться к «Регионариям» и выделить в них, район за районом, цифры *insulae*, то есть доходных домов, и *vici*, то есть артерий, которые обслуживали *insulae*, и сложить эти числа по двум раздельным группам, соответственно образованным восемью районами древнего Города и шестью районами нового, средним арифметическим в результате этого подсчета окажется: для первых — 2965 *insulae* и 17 *vici*, а для вторых — 3429 *insulae* и 28 *vici*. Таким образом, при территориальном равенстве районов, именно в новом Городе группировались наиболее многочисленные жилые здания, а при равной величине *vici*, вовсе не в старом Городе, где на *vicus* насчитывалось по 174 *insulae*, а в новом, где их было всего лишь по 123, жилые строения достигали более свободного развития. Кроме того, «Регионарии» помещают громадную *insula*, небо-скреб Феликулы, в IX район, называемый Цирк Фламиния, в самую середину нового Города. Пробные зондирования приводят к тем же самым выводам, что и вся обобщенная статистика: успехи императорской урбанизации непомерно увеличили во всех смыслах, на вполне современный лад, необъятные жилые кварталы Древнего Рима.

Снаружи все эти величественные *insulae*, эти «глыбы», более или менее походили друг на друга, обратясь на улицу своими почти одинаковыми фасадами. Их этажи повсюду симметрично располагали одну поверх другой *cenacula* с большими проемами; и их каменные

лестницы, которые вели непосредственно с улицы в верхние квартиры, прорезали нижними ступенями линию *tabernae* или стены *domus*. Если разобрать такой дом по принципиальным моментам, окажется, что его схема нам вполне знакома. Их можно было бы принять за городские дома, выстроенные вчера или сегодня, и попытки реставрации, предпринятые на бумаге в отношении лучше всего сохранившихся руин наиболее компетентными специалистами, приводят к таким аналогиям со зданиями, в которых обитаем мы, что первой нашей реакцией оказывается недоверие. И все же при более внимательном рассмотрении мы начинаем видеть всю добросовестность и верность этих аналогий. Так, например, достаточно было г-ну Боэцию сопоставить на одной фотографической таблице определенную часть рынка Траяна или определенного дома в Остии с неким современным домом, стоящим на виа Каппеллари в Риме или на виа Трибунали в Неаполе, чтобы показать поразительные, на грани тождества, соприкосновения между этими формами, которые разделяют века¹⁵. Нет сомнения, что, восстань из мертвых подданные Траяна и Адриана, они решили бы, стоя на пороге какого-нибудь современного *casone*^{*}, что входят к себе домой. А кроме этого, они имели бы право посетовать на то, что за протекшие века их жилища (по крайней мере внешне) скорее потеряли, чем приобрели.

При поверхностном сравнении со своим наследником в «третьей Италии»** *insula* императорского Рима выказывает более утонченный вкус, большую изысканность, и в самом деле это — в полном смысле античный дом, создающий у нас впечатление наибольшей современности. Его декор, в котором приходят в смешение дерево и забутовка, где мы видим искусно подобранные кирпичи, выстроен с искусством, о совершенстве которого мы уже позабыли со времен нормандских особняков и замков Людовика XIII. Двери здания

* Многоквартирный дом (*um.*).

** Выражение *terza Italia* из сонета «Джузеппе Мадзини» (1872 год) нобелевского лауреата Джозуэ Кардуччи: первая Италия — античная, вторая — христианская, третья — независимая и либеральная.

были столь же многочисленны, как сегодня, и зачастую большего размера. Ряд лавочек обычно был защищен и скрыт линией портика. К этажам — на более широких улицах — были приделаны в каких-то случаях лоджии (*pergulae*), а в каких-то — балконы (*maeniana*), отличавшиеся живописным разнообразием. Одни были сделаны из дерева, и мы находим их заглубленные в кладку несущие брусья; другие — из кирпича, который в некоторых случаях покоился на парусах сводов, чьи горизонтальные линии импостов рождали из себя параллельные наружные поверхности сводчатых арок. В других же случаях они лежали на ряде арок, подпертых массивными консолями из травертина (известкового туфа), прочно заделанными в кладку на продолжениях боковых стен. По пилястрам лоджий и перилам балконов карабкались вьющиеся растения. На большей части окон были выставлены цветочные горшки, образуя те сады в миниатюре, о которых говорит Плиний Старший: в наиболее удушливых городских уголках эти композиции чуточку утоляли тоску по деревенской жизни, ощущавшуюся скромными горожанами, происходившими от долгой череды поколений крестьян¹⁶.

Нам известно, что в Остии весьма скромные гостиницы, подобные той, в которую святой Августин помещает свою последнюю умиротворенную встречу со святой Моникой, были окружены — по инициативе управляющих — зеленью и тенью. Сколько можно судить, Каза деи Дипинти*, значительно более старая, чем прочие, была расцвечена гирляндами и цветами со всех сторон и с основания до крыши. А реконструкция, опубликованная на этот счет господами Кальца и Жисмонти, судя по всему, наводит на мысль о городе-саде, во всех отношениях похожем на самые привлекательные из тех, что строят теперь для рабочих и мелких буржуа наших крупных центров самые дальновидные из товариществ по строительству и аренде помещений или самые щедрые из благотворительных обществ. Взирая на эту необычную, едва ли приукрашенную картину, мы подчас впадаем в отрицание прогресса и начинаем завидовать тем человеческим существам, кото-

* «Дом фресок», см. следующий абзац.

рые некогда, при Траяне или Адриане и Антонине Пие, въяве познавали услады той действительности, которая открывается через нее нашим глазам.

К несчастью для этой *insula*, самой роскошной из зданий этого рода, в которые нас до настоящего времени ввела археология, обеспечивавшийся ею комфорт ни в коей мере не отвечал декору. Нельзя отрицать, что строившие ее архитекторы не упустили ничего, что могло послужить для украшения. Они вымостили ее плиткой и мозаиками, сложные рецепты которой донесены до нас Витрувием. Они покрыли ее красками (исполняя длительные и дорогостоящие операции, которые также анализирует тот же автор), ныне более чем на три четверти исчезнувшими, но когда-то столь же свежими и живыми, как помпейские фрески, которыми она и обязана именем, которое дали ей итальянские ученые: *Casa dei Dipinti*, или «дом фресок». Конечно, я не осмелюсь на то, чтобы снабдить *laquearia** раздвижными пластинками из туи или резной слоновой кости, притом что к таким механизмам над своими обеденными залами были склонны выскочки вроде Тримальхиона, заставлявшие оттуда проливаться на своих убаженных и радостных сотрапезников дождь из цветов и благовоний либо маленькие драгоценные подарки. Но, быть может, комнаты здесь перекрывались теми потолками из позолоченного стука, в которых находили отраду уже самые прихотливые капризы большинства современников Плиния Старшего? Как бы то ни было, это расточительство влекло за собой расплату, и даже наиболее роскошные *insulae* грешили и хрупкостью конструкций, и скудостью обстановки, и недостаточностью освещения, отопления и гигиеничности.

Архаические аспекты

Эти высокие жилища были чересчур узкими. В то время как *domus* в Помпеях вольготно располагался на площади 800 и 900 квадратных метров, уже *insulae*

* Кессонный потолок, разделенный на квадратные или многоугольные углубления с перегородками.

Остии, которые, между прочим, были возведены по генеральному плану, предписанному их архитекторам Адрианом, редко занимают столь обширную площадь. Что же до *insulae* в Риме, их площадь, о которой можно заключать по тем фрагментам кадастра Септимия Севера, в которых они отражены, обычно колеблется между 300 и 400 квадратными метрами. Даже если предполагать, что скорее всего неразумно, что домов с еще меньшей площадью более не существовало, поскольку они были навек погребены в землетрясениях, цифры эти выглядят обманчивыми: 300 квадратных метров горизонтального протяжения при вертикальном возвышении в 18 и 20 метров — это слишком мало, особенно если вспомнить о толщине перекрытий, которые разделяли этажи, так что достаточно сопоставить данные показатели, чтобы ощутить опасность, внутренне присущую этой диспропорции. Римские строения ни в коей мере не располагали основанием, которое бы соответствовало их устремленности ввысь, и их обрушений следовало опасаться тем более, что в погоне за наживой строители сэкономили еще больше — на прочности кладки и на качестве материалов. «Закон запрещает, — пишет Витрувий, — делать внешнюю стену толще, чем полтора фута (0,45 сантиметра), а прочие, дабы не пропадало внутреннее пространство, не должны быть толще этого». Витрувий прибавляет, что по крайней мере начиная с эпохи Августа эту предписанную, но недостаточную тонкость стены обходили с помощью рядов кирпичей, поддерживавших кладку; при этом он с мягкой улыбкой философа констатирует, что эта смесь фундаментных камней, рядов кирпичной кладки и слоев бутового заполнения позволяла жилищам достичь весьма значительных высот, а римскому народу — без большого труда обзавестись прекрасными квартирами: *populus Romanus egregias habet sine impeditione habitationes*¹⁷.

Двадцатью годами позднее Витрувий был бы разочарован. Изящество и легкость, которым он так радовался, давались исключительно за счет прочности. Даже когда во II веке кирпичная перевязка стала преобладать, то есть даже когда люди привыкли к тому, чтобы оде-

вать кирпичом всю поверхность внешних стен, обвалы зданий или их превентивные обрушения не переставали наполнять Город своим грохотом. Квартиросъемщикам *insula* всегда следовало опасаться, как бы она не обрушилась им на голову. На память приходит гневно-печальная тирада Ювенала: «Кому когда-либо приходило на ум опасаться обрушения дома в прохладной Пренесте, в Вольсиниях, заключенных меж поросших лесом склонов? Но мы-то обитаем в городе, который, по большей части, выстроен из жердочек, и когда управляющий домом заделает старую трещину, он приглашает жильцов спокойно вкушать сон под нависающими у них над головой руинами». Сатирик ничего не преувеличивал, и много частных случаев, предусмотренных в «Дигестах», указывают на то ненадежное положение, что вызывало его гнев. «Предположим, к примеру, что собственник *isola* сдал ее целиком в аренду основному нанимателю за 30 тысяч сестерциев (30 тысяч франков Пуанкаре или 6 тысяч довоенных франков), который, благодаря передаче, извлекает из него доход в 40 тысяч сестерциев, а потом принимает решение ее разрушить под предлогом того, что здание угрожает падением, со стороны основного нанимателя возможно возбуждение приемлемого к судопроизводству дела об упущенной выгоде. Если здание и в самом деле было снесено по необходимости, истец будет иметь право на возмещение своей собственной арендной платы, и не более того. Напротив, если здание было снесено для того, чтобы облегчить собственнику возведение лучшей и в конечном счете более выгодной постройки, арендодатель должен будет заплатить арендополучателю сверх того, чего тот лишился по причине предпринятого собственником действия со стороны своих субарендаторов, а именно той суммы, которую основной наниматель потерял по причине этого выселения»¹⁸.

Данный текст весьма показателен сам по себе, а также из-за тех соображений, на которые он наводит. Весьма прямолинейная терминология, используемая в нем, не оставляет даже тени сомнения в большой распространенности той практики, о которой он говорит. А практика эта предполагает, что здания император-

ского Рима, столь же легкие, как прежние американские дома, или даже еще более легкие, чем они, обрушились или разрушались намеренно точно так же, как некогда дома в Нью-Йорке.

Зато горели они не реже, чем дома в Стамбуле при султанах. Потому что они были непрочными. Потому что тяжелая конструкция их межэтажных перекрытий вынуждала вводить массивные деревянные балки. Потому что в них постоянно присутствовал риск воспламенения — вместе с переносными нагревательными приборами, со свечами, с коптящими лампами и факелами для ночного освещения. Потому, наконец, что вода, как мы еще увидим, поступала на этажи в крайне скудном количестве. Отсюда и число пожаров, и скорость их распространения. Вспоминается махинация, к которой прибегал плутократ Красс в последнем веке республики, чтобы воспользоваться пожаром и с помощью нанесенного огнем ущерба еще больше прирастить свое громадное состояние. Услышав новость о несчастье, он прибыл на место, на котором оно приключилось, выражал сочувствие погруженному в отчаяние из-за внезапного уничтожения имущества собственнику и тут же, не сходя с места, покупал у него по дешевке, намного ниже истинной стоимости, земельный участок, на котором не было больше ничего, кроме груды развалин. После этого при помощи одной из своих бригад каменщиков, обучением которых он руководил лично, Красс вновь возводил на этом месте совершенно новую *insula*, доходы от которой не замедляли сполна обогатить его, сторицей возместив затраченные средства.

Позднее, при императорах, уже после создания Августом пожарной команды или сторожевой службы, тактика Красса оказалась бы не менее успешной. Даже при Траяне, при всем его внимании к поддержанию порядка в Городе, пожар был вполне заурядным явлением в жизни римлян. Богач трепещет за свое жилище и в страхе заставляет целый отряд рабов бдиль за своими янтарями, своими бронзами, колоннами из фригийского мрамора, чешуйчатыми инкрустациями. Бедного на его «мансарде» пламя застает во сне, так что он едва не стораец заживо. Все одержимы навязчивой идеей, и

Ювенал уже совсем готов покинуть Рим, чтобы избавиться от всего этого. «Ах, когда бы я мог жить в месте, где нет огня, где ночи проходят без тревог»¹⁹. Едва ли он впал в преувеличение. Юристы вторят его сатирам, и, как сообщает нам Ульпиан, в императорском Риме дня не проходило без того, чтобы не приключилось несколько пожаров: *plurimis uno die incendiis exortis*²⁰.

Но, по крайней мере, скудость обстановки уменьшала масштабы каждой из этих катастроф. В случае своевременного предупреждения бедолага, обитавший в *cenacula*, этакий фантастический Укалегонт, которого насмешник Ювенал наделяет эпическим именем троянца из «Энеиды»*, был в состоянии стремительно «поменять хибару»²¹. Богачам в таком случае приходилось нести гораздо большие потери, ведь они не могли спасти все свое добро в одном узелке. Во всяком случае, они, со всеми своими мраморными и бронзовыми статуями, располагали весьма разношерстной обстановкой, богатство которой было в меньшей степени связано с количеством и размером предметов, ее составлявших, нежели с драгоценными материалами и редкостью форм, которых от них требовали.

Если миллионер, выводимый Ювеналом на сцену в процитированном выше отрывке, принимает такие предосторожности против огня, он стремится сберечь вовсе не то, что мы бы назвали мебелью теперь, но исключительно произведения искусства и безделушки. У всех римлян мебель состояла, по сути, из лож, на которых они спали ночью и во время сиесты, ели, принимали гостей, читали и писали весь остаток дня. Люди попроще удовлетворялись каменным ложем, примыкающим к стене и покрытым тюфяками. Прочие же использовали тем больше лож (причем более роскошных), чем больше средств было в их распоряжении. Бывали маленькие одноместные ложа, *lectuli*, и таких было большинство. Были двуспальные ложа для семейных пар (*lectus genialis*) и трехместные ложа для столовых (*triclinia*); те, кто желал выказать свое богатство и удивить ближних, заказывали ложа на шесть

* «Энеида», II, 312; при взятии Трои дом Укалегонта загорелся одним из первых.

мест. Были ложа, отлитые из бронзы, имелись и другие, куда более многочисленные, сработанные исключительно из одного только дерева, будь то дуб, клен, терпентин, туя или экзотические породы с волнистыми линиями и меняющимся отражением, которое сообщает им неисчерпаемую многоцветность, подобную павлиньему оперению: *lecti pavonini*. Имелись и такие, что соединяли дерево рамы с бронзой ножек, но комбинация могла и измениться: слоновая кость ножек и бронза рамы. Существовали ложа, чье дерево было инкрустировано черепашьей скорлупой, и другие — чья бронза была расцвечена золотом или серебром²². Встречался даже массив из серебра, как у Тримальхиона.

Как бы там ни было, ложе оставалось мебелью *par excellencè* как в *domus* вельможи, так и в пролетарской *insula*, и не было на свете такой силы, которая могла бы принудить римлян, будь то богачи или бедняки, обзаводиться и пользоваться какой-то другой мебелью. Их столы не имели ничего общего с нашими. Массивными столами о четырех ножках, которыми пользуемся мы, они сделались лишь очень поздно, через посредство христианского культа. В эпоху расцвета империи *mensae*, столы, представляли собой либо мраморные этажерки, поставленные на ножки и предназначенные для показа восхищенному посетителю самых драгоценных в доме предметов (*cartibula*), либо круглые столики из дерева или бронзы, снабженные тремя или четырьмя съемными ножками (трапезофорами), либо простые треножки, складные металлические ножки которых, как правило, завершались львиными лапами. Что касается сидений, их остатки встречаются археологам еще реже, чем остатки столов, и этому имеется объяснение. Поскольку люди ели и работали лежа, они им просто не были нужны. В самом деле, кресла или «троны» с подлокотниками и спинкой предназначались для божества; стул, снабженный более или менее наклоненной спинкой, «кафедра», почти совсем не применялся в частной жизни. Лишь некоторые великосветские дамы (чью изнеженность Ювенал, впрочем, осуждает) имели обыкновение томно откидываться на стульях, и тексты ука-

зывают на их наличие всего только в двух домах: в зале приемов дворца Августа (слова нашего старого Корнелия «Садись же, Цинна»^{*} восходят напрямую к рассказу Сенеки) и в *cubiculum*, комнате, куда Плиний Младший приглашал друзей, чтобы побеседовать. В иных же случаях стул появляется исключительно в качестве атрибута учителя, который преподает в *schola*, школе, или священнослужителя, который совершает богослужение в храме: это могли быть арвальский брат официальной религии, главы некоторых эзотерических языческих сект, а в более позднюю эпоху — христианский пресвитер. Так что не без причины от этих стульев происходит имя нашей «кафедры».

Как правило, для сидения римляне довольствовались скамьями (*scamna*) или скамеечками (*subsellia*) без подлокотников и спинки, которые они выносили с собой наружу и которые, будь они хоть «курульными» и изготовленными из слоновой кости, как сиденья магистратов, или из золота, как сиденье Юлия Цезаря, неизменно бывали «складными». Что касается прочей обстановки, то она состояла, помимо лож, из чехлов, ковров, стеганых одеял, подушек, которые расстилали или раскладывали по ломам, у ножек стола, по сиденьям скамеечек и *sellae*, а также украшений и посуды. Серебряная посуда была столь распространена, что Марциал высмеивает патронов, которые до того скупы, что не в состоянии по случаю Сатурналий вознаградить своих клиентов по крайней мере пятью фунтами (чуть больше 1,5 килограмма) столового серебра²³. Глиняной посудой пользовались только бедняки. У богатей посуды бывала резной или покрытой мастерской чеканкой, блестела золотом²⁴ и украшалась драгоценными камнями. При чтении некоторых античных описаний испытываешь легкое головокружение, словно оказался в сказке из «Тысячи и одной ночи», в обстановке, подобной той, с которой никогда не расставался ислам, в громадных пустых комнатах, где богатство измеряется изобилием и глубиной диванов, переливами узорчатых тканей, блеском изделий из золота и серебра и дамасской бронзы, притом, что богатство это

^{*} Трагедия «Цинна» (1642 год), V акт, картина 1.

совершенно игнорирует все те элементы комфорта, к которым мало-помалу пристрастился Запад.

Так, в самых приметных римских домах освещение оставляло желать много лучшего. Не то чтобы широкие проемы, прорезанные в стенах этих домов, не были в состоянии в определенное время суток залить помещения воздухом и светом, которых мы так жаждем, но эти же проемы — и также в определенные часы — либо не пропускали сюда ни того ни другого или, напротив, слепили жильцов и буквально выдували их из помещений. Например, ни на *виа Бибератика* на рынке Траяна, ни в *Каза деи Дипинти* в Остии в окнах не было найдено ни слюды, ни обломков стекол, и это доказывает, что жилища эти не были оборудованы маленькими прозрачными пластинками *lapis specularis*^{*}, с помощью которых во времена империи в зажиточных домах было принято изолировать и альков спальни, и ванную, и оранжерею, а подчас даже и портшез. Также здесь не встречаются кусочки толстых матовых стекол, которые мы находим вставленными в окошки терм в Помпеях и Геркулануме, где эта герметичная заслонка помогала поддерживать жару, в то же время не создавая полного затемнения²⁵. Так что жильцам приходилось защищаться или чрезвычайно скверно — с помощью холстов или кож, которые колебал ветер и били ливни, или слишком уж хорошо — ставнями с одной или двумя створками, которые задерживали и холод, и дождь, и летний зной, и северный ветер, одновременно перехватывая также и свет. В помещениях, забранных этими сплошными преградами, жилец (будь это даже Плиний Младший, некогда консул) был обречен: либо он дрожал от холода среди бела дня, либо укрывался от непогоды за такой непроницаемой занавесью тьмы, что даже свет молний не мог сквозь нее пробиться²⁶. «Дверь должна быть открыта или закрыта», — утверждает пословица**.

* Слюда или какая-то из форм гипса (гипсовый шпат, селенит), пропускавшая свет.

** Примерно соответствует выражениям «одно из двух», «третьего не дано». Так назвал свою комедию («*Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée*», 1845) Альфред де Мюссе, в свою очередь заимствовавший выражение из комедии Ж. Палапрата и Д. А. де Брюэ «Ворчун» (1671).

Напротив, в римской *insula*, для блага ее же обитателей, следовало, чтобы окна никогда не были ни полностью открыты, ни наглухо затворены, и нет сомнения в том, что, несмотря на их число и размеры, они не играли в помещениях той роли, что играют теперешние окна в наших помещениях, и не создавали таких комфортных условий для обитателей.

Вот и отопление в *insula* было весьма и весьма несовершенным. Поскольку *insula* упразднила атрий и ее *cenacula* приходились одна над другой, она не допускала использования очагов, которые крестьяне топили в центре своих хижин, меж тем как исходящие из них искры и дым выходили через отверстие, специально оставленное в крыше. С другой стороны, грубой ошибкой было бы полагать, что в *insula* хоть когда-либо использовалось центральное отопление, которым наделяют ее исключительно вследствие неверного понимания слов и искажения фактов. Калориферные установки, следы которых сохраняют столь многие развалины, никогда не исполняли такой роли. Вспомним, из чего они состояли. Прежде всего это приспособление для отопления — «гипокауст», составленный из одной или двух печей, которые топились, в зависимости от требуемого жара и от времени, в течение которого его следовало поддерживать, дровами или древесным углем, хворостом или сухой травой, и эмиссионного канала, по которому тепло, копоть и дым все вместе проникали в соседствующий гипокауст. Далее сюда входила тепловая камера (гипокауза) с характерными параллельными рядами небольших кирпичных столбиков, между которыми все это и циркулировало, в равной степени их всех обдувая. Наконец, здесь были обогреваемые помещения, расположенные или, скорее, подвешенные над гипокаустом и называвшиеся вследствие этого *suspensurae*. На деле, однако, вне зависимости от того, были ли они соединены друг с другом пустотами в своих стенках, *suspensurae* отделялись от гипокауста перекрытием, образованным слоем кирпича, земляной прослойкой и полом из камня или мрамора, плотность которого имела целью сделать помещения непроницаемыми для нежелательных или

вредных испарений, а по сути — замедлить их обогрвание. В связи со сказанным необходимо отметить, что отапливаемая поверхность *suspensurae* никогда не превышала поверхности гипокаустов и что использование их ребовало такого же, если не большего, чем число гипокаустов, числа гипокауз. Отсюда вытекает, что система эта вовсе не являлась центральным отоплением и что она была неприменима к многоэтажным зданиям. В античной Италии гипокауст никогда не обслуживал целого здания, если только это не было обособленное и единичное строение из одного помещения, как уборная, расчищенная в Риме между Большим форумом и форумом Цезаря. Итак, гипокауст всегда занимает лишь небольшую часть построек, в которых мы его встречаем: ванная комната в виллах более обеспеченных горожан Помпей, или кальдариум общественных терм; само собой разумеется, он не оставил никакого следа ни в одной из известных нам *insulae*.

Хуже того: у римской *insula* не было не то что калориферов, но даже дымоходов. В Помпеях имелось лишь несколько пекарен, чьи печи были снабжены трубами, напоминающими трубы наших дымоходов, но не тождественными им. Дело в том, что из двух примеров, на которые можно сослаться, в первом труба настолько разрушена, что мы не знаем, куда она выходила, другая же заканчивалась не над крышей, но в сушилке, располагавшейся на втором этаже. Аналогичные воздухозаборники не обнаруживаются ни в виллах Помпей, ни в виллах Геркуланума, ни, тем более, в домах Остии, которые с большой верностью воспроизводят тип римской *insula*. Так что мы вынуждены заключить, что в многоэтажных зданиях Города хлеб и лепешки пекли на пламени небольшой печи, прочая пища томила на обогревателях, а для борьбы с холодом жильцы не располагали ничем, кроме жаровен. Многие из этих приспособлений были переносными или ставились на колесики. Некоторые были мастерски, с очаровательной выдумкой изготовлены из меди или бронзы. Но изящный аристократизм этого промышленного искусства ни в малой степени не возмещает несовершенс-

тво техники, на которой оно основывается, и ее малый радиус действия. Вознесенные на высоту жилища Города были в равной степени лишены как мягкого тепла, распространяемого вокруг радиаторами наших комнат, так и той радости, что лучится и мерцает в огне очага. Кроме того, подчас им угрожали коварные нападения вредоносных газов, нередко появлялся дым, которого не удавалось избежать продолжительным высушиванием и даже предварительным выжигом горючих материалов (*ligna coctilia, acapna*)*. Так что в холода — к счастью, редкие — неблагоприятного времени года обитатели Древнего Рима могли отогреть застывшие пальцы исключительно над углями жаровен²⁷.

Не лучше обстояло дело и с обеспеченностью *insula* водой. Как правило, люди убеждены в противном, но они забывают, что организация притока воды за счет государства мыслилась римлянами исключительно в качестве общественной службы: из нее был изначально исключен частный интерес и при империи, как говорит Фронтин, она продолжала функционировать *ad usum populi*, то есть для общественного блага, не принимая в расчет потребности частных лиц. Вспоминаются 14 акведуков, приведших в Рим воду апеннинских источников, так что, по подсчетам Ланчиани, сюда ежедневно подавали миллиард литров. Вода эта поступала в 247 водонапорных башен, *castella*, где она отстаивалась, и в фонтаны, которые некогда, как и теперь, наполняли Город своим журчанием и бликами света, а потом в те большие свинцовые трубы, которые отводили в частные жилища воду, поступающую по акведукам и взятую из фонтанов. Так что широко распространено убеждение, что дома в Риме, подобно нашим, имели водопровод. Однако ничего подобного. Начнем с того, что надо было дожидаться принципата Траяна и ввода в строй 24 июня 109 года²⁸ акведука, названного в честь этого императора *aqua Traiana*, чтобы вода из источников была проведена в правобережные кварталы Тибра, которым прежде приходилось удовлетворяться своими колодцами. Далее, даже на левом берегу присоединяться

* Букв. «обожженные» дрова, второе выражение — «бездымные» (*gr.*).

с разрешения императора к *castella* его акведуков было разрешено исключительно в индивидуальном порядке, причем делать это могли лишь собственники земли при условии уплаты сборов. И по крайней мере до начала II века эти обременяющие концессии могли быть отозваны и самым жестоким образом отменены властями уже вечером в день смерти концессионера. И наконец, всего важнее, как представляется, эти частные отводки повсюду ограничивались первыми этажами, которые, как правило, избирали в качестве жилища состоятельные люди, обитавшие в доходных домах. Так, например, в колонии Остии, которая, однако, в подражание соседнему Риму располагала акведуком, муниципальной канализацией и частными водопроводами, до сих пор не обнаружено разводящих стояков, которые позволили бы подводить воду из источника на этажи. И, к какой бы эпохе ни относились соответствующие тексты, все они свидетельствуют о том, что их и не могло там быть. Уже в комедиях Плавта хозяин дома следит за тем, чтобы прислуга ежедневно наполнила 8—9 кувшинов (*dolia*) из бронзы или глины, которые он постоянно держит про запас²⁹. Во времена империи Марциал против желания остается зависим от ручного насоса с изогнутой ручкой, который украшает двор его дома³⁰. «Сатиры» Ювенала говорят о носильщиках воды (*aquarii*) как о самой презренной разновидности рабов³¹. У юристов первой половины III века н. э. они остаются столь необходимыми для коллективной жизни всякого многоэтажного здания, что составляют с ним, так сказать, единое целое и вместе с домовыми привратниками (*ostiarii*) и дворниками (*zetarii**) переходят к тому, кому достается дом³². Павел, префект претория, не упустил в инструкциях префекту городской стражи напомнить этому командиру римских пожарных, что в его обязанности входит извещать квартиросъемщиков, что в их квартирах постоянно должна иметься наготове вода, которой можно было бы потушить пожар, если он начнется: *ut aquam unusquisque inquilinus in cenaculo habeat iubetur admonere*³³.

* Редкое слово, встречающееся лишь в данном месте у Павла. Более распространенный вариант — *diaetarius*.

Очевидно, если бы римлянам императорской эпохи было довольно, как нашим современникам, повернуть кран, чтобы вода потекла в раковину, такая рекомендация была бы излишней. Уже тот факт, что Павел ее дал, показывает, что, за несколькими исключениями, повторим еще раз, вода из акведуков поступала только на первый этаж *insulae*. Квартиросъемщики верхних *senacula* должны были идти за ней к ближайшему фонтану; уже одно это принуждение, тем более тягостное, что *senacula* помещалась наверху, еще усложняло, в той мере, в какой они приближались к крыше, поддержание чистоты и мешало мытью, которое было особенно необходимо стенам и полам общедоступных квартир последних *contignationes*, то есть этажей. Следует также признать, что без мытья со щедрым расходом воды многие квартиры в римских *insulae* были подвержены зарастанию грязью и просто обречены на то, чтобы в конце концов пасть ее жертвой в условиях отсутствия системы канализации, существовавшей лишь в излишне оптимистических археологических прогнозах.

Я далек от того, чтобы скупиться на слова восхищения, которых достойна сеть сточных труб, сбрасывавших в Тибр городские нечистоты. Начатая в VI веке до н. э., постоянно поддерживаемая и улучшаемая при республике и империи, она была задумана и исполнена с таким грандиозным размахом, что на некоторых участках по ней без труда проезжали возы с сеном, а Агриппа, внесший, быть может, наибольший вклад в улучшение ее исполнения и гигиены, влив в нее, сразу через семь канализаций, излишки акведуков, с легкостью смог проплыть по ней в лодке от начала и до конца. Более того, поскольку она была возведена так прочно, наиболее обширная, а также и наиболее древняя из этих труб, та самая *cloaca maxima*, которая, начинаясь от Форума у подножия Авентина, стала ее центральным коллектором, до сих пор, и всякий может видеть это, выходит в реку на уровне Понте Ротто, неизменно закругляя, как во времена царей, произведением которой принято считать по традиции, свою полуциркулярную арку диаметром в 5 метров. За протекшие 2500 лет время мало сказалось на ее высеченных из туфа клин-

чатых камнях, только покрыв их патиной. Это величественный шедевр, в который, наряду с опытом, накопленным этрусками в ходе осушения болот, внесли свой вклад отвага и терпение римского народа. И в том ее виде, в каком она просуществовала до нашего времени, она служит к чести античности. Однако нельзя отрицать, что древние, при всей своей отваге, необходимой для такого предприятия, при всем терпении, потребном для его исполнения, не располагали умениями, достаточными для того, чтобы воспользоваться им так, как на их месте сделали бы это мы. Они не извлекли из своей канализации того вклада, который она могла внести в чистоту их города, в оздоровление и благопристойность его обитателей.

Если этот труд был весьма полезен римлянам при удалении нечистот с первого этажа, а также из общественных уборных, установленных непосредственно над трассой, очевидно, что они не предпринимали никаких попыток соединить канализацию с частными уборными в *senacula*. В Помпеях лишь крайне малое число уборных на верхнем этаже могло сбрасывать свои нечистоты в канализацию, будь то через стоки, объединявшие их с нижними, или через специальную систему разводки. В 1910 году мне, кажется, удалось заметить в двух или трех помещениях квартала доков в Остии канализационные трубы³⁴. Нет, однако, ничего более ненадежного, чем предложенное мной тогда истолкование этих цилиндров из щебня (да еще слишком грубого, так что их следует возводить к достаточно поздней эпохе), которые жмутся в углу *taberna* и связаны с поверхностью через выложенную из кладки муфту, тоже довольно примитивную по конструкции. Поскольку никаких раскопок в глубину не проводилось, мы не можем утверждать, что трубы доходили досюда. А так как верхняя часть стен этого квартала обвалилась, мы даже не можем быть уверены в том, что они поднимались выше антресолей *taberna*. И наконец, поскольку трубы отсутствовали как в наиболее значительных *insulae* Остии, так и среди развалин, исследованных до настоящего момента в Риме, нам приходится ориентироваться на мнение аббата Тедена, который

вот уже 35 лет назад заявил без околичностей, что клоаки Города никогда не соединялись с квартирами его *insulae*. Канализация римского дома — это всего лишь миф, порожденный снисходительным воображением современных людей, и из всех бед, тяготевших над Городом, современный человек, вне всякого сомнения, с наибольшим отвращением отверг бы именно эту.

Что до наиболее богатых, то они, разумеется, были от всего этого избавлены. Если они обитали в собственном особняке, они были вполне в состоянии оборудовать уборную на уровне земли. Вода из акведуков поступала сюда, и, в крайнем случае, если усадьба была слишком удалена от сточной сети, чтобы отвести нечистоты в нее, они попадали в вырытую снизу яму (которая, впрочем, как та, что была раскопана в 1892 году близ Сан-Пьетро ин Винколи, могла быть недостаточно глубокой и изолированной), между тем как торговцы удобрениями приобрели (несомненно, при Веспасиане) право на откачку из нее нечистот. Если баловни судьбы обитали в *insula*, они располагали средствами снять первый этаж, который предоставлял им те же преимущества и в силу этого факта также назывался *domus*. Однако беднякам приходилось отшагать немалое расстояние. Как бы то ни было, им приходилось выходить из квартиры. В случае, если им не нужно было экономить на этой незначительной статье расходов, они отправлялись, платя за вход, в одну из общественных уборных, которыми управляли откупщики налогов, *conductores foricarum**. Уже сама многочисленность этих заведений, о которой говорят списки «Регионариев», является указанием на значительное число пользовавшихся ими людей. В Риме Траяна, как и в столь многих наших отставших от времени деревнях, громадное большинство частных лиц располагают исключительно общественными туалетами. Однако дальше этого сравнение не заходит. Уборные Древнего Рима, стоит только нам припомнить примеры из Помпей, Тимгада, Остии, а также самого Рима — ту *forica*, расположенную на пересечении Форума и форума Юлия, о которой я уже упоминал и которая отапливалась зимой гипокаустом, — поражают нас необычностью сразу в

* Арендаторы общественных уборных.

двух отношениях. Эти уборные публичные в полном смысле этого слова, как солдатское отхожее место на фронте. Здесь люди, нисколько не стыдясь, встречаются, болтают, приглашают друг друга на обед³⁵. Между тем уборные эти были наделены излишествами, без которых мы вполне обходимся, и украшены с роскошью, к которой мы здесь не привыкли. Вокруг изящного описываемого уборной полукруга или прямоугольника по желобам, перед которыми размещалось примерно двадцать сидений, безостановочно бежала вода. Сиденья были из мрамора, и доска с отверстием в ней была вставлена между резными консолями в форме дельфинов, которые могли служить как подлокотником, так и разделителями*. Над сиденьями в нишах нередко помещались статуи героев или богов, как на Палатине, или алтарь Фортуны, богини, которая приносит здоровье и дает счастье, как в Остии³⁶. Нередко бывало также, что помещение оживляли водные затеи, как в Тимгаде.

Признаемся честно: мы сбиты с толку этим ошеломляющим соединением изящества и грубости; нас смущает как пышность и привлекательность украшения, так и поразительная непринужденность действующих лиц. Поневоле то же самое пришло мне в голову в медресе XV века в Фесе, уборные в котором, также неразгороженные, чтобы вместить сразу целую толпу, отделаны превосходной работы стуком и перекрыты кружевным потолком из кедрового дерева. Мы вдруг испытываем чувство, что Рим, где даже уборные императорского дворца Августа, украшенные и величественные, как святилище под куполом, имели три расположенных бок о бок сиденья, что этот мистический и одновременно приземленный Рим, художественный и плотский, ушел от нас прочь, чтобы достичь, без всякого смущения и стыда, самого Магриба в эпоху Маринидов**.

Общественные уборные не посещали ни скряги, ни бедняки. Первым была невыносима сама мысль о том, чтобы отдать откупщикам *forica* хотя бы один асс.

* Описывается прекрасно сохранившаяся уборная в Тимгаде (Алжир, римское название *Colonia Marciana Traiana Thamugas*).

** Мариниды – берберская династия из племени бану марин, правившая в Марокко в 1269–1465 годах.

Они предпочитали обходиться намеренно выщербленными кувшинами, которые выставил сосед-сукновал, купивший у Веспасиана за лишенный всякого запаха налог* позволение разместить эти кувшины перед своей мастерской, чтобы их даром наполняли мочой, необходимой для его производства. А еще те, кто предпочитал ничего не платить, спускались с этажей, чтобы опорожнить свои горшки (*lasana*) и кресла с отверстием (*sellae pertusae*) в чан или *dolium* — бочку, стоящую под лестничной клеткой³⁷. В случае же, если в такой возможности им было отказано хозяином *insula*, они отправлялись к расположенной неподалеку навозной куче. Ибо в Риме императоров, как в какой-нибудь загаженной деревушке, было немало улиц, провонявших благодаря одной из тех выгребных ям (*lacus*), которые распорядился облицевать камнем Катон Старший в то же самое время, когда он чистил клоаки и прятал их под Авентин**. Не исчезли они и в век Цицерона и Цезаря: Лукреций упоминает их в своей поэме «О природе вещей». Два столетиями позже, при Траяне, они все еще никуда не делись, и можно было видеть, как сюда проскальзывали, как злодейки, женщины, собравшиеся избавиться от своего потомства. Находясь под защитой варварского закона, они выставляли своих новорожденных здесь, а почтенные матроны, удрученные своим бесплодием, тайком спешили забрать подброшенных детей и так, обманным путем, удовлетворить желание доверчивых мужей сделаться отцами³⁸.

Впрочем, попадались и такие бедолаги, которые считали, что эти выгребная яма слишком далеко, а

* Намек на слова «деньги не пахнут», которыми император ответил сыну Титу на упрек за введение налога на уборные.

** Невозможно в данном случае согласиться с автором: в Древнем Риме словом *lacus* обозначали не выгребные ямы, но, напротив, резервуары с чистой водой. Достаточно проконсультиться с любимым Ж. Каркопино словарем Даремберга–Сальо и с энциклопедией классической древности Паули–Виссова (статья *lacus*). Не имеет отношение к выгребной яме и изначально, видимо, более древнее значение слова *lacus*: неглубокий приемок в крестьянской кладовой для временного размещения раздавленных оливок винограда, а также приусадебный крестьянский пруд.

лестница чересчур крута, и, в целях экономии усилий, выливали содержимое своих ночных ваз в окно на улицу. Тем хуже для тех, кто прогуливался в это время по улице, попадая под эти прискорбные траектории! Запачканные или даже изувеченные, как в сатире Ювенала³⁹, они вынуждены были подавать жалобы на неизвестного, и во многих текстах «Дигест» классические юристы ничуть не гнушались тем, чтобы охарактеризовать эти правонарушения, передать дело в суд, найти виновных и определить шкалу возмещений, которые должны быть выплачены пострадавшим. Ульпиан, желая лучше определить виновных, дает классификацию гипотез. «Если, — говорит он, — квартира (*cenaculum*) разделена между несколькими обитателями, иск будет иметь силу только против того из них, который проживает в той части квартиры, из которой была выплеснута жидкость. Если арендатор заявляет, что сдает жилье в субаренду (*cenacularium exercens*), но на деле оставляет пользование большей частью квартиры за собой, ответственным будет считаться он один. Если же, напротив, арендатор, который заявляет, что сдает жилье в субаренду, оставляет в свое пользование лишь незначительное помещение, он и его субарендаторы будут нести солидарную ответственность. То же самое будет и в том случае, если удар или бросок были осуществлены с балкона». Впрочем, однако, Ульпиан не исключает ответственности индивидуальной, которую удалось установить в ходе расследования, и предлагает претору, который решает дело по совести, определить меру ответственности в соответствии с тяжестью ущерба. Например, «если вследствие падения какого-то из этих летящих предметов, упавших с дома, тело свободного мужчины претерпит ущерб, судья должен будет присудить потерпевшему, помимо возмещения вознаграждения врачу и прочих расходов, понесенных ради исцеления, ту сумму вознаграждения за труд, которой он оказался лишен по причине наступившей по этой причине неспособности трудиться»⁴⁰. Мудрые предписания, которыми, как можно полагать, вдохновлялись наши правовые нормы в отношении несчастных

случаев, однако на деле до конца они за ними не последовали, поскольку заканчивает Ульпиан таким ограничением, которое, допусти его наши суды, очень быстро свело бы на нет клиентуру клиник эстетической хирургии. Между тем именно в данное ограничение перевел Ульпиан своим простым невозмутимым языком одушевлявшие его чувства относительно человека. «Что до шрамов и обезображивания, которые могли последовать в результате этих ранений, то никакой их оценки производиться не будет, поскольку тело свободного человека цены не имеет».

Последнее замечание, редкостное по своей нравственной возвышенности, вздымается словно благоуханный цветок над вонючей трясиной. Оно еще более усугубляет то замешательство, в которое погружает нас зрелище, проступающее на основе многочисленных тонких анализов юристов. Ведь наши большие города также омрачены нищетой, запачканы грязью трущоб, обесчещены пороками, которые порождают. Однако, на счастье, проказа, которая их пожирает, локализована и, как правило, не покидает пределов злочных районов. Между тем может возникнуть впечатление, что Бэбитт и Сохо* простирались на все районы императорского Рима. Едва ли не повсюду в Городе *insulae* принадлежали собственникам, желавшим избавиться от докучных забот прямого управления и в обмен на уплату аренды, равной по крайней мере стоимости аренды *domus* на первом этаже, сдавали квартиры на верхних этажах настоящему предпринимателю по эксплуатации *senacula* — на пять лет. Нельзя сказать, чтобы дело это было таким уж верным. Ему приходилось содержать помещения, вербовать и размещать постояльцев, поддерживать среди них мир и, в условиях годовой аренды, получать плату ежеквартально. Естественно, он компенсировал свои хлопоты и риск чудовищной нормой прибыли. Стремительный рост арендной платы — тема вечных lamentаций в римской литературе. В 153 году до н. э. они были уже столь запредельными, что одному царю в изгнании приходилось делить квартиру с художни-

* Злочные районы Лондона в первой половине XX века.

ком, чтобы не быть выселенным*. Во времена Цезаря самые невзрачные квартиры подорожали до 2 тысяч сестерциев, что равно 2 тысячам франков Пуанкаре или 400 довоенным франкам. В эпоху Домициана и Траяна за деньги, которые вносились за одну из них, вполне можно было купить в полную собственность жизнерадостное и незагаженное поместье в Соре или Фросиноне**⁴¹. Дело дошло до того, что, измученные этим тяжким бременем, субарендаторы основного квартиросъемщика были почти повсюду вынуждены, дабы получить облегчение, в свою очередь пересдавать те комнаты своих *cenaculum*, без которых хоть как-то могли обойтись.

И так едва ли не повсюду: чем больше лезли вверх арендные платежи, тем тягостней становилась скученность, а несносная близость — поистине позорной. Если первый этаж был поделен на много *tabernae*, их наполняли ремесленники, розничные торговцы, трактирщики, наподобие описанного у Петрония *deversitor**** в *insula*⁴². Если первый этаж был отдан для жилья одному-единственному привилегированному постояльцу, его попросту обслуживала прислуга хозяина *domus*. Но, как бы то ни было, сверху оставались еще квартиры, в которых мало-помалу усиливалось людское кишение, копился всякий сброд, где рушились судьбы целых семей, постепенно накапливались пыль, хлам, нечистоты и где, наконец, бегали полчища клопов, которых пришлось вплотную созерцать на черной от насекомых стене одному из испорченных юношей, персонажу «Сатирикона», когда он прятался под кроватью. И едва ли не повсюду — причем неважно, идет ли речь об элегантных *domus* или об *insulae*, этих караван-сараях, чудовищно пестрое население которых нуждалось для поддержа-

* Вообще-то (об этом рассказывается в указанном в примечании месте из Диодора) изгнанный царь Птолемей просто нашел приют у пейзажиста Деметрия, которого некогда гостеприимно встречал в Александрии.

** Упоминаемые Ювеналом местечки в 70–90 километрах восточнее Рима.

*** Постоялец или хозяин мебелированных комнат (*Oxford Latin Dictionary*).

ния порядка в целой армии рабов и привратников под командой рабского управляющего, жилые дома Города, весьма нечасто расставленные вдоль проспектов, належали друг на друга в лабиринте более или менее узких, извилистых и темных подъемов, улиц и переулков, где мрамор дворцов блистал в тени разбойничьего вертепа.

Римские улицы и движение по ним

Разумеется, будь у нас возможность, взмахнув волшебной палочкой, распутать неразбериху римских улиц и вытянуть их в одну линию⁴³, их общее протяжение, измеренное и сосчитанное Веспасианом и Титом в бытность их цензорами в 73 году н. э., составило бы 60 тысяч шагов, что равно приблизительно 85 километрам*. Плиний Старший, движимый гордостью в связи с созерцанием этой бесконечной протяженности, сравнивает с ней высоту зданий, помещенных вдоль этого пути, чтобы тут же заявить, что во всем античном мире не отыскать города, который мог бы по величию сравниться с Римом⁴⁴. На деле, однако, речь здесь идет всего только о количественном размахе и о том, что образующие его части не отрываются от связи друг с другом. Прежде всего, вместо того чтобы быть упорядоченной в той воображаемой перспективе, прямую линию которой представил Плиний на своем пергаменте, пропускная способность сети римских улиц рассасывалась на местности в тончайшую сеть, сплетения которой невозможно распутать и упорядочить; сама же громадность зданий, оплетенных этой сетью, еще более усугубляла все неудобства.

Действительно, именно к беспорядку, который царил среди этих стиснутых, извилистых, постоянно петляющих путей, словно их проводили через массу громадных *insulae* без линейки, возводит Тацит легкость и стремительность, с которыми распространялся по Риму ужасный пожар 64 года н. э.⁴⁵ И хотя Нерон, для

* Имеются в виду «пары шагов», которыми мерили расстояние римляне. Слово мила (*mille*) означает буквально «тысяча» (то есть шагов, *mille passuum*, как обозначали ее в Риме).

которого этот урок не пропал даром, вознамерился вновь отстроить уничтоженные огнем *insulae* по более разумному плану, с более правильными шеренгами домов и более широкими просветами между домами, по сути ему это не удалось. В общем и целом, до самого конца империи улицы Рима образовывали скорее хаотическое нагромождение, нежели сколько-то стройную систему. Они никогда не рвали связи со своими отдаленными корнями, продолжая сохранять верность старинным градациям, лежавшими в основе их — тогда еще деревенского — возникновения: тропы, по которым могли передвигаться только пешеходы (*itinerata*); подъезды, которыми могли пользоваться повозки в один ряд (*actus*); и, наконец, такие дороги, на которых могли разъехаться или обогнать друг друга две повозки, *viae* в собственном смысле слова.

Среди бесчисленного множества улиц Рима в пределах древних стен периода республики только две могли претендовать на имя *via* — а именно *via Sacra* и *via Nova*, пересекавшие Форум или шедшие вдоль него, притом что их невзрачность не перестает нас поражать. Еще приблизительно двадцать улиц между воротами крепостных стен и внешним периметром 14 районов также были достойны того же названия. Это дороги, которые расходились из Рима по Италии: *виа Аппиа*, *виа Латина*, *виа Остиа*, *виа Лабикана* и др. Они имели в ширину от 4,8 до 6,5 метра, что доказывает их значительное расширение с тех пор, как во времена законов XII таблиц их максимальная ширина ограничивалась 16 футами, что равно 4,8 метра. Большая же часть прочих, то есть улицы в собственном смысле этого слова, едва достигали последнего показателя ширины, а некоторые из них и от него отставали, оставаясь простыми проходами (*angiportus*) или тропинками (*semitae*), ширина которых была предписана в 10 футов (2,9 метра), чтобы собственник придорожного дома мог получить разрешение пристраивать на верхних этажах балконы⁴⁶. Узость их усугублялась тем, что они делали еще больше извивов, потому что на «семи холмах» им приходилось взбегать или спускаться по весьма крутым склонам, откуда и происходит слово *clivi*,

«спуски», присвоенное многим из них: *clivus Capitolinus*, *clivus Argentarius** и т. д. Наконец, ежедневно загрязняемые отбросами из прилегающих домов⁴⁷, они не содержались в том хорошем состоянии, что предписал им Цезарь в законе, вышедшем после его смерти, а кроме того, вовсе не всегда были снабжены тротуарами и мостовой, которые тогда же попытался им навязать диктатор.

Стоит перечитать этот знаменитый текст, вырезанный на бронзе Гераклеийской таблицы. Угрожающим тоном предписывает Цезарь собственникам недвижимости, чьи строения выходят на общественную улицу, чистить ее перед входом и вдоль стен, а тому эдилу, к чьему ведению относится их квартал, — компенсировать их возможное бездействие тем, чтобы через подрядчика, назначенного в обыкновенной для государственных торгов форме, распределить необходимые в связи с этим работы за цену, определенную заранее на аукционе. Еще закон определял, что нарушители должны будут уплатить эти суммы и штраф за малейшую задержку с выплатой половины причитающейся суммы. Тон распоряжения повелительный по тону, кары безжалостны. Однако, как ни искусно был задуман этот механизм, вся связанная с ним процедура приводила к задержкам по крайней мере на 10 дней, которые должны были сделать его неэффективным в большей части случаев, и всякий согласится, что усиленные бригады дворников и мусорщиков, которых бы непосредственно нанимали и направляли эдилы, решили бы дело быстрее и качественнее. Вот только никаких свидетельств их существования у нас нет, и сама идея, чтобы при таких обстоятельствах государство могло уступить свой авторитет и ответственность частным лицам, не могла прийти в голову римлянину, будь он даже наделен гением Юлия Цезаря. Так что в отсутствие соответствующих служб магистраты никогда не были в состоянии, несмотря на всю свою бдительность и рвение, обеспечить улицам императорского Рима такую чистоту, которая присуща нашим улицам.

Точно так же, сколько я могу судить, им не удалось распространить по всему Городу и тротуары (*margines*,

* Букв. Капитолийский спуск, Меняльный спуск.

crepidines) или даже мостовую (*sternendae viae*), которыми Цезарь еще давно желал обеспечить улицы. Археологи, которые думают иначе, всерьез указывают на широкие мостовые италийских дорог, не вспоминая при этом, что мощение Аппиевой дороги в 312 году до н. э. на 65 лет опередило введение мостовых на *Clivus Publicius** в пределах республиканских стен⁴⁸. Еще они ссылаются на пример Помпей, забывая при этом, насколько обманчива эта аналогия. В самом деле, к *vici* она приложима не больше, чем к *insulae* Города. Если бы улицы императорского Рима были замощены настолько, насколько предполагают некоторые, претору Флавиев, о котором говорит Марциал, не приходилось бы, проходя по ним, «идти прямо по грязи»⁴⁹, и Ювенал тоже не увязал бы в ней. Что до тротуаров, то невозможно, чтобы они были проложены вдоль улиц, которым угрожало быть погребенными под лавиной выносных прилавок и лотков, не будь издан указ Домициана, который славит следующая эпитаграмма: «Благодаря ему, мы больше не видим столбов, окруженных привязанными к ним бутылками. Нет больше харчевен, которые спускаются на общественные проезды. Бродобрей, кабатчик, торговец жареным мясом, мясник не вылезают больше за порог. Наконец-то виден Рим, бывший некогда всего лишь большим прилавком»⁵⁰.

Имел ли продолжительное действие тот указ, о котором идет здесь речь? В этом приходится сомневаться. Как бы то ни было, уход лотков с улиц, которого, возможно, не могла добиться деспотическая воля императора в дневное время, естественным образом наступал ночью. В самом деле, вот одна из особенностей, более всего отличавших императорский Рим от современных столиц: его улицы, когда на небе не было луны, погружались в глубочайшую тьму. Не было никаких масляных фонарей или свечей в канделябрах на стенах⁵¹, никаких ламп, подвешенных к дверным косякам, кроме тех исключительных иллюминаций, внезапно, как выражение всеобщего ликования, озарявших Рим по случаю празднования нежданного события, как, например, в тот вечер, когда Цицерон избавил сограж-

* Публициевый спуск, который вел на Авентинский холм.

дан от пагубы катилинариев. В обычное же время ночь падает на Город, как тень некой опасности — смутной, коварной и грозной. Всяк направляется к себе домой и там затворяется и укрепляется наглухо. Все лавки вымирают, за створками дверей пропускают охранные цепи, ставни в квартирах также запирают, а цветочные горшки убирают с окон, которые они украшали⁵².

Богатые, если им приходится выйти из дома, чтобы осветить и защитить свое передвижение, берут в провожатые рабов с факелами. Другие не слишком-то надеются на ночные обходы (*sebaciaria**), предпринимаемые несущими большие свечи отрядами стражей сектора (слишком большого, чтобы одновременно можно было наблюдать за ним целиком) из двух районов, который выпадает на каждую из семи когорт. Решаясь выйти, они испытывают неясные опасения и внутреннее нерасположение. Упрек в небрежности навлечет на себя всякий, кто отправляется ужинать, не составив прежде завещания, — вздыхает Ювенал. И если сатирик несколько грешит против истины, утверждая, что современный ему Рим был менее безопасен, чем Куриный лес или Помптинские болота⁵³, достаточно перелистать «Дигесты», чтобы найти здесь места, обязывающие префекта стражей преследовать убийц (*sicarii*), взломщиков (*effractores*), грабителей всякого рода (*raptores*), изобилующих в Городе, чтобы согласиться, что на его погруженных во тьму *vici*, где во времена Суллы нашел смерть Росций Америкский, возвращавшийся с обеда, «следовало опасаться множества бед». Впрочем, все выглядело не столь трагично, хотя ночной прохожий рисковал подвергнуть себя смерти или по крайней мере заражению «всякий раз, как над ним отворялись окна, за которыми еще не спали». Еще менее серьезной представлялась история бедных героев романа Петрония, которые после того, как они задержались и очень поздно вышли из-за стола Тримальхиона, за отсутствием ламп сбились с пути, так что в этом лабиринте улиц без указателей, без номеров и света им удалось отыскать свое жилище лишь с наступлением дня⁵⁴.

* Редкое слово, субстантивированное прилагательное, происходящее от *sebacium* — сальная свеча.

Над всем движением в Городе довлела эта противоположность дня и ночи. Пока стоял день, повсюду царили оживление, беспорядочная толкотня, адский гомон. В *tabernae* полно народу с тех самых пор, как их открывают и удлиняют выставленными наружу лотками. Здесь же, прямо посреди проезжей части бреют своих клиентов брадобреи. Здесь идут разносчики из Трастевере, меняя на стекляшки свои пакетики с пропитанными серой спичками. Там — трактирщики, охрипшие из-за того, что им приходится зазывать глухих ко всем призывам клиентов, выставляют на обозрение дымящиеся колбасы в горячих кастрюлях. Тут же, прямо на улице, надсаживают горло школьный учитель и его ученики. С одной стороны меняла звенит на нечистом столе своими запасами монет с портретом Нерона, с другой — золотобит, работающий с золотым песком, сдвоенными ударами постукивает блестящей киянкой по выдавшему виды камню. На перекрестке зеваки, собравшиеся в кружок вокруг заклинателя змей, выражают ему восклицаниями свое восхищение. Повсюду звучат молотки медников и голоса нищих, заливающихся на все лады, пытаясь разжалобить прохожих именем Беллоны или скорее воспоминаниями о своих полных перипетий бедствиях. Прохожие же продолжают течь непрерывным потоком, и даже те препятствия, которые они встречают на пути, не могут помешать этой толпе разлиться половодьем. Весь без исключения город вывалил наружу, люди прут и прут, крича и толкаясь, по солнцу или в тени⁵⁵. За пятнадцать веков до «Парижских невзгод», в которых упражнялось остроумие Буало*, невзгоды античного Рима служили пищей остроумию Ювенала.

Ночью же можно было подумать, что люди эти растворились в пугливой тишине и кладбищенском покое. Вот только на смену им пришли другие. Шествие людей, которые бежали теперь в свои квартиры, волею Цезаря сменилось процессией вьючных животных, извозчиков и целых обозов. Действительно, диктатор понял, что на столь крутых, узких и оживленных улочках, как

* Сатира VI, написанная поэтом и критиком Н. Буало (1636—1711) в подражание III сатире Ювенала.

римские *vici*, движение экипажей, неизбежное в связи с удовлетворением потребностей сотен тысяч жителей, привело бы среди дня к мгновенной закупорке и было бы источником постоянной опасности. Этим и объясняются радикальные меры, на которые он пошел, что и знаменуется его посмертным законом. После восхода солнца и вплоть до самых сумерек перемещение экипажей внутри Города более не допускалось. Те, что вошли сюда в течение ночи и оказались застигнуты рассветом прежде отправления, имели право лишь на то, чтобы стоять пустыми. Это правило, впредь неотменимое, допускало лишь четыре исключения. Сначала перечислим три временных. На улицы допускались: в дни торжественных церемоний — экипажи весталок, царя священнодействий и фламинов; в дни триумфа — повозки, без которых нельзя было обойтись в процессии победы; в дни общественных игр — те повозки, которых требовали эти официальные празднования. Существовало, далее, постоянное исключение, данное на всем протяжении года возам предпринимателей, уничтожающих задыхающийся Город, чтобы перестроить его в более здоровом и красивом виде. Кроме этих случаев, определенных весьма точно, в Древнем Риме было разрешено передвигаться лишь пешеходам, верховым, обладателям носилок и портшезов. Так что неважно, идет ли речь о бедных похоронах, отправляющихся в путь с наступлением вечера, или о пышной погребальной процессии, начинающейся среди бела дня, будут ли впереди следовать флейтисты и рожечники, а позади — нескончаемая вереница родственников, друзей и наемных плакальщиц (*praeficae*). Мертвецы, помещенные в свой собственный гроб (*capulum*) или же положенные во взятый напрокат (*sandapila*), отправлялись к костру, где им предстояло быть сожженными, или к могиле, где их должны были предать земле, на простых носилках, которые несли на себе *vespillones*⁵⁶.

Зато с приближением ночи улицы Города уже на законных основаниях запруживал сплошной поток повозок всякого рода, чей шум заставлял сотрясаться окрестные дома. Ибо не следует полагать, что законодательство Цезаря едва его пережило, что раньше или

позже частные лица (поскольку так им было удобнее или приятнее жить) добились упразднения драконовских мер. Железная длань диктатора заставила прогнуться под своей тяжестью века, и императоры-преемники Цезаря так никогда и не освободили римлян от ограничений, которым он их жестко подчинил в жизненных интересах общества. Они, со своей стороны, только освящали их и делали еще строже. Клавдий распространил их из Города еще и на италийские муниципии, Марк Аврелий — на все города империи, без учета принятия ими статуса муниципиев; Адриан ограничил упряжки и груз телег, которым разрешалось проникать в Город⁵⁷; и, будь то в конце I века н. э. или уже во II веке, писатели отсылают нас исключительно к образу Рима, решительным образом цивилизованного Цезарем.

Так, например, у Марциала именно ночью экипажи сотрясают *insulae* грохотом своих колес, а Тибр отвечает крикам носильщиков и бурлаков эхом⁵⁸. У Ювенала этот нескончаемый поток и гул, который его сопровождает, обрекает римлян на бессонницу: «В какой съемной квартире можно спать? Проезд повозок через уличные повороты, ругательства погонщиков, которые не двигаются с места, лишили бы сна самого императора Клавдия и морскую корову». А посреди невыносимой дневной давки, на которую поэт обрушивается сразу вслед за этим, над пешеходной сутолокой мы наблюдаем лишь «покачивание либурнских носилок». Толпа, которая увлекает поэта за собой, движется пешком, в грубой, то и дело возобновляющейся вновь толчее. Толпа, которая идет впереди Ювенала, не дает ему идти быстрее; та, что за ним, наступает ему на пятки. Кто-то толкает его локтем; другой пихает брусом; третий бьет по голове метретой, бочкой емкостью 39 литров. Громадный башмак расплющивает его ступню. Гвоздь солдатского сапога застревает в большом пальце его ноги, и вот уже в лохмотьях его туника, которую придется чинить. Внезапно положение становится угрожающим. Появляется громадная телега, на которой раскачивается длинное бревно; потом еще одна, которая везет целую ель; а там и еще одна, груженная лигурийс-

ким мрамором. «Если сломается ось и вся эта гора, утратив равновесие, обрушится на прохожих, что останется от их бедных размозженных тел?»⁵⁹

Так что при Флавиях и Траяне, как и на полтора века раньше, после публикации указа Юлия Цезаря, единственными повозками, ездившими по Риму днем, были повозки предпринимателей. Закон великого усопшего все так же оставался в силе, и это постоянство знаменует оригинальную черту, которая гарантирует императорскому Риму совершенно особое место среди всех географических и исторических примеров. Без каких-либо усилий Город соединял в себе самые противоречивые моменты. Он без труда, естественно приспособлялся к самым различным формам прошлого и настоящего и, вроде бы склоняясь к сближению противоположностей, оставался по сути несравненным. Его претенциозные и непрочные дома взлетали на высоту, которую наши дома превосходят совсем ненамного, содержа в себе как современные, необычайной утонченности изыски, так и средневековую, достойную осмеяния из-за своего неудобства грубость. А теперь, в довершение всего, как раз эти улицы и сбивают нас с толку. Возникает впечатление, что разворачивающиеся здесь сцены заимствованы с рядов какого-то восточного базара. По ним шествует шумный и пестрый людской поток, подобный тому, с которым мы можем самым тесным образом соприкоснуться на площади Джемаа эль-Фна в Марракеше, они наполнены суматохой, которая, по нашим представлениям, несовместима с самой идеей цивилизации. И вдруг здесь возникает, чтобы в мгновение ока эти улицы изменить, повелительный и разумный порядок, объявленный разом и поддерживаемый из поколения в поколение, как знак той социальной дисциплинированности, которая компенсировала у римлян слабости их техники и в которой, для собственного спасения, пытается практиковаться современный Запад, задыхающийся под гнетом многообразия собственных открытий и неоднозначности прогресса.

Раздел второй

ДУХОВНАЯ СРЕДА

Подобно Городу, поразительными контрастами наполнено и общество, его населявшее. Его структура одновременно и строго иерархична, и откровенно демократична, помещая неприметный средний класс в промежуток между броской и шумно заявляющей о себе аристократией золотых мешков и анонимной пролетарской массой. Путь, пройденный римскими семействами, привел от строгого конформизма к ничем не стесненной свободе. Их сознание, напитанное достоинством культуры, однако лишенное поддержки истинной учености, разрывающееся между императивами аскетических учений и распущенностью крайней безнравственности, переходило от резко негативистской позиции эгоистического скептицизма к излипаниям и порывам полного восторженности мистицизма. Их элита то возвышалась до практики наиболее благороднейших добродетелей, то погружалась в миазмы самых низменных пороков. Точно так же, как бог Янус предлагает нам противоположность двух своих ликов, так и Рим Траяна, с нравственной точки зрения, предлагает нам картину то клоаки, в которую начинала погружаться античность, то возвышенного убежища, в котором ей удалось спасти и завершить чистый идеал, долженствовавший возродить цивилизацию.

Глава первая
Общество:
цензовые касты и власть денег

Эгалитарная иерархия и космополитизм

На первый взгляд римское общество оцетинилось шипами и разгородилось внутренними барьерами. В принципе люди, свободные от рождения, так называемые свободнорожденные, будь они гражданами Рима или других городов, уже в силу происхождения коренным образом отличались от толпы рабов, этих скотов в человеческом образе, лишенных прав, гарантий и личности, которые, как стадо, всецело зависели от произвола хозяина и уподоблялись скорее совокупности вещей, нежели группе живых существ: *res mancipi**. Далее, уже среди свободных людей прослеживается глубокое различие между римскими гражданами, которых защищает закон, и прочими, которых он порабощает. Наконец, сами римские граждане были выстроены вдоль лестницы общественной значимости, которая последовательно определяла уровень их притязаний.

На самой низшей ступени стояли люди скромные, *humiliores*, бедные представители плебса, не располагавшие капиталом, который можно было бы предъявить и

* Вещи, которые могли приобретаться и отчуждаться лишь по обряду манципации, специального обряда, носившего архаические черты. По манципации могли быть отчуждены земельные участки и недвижимость в городах, расположенных в Италии, рабы, тягловый и вьючный скот (быки, мулы, лошади, ослы), а также нематериальные права – сервитуты.

с которым бы следовало сколько-нибудь считаться, так что Плиний Младший, управлявший Вифинией в качестве легата Траяна, считал вполне логичным удалить их от муниципальных почестей. В Риме эти люди в случае малейшего проступка могли подвергнуться наказанию розгами, а за самое незначительное преступление их могла ожидать отправка на рудники, *ad metalla*, их могли бросить в цирк на съедение диким зверям или же распять. Над ними располагались «порядочные» люди, *bonestiores**, так сказать, буржуа той эпохи, которым владение по крайней мере 5 тысячами сестерциев (5 тысяч франков Пуанкаре или тысяча довоенных франков) доставляло почетное место и обеспечивало, в случае тяжкого проступка, наказания более мягкие и не столь позорные: изгнание, ссылка, конфискация имущества. Впрочем, люди эти подразделялись на несколько рядов, и самый низший среди них, бывший также и наиболее многочисленным, не мог претендовать на служение государству, то есть занимать хотя бы самую маленькую должность на службе у власти и, следовательно, не заслуживал прекрасного имени сословия, *ordo*.

Понятие *ordo* появляется лишь на еще более высокой ступени. Начинается оно с сословия всадников: входившие в него лица владели по крайней мере 400 тысяч сестерциев и получали от императора, заслужив его доверие, командование вспомогательными войсками и право занимать определенные гражданские должности, предназначенные для них: прокуратура по государственному имуществу и по сбору налогов, наместничество во второстепенных провинциях, таких, как Альпы и Мавретания, назначение, после Адриана, на различные посты в кабинете императора, а со времен Августа — отправление всех префектур, за исключением должностей в самом Городе. Наконец, на самый верх, в сословие сенаторов, попадали обладатели по меньшей мере миллиона сестерциев, становившиеся по воле императора командирами его легионов,

* «Именитый», «заслуженный», «благородный» в данном случае — как указание принадлежности к классу «имущих», то есть «не-пролетариев».

легатами и проконсулами наиболее важных провинций, начальниками важнейших служб Рима и жрецами при отправлении главных обрядов. Среди этих разных видов привилегированных лиц постепенно оформляются степени мудреной иерархии, а чтобы барьеры, их разделяющие, сразу бросались в глаза, Адриан снабдил каждую ступень указывающим на благородство титулом, который относился лишь к данной категории: звание выдающегося мужа (*vir egregius*) получали простые прокураторы; звание мужа в высшей степени совершенного (*vir perfectissimus*) — префекты, за исключением тех, что командовали преторием, звание которых «выдающийся муж» (*vir eminentissimus*) было восстановлено впоследствии в католической церкви для кардиналов. Наконец, имя светлейшего (*vir clarissimus**) было закреплено за сенаторами и их детьми.

Эта жесткая и точная система, чьи замысловатые комбинации предвещают хитросплетения «чинов», измышленные Петром Великим, и эквиваленты армейских званий и степеней Почетного легиона, введенные Наполеоном, создала в Риме, откуда выходили и куда возвращались служащие и должностные лица, своего рода ступенчатую пирамиду, на острие которой возвышался в заоблачной выси несравненный по величию принцепс.

В каком-то смысле, на что указывает уже само его звание, принцепс (*princeps****) является всего лишь первым лицом среди сената и народа. Однако — в ином смысле — это первенство подразумевает имеющуюся между ним и прочим человечеством разницу, причем не в степени, но в сущности. Ибо император, это воплощение закона и обладатель высшего авторитета, более близок богам, отпрыском которых он себя представ-

* Титул «светлейшего князя» остался в Европе Нового времени званием высшей категории князей.

** По-латыни «первый». В республиканскую эпоху — первый сенатор, отобранный цензором при пересмотре списков (см.: Тит Ливий, XXXIV, 44), старейшина из старейшин, высказывавшийся первым. Были «светлейшие» и в табели о рангах Константина Великого (4-й ранг). Заметим, что из слова «принцепс» со временем получился «принц» (по-русски — «князь»), а высший княжеский ранг, как сказано только что, — «светлейший».

ляет (и к которым, провозглашенный *divus*, Божественным, он вернется после смерти в результате апофеоза), чем к состоянию простых смертных, от которых его отделяет, после восшествия на престол, его священное свойство Августа. Даже притом что Траян пренебрежительно отверг претензии Домициана на то, чтобы его приветствовали двойным титулом господина и бога (*dominus et deus*), он не мог отмахнуться от культа, объектом которого был имперский гений в его личности и который служил связующим звеном для разнородной федерации полисов, образывавших, как на Востоке, так и на Западе, всемирную империю (*orbis romanus*). Так что ему пришлось смириться с тем, что его решения во всеуслышание объявлялись «небесными» теми людьми, чьим чаяниям они отвечали. Таким образом, на первый взгляд Рим представлялся застывшим миром, находившимся под властью теократической автократии и загнанным в бесчисленные подразделения косной организации.

Однако, если присмотреться повнимательнее, мы видим, что перегородки, разделявшие это общество, ни в коем случае не герметичны и что мощные эгалитарные течения никогда не переставали проноситься по нему, постоянно перемешивая и обновляя составные части общества, которое упорядочивается ими в отсутствие какой-либо изоляции. В конце концов даже сам императорский дом вынужден был им открыться. После того, как с Нероном угас род Юлиев, принципат перестал быть безраздельным уделом касты, предназначенной для него по рождению. При ярком блеске мечей в гражданскую войну 69 года стала явной самая заветная тайна власти, как об этом говорит Тацит*. Заключалась она в том, что власть дает не кровь Цезаря или Августа, но поддержка легионов. Веспасиан, бывший легатом на востоке, и Траян, легат в Германии, оказались вознесенными на самую вершину власти, первый — одобрительными возгласами своих войск, а второй — по причине страха, который внушала его армия и той уверенности, которую, в свою очередь, внушал армии он сам. И тот и другой возвысились до божественности потому, что

* «История», I, 4.

еще заранее овладели располагавшими властью командными высотами — в отличие от Калигулы, Клавдия и Нерона, приходивших к власти благодаря божественности их династии. Легионеры, провозгласившие императором Веспасиана, и сенаторы, принудившие Нерву усыновить в лице Траяна начальника рейнских рубежей, произвели настоящую революцию. И после нее точно так же, как принято было говорить, что всякий капрал Великой армии носит в своем ранце маршальский жезл, в Риме возникло предчувствие того, что всякому военачальнику по плечу в один прекрасный день увенчаться короной в результате последнего и наиболее радикального повышения по службе, которого мог удостоиться лучший из римских военных.

Так что не следует удивляться тому, что по мере того как это представление о заслугах и возвышении впервые прикладывалось к императорскому суверенитету, оно проникало во все тело империи и в нем обращалось, дабы его оживить и влить в него новые силы. Благодаря ему стали завязываться самые различные отношения между народами и классами — с тем чтобы их раскрыть, сблизить и сплавить в единое целое. По мере того как *ius gentium*, то есть право чужеземных народов, соотнобразовывается с *ius civile*, то есть правом римских граждан, и, с другой стороны, *ius civile*, под воздействием философии, все больше ориентируется на естественное право, *ius naturale*, сокращается разрыв между римлянином и чужестранцем, между гражданином и перегрином*. Причем всякий раз наблюдается новый прилив перегринов в Город — будь то в результате индивидуальных привилегий и отпуска рабов на свободу или же массового принятия в гражданство, разом распространяющегося на большие группы населения, например, на

* Перегрин — промежуточное состояние между римским гражданином и чужестранцем: они были лишены права пользоваться *ius civile*, однако могли завязывать с гражданами юридические отношения, признаваемые и тем особым правопорядком, каким является *ius gentium*. Существовало несколько категорий перегринов. В основном это были члены покоренных Римом общин (*civitates*), сохранивших свое, так сказать, «юридическое лицо» и с ним — собственное право, а также члены общин, распущенных римлянами за чрезмерно упорное (по мнению римлян, разумеется) сопротивление.

класс демобилизованных воинов, служивших во вспомогательных отрядах, или на муниципальную общину, превратившуюся в колонию с почетным статусом. Никогда еще космополитический характер Города не оказывался выраженным с большей рельефностью. По всем социальным параметрам римляне в собственном значении этого слова оказались похороненными — причем не только волной иммиграции из самой Италии, но и множеством выходцев из провинций, прибывавших со своими особенностями, нравами и предрассудками из всех областей обитаемого мира.

Тогда-то Ювенал и ополчается на этот бурный грязевый поток, выплеснувшийся из Оронта в Тибр. Однако сирийцы, которых он так презирает, облачаются в маску нормального римского гражданина. Между тем даже те, кто так и пышет ксенофобией, сами — в большей или меньшей степени-чужаки в Городе, который они желали бы защитить от новых вторжений. Ювенал — всего лишь кампанец или, иначе говоря, усмиренный гэрник*. Из своего дома на Грушевой улице** на Квиринале Марциал вздыхает по Бильбилису, своей «малой родине», находившейся в Арагоне. Как в Риме, так и в своих лаврентийской вилле или тосканском поместье, Плиний Младший хранит верность родной Цизальпинской Галлии, тому дальнему, всегда присутствующему в его сердце Комо, который он украсит от своих щедрот. Теперь в курии собираются сенаторы, родившиеся в Галлии, Испании, Африке и Азии; а римские императоры происходят из городов и селений, находящихся за горами и морями, получивших права гражданства более или менее недавно. Траян и Адриан — выходцы из Италики в Бетике***. Антонин Пий родился в зажиточной мещанской семье в Немаусе (теперешний Ним), в Нарбонской Галлии. А в конце II века можно будет увидеть, что империю делят между собой цезарь Клодий Альбин из Гадрумета (ныне Сус в Тунисе) и август Септимий Север из

* Племя гэрников обитало в Лации и, возможно, относилось к самнитам. Сам Ювенал был родом из Аквина в Кампании.

** Как пишет сам Марциал (I, 117, б), родившийся в Бильбилисе в Испании, в Риме он жил на улице «*ad Pira*», то есть «у груши».

*** Провинция на юге Испании.

Лептис-Магны в Триполитании, который, по рассказам его биографа, уже взойдя на трон, так и не избавился от своего семитского акцента, которым был обязан пуническому происхождению. Так что Рим Антонинов — это перекресток, где с народом самого Рима встречаются народы более низкого уровня, для которых, сколько можно судить, древние законы оказывались весьма значительными этническими препятствиями. А еще лучше было бы назвать Город горнилом, в котором, несмотря на его собственные законы, новые опыты ассимиляции постоянно сплавляли эти народы друг с другом. Или же, если угодно, это был Вавилон, однако Вавилон, в котором все поголовно так или иначе учились мыслить и говорить по-латински¹.

Рабство и отпуск на свободу

Все поголовно — даже рабы, которые во II веке подняли свой уровень жизни до уровня свободнорожденных, между тем как все более и более мягкое законодательство последовательно делало их узы все менее тягостными и облегчало освобождение. Практицизм римлян, точно так же, как и естественная гуманная подкладка их душ, защищали их от жестокости по отношению к собственным рабам, *servi*. Они все так же неизменно продолжали заботиться о них, как Катон — о своих упряжных волах; и, как бы далеко ни погружались мы в историю, постоянно приходится видеть, как римляне, желая поощрить усилия рабов, вознаграждали их премиями и жалованьем, аккумулировавшись в форме пекулия*, которого обычно хватало на выкуп из рабства. За определенными исключениями, это рабство не было в Риме ни невыносимым, ни веч-

* Пекулий — сбережения (имевшие, однако, подчас значительные размеры и не обязательно выражавшиеся в деньгах), которые жаловал рабу хозяин или были скоплены им самим (хотя, если подходить к этому вопросу строго юридически, хозяин оставался собственником такого имущества). В пределах пекулия раб свободно занимался коммерцией, будучи защищенным в отношении доверия, оказывавшегося ему третьими лицами, возможной ответственностью господина, введенной претором (*actio de peculio*). Так, он мог вступать в деловые отношения даже с самим хозяином.

ным; быть может, следует, однако, добавить, что и более мягким, чем при Антонинах, оно тоже не бывало; кроме того, при них с ним было легче всего порвать.

Уже с последнего века существования республики раба признали в качестве человека, и свободные граждане, как правило, допускали его к практике своих самых излюбленных культов. Так, например, начиная с 70 года до н. э. святилище Спес (богини Надежды) в Минтурнах обслуживалось равным числом как *magistri* в рабском состоянии, так и *magistri* из вольноотпущенников и свободнорожденных вместе взятых. Впоследствии, по мере духовного обогащения культуры и роста влияния настроенных филантропически философов, роль рабов у алтаря богов только возрастала. В I веке н. э. в эпитафиях рабов начинают открыто прославляться маны усопших, а во II веке похоронные и мистические коллегии, такие, например, как учрежденная в 133 году н. э. в Ланувии, под знаком двойного обращения к Диане и Антиною, объединяют в братском единении свободнорожденных, вольноотпущенников и рабов, которые по данному случаю дают ручательство, что, если впоследствии их отпустят на свободу, они в тот же день угостят членов своего братства амфорой вина.

Само собой разумеется, что закон не отставал от прогресса в области идей. На заре империи *lex Petronia* уже запретил хозяевам бросать рабов на съедение хищникам без судебного приговора. Примерно в середине I века эдиктом императора Клавдия было постановлено, что больные или немощные рабы, брошенные хозяином, автоматически отпускаются на свободу. Немного времени спустя эдикт Нерона, изданный, возможно, по инициативе Сенеки, во всеулышание настаивавшего на признании за рабами человеческого достоинства, обязал городского префекта принимать и расследовать представленные ему жалобы рабов на хозяев. В 83 году сенатус-консулт*, изданный при Домициане, запрещал

* Решение сената, имевшее рекомендательный характер, однако постепенно обретшее характеристики источника, порождающего юридические нормы. Юрист Гай причислил их к источникам права, поскольку в общем представлении они обладают той же принудительной силой, что и закон.

кастрацию рабов, грозя хозяевам, нарушившим этот запрет, конфискацией половины имущества. Адриан во II веке удвоил наказание за это преступление, объявив его «уголовным», а также предписал сенату издать два указа, продиктованных тем же духом милосердия. Первый из них препятствовал хозяевам продавать своих рабов как *leno*, так и *lanista*, то есть как сутенеру, так и устроителю гладиаторских боев. Второй увязывал исполнение приговоров, вынесенных хозяевами своим рабам, с согласием префекта стражи. В середине того же века та же гуманная тенденция достигла своего завершения, когда Антонин Пий осудил как человекоубийство всякое умерщвление раба исключительно по приказу его хозяина.

Впрочем, в эту эпоху законодательство скорее отражает то мягкосердечие, которое укоренилось в нравах — без какого-то к нему принуждения. Ювенал бичует в сатирах скупца, который держит своих рабов впроголодь, и азартного игрока, который броском костей проматывает состояние, заставляя домашних дрожать от холода в прохудившихся туниках. Достается от него и кокетке, которая в случае малейшей задержки носильщиков или самой незначительной неловкости горничных выходит из себя, впадает в неистовство и со всей силы отвешивает им удары ремнем и плетью. Возмущение поэта отвечает здесь общественному мнению, а оно с таким же ужасом, как и он сам, отворачивается от Рутила, чудовищную жестокость которого он заклеил². В его время большинство хозяев, если они не отказывались вовсе от телесных наказаний своих рабов за провинности, ограничивались розгами, которые Марциал без каких-либо угрызений совести применяет по отношению к своему повару за неудачный ужин. Это ничуть не мешало этим хозяевам заботиться о них и их любить — вплоть до того, что они оплакивали их несчастья и смерть³. А в больших домах, там, где часть рабов — поднаторевшие специалисты, где некоторые из них, такие, как учитель, врач, чтец, имеют за плечами гуманитарное воспитание, их и вовсе не отличают от свободных людей. С какой рассудительнос-

тью высказывает Плиний Младший пожелание, чтобы его двоюродный брат Патерн подобрал их для него на рынке! Какую предупредительность проявляет он насчет их здоровья, доходя с целью его восстановления до того, чтобы взять на себя расходы по длительным и дорогостоящим поездкам, которые он им предлагает предпринять в Египет или на провансальские равнины в области Фрежюса! С какой обходительностью идет он навстречу их законным пожеланиям, повинувшись в этом случае, по своим собственным словам, их пожеланиям как приказу! С какой уверенностью рассчитывает он в большей степени на их преданность, нежели на свою суровость, когда необходимо подогреть их рвение, если какой-то родич по случаю заглянет в дом, — убежденный, как пишет он сам, что они прилагают все усилия к тому, чтобы угодить своему хозяину в лице его гостей! Впрочем, среди его друзей мы наблюдаем ту же непринужденность, я бы даже сказал — семейный дух. Когда престарелый сенатор Корнелий Руф был прикован к постели по болезни, ему нравилось, чтобы его любимые слуги составляли ему компанию в комнате, и если ему приходилось выслать их из комнаты, чтобы получить секретное сообщение, жена выходила вместе с ними. Плиний Младший еще превзошел эту благожелательность: он ничуть не гнушается разговорами со своими домочадцами, и проживая в сельской местности, он приглашает самых ученых среди них к глубокомысленным рассуждениям, которыми скрашивает послеобеденные прогулки по вечерам.

Рабы, со своей стороны, выказывают себя полными предупредительности в отношении столь добрых господ. Изумление, в которое привело Плиния Младшего известие о покушении, совершенном на сенатора Ларция Македона частью его домочадцев-рабов⁴, говорит о редкости этих неслыханных преступлений. Точно так же и те заботы — увы, бесполезные, — которые щедро оказывали жертве слуги, сохранившие ему верность, доказывают, что даже в домах, где с рабами обращались наиболее сурово, они относились к своему господину так же, как и он теперь относился к ним, а именно как к

человеку. Вот и проживавший в Риме в середине II века грек был поражен сближением, которое возникло там между рабами и свободными людьми, — сближением, которое доходило, как это открывалось его изумленному взору, до сходства в одеянии. Ибо, как отмечает Аппиан, писавший это при Антонине Пие, раб даже внешне не отличается от свободного, и за исключением случаев, когда господину приходится облачиться в претексту, знак магистратуры, он по одежде ничем от хозяина не отличается. Аппиан дополняет это замечание наблюдением, которое удивляет еще больше, а именно что, получив свободу, прежний раб становится вполне равным гражданам во всем⁵.

И в самом деле, во всем античном мире Город — единственный — почитал за честь вновь приближать к себе собственных париев, широко распахивая перед ними ворота. Правда, вольноотпущенник (*libertus*) не получал автоматического доступа к должностям и магистратурам. Несомненно, он оставался связанным со своим прежним господином, которого называл патроном (*patronus*), оказанием услуг или денежными выплатами, а также обязанностью оказывать ему почти сыновнее уважение — *obsequium*. Однако с того самого момента, как его освобождение, или *manumissio*, формально имело место, будь то перед лицом претора, в ходе фиктивного процесса востребования, *per vindictam*, или же посредством вписывания в ходе переписи в списки цензоров (*censu*), или же, что было более распространено, в силу завещательного распоряжения (*testamento*), он получал благодаря благодеянию своего господина, живого или мертвого, имя и свойства римского гражданина. В третьем поколении его потомки обретали всю полноту политических прав, которые несколько не отличались от прав свободнорожденного. Впрочем, со временем формализм отпуска на свободу еще более уменьшился, так что обычай, за отсутствием закона, заменил архаические процедуры отпуска иными, более эффективными и простыми. Это могло быть просто написанное патроном письмо или исключительно словесная декларация, произнесенная, например, в ходе пира, участники которого выступали здесь

в качестве свидетелей. Свою роль в этом сыграла еще и мода, так что начали поговаривать, что, множа вольноотпущенников вокруг себя, хозяева тешат самолюбие. Дело дошло до того, что Август, испуганный такой расточительностью, приложил усилия к тому, чтобы ее ограничить. Он установил минимальный возраст (18 лет), до достижения которого человек не обладал правом отпускать, и максимальный возраст (30 лет), до достижения которого он не мог быть отпущенным. Август также ввел в рамки отпуск рабов на свободу по завещанию (на них и приходилась основная доля юридически оформленных освобождений): смотря по случаю, здесь должно было выдерживаться определенное соотношение числа отпускаемых на свободу с общим числом рабов, находившихся во владении данного хозяина; впрочем, каковы бы ни были пропорции, число отпускаемых ограничивалось 100 рабами.

Кроме того, Август измыслил низшую категорию полуграждан, именовавшихся «Юниевыми латинами», которым был предоставлен всего лишь частичный доступ к латинскому праву, *ius Latii*, сверх того отягощенный активной и пассивной завещательной неправоиспособностью. В эту категорию безо всякого разбора попадали рабы, отпущенные их господами в нарушение правил, установленных Августом, а также те, которых они освободили вне правовых требований. Однако общественные нравы оказались сильнее воли Августа, и они-то и подорвали законодательство. Он сам, дабы сдержать процесс обезлюдения, освободил Юниевых латинов, являвшихся отцами семейства, от того униженного состояния, к которому их отнес. Впоследствии Тиберий, чтобы посодействовать вербовке в свои когорты, пожаловал ту же уступку ветеранам-гвардейцам. Наконец Клавдий, желая снять бремя с экономики и способствовать ее развитию, распространил ее на вольноотпущенников обоих полов, вкладывавших средства в оборудование торговых судов, Нерон — на тех, кто финансировал строительство жилых домов в городах, а Траян — на тех, кто на собственные средства заводил булочные. Наконец, все императоры, проявляя снисходительность к собственным *liberti* или к

liberti своих друзей, постарались изгладить в них последние следы их рабского состояния и разом выдвинуть их во второй разряд в государстве — то наделяя их фиктивной свободнорожденностью по процедуре *natalium restitutio*^{*}, то просто надевая на их пальцы кольца всадников. Так что в эпоху, в которой мы пребываем теперь, отпуск рабов на свободу, многочисленный как никогда прежде, помещал прежних рабов, которые пожинали его плоды, в совершенно равное положение с прочими гражданами, наперебой доставляя им состояния и положение в обществе и позволяя, как мы видим это по Тримальхиону, в свою очередь покупать целые толпы рабов.

У эпитафиста^{**}, совершающего беглую прогулку по римским развалинам, в первую очередь создается впечатление преобладания рабов и вольноотпущенников как в жизни императорской эпохи, так и в надписях того времени, в которых там, где их еще можно прочесть на стенах, в трех случаях из четырех упоминаются исключительно они. В статье, замечательной изобилием и точностью статистических сведений, г-н Тенни Франк без труда убедил нас, что если уже в силу самого звучания своих имен рабы в Городе имели в большинстве случаев греческое и восточное происхождение, то по крайней мере 80 процентов населения Рима восходили корнями — через сравнительно недавний отпуск на свободу — к более или менее старинному рабскому состоянию⁶. На первый взгляд нас подкупает это обетование мощи, которую, надо полагать, сулило непрерывное поступательное продвижение как римскому обществу, неустанно питавшемуся новыми силами, так и римской отчизне, для которой вследствие него происходит необозримое распространение поля ассимиляции; так что возникает даже искушение приписать Риму Антонинов несомненные преимущества и свободное функционирование совершенной демократии.

^{*} Букв. «восстановление в правах по рождению», то есть в свободном состоянии, поскольку все люди рассматривались в римском праве как свободные по рождению.

^{**} То есть специалиста по надписям.

К сожалению, невозможно не видеть также и тени, уже омрачившие складывавшуюся картину. Несомненно, в Городе, где начиная с принципата Нервы осталась лишь половина сенаторских родов, пересчитанных тридцатью пятью годами ранее, в 65 году, в Городе, который еще тридцатью годами позднее располагал лишь одним из сорока пяти патрицианских родов, восстановленных Юлием Цезарем за 175 лет до этого, было весьма важно, чтобы постоянный приток свежей крови, словно мощный напор жизненных соков, мог восходить из самых низов, чтобы питать собой и восстанавливать элиту. Однако, черпая эти обновляющие силы, по сути, едва ли не исключительно из рабских масс, римское общество, отчизна всего римского рисковала навлечь на себя в будущем большую опасность, а в настоящем — подвергнуться неизбежной фальсификации.

Действительно, чтобы рабские слои были в состоянии непрестанно заполнять бреши в высших классах, существовала необходимость, чтобы сами они ежеминутно укреплялись новыми поступлениями. Однако войны Траяна, и в первую очередь вторая дакская кампания, в которую, по свидетельству врача Траяна Критона, император привел из похода 50 тысяч пленников, вскоре проданных на торгах⁷, были последними, в которых империя одержала победу без большого труда и значительных потерь. После двух блестяще мирных принципатов преемников Траяна, Адриана и Антонина Пия, с Марком Аврелием наступила пора половинчатых побед, которые доставались очень дорого, эпоха изматывающего сопротивления и, наконец, — вторжений и поражений, которые перекрыли великий источник притока новых рабов. И уже можно было предвидеть наступление того момента, когда рабство, самой редкостью военных захватов обреченное на самовозобновление, оказалось не в состоянии поддерживать этот столп, на котором покоилась на протяжении предыдущих поколений римская экономика, когда Рим, по указанной причине, будет принужден набросить на мир,

чтобы еще им управлять, этот вынужденный наряд — смирительную рубашку, которой стало, в эпоху поздней империи, закрепление человеческого состояния на правах наследования.

Несомненно, при Флавиях и первых Антонинах эта опасность еще не обозначилась. Тем не менее имелись здесь и другие, более непосредственные опасности, угроза которых уже нависает над внешним процветанием их режимов. Прежде чем чересчур замедлиться, внезапный взлет был слишком стремителен и беспорядочен: этапы, в которые мечтали их ввести первые цезари, оказались сокращенными или вовсе пропущенными, так что совокупные недостатки режима одновременно авторитарного и цензового нарушили правильное течение социальных преобразований и до неузнаваемости изуродовали их сущность.

Поскольку под прикрытием фикций, которые более никого не обманывали, императоры располагали абсолютной властью и пользовались ею, их рабы и вольноотпущенники без труда одерживали верх над всем прочим Городом. Рассуждая теоретически, все они были не более чем «вещью», или, в лучшем случае, неполноценными гражданами. Но на практике, а также в силу одного того факта, что они ежедневно соприкасались со священной персоной господина, что они пользовались доверием того, кто слепо передал им часть своих исполинских полномочий, они беззастенчиво распоряжались римскими плебеями и патрициями. Вплоть до эпохи Клавдия «кабинет» императора, в который стекались прошения со всей ойкумены, откуда исходили повеления как наместникам провинций, так и магистратам Города, где вырабатывалась правовая база всех трибуналов, включая также и Верховный суд сената, состоял исключительно из одних рабов. Начиная с Клавдия и до Траяна включительно кабинет комплектовался из вольноотпущенников, и подобно тому, как французской знати XVII века приходилось изнывать в тоске под гнетом «подлой буржуазии», министров и их служащих, сенаторам империи периода расцвета приходилось молчаливо склоняться, копя гнев в душе, перед властью бывших рабов, которые, в один

прыжок вознесясь на ступени трона, осыпанные за свой тайный и властительный труд всеми благами и почестями, как Нарцисс или Паллант, распоряжались от имени принцепса карьерами, имуществом и жизнями их подданных.

Но это еще не все: если император останавливал свой выбор — в качестве доверенного лица и друга — на ком-то постороннем, принадлежавшем к двум великим государственным сословиям, то поскольку люди эти тоже располагали рабами и вольноотпущенниками, у них также вошло в привычку доверять этим людям доуку веденя своих дел. Таким образом, аристократия, которая, как можно полагать, правила под властью императора, на деле отправляла свои начальственные функции также, как и он, — через посредство своей челяди. Вот и получилось, что к рабам и вольноотпущенникам принцепса присоединились ради управления Городом и миром рабы и вольноотпущенники двора. Сразу становится видно, до чего доходили они в стоворе между собой, насколько далеко простиралась их власть, когда те, кому позволили остаться в курии мрачный деспотизм и ненасытная жадность Домициана, решили ради спасения собственной шкуры избавиться от него. Убийство тирана, которого желали и добивались сенаторы, было подготовлено в прихожей его собственного дома, а осуществлено его «людьми» и «людьми» его окружения: мальчиком-служкой из его персонального ларария (*puer de sacrario*), его камердинером (*praepositus a cubiculo*) греком Парфением и греком же Стефаном, одним из управляющих его сестры Домициллы. Конечно, после покушения имя Свободы (*Libertas restituta*) было выбито на монетах, и сенаторы воображали, что возродили республику, доверив правление одному из самых невзрачных своих коллег, робкому Нерве, которому перевалило уже за 60 лет. Однако было ясно, что все это — одни только пустые слова и обман зрения. Республика, которая представляет собой общее благо граждан, свобода, которая требует от них гордого вживания в нее, не могли родиться из заговора, задуманного «пегринами» и рабами.

Закончилось тем, что императоры стали опасаться за незыблемость своих режимов перед лицом этих подлых выскочек на государственной вершине. Адриан взял здесь инициативу, с которой должны были считаться его преемники: оставлять руководство кабинетом за всадниками. Однако, если он желал, чтобы эта его реформа шла вглубь, следовало устроить так, чтобы она простиралась вплоть до второстепенных государственных постов. Между тем ради уверенности в беспрекословном подчинении, чтобы не опасаться злоупотреблений, которые они не будут в состоянии остановить незамедлительно, императоры и вельможи предпочитали, как и в прежние времена, заполнять свои администрации чужеземным и рабским персоналом, состоявшим из *procuratores* и *institores*^{*}, которые, как они полагали, пребывают в полном повиновении, между тем как, напротив, они сами оказывались от них в зависимости по мере того, как раздвигались границы и налоговая система набирала обороты. Вне всякого сомнения, среди этих *servi*, желавших добиться манумиссии рвением, как и среди *liberti*, чье освобождение внушало им еще большую благодарность, нежели предписывали им обязанности, были исполнительные работники, честные управляющие, скромные и преданные поверенные в делах. И если во II веке имперская машина больше не скрипела, быть может, это в меньшей степени объясняется бдительностью тех, кто следил за ее функционированием, нежели сознательностью и профессиональным мастерством непосредственных исполнителей. Однако слишком уж велико было стадо, чтобы в него не попадали и паршивые овцы: неумеренно жадные в своих требованиях и взысканиях *vilici*^{**}, служители проявляли чрезмерные притязания на комиссионные и чаевые, управляющие были дерзки, жестоки и нечисты на руку.

^{*} *Procurator* – поверенный, прокуратор, ведавший доходами императора в провинции. Ниже будет идти речь о «прокураторе» в качестве управляющего частного лица, в частности, женщины. *Institor* – приказчик, агент.

^{**} *Vilicus* или *villicus* (менее правильно) – управляющий поместьем, смотритель.

Так что в высшей степени неблагоприятным парадоксом оказывалось то, что правитель, в самом похвальном намерении улучшить работу власти, передавал ее людям, которые, будучи рождены в цепях, предназначались исключительно для услужения. Вместо того чтобы быть свидетелями постепенной эволюции, что было бы вполне логично и продемонстрировало бы благодетельность имперских институтов, римлянам приходилось то и дело подвергаться общегражданской деградации этих произвольных перестановок, этим резким изменениям в сфере сословий и общественных ролей. Это деморализовало их как в Городе, так и в сельской местности. И на жалобу, которая была подана при Коммодe свободными гражданами, возделывавшими в качестве добровольных поселенцев африканскую колонию в Сук-эль-Хмис, между тем как их без какого-либо права и пощады порол от имени императора раб-управляющий его *Saltus Burunitanus*⁸, еще прежде, в начале века был дан ответ Ювеналом, выведенным из себя в Риме Траяна при виде того, как сыновья свободных людей, увлекаемые выгодой и низкопоклонством, подлейшим образом образуют свиту рабов-богатеев:

Divitis hic servo claudit latus ingenuorum
Filius⁹...*

В самом деле, начиная со времени Ювенала начинается складываться впечатление, что раб богатого господина гораздо счастливее, чем свободный, но бедный гражданин. Но чтобы нарушить стройный порядок дел в империи, большего и не требовалось. К тому же этот опасный дисбаланс усугублялся тем, что в обществе, иерархия которого гналась за богатствами, богатства эти, вместо того чтобы доставаться трудолюбивым семействам и быть удобряемыми трудом и бережливостью, концентрировались по причине покровительства императора и спекуляций у все более и более ограниченного числа крупнейших привилегированных лиц. Между тем как в провинциях, и даже в Ита-

* Раба богача сопровождает сын свободнорожденного.

лии, еще существует крепкая и многочисленная буржуазия, способная покрывать муниципальные расходы, в Городе ее ряды редеют, так что остаются плутократы, тяготеющие ко двору, и масса плебса, теперь уже слишком обездоленного, чтобы продолжать существовать без обращения к императору и подарков вельмож, но в то же время и слишком праздного, чтобы не нуждаться в зрелищах, которые при Траяне доставляли этой плебейской массе возможность рассеяться каждый второй день.

«Уровни» жизни и плутократия

Разумеется, точными цифрами мы не располагаем. Однако некоторые сопоставления позволят хоть как-то восполнить их отсутствие. В первой главе мы уже видели, что число получавших помощь во II веке возросло со 150 тысяч до 175 тысяч. Отсюда мы вполне можем заключить, что государство кормило приблизительно 130 тысяч семейств, представленных на раздачах своими главами. Если считать, как утверждает Марциал, в среднем по пять ртов на семью¹⁰, то общая численность получающих поддержку составляла бы от 600 до 700 тысяч. Если считать в семье всего по три человека, их численность все равно приближалась бы к 400 тысячам. Прямо или косвенно, по меньшей мере треть населения Города жила за счет общественного призрения. Но мы были бы неправы, если бы заключили из этого, что две трети или половина горожан обходились без нее, потому что в общее число жителей, помимо раздач, включены воины гарнизона (по крайней мере десятков тысяч человек), паломники, находившиеся в Риме проездом, общее количество которых нам неизвестно, однако оно не должно было быть значительным в связи с чрезвычайным распространением принятия в гражданство, происходившим через манумиссию, и, наконец, рабы, доля которых по отношению к численности свободных людей должна была достигать как минимум трети, чему в ту же самую эпоху она равнялась в Пергаме¹¹. Так что если мы считаем,

что Рим Траяна насчитывал миллион 200 тысяч душ, нам следует вычесть из них 400 тысяч рабов, что доводит приблизительно до 100 тысяч число глав римских семейств, доходы которых помогали им обходиться без обращения в окошки раздач Анноны.

Неприятный сам по себе, этот численный перевес толпы неимущих над людьми состоятельными делается в полном смысле слова пугающим, если мы осознаем разброс в размере имущества у этого меньшинства: большинство тех, кого мы именуем средним классом, влачили жалкое существование перед лицом невероятной роскоши нескольких тысяч мультимиллионеров. Ибо во времена Траяна те 5тысяч сестерциев, владение которыми выделяло человека в муниципиях из плебса в качестве *honestior*, далеко не избавляло их от лишений и тягот. 20 тысяч сестерциев, то есть 20 тысяч франков Пуанкаре или 4 тысячи довоенных франков, причем не капитала, но ренты — вот что можно назвать «прожиточным минимумом» мелкой римской буржуазии. Это доход, которого желал бы в старости промотавшийся гуляка, выведенный Ювеналом в одной из его сатир¹²; а в другой сатире поэт, говоря о самом себе, ограничивает пожелания мудреца 400 тысячами сестерциев: «Если ты презираешь эту цифру, — обращается он к своему воображаемому собеседнику, — что ж, бери два всаднических состояния, но если тебе и этого недостаточно, значит, тебя не удовлетворит ни богатство Креза, ни сокровища персидских царей!»¹³ Очевидно, с точки зрения Ювенала мудрец должен удовлетвориться этим с лихвой, однако очевидно и то, что самая скромная «лихва» предполагает капитал, который требуется для всадников, в размере 400 тысяч сестерциев. Два этих свидетельства взаимно подтверждают и дополняют друг друга, поскольку после исследований Биллетера мы можем с уверенностью сказать, что в эпоху, когда писал поэт, нормальный банковский процент составлял 5 процентов. Следовательно, в Риме во времена Траяна человека могли отнести к среднему классу лишь начиная с всаднического ценза, а чтобы в нем оказаться и поддерживать наиболее скромный образ жизни буржуазии, следовало тратить по крайней мере 20 тысяч

сестерциев, приносимых им ежегодно. Ниже этого начиналась нужда пролетаризированных масс, и мелкая буржуазия располагалась куда ближе к ним, нежели к богатейшим капиталистам, в один разряд с которыми ее помещали исключительно правовые фикции.

И в самом деле, сколько могли весить их 400 тысяч сестерциев рядом с десятками миллионов, которыми ворочали настоящие магнаты Города? Эти сенаторы, прибывшие из провинций, где простирались поместья и предприятия, давшие им возможность войти в блестящий класс «светлейших», а сверх того доставившие еще и место в Курии — не только для того, чтобы исполнять связанные с этим обязанности и надзирать за землями, которые они должны были в обязательном порядке приобрести в Италии, но кроме этого и в первую очередь, чтобы прославлять свое имя и страну происхождения великолепием столичного дома и блеском общественного положения, достигнутого ими в Городе. Эти всадники, взлетевшие на самые высокие должности, соответствовавшие их классу, и раздобревшие на постах, которые они последовательно занимали в управлении денежными потоками и снабжением населения продуктами питания; наконец, эти вольноотпущенники, скопившие состояния, управляя имуществами императора и вельмож! Так Рим, эта общемировая содержанка, высасывал богатства из всего мира. И я не думаю, что, принимая во внимание разницу в эпохе и среде, концентрация капитала, начиная с принципата Траяна, была здесь меньшей, нежели в нашем XX веке у деловых людей Сити или банкиров Уолл-стрита. Как и лондонские лорды, римляне владели теперь в Городе целыми кварталами, подобно Максиму, которому Марциал адресовал такую эпиграмму: «У тебя дом на Эсквилине, другой — на холме Дианы, и на улице Патрициев также стоит принадлежащее тебе здание. Отсюда тебе открывается вид на святилище Кибелы, оттуда — на обитель Весты; с одной стороны ты видишь новый храм Юпитера (на Капитолии), с другой — его древнее обиталище (на Квиринале). Так скажи же мне, где я могу с тобой встретиться, где мне тебя искать? Максим, тот, кто обитает повсюду, не живет нигде». Подобно

ню-йоркским финансистам, римляне использовали свои капиталы, дробя их на крупные бесчисленные займы, как, например, Афр, который находит отраду в том, чтобы без конца повторять имена своих должников и размеры их долга: «Коран должен мне 100 тысяч сестерциев, а Манцин — 200 тысяч, 300 тысяч должен Титий, и вдвое больше этого — Альбин, Сабин должен миллион, а Серран — еще один».

Допустим, что Афр, как, впрочем, и Максим — это вымышленные персонажи; они всего только наиболее типичные персонажи из всей той плутократии, которая бесчинствовала тогда в Риме. Несомненно, в их узком кругу, озаряемом сиянием золота, было немало обладателей 100 миллионов сестерциев, как этот Афр, которого Марциал затрагивает также и в других местах¹⁴, и, вероятно, человек мог называться богатым лишь начиная с 20 миллионов. Плиний Младший, бывший консул и, возможно, лучший адвокат своего времени, завещанию которого немного недоставало до того, чтобы предъявить примерно такую сумму¹⁵, вполне искренне считает, что богатым не является. Вот он совершенно серьезно пишет Кальвине, чей отец должен был ему 100 тысяч сестерциев, которые Плиний хотел ей подарить, что его состояние весьма скромно (*modicae facultates*), что его доходы, по причине того, как обрабатываются его небольшие участки, столь же невелики, как и ненадежны, и что ему приходится компенсировать их незначительную величину скромным образом жизни¹⁶. И в самом деле, вольноотпущенник, подобный Тримальхиону, наследство которого Петроний оценивает в 30 миллионов, был куда богаче его^{17*}, и неизвестный Афр, над которым издевается Марциал, доходы которого только от оборотов с недвижимостью составляли 3 миллиона 600 тысяч сестерциев, был в три раза богаче его. По крайней мере его богатство было того же порядка, что и их, в то время как между его

* В тексте Петрония значитсся 30 тысяч, однако здесь нет противоречия: в случае многотысячных сумм римляне зачастую, выражаясь по-современному, отбрасывали три нуля, то есть тысячи, так что состояние Тримальхиона действительно составляло 30 миллионов сестерциев.

состоянием, в пятьдесят раз превышавшим всаднический ценз, и состояниями тех, кто может быть причислен к «среднему классу», невозможно отыскать ничего общего. Воротилы буквально давили мелкую буржуазию, и единственно, чем оставалось утешаться последней в собственном унижении, — это такое же унижение великих богатеев перед лицом уже совершенно непостижимого богатства императора.

В самом деле, император не ограничивался тем, чтобы прибавить к имуществу своей семьи добрую часть того, что принадлежало его предшественникам, наследовать там и сям, в первую очередь в Азии и Африке, громадные латифундии, повсюду собирать лучшую часть богатств, частично или полностью конфискованных по решению судьи. Сверх этого он располагал возможностью путать со шкатулкой для личных сбережений фиск, куда стекались отчисления, собранные на выплату содержания солдатам, причем никто не осмеливался потребовать у него отчета в этом. Еще он, уже без всяких обязательств отчитываться, был полновластным распорядителем доходов от Египта, этого личного владения короны, и мог полными пригоршнями черпать из военной добычи. В частности, император Траян, в 106 году¹⁸ прибравший к рукам сокровищницу дакийского царя Децебала и поспешивший реорганизовать к собственной выгоде все источники средств, сопряженные с новым завоеванием¹⁹, сделался настоящим миллиардером, авторитет которого, возможно, впредь в меньшей степени основывался на том повиновении, в котором клялись его воины, нежели на неограниченных инструментах, обеспеченных ему несметными и неисчерпаемыми богатствами, которыми он распоряжался единолично. От римских плутократов Траян удален почти на то же расстояние, что и отделяющее их самих от «среднего класса», и два этих разрыва явственно обнаруживают себя в распределении рабской рабочей силы между теми, кто ею владел.

В начале II века до н. э. в Городе были еще редки дома, где бы имелось больше одного раба, что доказывают дававшиеся им имена, чаще всего составные, образованные из слова *puer*, то есть «слуга», и имени его хозя-

ина в родительном падеже: Луципор, Марципор, то есть «раб Луция», «раб Марка». Напротив, во II веке н. э. уже не отыскать было таких хозяев, у которых было бы лишь по одному рабу: теперь уже их можно было счесть на пальцах одной руки, потому что это в них тыкали пальцами, как, например, в того босоногого Котту, над которым издевается Марциал²⁰. Люди или вообще больше не покупали рабов, потому что, как пишет Ювенал, насытить утробы рабов влетало в копеечку, или покупали и содержали многих одновременно, и вот почему Ювенал в только что процитированном стихе использует слово «утроба» во множественном числе:

magno
servorum ventres²¹!

Два раба — вот тот минимум, которым насилу удовлетворяется при сопровождении его в цирк разочарованный старик: случай оценить его умеренность нам уже представился выше. Однако среднее число в 4—5 раз выше. Самым скромным собственникам приходилось содержать восьмерых *servi*, в противном случае их кредит оказался бы подорванным. У Марциала даже прижимистый Умбр на Сатурналии запрягает восьмерых сирийцев нести ничтожную поклажу его жалких подарков²², а у Ювенала тяжущиеся полагали свое дело проигранным, если доверили его адвокату, который не был в состоянии явиться на процесс без столь же многочисленного рабского эскорта²³. Таковы были бригады, которых обычно доставало мелкой буржуазии. Воротилы, со своей стороны, повелевали батальоном рабов, а подчас и не одним. Чтобы быть узванными посреди такой толпы, они подразделяли челядь на ту, что служила хозяину в Городе, и на челядь для сельской местности. В Городе у слуг также имелись свои подвиды, смотря по тому, использовались ли они дома (*servi atrienses*) или вне его (*cursores, viatores***), и, наконец, эти сплоченные группы подразделялись на столько частей, сколько десятков в них

* При обширных-то рабских желудках!

** Гонцы (бегуны), путники.

насчитывалось, и эти «декурии» нумеровали. Впрочем, все эти предосторожности оказывались излишними. Удел господина и его рабов — ничего друг о друге не ведать. Тримальхион среди пира по сути уже и не знает, кому из слуг отдает приказы. «Ты из какой декурии?» — спрашивает он у своего повара. «Из сороковой», — отвечает тот. «Ты купленный или домашний?» — «Ни то ни другое: я достался тебе по завещанию Пансы». — «Постарайся отличиться, а не то я тебя переведу в декурию курьеров»²⁴. Читая диалог такого рода, начинаешь понимать, что среди рабов Тримальхиона вряд ли отыщется один из десяти, который бы знал своего господина. Из всего предшествующего вытекает, что рабов было самое меньшее 400, но поскольку ничто не говорит о том, что сороковая декурия, единственная, о которой говорится в романе Петрония, была последней, нам позволительно предполагать, что их было еще больше. Впрочем, как бы то ни было, Плиний Младший, которому, как мы видели, чтобы сравняться с Тримальхионом, недоставало приблизительно 10 миллионов сестерциев, владел со своей стороны по крайней мере 500 рабами, потому что 100 из них он отпустил на волю по завещанию, а по нормативам закона Фуфия Каниния, принятого, вероятно, в 8 году до н. э. и все еще остававшегося в силе во II веке н. э.²⁵, человеку, владевшему от 100 до 500 рабов, было определено разрешено отпустить на волю пятую их часть и так же четко запрещено владельцам более 500 рабов отпускать более ста из них. Невозможно не поразиться этим непомерным числом; и тем не менее можно не сомневаться в том, что во II веке н. э. они нередко оказывались превзойденными. То удивление, которое выражает правовед Гай, когда удостоверяет, что полтора века спустя после закона Фуфия Каниния закон этот так и не поднял лимит манумиссий по завещанию свыше 100 на 500 рабов, служит надежным указателем на то, что закон этот уже в силу своего молчания перестал быть приноровленным к новым реалиям. И если при Флавиях число в 4116 рабов, которыми владел к концу I века до н. э. вольноотпущенник Гай Целий Исидор, остава-

лось, если смотреть на частные случаи, исключением, достаточно примечательным для того, чтобы Плиний Старший на своем удалении от этого времени почел его достойным упоминания²⁶, несомненно, что *familiae serviles* крупнейших римских капиталистов достигали численности в тысячи душ и что император, бесконечно более богатый в сравнении с богачейшими из них, с легкостью мог исчислять своих рабов группами по 20 тысяч.

Это самая большая цифра, которую нам дает Афиней²⁷, и ее, уже в силу одной только колоссальности, возможно соотнести исключительно с императором. Вне всякого сомнения, из этой армии следует вычесть отряды рабов, которые *domus divina** Цезарей разбросал по всему свету для сбора своих налогов, для надзора за императорскими откупщиками, управления необозримыми сельскими угодьями, рудниками, мраморными и порфиристыми карьерами. Но даже в Риме, на Палатине, где уже в Новое время были обнаружены, наряду с граффити *paedagogium*** , следы рабских карцеров, было несметное количество императорских рабов — хотя бы для того, чтобы отправлять невероятное множество возлагавшихся на них задач, как об этом свидетельствует эпиграфика их надгробных надписей.

Когда приступаешь к беспристрастному чтению этих надписей, поражаешься крайней специализации, о которой говорят эти надписи, безумной роскоши, мелочнейшему этикету, который и делал все это необходимым. Чтобы содержать свой гардероб в порядке и ухаживать за ним, император располагал столькими разновидностями слуг, сколько было у него разных видов платья: для дворцовых туник у него были слуги а *veste privata*, для тог городских — *a veste forensi*, для повседневного мундира в военном лагере — *a veste castrensi*, для пышных парадных мундиров — *a veste triumphali*. Костюмами, которые он носил в театре, ведали слуги *a veste scaenica*, а теми, в которые он облачался, отправля-

* Божественный дом (имеется в виду императорская фамилия со всеми присными).

** Педагогий, школа для мальчиков-рабов, проходивших обучение в качестве императорских пажей.

ясь в амфитеатр — *a veste gladiatoria*. Его посуду драили столько же бригад рабов, сколько видов посуды у него было: посуда, из которой он ел, из которой пил, посуда серебряная, посуда золотая, посуда из горного хрусталя и посуда, инкрустированная драгоценными камнями. Его драгоценности были вверены целому полчищу *servi* или *liberti ab ornamentis*, среди которых выделялись, между прочим, слуги, ведавшие заколками (*a fibulis*) и жемчугами (*a margaritis*). В попечении о туалете императора объединяли усилия банщики (*balneatores*), массажисты (*aliptae*), парикмахеры (*ornatores*), брадобрееи (*tonsores*). Церемониал императорских приемов был возложен на несколько родов привратников: *velarii*, которые поднимали занавесы при появлении посетителей; слуги *ab admissione*, которые вводили их к нему; *nomenclatores*, которые представляли их императору. Чтобы приготовить императору пищу, накрыть на стол и за ним прислуживать, требовалась чрезвычайно разношерстная толпа, начиная с истопников (*fornicarii*) и простых поваров (*coci*) вплоть до булочников (*pistores*), пирожников (*libarii*), кондитеров (*dulciarii*), и включая сюда, помимо метрдотелей, отвечавших за порядок трапезы (*structores*) и слуг столовой (*triclinarii*), еще и тех, что приносили блюда (*ministratores*), слуг, обязанных их убирать (*analectae*), виночерпиев, подносивших императору напитки и различавшихся по значимости в зависимости от того, держали ли они бутылку (слуги *a lagona*) или подавали чашу (слуги *a cyatho*), и, наконец, вплоть до дегустаторов (*praegustatores*), которые должны были, — разумеется, лучше, чем это удалось слугам Клавдия и Британика*, — испытывать на себе совершенную безвредность напитков императора и его блюд. Наконец, желая развлечься, императору приходилось разрываться между песнями своего хора (*symphoniaci*), музыкой оркестра, плясками танцовщиц (*saltatrices*), шутками карликов (*nanni*), «болтунов» (*fatui*) и шутов (*moriones*).

Даже если императора, как было это в случае Траяна, отличала неприязнительность вкуса, он был чужд надменности и избегал пышных церемоний, он не мог

* Принято считать, что тот и другой были отравлены.

на глазах у подданных отделять исполнение своих священных функций от изобильной роскоши, которой было обставлено его присутствие в Риме. Эта роскошь окружала его официальную деятельность едва ли не мифологическим убранством, в котором даже персидский «царь царей» не почувствовал бы себя не в своей тарелке. Если прибегнуть к совершенно отчетливым, пусть даже не вполне корректным сравнениям, мне кажется, что утонченности римского двора мог бы позавидовать двор самих Валуа, как двор Версаля — его пышному величию и торжественному великолепию. Еще прежде «короля-солнце» римский император мог избрать в качестве девиза *nec pluribus impar** Людовика XIV. Вне всякого сомнения, дома римских магнатов прилагали усилия к тому, чтобы подражать дому императора. Однако они не были в состоянии даже приблизиться к нему, и какими бы грандиозными они ни были, какой бы сложной ни была их организация (о чем мы догадываемся между строк надгробных надписей их вольноотпущенников и рабов), всегда это бывала лишь бледная имитация, уменьшенный и отдаленный образ. Император подавлял даже величайших из своих подданных, и чувство, что все они находятся во власти его несравненного превосходства, помогало самым ничтожным среди них примириться с тем, что по отношению к господствующему классу их зыбкое положение предполагало сплошные уступки и приниженность.

Что до прочего, то переход из плебеев в среднюю буржуазию все еще оставался делом сравнительно несложным. Преуспевание, воследовавшее за успешными кампаниями Траяна, расцвет торговли, перспек-

* Девиз замысловатый по смыслу, оптимальный его перевод: «Способный и на большее». Обычное толкование «всех превосходящий», «несравненный» слишком прямолинейно: французская лесть тоньше. Понять девиз помогут слова самого Людовика: предложенный придворными девиз подразумевал, «что раз я сам справляюсь со столькими делами, то, конечно, мог бы управлять и другими царствами, подобно тому как Солнце осветило бы и другие земли, если бы они оказались под его лучами» (цитата заимствована из статьи В. Н. Малова «Людовик XIV: опыт психологической характеристики» // Новая и новейшая история. 1996. № 6).

тивы продвижения которой на Дальний Восток были открыты его победами и дипломатией Адриана, экономический либерализм, пример которого был подан первыми Антонинами (он компенсировал вред, наносимый скоплением земель в руках немногих владельцев, создавая в обход землевладельцев, а если требовалось, то и вопреки им, право наследственного пользования в интересах тех, кто набрался мужества распахать их поля), — все это еще больше способствовало ходу дел и увеличивало спектр возможностей честным путем обрести достаток, открывавшихся перед предприимчивыми и энергичными людьми, откупщиками или арендаторами-издольщиками в больших поместьях. С другой стороны, те улучшения, которые произвели во всех сферах собственной администрации эти правители, наконец-то достойные своей безраздельной власти, восстановление простой и крепкой дисциплины в армии, тщательность, с которой осуществлялись отбор и продвижение по службе военных и гражданских начальников, что совпадало с увеличением окладов и ростом жалованья, вознаграждавших их службу и препятствовавших безразличию к ней, — все это были мероприятия и важные факторы, способствовавшие расширению или появлению среднего класса из новых социальных слоев. Нельзя было отыскать прокуратора, который получал бы менее 60 тысяч сестерциев в год. Не видать ни центуриона, ни примпила, которым бы не доставалось по крайней мере 20 тысяч и 40 тысяч²⁸. Первым было посильно вдвое или втрое превзойти всаднический ценз, которым они уже располагали; вторые же могли его добиться, как это доказывают бесчисленные надписи II века. Человек, в котором наилучшим образом воплотился тогда дух среднего класса, поэт Ювенал, был как раз одним из этих офицеров-ветеранов, сколотивших состояние и обеспечивших себе в отставке пристойное существование в гуще мелкой римской буржуазии.

Правда, Ювенал вздыхает по счастливой жизни, которую скромные средства позволили бы ему вести в сельской местности, по той жизни, в которой ему отказано в Риме. Впрочем, как раз на этом его типичность для

того времени кончается. В самом деле, именно в италийских и провинциальных городах класс, к которому принадлежит Ювенал, чувствует себя как рыба в воде. Хотя в Риме он оказывался тогда подавленным и погрешенным под преизобилующими богатствами, к которым сам не имел никакого отношения, и если одна и та же цепь, как кажется, связывала его, с одной стороны, с плебсом, в рядах которого буржуазия отыскивала свою клиентелу, а с другой — с магнатами, чьей клиентелой она оказывалась сама, эта цепь скорее тянула его вниз, нежели помогала, и надежда стряхнуть это бремя ускользала от него вместе с надеждой подняться до уровня магнатов. Громадные состояния, находившиеся на чуждом для них уровне, увеличивались то сами по себе; благодаря росту своей массы, то благодаря действию обстоятельств, которыми могли воспользоваться только они и никто другой: отправлением функций, полной монополией на которые они располагали (а какие-то из них, например, проконсулов, приносили миллион сестерциев в год); произвольной благосклонностью императора, который мог до бесконечности возлагать полномочия на одних и тех же любимцев; внезапными скачками в ходе спекуляции, делавшейся тем более безудержной, что в Риме, этом общемировом банке, спекуляция образовывала становую жилу экономики, в которой производство день ото дня теряло почву под ногами, а торгашество заполняло все и вся. Труд, все еще порождавший изобилие, был не в состоянии создавать такие богатства, которые распределялись нечаянной императорской благосклонностью и потрясениями на бирже. Посредники и забавники — две язвы, засевшие в боках большинства населения, были единственными, кто пожинал миллионы. Марциал не может сдерживать горечи, видя, как адвокаты получают гонорары натурой, а самые ценные дары духа культивируются совершенно впустую: «Какому учителю, Луп, доверить воспитание твоего сына? Заклинаю тебя: пусть его рука не коснется ни книг Цицерона, ни поэм Вергилия. Пусть он лучше научится ремеслу кифариста или флейтиста, а то еще, если у него есть голова на плечах, пусть

станет оценщиком на аукционе (*praeco*)»^{29*}. А в другом месте он восклицает: «Два претора, четыре трибуна, семь адвокатов, десять поэтов просили недавно у старика руки его дочери. Без колебаний он выбрал в зятя оценщика на аукционе Эвлога. Скажи, Север, не глупо ли он поступил?»³⁰ И в самом деле, если вне Города мелкая буржуазия еще извлекала выгоду из веры в благодетельность труда, в самом Риме она в него больше не верила.

Лучше прочитаем ту очаровательную эпиграмму, в которой поэт-паразит отчеканил то, что я бы, пожалуй, назвал сонетом Плантина** латинской литературы

* Справедливости ради следует отметить, что в последней эпиграмме Марциал еще предлагает сыну друга сделаться зодчим, однако в условиях рыночной экономики зависимость архитектора от денежных мешков вполне очевидна.

** *Кристоф Плантин* (1514/20—1589), знаменитый французский издатель и литератор. Вот его сонет, о котором идет речь:

Le Bonheur de ce Monde

*Avoir une maison commode, propre et belle,
Un jardin tapissü d'espaliers odorans,
Des fruits, d'excellent vin, peu de train, peu d'enfans,
Posseder seul sans bruit une femme fidule,*

*N'avoir dettes, amour, ni procus, ni querelle,
Ni de partage a faire avecque ses parens,
Se contenter de peu, n'espérer rien des Grands,
Régler tous ses desseins sur un juste module,*

*Vivre avecque franchise et sans ambition,
S'adonner sans scrupule a la dévotion,
Dompter ses passions, les rendre obéissantes,*

*Conservet l'esprit libre, et le jugement fort,
Dire son chapelet en cultivant ses entes,
C'est attendre chez soi bien doucement la mort.*

[Счастье мира сего. Иметь удобный, чистый и красивый дом, сад, усаженный благоуханными шпалерами, чтобы были фрукты, прекрасное вино, немного услуги, немного детей, обладать, без шумихи и свары, единственной верной женой, не иметь долгов, не влюбляться и не ссориться, не делить имущества с родственниками, довольствоваться малым, ничего не ждать от влиятельных лиц, устраивать все дела по верному образцу, жить вольготно и без притязаний, без каких-либо сомнений хранить благочестие, укрощать страсти, делать их покорными, хранить свободный дух, а суждение здоровым, читать молитвы, возделывая урожай, то есть кротко дожидаться смерти у себя дома].

и которая, вне всякого сомнения, служила Платину образцом³¹:

«Вот что, Марциал, составляет счастье жизни. Состояние, приобретенное не трудом, но по наследству, достаточно доходное поместье, негасимый огонь в очаге, никаких тягб, немногочисленные посещения, спокойная душа, природная сила, здоровое тело, скромная вольность, друзья, которые тебе ровня, снисходительные сотрапезники, стол без причуд, вечера без пьянства, но и без забот, жена, которая была бы целомудренна, но не уныла, сон, который сокращает ночную тьму, удовлетворение тем, что есть, без предпочтения чего-то иного, никакого страха смерти, но и никакого к ней стремления».

Эта поэзия не испускает кличей блаженства, она издает вздох, в котором покорность мешается с удовлетворением. Она не выражает никаких надежд на лучшее, что могло бы показаться невозможным. Она усматривает счастье в отрицании труда, тщетность которого сознает. По хмурому идеалу пробегают облака реальности и проскальзывает усталость старящегося мира. Общественные классы, по крайней мере в Риме, лишаются подвижности. Их иерархическое устройство, все еще колышущееся на средних уровнях, застывает на вершине. Постоянный приток, который был призван постоянно восстанавливать верха, слишком часто уступает место непоследовательным толчкам и внезапным потрясениям. Отклоненные, замедленные или излишне ускоренные эгалитарные течения обращаются преувеличением базового неравенства. Демократический строй рушится вместе со средним классом, который является его столпом, под двойным натиском: масс, которым расстроенная экономика отказывает в нормальных путях перемен участи, и злонамеренной бюрократии, усугубляющей абсолютизм монарха, баснословными богатствами которого она же и манипулирует, конвертируя этот абсолютизм в акты всемогущей воли. Так яркий расцвет, намечающийся в Городе во II веке н. э., оказывается погружен в тени, распространяемые поздней империей времен упадка по всему свету, между тем

как у Города уже недоставало духа разогнать зловещие тучи вокруг. Чтобы успешно противостоять невзгодам, общество должно верить в свое будущее. Однако римское общество, разочарованное в лучших надеждах на справедливость и постоянство иерархической структуры, поочередно удрученное то застоєм, то нестабильностью, начинало сомневаться в самом себе в то самое время, когда прочность семейных устоев оказалась поколебленной, тем самым подрывая цельность сознания.

Глава вторая
Семья: пороки и добродетели

Ослабление отцовской власти

Во II веке н. э. родовое право древних эпох вышло из употребления: *totum gentilicium ius in desuetudinem abiit*¹, и от принципов, на которых покоилась патриархальная семья Древнего Рима — агнатическое родство, неограниченная власть *pater familias*, — остались, так сказать, исключительно археологические воспоминания.

Между тем как в прежние времена единственным законным родством было то, что создавало преемство по мужской линии, или *agnatio*, теперь в него, вторгаясь в сферу законного брака, включается и *cognatio*, или родство через женщин.

Уже с конца республики мать сравнилась с отцом и стала равна ему в формальных правах по отношению к собственным детям. Преторские правовые формулы присвоили ей право надзора за детьми как в случае опеки, так и дурного поведения мужа. При Адриане, инициировавшем сенатус-консулт Тертуллиана, женщина, имеющая троих детей, приобретает право наследовать от каждого из них *ab intestato** в том случае, если у умершего не было ни потомства, ни единокровных братьев. Наконец, при Марке Аврелии Орфитианов сенатус-консулт, принятый в 178 году, в явной форме призывал к наследованию после матери ее

* В случае смерти без завещания.

детей, какого бы рода ни был тот семейный союз, от которого они появились на свет, причем в первую очередь прежде агнатских родичей покойного. Тем самым пришло к своему завершению развитие, окончательно разрушившее древнюю систему гражданского наследования; подорвав базовые понятия римской семьи, оно в конечном итоге освящает в ней «право крови» в том его значении, которое возобладало в наших теперешних общественных системах. С этих пор в Риме семья основана на *coniunctio sanguinis*^{*}, потому что, согласно блестящему предвидению Цицерона в его «Об обязанностях», эта естественная общность наиболее подходит для того, чтобы соединять человеческие существа взаимной благожелательностью и милосердием (*et benevolentia devincit homines et caritate*)².

Тогда же постепенно смягчились две основные черты *patria potestas* — абсолютная власть отца над детьми и абсолютная власть мужа над женой, поступившей под его власть (*in manu*), как будто она была одной из его дочерей (*loco filiae*). Во II веке н. э. можно уже считать, что они полностью исчезли. По отношению к детям *pater familias* лишен теперь права на жизнь или смерть, предоставленного ему законами XII таблиц и якобы царскими священными законами. Несомненно, он все еще располагает ужасным правом, отобранным у него, под благодетельным влиянием христианства, лишь в 374 году н. э., выставлять своих новорожденных к общественным выгребным ямам, где они погибали от голода и холода³, если только случайный прохожий, посланец и орудие божественного благоволения, не сжалится и не заберет их оттуда, пока еще не будет слишком поздно. Понятно, что если *pater familias* беден, он прибегает к этой рассчитанной на случайность форме легального детоубийства с неменьшей охотой, чем делал это прежде, и несмотря на отдельные протесты стоических проповедников, вроде Музония Руфа, продолжает безжалостно выбрасывать младенцев, прежде всего своих незаконных детей и девочек, поскольку судя по надписям, относящимся к правлению Траяна, на продовольственную помощь малолетним детям в одном и том

^{*} Кровном родстве.

же городе и на один и тот же год могли рассчитывать всего только два незаконных ребенка или *spurii*, в сравнении со 179 законными детьми, а из этих последних было 34 девочки против 145 мальчиков. Мы не в состоянии дать этому неравенству иное объяснение, нежели то, что соотношение «подкидышаний» по тем же категориям детей имело прямо противоположный характер, так что его жертвами чаще всего становились незаконные дети и девочки⁴.

Однако начиная с момента, когда новорожденный был оставлен в живых, в дальнейшем *pater familias* избавиться от него не мог: ни через манципацию, которая некогда обрекала их на рабство, но теперь с ней мирились лишь в качестве правовой фикции для противоположных целей — усыновления и эманципации; ни через умерщвление, которое хотя еще считалось допустимым в I веке до н. э., как показывает участь одного из сторонников Катилины, Авла Фульвия, стало теперь уголовным преступлением. Прежде чем Константин провел параллель между отцеубийством и убийством отцом собственного ребенка, Адриан наказал ссылкой на остров отца, который убил на охоте собственного сына, притом что тот был виновен в осквернении его второго брака⁵. И император Траян принудил другого отца, просто за дурное обращение с сыном, тут же его эманципировать и отказаться на будущее от получения его наследства⁶.

Кроме того, с тех пор как республиканскому устройству настал конец, эманципация ребенка радикальным образом переменяла значение и смысл. Прежде она использовалась как мера наказания, которое, уступая в строгости казни и рабству, все же оставалось достаточно тяжелым, поскольку, разрывая связи, связывавшие ребенка с родичами, она поражала его изоляцией от семейства, неизбежно оборачивавшейся лишением наследства. Теперь же она обернулась преимуществом, и благодаря преторской правовой норме

* Строго говоря, отец вовсе не отказался от притязаний и по смерти сына предъявил претензии на его имущество в качестве «манумиссора» (отпустившего на свободу), но по заключению правоведов Нерация Приска и Аристона ему было отказано в этом праве.

*bonorum possessio**, установленной в начале принципата, эманципация делала его способным приобретать имущество и управлять им, не доставляя негативных следствий родственного преемства. В качестве формы наказания отцам семейств данная мера была не по душе. И напротив, когда она обернулась благодеянием для их детей, цену которого им приходилось платить, они принялись ее то и дело практиковать. Так закон оказался переформулирован под диктовку чувств. Общественное же мнение, взиравшее с укоризной на прошлые зверства, во времена Траяна и Адриана требовало от родительской власти исключительно благочестивой нежности, которой в конце концов ее и уподобил юрист III века: *patria potestas in pietate debet, non atrocitate consistere***.

Больше ничего и не требовалось, чтобы возродить дух римской семьи и окрасить отношения между отцом и сыном эмоциональной нежностью, столь удаленной от сухости и дисциплинированного ригоризма, зрелище которых предлагает нам у собственного семейного очага Катон Старший, что она чем-то напоминает ласковую привязанность, скрашивающую наши нынешние отношения. Достаточно бегло просмотреть современную литературу: она полна примеров отцов семейства, чей авторитет проявляется исключительно в снисходительности к детям, которые в присутствии своих отцов живут на свой лад — так, словно являются полными господами самих себя. Плиний Младший, браки которого не принесли потомства, требует от сыновей собственных друзей независимости поведения и непринужденности, в которой он бы не отказал собственным детям, потому что они уже укоренились в нравах, сделавшись в понятии порядочных людей частью благопристойности. «Один отец, — пишет он, — сердился на сына за несколько чрезмерные траты... Я сказал ему, как только молодой человек откланялся: “Ну

* Дословно: «владение имуществом» — традиционное обозначение преторского порядка наследственного преемства. См.: Санфилиппо Ч. Институты римского права. М., 2007. § 292—294.

** Отеческая власть должна состоять в благочестии, а не в жестокости. См. указ. место из «Дигест» (XLVIII, 9, 5).

а ты сам, разве тебе никогда не доводилось делать что-то такое, что заслуживало упрека твоего отца?»⁸

Разумеется, Плиний Младший был совершенно прав, проповедуя снисходительность или, если угодно, либерализм, который нам по душе. Однако случилось так, что меру римлянам соблудности не удалось. Они не ограничились смягчением суровости, а уступили необдуманному побуждению чрезмерного попустительства. Отказавшись от того, чтобы направлять собственных детей, они позволили им распоряжаться собой, льстя себе надеждой, что исполняют долг, вылезая вон из кожи, чтобы потрафить фантазиям своего потомства. Чего им удалось в полной мере — так это лишь оставить после себя бездельников и мотов, подобных Филомузу, о злоключениях которого рассказывает нам Марциал: получив в один прекрасный день наследство от отца, он вдруг почувствовал себя более обездоленным, нежели во времена, когда он изо дня в день получал щедрое содержание: «Филомуз, твой отец обеспечивал тебе доход в 2 тысячи сестерциев в месяц; и он давал тебе возможность рассчитывать на эти деньги каждый день. Умирая, он сделал тебя единственным наследником. Да твой отец просто лишил тебя наследства, Филомуз!»⁹

К несчастью, имущество — не единственный момент, которым пришлось расплачиваться за торжество индивидуализма. Начиная со II века н. э. римский характер утратил свою былую закалку, и одновременно с тем, как из Города пропал суровый образ традиционного *pater familias*, здесь получила распространение бледная фигура сына семейства, этого вечного испорченного ребенка общества, приобретшего привычку к роскоши, но лишившегося привычки к порядку. Хуже того: здесь уже вырисовывается злоеущий образ отца, который из любви к наживе ничуть не боится погубить надежды собственного рода и методически портить юношей, которых должен воспитывать. Таков был случай крупного адвоката Регула, соперника и неприятеля Плиния Младшего. Он передал сыну все свои прихоти. Он выстроил ему вольеру, которая свистела, пела и разговаривала: в ней помещались дрозды, соловьи и попугаи. Он накопил сыну собак всех пород.

Он достал для него галльских пони для запряжки и верховой езды. А стоило только умереть жене Регула, колоссальное богатство которой возмещало ему его подарки, он тут же его эманципировал, с тем чтобы молодой человек мог вступить во владение материнским состоянием, неразумно им наслаждаться — и оставить его отцу по завершении жизни, сокращенной безумным транжирством¹⁰. Разумеется, здесь мы имеем дело с единственным в своем роде, чудовищным исключением, шокировавшим Плиния Младшего. Но, как бы то ни было, более чем достаточно уже одного того, что такое могло произойти, а это не сделалось бы возможным, когда бы женщины не были освобождены — настолько же и даже больше, чем дети, — от единства и сплоченности, которые некогда навязывались римской семье осуществлением *patria potestas*, пришедшей к распаду одновременно с ней.

Обручение и брак

Однако по мере того как *patria potestas* отца над его детьми продвигалась по пути все большего смягчения, муж оказался совершенно обезоруженным по отношению к собственной жене. Три формы римского брака помещали некогда женщину под *manus** ее мужа: *confarreatio*, или торжественное приношение супругами полбленного пирога Юпитеру Капитолийскому в присутствии Великого понтифика и *flamen dialis*, священнослужителя верховного божества; *coemptio*, фиктивная продажа, в ходе которой отец-плебей «манципировал» свою дочь мужу; и, наконец, *usus*** , который был способен, вследствие непрерывного сожительства в течение одного года, создать те же юридические следствия между плебеем и патрицианкой. Впрочем, можно не сомневаться в том, что ни одна из этих форм не дожила до II века н. э. *Usus* был оставлен первым, и весьма вероятно, что законы Августа упраз-

* Рука, в переносном смысле — власть.

** Букв. «пользование», в котором на женщину переносилась правовая норма приобретения вещи вследствие давности пользования.

дниги его также и формально. *Laudatio Turiae*^{*}, современное проскрипциям второго триумvirата, представляет собой самый поздний из примеров, в которых *coemptio* засвидетельствована с полной несомненностью. Что до *confarreatio*, к началу эпохи принципата она была настолько позабыта, что при Тиберии в Городе едва удалось отыскать трех патрициев, которые бы происходили от союзов, освященных этим обрядом. Взамен этих форм, впрочем, упоминаемых Гаем исключительно в прошлом времени, форм, которые служили лишь для того, чтобы давать пищу ретроспективным комментариям юристов, в обычай вошел брак, который как по внешности, так и по духу удивительным образом походит на наш, и вполне позволительно думать, что наш брак является его производной формой.

Начать с того, что ему предшествовала помолвка, которая, не включая в себя настоящих обязательств, отмечалась в Риме до того часто, что Плиний Младший включает ее в ту тысячу пустяков, которыми были бессмысленно загромождены дни его современников¹¹. Помолвка состояла во взаимных обязательствах жениха и невесты, даваемых с согласия родителей обоих в присутствии некоторого числа родственников и друзей, часть которых выступала в качестве свидетелей, а прочие удовлетворялись участием в завершавшем празднование угощении, на которое приглашали всех присутствовавших. В материальном плане помолвка выражалась в передаче женихом невесте более или менее дорогостоящих подарков¹² и символического кольца, являвшегося, быть может, пережитком предварительного задатка¹³, передававшегося в ходе изначального *coemptio*. Из чего бы оно ни состояло — из кружка железа, оправленного в золото, или из золотого ободка, походящего на наши обручальные кольца, — невеста должна была позаботиться о том, чтобы тут же, не сходя с места, надеть его на палец, на котором обычно носятся и наши обручальные кольца, а именно «на соседний с мизинцем палец левой руки»¹⁴. По этой самой причине мы называем

* «Похвала Турии» — обширная эпитафия, составленная мужем в память скончавшейся жены.

его словом *annulaire*, произошедшим от нижнелатинского *annularius*, не вспоминая при этом причину, по которой римляне избрали именно его, между тем как Авл Геллий подробно и старательно об этом рассказывает: «Если вскрыть человеческое тело, как делают это египтяне, и провести его препарирование, или ἀνατομήν, если выразаться как греки, мы обнаружим очень тонкую жилку, которая начинается у безымянного пальца и доходит до сердца. Было сочтено уместным предоставить честь ношения кольца этому пальцу, предпочтя его всем прочим по причине тесной связи, своего рода уз, которые соединяют его с главным органом»¹⁵. Этим прямым отношением, установленным от имени лженауки, между сердцем и обручальным кольцом, Авл Геллий, очевидно, желал отметить лежавшую на обручении печать серьезности, торжественность освященного им обязательства, и в первую очередь глубину чувства взаимной привязанности, которое связывали с ним его современники. Надо полагать, добровольное и открытое выражение этих чувств составляло тогда самое главное содержание не только самой церемонии, но и юридической действительности римского брака.

Самые мелкие детали свадебной церемонии дошли до нас благодаря многочисленным описаниям в литературе. В день, назначенный для торжества, невеста, чьи волосы накануне вечером были заключены в красную сетку, одевается в костюм, требуемый обычаем: тело облечено в тунику без каймы, *tunica recta*, которую поддерживает шерстяной пояс, завязанный двойным узлом, *cingulum herculeum* («Геркулесов узел»), а поверх нее — плащ, или *palla* шафранового цвета. На ноги надевались сандалии того же оттенка; на шею — металлическое ожерелье; голову, чья прическа была защищена шестью накладными валиками, разделенными поясками или *seni crines* (шестерные пряди), отличавшими весталок на протяжении всего срока службы, укутывало ярко-оранжевое покрывало, откуда и происходит его название *flammeum*, которое скромно скрывает верх лица. Еще на голову водружался веночек, безыскусно сплетенный из майорана и вербены, если говорить о времени Цезаря и Августа, а в более позд-

нюю эпоху — из мирта и флердоранжа. Когда туалет невесты был завершен, она в окружении близких встречает жениха, его семейство и друзей. После этого все собравшиеся перемещаются либо в ближайшее святилище, либо в атрий дома, чтобы свершить жертвоприношение богам. Когда избранная жертва (иногда это бывала овца, изредка — бык, но чаще всего — свинья) принесена, в дело вступают *auspex* и свидетели. Эти последние, вероятно, числом десять, отобранные среди окружения супругов, ограничиваются тем, что, ничего не говоря, прикладывают свои печати к брачному договору, составление которого, впрочем, не было обязательным. Что до *auspex*, то это лицо, чье не поддающееся переводу наименование обозначает семейного и частного авгура, играет совершенно незаменимую роль. Обследовав внутренности, он ручается за благоприятность предзнаменований, без чего брак, проклятый богами, не будет иметь юридической силы. Как только он посреди благоговейного молчания произносит соответствующие слова, супруги в его присутствии обмениваются взаимными согласиями в форме, которая, как кажется, реализует соединение как их жизней, так и воли: *Ubi tu Gaius, ego Gaius**.

Тем самым ритуал завершен, и присутствующие разражаются восклицаниями добрых пожеланий: *Feliciter!* Будьте счастливы! Их радость продолжается пиром, длящимся до самой ночи, когда наступает момент извлечь новобрачную из объятий ее матери и отвести в дом супруга. Шествие возглавляют флейтисты, за которыми следуют пять факельщиков. По пути следования кортеж то и дело разражается веселыми игривыми песенками. Уже подходя к месту, идущие со всего размаха бросают детям, привлеченным наплывом народа, орехи, которыми новобрачная играла в детстве: звонкие удары орехов по уличной мостовой весело предсказывают изобильное счастье, уготованное ей на будущее. После этого вперед выходят трое друзей жениха. Шафер в собственном значении этого слова, *promibus* (мы скажи бы: первый дружка), зажигает брачный факел, сделанный из туго сплетенных ветвей боярышника. Вслед

* Букв. «Где ты — Гай, там я — Гая».

за этим двое других подхватывают невесту и переносят ее так, чтобы ноги не коснулись земли, через порог нового жилища, убранного белыми занавесями и зеленоющей листвой. Трое из подружек *nova nupta*, новобрачной, входят в дом вслед за ней: две из них несут прялку и веретено, эти явные символы ее добродетельности и будущей деятельности в доме. После того как муж предложит третьей из них, *pronuba*, которая на самом деле является первой по значению, воду и огонь, та ведет невесту к брачному ложу, занять место на котором приглашает ее муж, снимает с нее *palla* и готовится развязать *nodus herculeus* пояса, между тем как все помощники удаляются — со скромностью и спешкой, приличествующими обычаю¹⁶.

Оставим в стороне кровавое жертвоприношение и позабудем также ослепительное зарево покрывала новобрачной: не покажется ли кому-то, что данный церемониал пережил Римскую империю и продолжает, с некоторыми переменами, определять течение большей части современных свадебных церемоний? Как отметил в свое время монсеньор Дюшен с прозорливостью, которая поразительна уже сама по себе: «За исключением гадания по внутренностям, весь римский свадебный ритуал сохранился в христианском обиходе. Даже венцам — и им здесь отыскалось место... Консервативная по самой своей сути, Церковь ничего не меняла в вещах такого рода, если только это не шло вразрез с ее верованиями». В самом деле, если обратиться к господствующим здесь понятиям, христианский брак состоит в свободном взаимном дарении душ. Вне зависимости от увеселений, которые за ним следуют, и даже от обязанностей, которые, как правило, его сопровождают, таинство состоит в провозглашении супругами тесного душевного союза, а священнослужитель здесь лишь для того, чтобы в присутствии Бога это констатировать¹⁷. Однако это определение весьма похоже на то, что именовалось римским браком в классическую эпоху. В самом деле, он происходил в тот момент, когда, независимо от вмешательства со стороны божества (о котором заявлял *auspex*), Гай и Гая заявляли вместе о своей воле связать друг с другом свою жизнь, причем, следует добавить, в силу уже одного только факта такого заявле-

ния. Все прочее было лишь рядом необязательных завитушек и избыточных дополнений. Когда, уже под занавес республики, Катон Утический вновь женился на Марции, как она, так и он решили обойтись без всего этого. Они дали друг другу клятвы, лишённые пустого блеска. Они обошлись без свидетелей. Они не собирали никаких близких. Они удовольствовались тем, чтобы сочетаться в молчании, с Брутом в роли *auspex*:

Pignora nulla domus; nulli coiere propinqui
Iunguntur taciti contentique auspice Bruto^{18*}.

Явное благородство присутствует в этом согласии сердец, которого оказывается довольно, чтобы заключить брак. И нет сомнения, что прогресс в области философии, и в особенности стоицизм, озарявший путь уже Катону и Порции**, сыграл свою роль в том, чтобы внести в римское право это вполне современное представление, которое, как чуждое его изначальным тенденциям, в конце концов произвело переворот в экономической сфере. Для древних, упоминаемых Гаем как уже сошедшие со сцены, сама природная ничтожность женщины обрекала ее на то, чтобы жить в вечном состоянии несовершеннолетнего лица¹⁹. В браке *sine manu* она избавлялась от *manus* своих родственников по восходящей линии или агнатских родственников, лишь попадая под власть *manus* своего мужа. В браке *sine manu* она оставалась под властью опекуна, называвшегося «законным»²⁰, который в обязательном порядке избирался среди ее агнатских родственников после кончины последнего из ее родственников по восходящей линии. Лишь когда брак *sine manu* одержал верх над другим его видом, законная опека, которая была неотделима от последнего, утратила всякое значение. Начиная с конца республики стоило подопечной пожаловаться на отсутствие опекуна, сколь бы коротко оно ни было, и в соответствии со снисхо-

* Не было подле семьи, не сошлись на свадьбу родные. / Так обвенчались в тиши, довольствуясь Брутом за свата (Лукан. Фарсалия, 2, 270–271, пер. Л. Е. Остроумова).

** Порция – дочь Катона, жена Брута.

дительным решением претора ей назначался другой. А когда в начале существования империи были приняты законы демографического характера, связанные с именем Августа, законные опекуны оказались принесены в жертву желанию императора облегчить заключение плодовых браков: они не только избавляли от опеки супруг, у которых было трое детей, но и предписывали отзыв опекуна, в отношении которого подопечная заявила, что он не спешит одобрить ее матримониальные планы или выплатить ее приданое.

Во времена Адриана замужние женщины больше не нуждались в опекуне даже для составления завещания. Отцы не принуждали дочерей выходить замуж против желания, а также и в мыслях не имели противодействовать браку дочери с тем, кого она избрала сама, если только для того не было разумных оснований. Ведь как провозгласил великий правовед этого правления Сальвий Юлиан, брак заключают не объятия, но волеизъявление супругов, и свободное согласие юной девушки является необходимым условием для его заключения: *nuptiae consensu contrahentium fiunt; nuptiis filiam familias consentire oportet*²¹.

Эмансипация и героизм римской женщины

Разумеется, это новое определение римского брака повлекло за собой изменения в самой его природе. Существуют последствия, которые неизменно наступают за одними и теми же причинами. В наши дни во Франции мы видели, как законодатель сгладил, а затем и вовсе удалил все препятствия, высившиеся перед торжествующей волей вознамерившихся вступить в брак. Все то, что могло сохраниться от родительского авторитета, улетучилось одновременно с их правом на противодействие браку, которого желают их дети. Точно таким же образом происходило все и в Римской империи. Матрона, уже вышедшая из-под власти мужа вследствие почти безраздельного преобладания браков *sine manu*, освободилась и от его опеки по причине независимости выбора, которой требовал брач-

ный союз Нового времени. Так, войдя в хозяйство мужа свободной, она пребывала в нем на равном с ним положении.

Ибо вразрез с расхожим представлением, срисовывающим положение в эпоху империи с давно уже отживших воспоминаний о первых веках республики, не может быть никакого сомнения, что в эпоху, о которой мы говорим теперь, римская женщина обладала достоинством и самостоятельностью, равными или даже превосходящими те, которых требует для наших женщин современный феминизм и которого методично требовали при Флавиях отдельные теоретики античного феминизма, например Музоний Руф, — во имя интеллектуального и нравственного равенства полов²². Конец I и начало II века изобилуют значительными женскими фигурами, от которых исходит такая сила духа, что они властно вызывают всеобщее восхищение. На троне тогда сменяли друг друга императрицы, действительно достойные носить наряду со своими мужьями тот священный титул Августы, который был получен Ливией только после смерти ее мужа*. Плотина разделяла как славу, так и обязанности Траяна, которого она сопровождала на войну против парфян. В последние моменты жизни *optimus princeps*** ей удалось так удачно выразить или восполнить его последнюю волю, что благодаря ей Адриан в порядке и спокойствии получил суверенное преемство, которым покойный император распорядился в его пользу лишь конфиденциально. Составителям «Истории Августов» не удалось задеть Сабину*** своими пересудами: их опровергают целый ворох посвятительных надписей, говорящих о ее благодеяниях, и многочисленные статуи, обожествившие ее при жизни. Впрочем, Адриан, который, как считается, плохо с ней ладил, желал, чтобы она была окружена таким почитанием и предупредительностью, что пренебрегший ею Светоний, занимавший пост *ab epistolis*, на следующий же день распрощался со своей должностью письмоводителя. В свою

* То есть императора Августа.

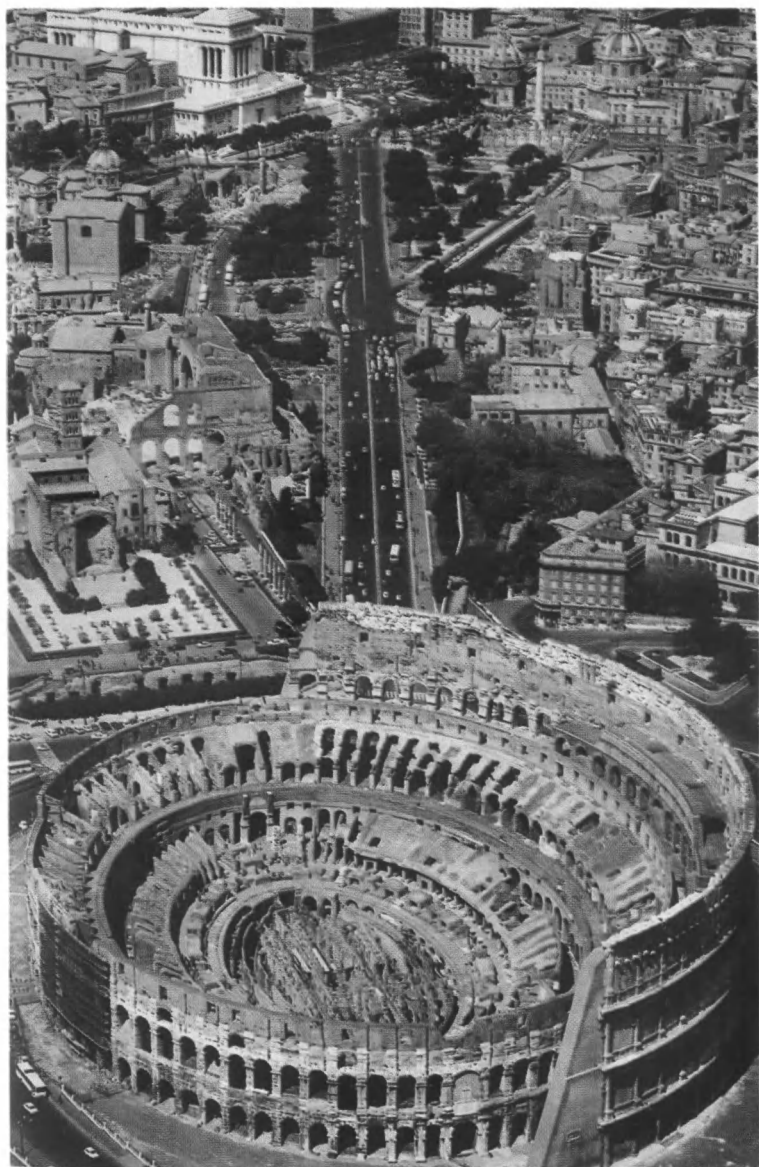
** Наилучшего императора.

*** Вибия Сабина, жена Адриана.

очередь, великосветские дамы из аристократических кругов с гордостью вызывают в памяти, как показывают это столько неувядаемых образцов, тех героинь былых дурных правлений, которые, веря в своих супругов, будучи связанными с их распоряжениями и политикой, ни за что не желали разлучиться с ними при приближении опасности и предпочитали скорее погибнуть, нежели бросить их, оставив в одиночку гибнуть под ударами тиранов.

В правление Тиберия Секстия не пожелала пережить Эмилия Скавра, точно так же, как Паксея — Помпония Лабео²³. Когда Нерон вынес Сенеке смертный приговор, молодая жена философа Паулина вскрыла себе вены одновременно с мужем, и если она не истекла кровью, то это лишь потому, что Нерон, которому стало известно о ее жертве, повелел во что бы то ни стало ей помешать, и ей против ее воли перевязали руки и остановили кровотечение. Рассказ об этой патетической сцене, который донесли до нас «Анналы Тацита», нарисованный здесь портрет бескровного и страдающего лица, на котором вдова Сенеки продолжала сохранять следы произошедшей трагедии на протяжении нескольких лет представившейся ей в этом мире передышки²⁴, являются проявлением глубоких чувств, которые внушали римлянам времени Траяна воспоминания, пускай даже полувековой давности, об этой драме супружеской нежности. Тацит испытывал к постоянству Паулины такое же восхищение, как его друг Плиний Младший — к гордому мужеству, выказанному при Клавдии Аррией Старшей, мужеству, воспетому им в самом прекрасном из писем его переписки²⁵.

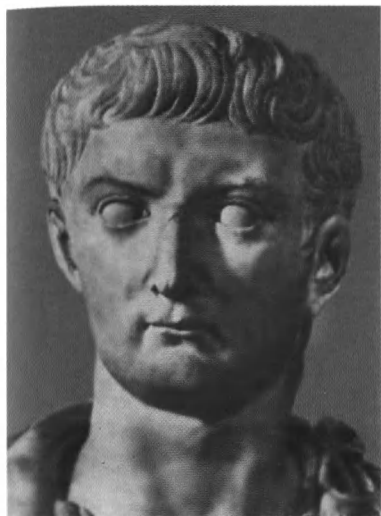
Да позволит мне читатель еще раз произвести обширные заимствования из этих прославленных страниц. Аррия Старшая вышла замуж за сенатора Цецину Пета. В прискорбных обстоятельствах она выказала, на какое стоическое самопожертвование была способна ее любовь к супругу. Пет был болен, и болен был также его сын, причем без какой-либо надежды на выздоровление. Молодой человек скончался. Он был необыкновенно красив, а кроме того, наделен не менее редкостной нравственной чистотой, и его родители души в



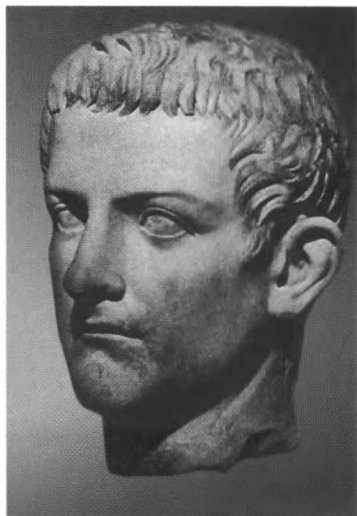
Современный вид центра античного Рима.
На переднем плане — Колизей



Основатель империи — Октавиан Август



Тиберий



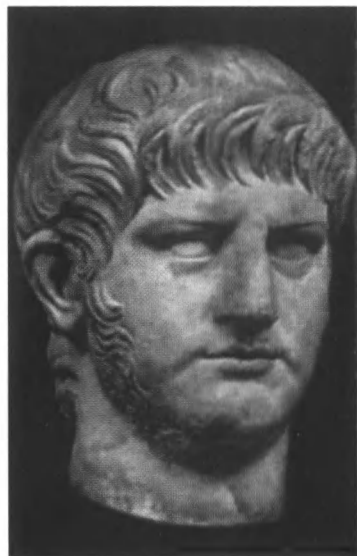
Калигула

ЮЛИИ-КЛАВДИИ

Клавдий

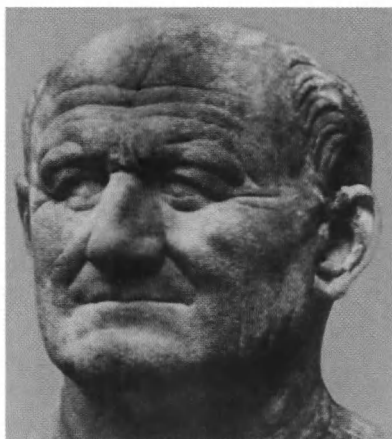


Нерон





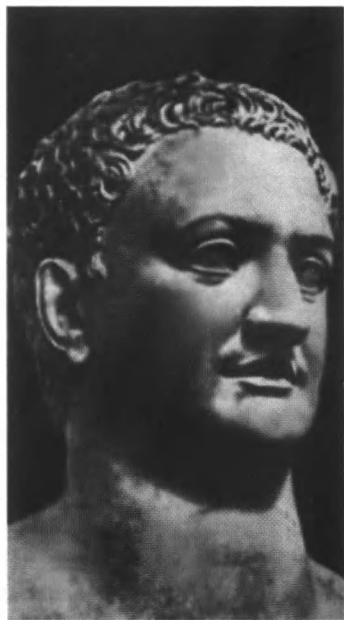
Гальба



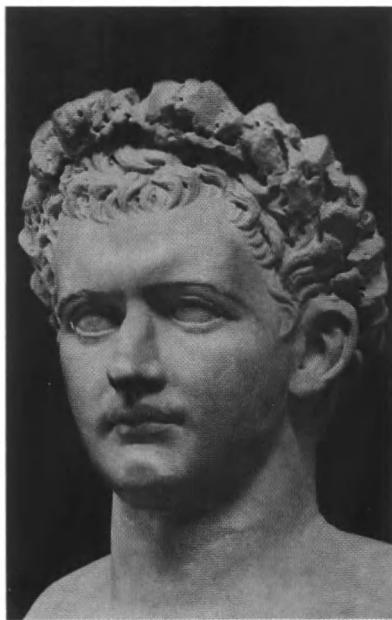
Веспасиан

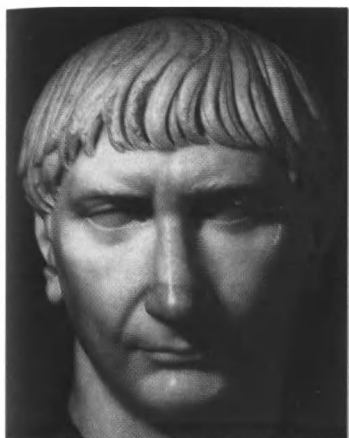
ФЛАВИИ

Тит

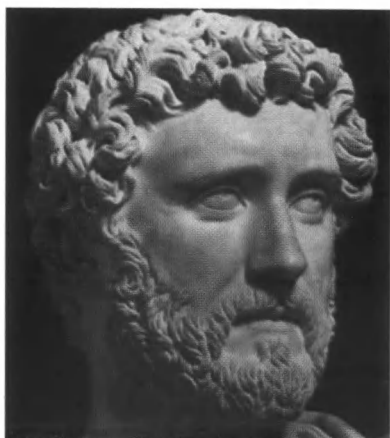


Домициан





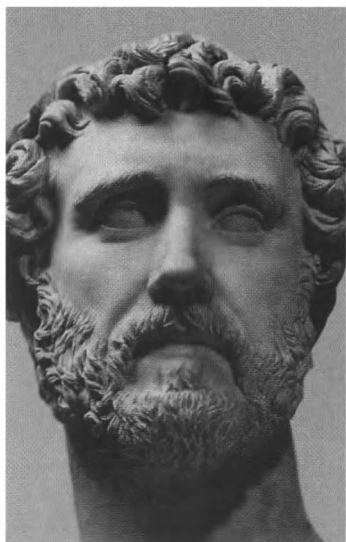
Император Траян



Антонин Пий

Римский форум





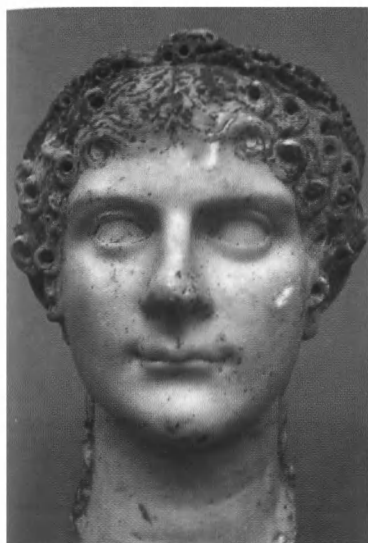
Марк Аврелий



Коммод

Солдаты преторианской гвардии





Агриппина Младшая



Мессалина

Форум во времена империи (реконструкция)





Так выглядел императорский Рим





Акведук Клавдия



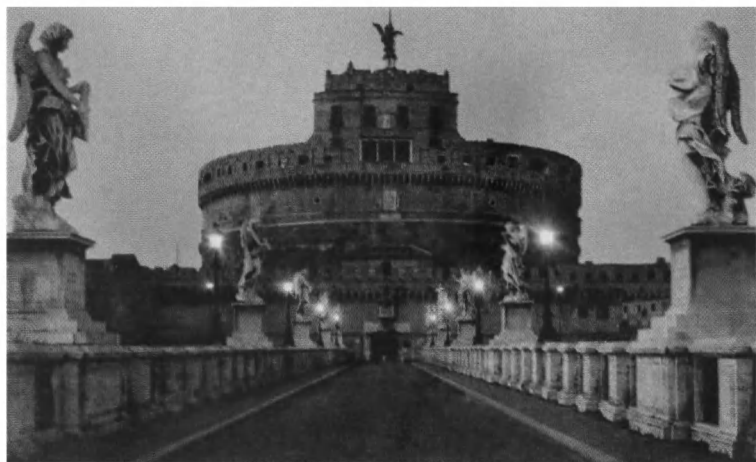
Храм Весты на форуме

Золотой дом
Нерона



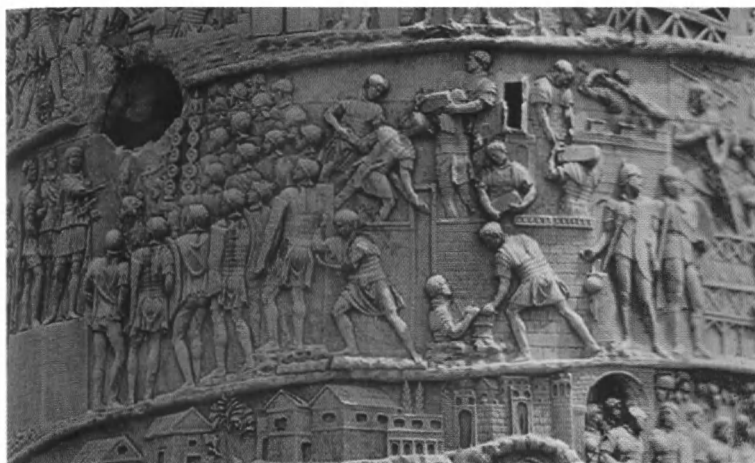
Пантеон



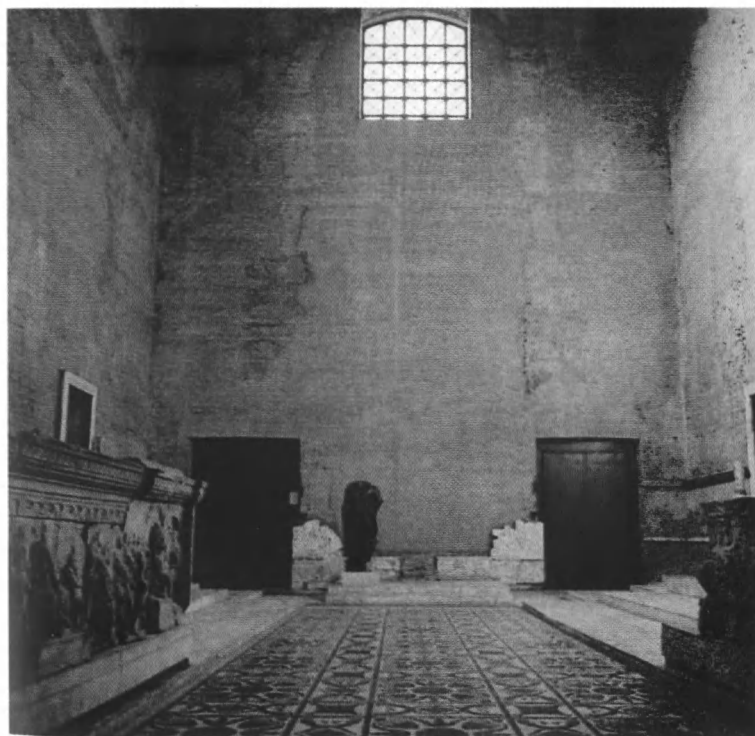


Мавзолей Адриана, ныне — замок Святого Ангела
Арка Тита





Барельеф колонны Траяна, изображающий войну с даками
Зал римской курии





Многоэтажные жилые дома (инсулы) в порту Остия

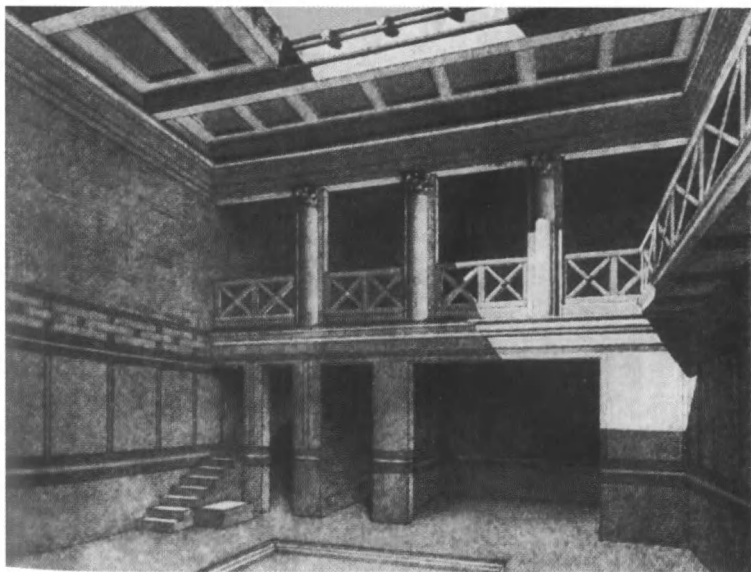
Роспись одной из помпейских вилл



Молодая римлянка



Атриум —
центральная комната
римского дома





Колонна Траяна

нем не чаяли — в большей степени за эти его достоинства, нежели потому что он был их сын. Аррия устроила похороны своего ребенка и возглавила траурную процессию, но так, что муж ни о чем не догадывался. Входя в комнату Пета, она делал вид, что их сын все еще жив, что ему становится лучше, и поскольку отец часто спрашивал новости о сыне, она отвечала: «Он хорошо поспал, он с аппетитом покушал». После этого, чувствуя, что, несмотря на все ее усилия, подавляемые на протяжении столь длительного времени слезы вот-вот прорвутся наружу, она выходила из комнаты и предавалась своему горю. Вдоволь наплакавшись, она насухо вытирала глаза, делала спокойное лицо и входила снова, оставляя свое горе, так сказать, за порогом. Во всяком случае, благодаря этим сверхчеловеческим усилиям Аррии удалось спасти мужа от той болезни, которая лишила ее ребенка. Однако в конечном итоге ей не удалось вывести его из-под императорского мщенья, когда в 42 году н. э. он оказался замешанным в мятеже, поднятом Скрибонианом, и арестован в Иллирике прямо у нее на глазах. Она просила солдат забрать также и ее. «Было бы правильно, — говорила она, — когда бы вы дали консуляру* рабов, чтобы они прислуживали ему за столом, одевали и обували. Все это я буду делать сама». Поскольку ее просьбы не возымели действия, она наняла рыбацью лодку и на этой углой посудине проследовала в Италию вслед за судном, на которое посадили Пета. Напрасно. В Риме Клавдий выказал свою неумолимость. Тогда Аррия объявила, что умрет вместе с мужем. Вначале ее зять Тразея попытался ее отговорить. «Разве можешь ты согласиться, — настаивал он, — чтобы твоя дочь погибла вместе со мной, если когда-нибудь дело обернется так, что умереть придется мне?» Однако Аррия проявила несгибаемую, суровую решимость. «Проживи моя дочь с тобой так же долго, как мы с Петом, и в таком же добром согласии, я не стала бы возражать», — ответила она. А чтобы разом положить конец всем их усилиям, она стремительно бросилась на стену, разбила себе голову и упала без чувств. Придя в себя, Аррия сказала: «Я вас предупреждала, что найду

* То есть человеку, бывшему в свое время консулом.

путь к смерти, каким бы тяжелым он ни был, если вы будете мне отказывать в более легком». И когда для Пета настал смертный час, Аррия достала из своего платья кинжал, пронзила себе грудь и, вырвав оружие из раны, протянула его мужу, прошептав бессмертные, как бы божественные слова: «Не больно, Пет!»

Если я настаиваю на этих знаменитых примерах, так это потому, что через определенный тип женщины императорской эпохи они показывают нам одно из прекраснейших воплощений земного величия как такового. Благодаря таким свободным и гордым существам, как Аррия Старшая, античный Рим в тот самый момент, когда ему суждено было принять кровавое крещение первых мучеников христианства, взошел на одну из нравственных вершин человечества. Уже во II веке их память была не только предметом настоящего поклонения; нет, сам их пример продолжал вызывать к жизни все новых им подражательниц. Конечно, теперь императорское правосудие избавляло матрон от жертв, которые их заставляли приносить гнев Клавдия и свирепость Нерона, а Аррии Младшей могла стоять строгость Веспасиана²⁶. Однако жестокость повседневной жизни предоставляла им слишком много возможностей для того, чтобы испытать подобную же участь, и римские женщины, во всяком случае если говорить об элите, ни в коем случае не выродились.

Плиний Младший сообщает о таких женщинах в своем окружении, которые в привязанности к мужьям доходили до того, что желали уйти из жизни вместе с ними. «Я прогуливался в лодке по нашему озеру Комо, — пишет он, — когда мой более преклонного возраста друг привлек мое внимание к одной вилле, нависавшей над озером. Это отсюда, сказал он, сбросилась однажды со своим мужем одна из наших землячек. Я спросил у него о причине. Мужа поразила язва срамных частей. Жена потребовала, чтобы он дал ей взглянуть на больное место, потому что никто не скажет ему откровеннее, можно ли надеяться на излечение. Увидав, она утратила всякую надежду, привязала себя к нему и бросилась в озеро вместе с ним»²⁷.

Несомненно, это исключения, или, если угодно, предельные случаи, когда мужество обостряется до крайней

степени и добродетель начинает страдать от избыточной суровости. Но, наряду с этим, сколько здесь примеров нежных семейных союзов, сколько подлинно благородных и чистых супругов! Даже у Марциала мы встречаем целый ряд совершенных женщин. Клавдия Руфина, «хоть и происходит от татуированных британцев», настоящая римлянка в душе. Нигрина, «более счастливая, чем Эвадна или Алкеста, удостоилась того, что ей нет нужды умирать вместе с мужем, чтобы доказать свою любовь». Чистая душа Сульпиции проглядывает в ее литературных сочинениях: в них она не живописует исступление колхидской волшебницы, не повествует о пиршестве ужасного Фиеста: она наставляет исключительно в чистой любви. «Свет не видал более шаловой женщины; свет не видал более целомудренной женщины; и в будущем она не захочет стать ни супругой Юпитера, ни любовницей Аполлона, если ее Калена заберут у нее»²⁸. Женское общество, группирующееся вокруг Плиния Младшего, тоже дышит преданностью, изысканностью, порядочностью. Так, супруга его старого друга Макрина была бы достойна того, «чтобы приводить ее в пример, даже если бы жила в прежние времена: она провела с ним 39 лет без единой ссоры, без капризов, в ничем не омрачаемом согласии и взаимоуважении»²⁹. Сам Плиний Младший, сколько можно судить, сполна изведал счастье со своей третьей женой Кальпурнией. Каких только похвал не расточает он ей, превознося ее то за утонченность, то за сдержанность, то за любовь, залог верности, то за вкус к словесности, который она почерпнула в его склонности к этому предмету. «Сколько было страхов, когда она узнала, что я должен выступать в суде! Сколько радости, когда все это было позади! Она не переставала читать, перечитывать, учить наизусть мои тексты. Когда я выступал с чтениями перед публикой, она присутствовала здесь же, за занавеской, жадным ухом впивая похвалы, которые адресовались мне. Когда я сочиняю стихи, она кладет их на музыку и сопровождает игрой на кифаре, не учась никогда в жизни ни у какого артиста, а только лишь у любви, которая ведь поистине лучший учитель»³⁰. Такой вырисовывается в наших глазах Кальпур-

ния подле своего мужа-литератора — вполне современный тип супруги-«посвященной». Ее сотрудничество, лишенное даже малейшего следа педантизма, еще увеличивает очарование, украшающее ее молодость, и бодрит, нисколько их не иссушая, живость чувств, которые она испытывает к мужу, платящему ей той же монетой. Сколько можно судить, самое краткое расставание доставляет тому и другому настоящее страдание. Когда Плинию приходится уехать, Кальпурния отыскивает его в его произведениях, которые она лелеет и размещает в тех местах, где привыкла видеть его самого. Также и Плиний, когда жена отсутствует, то и дело берет в руки письма Кальпурнии, словно они только что ему доставлены. Ночью он не спит, вызывая силой воображения ее дорогой образ; а днем, в часы, когда он привык видеть Кальпурнию, «ноги сами несут его» туда, где она находилась обыкновенно, и с опечаленным сердцем, «как будто она затворила перед ним дверь, возвращается из этой пустой комнаты»³¹.

При беглом просмотре этих исполненных нежности записок нас одолевает искушение выступить против пессимизма Ларошфуко и опровергнуть его афоризм, что по-настоящему счастливых браков не бывает вовсе. Однако, поразмыслив, начинаешь замечать некую условность, которая дает о себе знать в этих излияниях — несколько вычурных и книжных. В мире, в котором жил Плиний, семейные союзы создавались в большей степени чарами условностей, чем силой чувств. Он не мог выбирать себе жену как-то иначе, нежели как когда сам брался подыскать ее для Минуция Ацилиана, взвешивая не только телесные и нравственные достоинства избранницы, но еще и ее семейные связи и материальное положение. «Ибо, — признается он, — я говорю себе, что этот момент также не следует упускать из виду»: *ne id quidem praetereundum esse videtur*³². Что, как кажется, больше всего внушало ему любовь к Кальпурнии, так это восхищение, которое она испытывала к его сочинениям, и у нас тут же создается впечатление (хоть Плиний и желает убедить нас в обратном), что он без труда находит утешение в отлучках, на которые сетует — посредством удовольствия, которое испытывает, шли-

фую как раз те страницы, на которых столь изящно на них жалуется. Собственно говоря, даже когда женатые супруги жили под одной крышей, они не были вместе. Обитали они, как мы сказали бы теперь, на положении соседей. Даже посреди мирной жизни на тосканской вилле Плиний Младший отыскивал прежде всего уединение, благоприятное для его размышлений; и, как мы видим, по утрам он зовет к своей постели секретаря (*notarius*), а вовсе не жену Кальпурнию³³. Его супружеская любовь, определяемая знанием правил хорошего тона, была для него прежде всего делом светской благовоспитанности, так что мы все же вынуждены сказать, что в общем и целом ей донельзя недоставало теплоты и задушевности.

Обратимся, например, к написанным в смущении письмам деду и тетке Кальпурнии, извещающим одновременно о надеждах на потомство, которым должна была его порадовать жена, и о печальном событии, самым жестоким образом положившим этим надеждам конец³⁴. Кальпурнию Фабату он сообщает: «Чем больше хотелось тебе, чтобы мы подарили тебе правнука, тем большую печаль придется тебе испытать, узнав, что у твоей внучки случился выкидыш. Не подозревая по неопытности о том, что беременна, Кальпурния упустила то, что следует делать в таком случае, и, напротив, делала то, чего не следовало. За эту ошибку она поплатилась слишком уж серьезным уроком, так как сама оказалась у врат смерти». Для Кальпурнии Гиспуллы он несколько изменяет форму, но не суть этих причудливых объяснений: «Кальпурния подверглась очень серьезной опасности (да не навлечет на нас беды это слово!) не по своей вине, но по вине своего возраста. Отсюда ее преждевременные роды и прискорбная развязка беременности, о которой она ничего не знала. Возьми на себя труд попросить прощения за это несчастье у отца, так как женщины более способны его извинить...» На самом же деле это мы ничего не можем тут понять: в голове не укладывается, до какой же степени Плиний Младший, такой вдумчивый в том, что касается интеллектуального образования своей молодой жены, не входил ни во что прочее, был настолько

ко всему равнодушен. Здесь перед нами свидетельство его поразительных и кажущихся противоестественными холодности и отстраненности. Вот чем приходилось расплачиваться за свободу, оборачивающуюся безразличием, и за равенство супругов в браке, которое подчас приводит лучших среди них, вместо того чтобы их сблизить, к своего рода эгоистическому отупению, между тем как многих других это равенство толкало к блажи и извращениям.

Феминизм и нравственное вырождение

Наряду с героинями императорской аристократии, с безупречными женами и превосходными матерями, которые еще числились в ее рядах, не представит никакой сложности противопоставить им жен «раскованных» или скорее «распущенных», различные виды которых явились на свет в условиях нового римского брака. Были здесь такие, кто отказывался от материнских обязанностей ради сохранения свободы действовать так, как им заблагорассудится; такие, кто стремились не уступать своим мужьям ни в чем, доводя свое противостояние с ними вплоть до того, что, как кажется, несвойственно их полу, а именно мерились с ними силой. Имелись и такие, кто, будучи не удовлетворены совместной жизнью подле мужей, устраивали все так, чтобы проживать от них отдельно — пусть даже ценой предательства и измен, которые уже не вызывали стыдливового румянца на их лице.

То ли по причине добровольного ограничения рождаемости, то ли в связи с истощением сил нации в конце I — начале II века н. э. римские пары очень часто оказывались поражены бесплодием. Впрочем, пример здесь показывали сами верхи. Нерву, император-холостяка, которого, быть может, и избрали-то за его безбрачие, сменили на троне Траян, а затем Адриан, которые, хотя и были женаты, не оставили после себя законных отпрысков. Или возьмем такого консуляра, как Плиний Младший: ни одно из трех его супружеств не оставило ему наследника, так что после смерти все

его имущество было разделено между его благотворительными фондами и домочадцами. Можно не сомневаться в том, что и мелкая буржуазия не отличалась большей плодовитостью. Она сама уведомила нас об этом тысячами эпитафий, в которых покойного оплакивают его вольноотпущенники, а никаких потомков не упомянуто. Марциал совершенно серьезно предлагает читателям восхититься Клавдией Руфиной за то, что у нее трое детей, и напоминает нам, посвящая ей свое приношение в виде эпитагмы, специально составленной в ее честь, что одну его знакомую дважды чествовали на столетних играх в 47 и 88 годах н. э. за то, что она родила от мужа пятерых сыновей. Так что плодовитость, которая в современной Франции не удостоилась бы ни упоминания, ни каких-то особых наград, считалась в Риме того времени чем-то из ряда вон выходящим и достойным превознесения до небес.

Если римлянки отказываются теперь исполнять материнские функции, то они с величайшим увлечением, даже с каким-то вызовом, отдаются всякого рода занятиям, которые во времена республики мужчины весьма ревниво оставляли исключительно для себя. Так что Ювенал мог в своей VI сатире набросать для потехи читателей целый ряд портретов, доведенных едва ли не до карикатурности, когда женщины, забросив вышивание, чтение, пение или лиру, с той же живостью тщатся походить на мужчин и даже превзойти их во всех областях. Есть здесь такие, которые со страстью погружаются в материалы судебных дел, с наслаждением отдаются политике, живо интересуются новостями со всего света, охочие до городских сплетен и придворных интриг, сведущие в том, что происходит у фракийцев и серов*, они оценивают реальность угроз, нависающих над царем Армении или над парфянами, и достаточно бесцеремонны, чтобы во всеуслышание излагать свои теории и планы полководцам, облаченным в *paludamentum***, в присутствии своих безмолвных мужей. Встречаются

* Народ на востоке Азии, отождествляемый обычно с китайцами.

** Плащ военного, чаще всего военачальника.

также женщины, предпочитающие дипломатическим комбинациям и упражнениям в стратегии завоевание литературного имени: они, неиссякаемые и многословные, особенно склонны стремиться к смехотворному пуризму на греческом и латыни; даже за столом они приводят в смущение своих собеседников дотошностью замечаний и решительностью суждений: они готовы «оправдать готовность Дидоны к смерти... провести сравнение между Вергилием, с одной стороны, и Гомером — с другой» и с безапелляционной предубежденностью затыкают рот как самым сведущим грамматикам, так и красноречивейшим ораторам³⁵. Плиний Младший, несомненно, поддался очарованию их эрудиции, если припомнить не только панегирики, которые он расточает Кальпурнии, но и воодушевление, в которое повергают его культура и вкус супруги Помпея Сатурнина и ее послания, составленные столь умело, что он увидел в них «Плавта или Теренция в прозе»³⁶. Напротив того, Ювенал, чью философию у нас, должно быть, перенял добряк Хрисал*, не выносит этих «ученых женщин». Он сравнивает их болтовню со звяканьем кастрюль и колокольчиков, с ужасом сторонится этих «жеманиц», которые развивают метод Палемона, ни разу не погрешив против правил языка, и превозносит, к стыду для них, женщину, «которая не имеет стиля, чего-то не знает в истории и не все понимает из того, что читает»³⁷.

Это касается интеллектуалок; «спортсменки», однако, способны еще больше раздражить сатирика, нежели «синие чулки». В наше время он почти наверняка порицал бы «шоферш» и «авиаторш». Ювенал не жалеет сарказма ни по адресу тех своих современниц, которые присоединяются к мужским охотничьим ватагам и, как Мевия, с копьём в руке и открытой грудью, «пронзают этрусских кабанов», ни тех, кто в мужском одеянии присутствует на скачках колесниц, но особенно достается от него тем из женщин, чья страсть — фехтование и борьба. Только издевательски может он повест-

* Герой комедии Мольера «Ученые женщины», впервые поставленной в 1672 году.

воват о *ceroma*^{*}, которой они обмазываются, и о всех тех аксессуарах, в которые облачаются: эндромидах^{**}, наручах, набедренниках, портупях и султанах, о энергичных упражнениях, которыми они себя изнуряют. «Смотрите, с каким рвением наносит она удары, которым выгучилась! Кто сочтет зарубки на искромсанном частыми ударами меча столбе, на который она насккивает со щитом в руке?.. Известно ли кому, наконец, не поселилось ли в ее душе желание еще более честолюбивое: выйти самой сражаться на арену?» Возможно, кто-то из тех, кто восхищается теперь всеми этими доблестными женскими «рекордами», пожмет плечами и обвинит Ювенала в мелкотравчатости и недостаточной широте кругозора. Но следует все же признать, что скандальные хроники его эпохи оправдывают страхи, высказанные им в следующем серьезном вопросе: «Какую стыдливость может сохранить увенчанная шлемом женщина, отрекающаяся от собственного пола?» Феминизм, возобладавший в имперскую эпоху, принес далеко не одни преимущества и выгоды, и это было поистине роковым обстоятельством, поскольку,

* Заимствованное из греческого языка слово, получившее достоверное объяснение применительно к атлетическим занятиям лишь сравнительно недавно, в начале XX века. На греческом оно означает «мазь», «притирание» и в таком смысле достаточно широко использовалось как в медицинской, так и в обычной литературе. Но в сфере борьбы, прежде всего в императорское время, слово *ceroma* стало означать тонкий слой глины или грязи, покрывавший площадку для борьбы (чтобы снизить травматизм, его время от времени даже разрыхляли специальными граблями, что можно видеть на некоторых рисунках на вазах). Падая, борцы покрывались слоем грязи, которую им приходилось впоследствии соскребать, а внешне этот нанесенный состав походил как раз на какое-то притирание, откуда, вероятно, и произошло название *ceroma*. Поэтому постепенно так стали называть и площадку, а затем, в результате переноса – и сами занятия борьбой, как мы можем назвать «ареной» цирковое искусство, а «ипподромом» конные состязания (в Англии, а теперь уже и повсюду их принято именовать *turf*, то есть «дерн»). Так что *femineum ceroma*, упоминающаяся у Ювенала, следует понимать просто как «женская борьба», а «кероматическая шея» у него же (*ceromaticum collum*, III, 68) — это просто «шея борца» (то ли соответствующей мускулистости, то ли зачашую вымазанная *ceroma*). См.: Паули—Виссова. Hbd. XXI. Sp. 326—328.

** Грубый шерстяной халат, в который облекались разогретые атлеты после упражнений.

чрезмерно подражая мужчинам, римлянка в конце концов переняла у них главным образом пороки, овладеть же их силой в полном объеме не давала ей сама природа³⁸.

На протяжении трех столетий матери семейства в Риме делили с мужьями трапезу на пирах. Но с тех пор как они сделались их соперниками еще и на палестре, они, естественно, перешли на атлетическую диету в питании и не отставали от них за столом точно так же, как оспаривали лавры на арене для выступлений. Тогда уж и женщины, которые не могли сослаться на занятия спортом в качестве извиняющего обстоятельства, взяли за обыкновение есть и пить так, словно они не вылезают с палестры. У Петрония мы встречаемся с Фортунатой, толстой подружкой Тримальхиона, переполненной пищей и вином, с взглядом, отуманенным пьянством, с заплетающимся языком и путаными воспоминаниями. Гранддамы (и те, кто за них сходил благодаря деньгам), в которых метят сатиры Ювенала, беззастенчиво выставляли напоказ отвратительное обжорство. Одна затягивает попойки до глубокой ночи и «заглатывает громадных устриц, между тем как пенятся благовония, растворенные в чистом фалернском, а самой ей кажется, что потолок над ее головой кружится, а светильники в зале удваиваются в числе». Другая, зашедшая в своем падении еще дальше, с опозданием, с горящим лицом заявляется на *сена*: «Она выпивает, такова ее жажда, целую ойнофору, поставленную у ног. Прежде чем приняться за еду, она выдувает еще чашу и, извергнув ее на пол, доводит свой аппетит до зверского, поскольку теперь желудок как следует промыт. Подобно змее, заключенной в глубокую бочку, она одновременно пьет и изрыгает, вызывая у мужа, который изо всех сил удерживает свой гнев, позыв к рвоте»³⁹.

Конечно, то были отвратительные исключения. Однако более чем достаточно того, что сатирик позволил себе создать на их основе типы, безошибочно распознаваемые читателем. Кроме того, очевидно, что независимость, которой пользовались тогда римские женщины, часто выливалась в распущенность и в связи

с проистекавшим из этого распутством вела к распаду семейных уз. Начиналось с того, что они жили просто как сосетки своих мужей:

Vivit tamquam vicina mariti⁴⁰.

На этом, однако, они не останавливались, но нарушали супружескую верность, хранить которую должны были ему обещать, притом что многим из них доставало цинизма отказать мужу даже и в этом уже при вступлении в брак. «Жить своей жизнью» — вот формула, введенная этими женщинами в моду уже во II веке н. э. «Мы когда-то договорились, — заявляет мужу одна из них, — что ты будешь делать, что тебе угодно, но я, со своей стороны, разрешу себе любую прихоть. Можешь вопить и делать, что тебе заблагорассудится, но я тоже человек!»

Ut faceres tu quod velles nec non ego possem
Indulgere mihi. Clames licet et mare caelo
Confundas! Homo sum!⁴¹

Следует сказать, что в эпиграммах Марциала и Ювеналовых сатирах речь идет не только о супружеской измене. Целое письмо* в целомудренной переписке Плиния Младшего посвящено рассказу о перипетиях процесса, который довелось вести Траяну в качестве верховного главнокомандующего: обвинялся центурион, уличенный в том, что он соблазнил жену одного из своих начальников, сенатора и военного трибуна легиона, в котором служил сам. Что поразило Плиния Младшего в данном случае, это, разумеется, не супружеская измена сама по себе, но необычное стечение обстоятельств, ей сопутствовавших: это и факт присутствовавшей здесь явной недисциплинированности, сразу поведший к разжалованию центуриона, сомнения трибуна в том, требовать ли ради спасения своей чести заслуженной женой кары, решение о которой императору, до некоторой степени, пришлось принимать в силу своей должности⁴². Очевидно, супру-

* На самом деле — только часть письма: см. VI, 31, 4—6.

жеским изменам не было числа в городе, где Ювенал запросто просит друга, которого приглашает на обед, забыть у него за столом все заботы, которые донимали его весь день, в особенности те, которые доставляют ему проделки его жены, взявшей за правило уходить из дома на заре и возвращаться лишь «ночью, с растрепанными волосами, учащенным дыханием и безумными глазами»⁴³.

Напрасно за сотню лет до того Август пытался со всей строгостью обрушиться на преступные связи, приняв закон, который грозил прелюбодеям изгнанием, лишал их половины состояния и навеки воспрещал вступать в брак друг с другом. Несомненно, с нашей современной точки зрения тем самым он обнаружил явный прогресс по сравнению с древним правом. Так, во времена Катона Старшего римляне приравнивали неверность жены к такому преступлению, которое разгневанному мужу было разрешено карать смертью, однако считали такой же проступок мужа чем-то малозначительным и оставляли его без наказания, как будто он не был виноват ни в чем. Императорское законодательство было в одно и то же время более и более гуманным, поскольку оно отбирало у мужа право на свершение жестокого правосудия, и более справедливым, поскольку распределяло ответственность между полами. Однако уже один тот факт, что оно, как мы бы сказали сегодня, «квалифицировало» супружескую измену, является указателем частоты, с которой она совершалась, и, с другой стороны, нет сомнения в том, что закону этому едва ли удалось сколько-то обуздать эти проступки⁴⁴. К концу I века н. э. *lex Iulia de adulteriis* был почти совершенно забыт. Чтобы его применить, Домициану пришлось торжественно обновить его положения. Марциал, понятно, тщится что было сил, изобретая все новые и новые придворные комплименты этому «священному постановлению величайшего из властителей», которому Рим, если верить Марциалу, обязан чем-то большим, чем победы на поле брани, потому что император вернул ему стыд:

Однако создается впечатление, что стоило Домициану сойти со сцены, как закон этот присоединился к *lex Julia* посреди пыли архивных полок и полного судебного забвения. Несколькими годами спустя Ювеналу достаёт смелости осмеять его автора, «этого изнеженного любителя кровосмешения из трагедии, который претендовал на то, чтобы возрождать строгие и грозные предписания для всех, даже для Марса и Венеры»⁴⁶. Но уже через два поколения после Ювенала закон этот оказался в таком пренебрежении, что Септимию Северу пришлось приняться за то же дело, что и Домициану⁴⁷, как Домициан попытался в свое время продолжить дело Августа. По правде говоря, если число супружеских измен во II веке уменьшилось, то объяснялось это не суровостью кар, которыми им грозило перемежающееся законодательство, но, напротив, потому что они были, до некоторой степени, заранее легитимированы возможностью развода.

Разводы и непрочность семьи

Римский брак никогда не был нерушимым, даже в те легендарные времена, с которыми мысленно любил соотносить себя классический Рим, желая обнаружить там собственный образ, более близкий к идеалу, вынашиваемому Городом о самом себе, между тем как реальность отдалялась от него с каждым днем все больше и больше. Если в браке *sit tanti* первых веков существования Города отказ от мужа со стороны жены, помещенной под его власть, был абсолютно невозможен, то, напротив, отказ мужа от жены являлся правом, неотъемлемым от его безраздельного господства над нею. Лишь практика — вне всякого сомнения, в интересах укрепления семьи — внесла в проведение принципа в жизнь некоторые послабления. И вплоть до III века до н. э.,

* Рим более всего обязан тебе своей стыдливостью. См. на ту же тему эпиграммы по соседству: VI, 2 и VI, 7 (с прямым упоминанием закона Юлия).

как мы это видим благодаря конкретным примерам, донесенным до нас традицией, отвержение жены остается связанным с провинностью, в которой обвиняется жена, причем решение об этом принимается на семейном совете, устраиваемом в семействе мужа. Возможно, XII таблиц сохранили для нас отрывок из формулировки этого коллективного осуждения, позволявшего мужу потребовать у жены ключи от дома, которым она правила в качестве хозяйки и от которого она безвозвратно отстранялась: *claves ademit, exegit*⁴⁸. В 307 году до н. э. цензоры лишили сенатора его достоинства за то, что он дал жене отставку без предварительного решения его домашнего трибунала⁴⁹; столетие спустя, в 235 году, сенатор Спурий Карвилий Руга еще раз эпатировал своих коллег, изгнав супругу, которую он совершенно ни в чем не мог упрекнуть, просто потому, что она не родила ему детей⁵⁰.

Однако уже очень скоро эти двое схожих меж собой людей не извели бы порицаний, которые навлекли на себя тогда, и в следующих поколениях римляне принялись избавляться от своих жен без намека на какой бы то ни было серьезный мотив: от этой — потому что она вышла со двора с непокрытой головой, от той — потому что остановилась на улице поболтать с вольноотпущенницей, пользующейся дурной репутацией, наконец, еще от одной — потому что она без разрешения отправилась на устроенное для народа представление⁵¹. Лучше уж обходиться вовсе без предлогов, чем ссылаться на столь ничтожные; и в конце республики, между тем как мужья узурпировали право произвольно объявлять недействительными заключенные ими семейные союзы, случилось так, что брак *sine manu* одновременно наделил таким же правом также и женщин. Если женщина вступила в брачные отношения, находясь под властью своих предков или родичей-агнатов, им, в сущности, достаточно было лишь одного слова, чтобы разорвать ее брачные узы и возвратиться к себе — *abducere uxorem*. Если же, лишившись родичей, она больше ни от кого не зависела и подчинялась исключительно своему праву (*sui iuris*), то это она

* Требуется и получает ключи.

могла произнести разрывающее отношения слово⁵². Это до того соответствовало истине, что во времена Цицерона развод по согласию обоих супругов или по желанию одного из них превратился в самое обычное дело в семейных отношениях. Сулла на старости лет в пятый раз сочетался законным браком с молодой разведенкой Валерией, сводной сестрой оратора Гортензия⁵³. Дважды овдовевший Помпей, который лишился сначала Эмилии, а потом Юлии, разводился два раза: прежде первой и после второй. В первый раз он развелся с Антистией, руки которой просил в свое время, чтобы обеспечить расположение претора, ее отца, от которого зависел ввод Помпея во владение громадным наследством, доставшимся ему от отца собственного; однако впоследствии связи ее отца угрожали политической карьере Помпея. Потом он развелся с Муцией, поведение которой во время его заморских военных кампаний оставляло желать лучшего⁵⁴. Уже вдовец, потерявший свою жену Корнелию, Цезарь расстался с Помпеей, на которой женился после смерти дочери Цинны, по той простой причине, что, даже ни в чем не виновная, жена Цезаря не может быть заподозрена ни в чем⁵⁵. Добродетельный Катон Младший, расставшийся в свое время с Марцией, нисколько не постыдился вновь на ней жениться после того, как к тому имуществу, которым она владела самостоятельно, прибавилось еще и богатство Гортензия, за которого она между тем успела выйти замуж, а затем его лишиться⁵⁶. И Цицерон, достигший возраста 57 лет — тоже без какого-либо ложного стыда, — нисколько не терзался сомнениями, когда ради восстановления финансового благополучия с помощью приданого молодой и богатой Публилии после тридцати лет совместной жизни отверг мать своих детей Теренцию. Впрочем, последняя, сколько можно судить, легко перенесла это бесчестье, потому что ей предстояло выйти замуж еще дважды: вначале за Саллюстия, а затем за Мессалу Корвина; а умерла она в возрасте более ста лет⁵⁷.

С этих пор и впредь, по крайней мере среди аристократии, которая фигурирует в свидетельствах, которыми мы располагаем, наблюдается целая эпидемия растор-

жений браков и, несмотря на законы Августа, или скорее по их причине, зараза эта принимает при империи уже хронический характер. Дело в том, что принимая *lex de ordinibus maritandis*^{*}, Август ставил целью исключительно обуздать падение рождаемости среди высших классов, и если непрямым путем, вследствие поражения в правах, под которое подпадали ослушники, закон этот оказывал давление на разведенных, чтобы заставить их вновь вступить в брак, он никоим образом не пытался воспрепятствовать разводам, между тем как в тех несчастных семьях, которые распались по вине разведшихся, за разводом мог тут же последовать лучший и более плодovitый союз.

Закон запрещал расторжение помолвки, так как выяснилось, что длинная череда помолвок, расторгнутых из прихоти одна за другой, являлась средством, к которому прибегали закоренелые холостяки, чтобы откладывать до бесконечности свадьбу, о которой объявлялось вновь и вновь — без того, однако, чтобы когда бы то ни было ее сыграть и избежать таким образом как его предписания, так и кары, которой он грозил ослушникам⁵⁸. Закон не мог — и, вне всякого сомнения, не желал — помешать разводу супругов. Он удовлетворялся тем, чтобы его упорядочить. Начать с того, что закон, как и прежде, допускал, что для расторжения брака достаточно воли одного из супругов, высказанной в присутствии семи свидетелей и объявленной в послании, которое обычно доставлял вольноотпущенник данной семьи. Далее закон позволял отвергнутой женщине посредством гражданского иска, называемого *actio rei uxoriae*^{**}, истребовать свое приданое назад — даже в том случае, если по легкомыслию или от избытка доверия она или ее близкие не предусмотрели в брачном контракте меры предосторожности насчет возвращения приданого в случае расторжения брака. И с этих пор такой возврат ей гарантировался, за вычетом той части приданого, право на удержание которой судья присуждал мужу: то ли в целях содержания детей, оставшихся под его опекой (*propter liberos*), то ли

^{*} Закон о порядке вступления в брак.

^{**} Букв. иск «о вещах супруги», то есть о возврате приданого.

в порядке возмещения нанесенного женой ущерба, то ли по причине ее мотовства (*propter impensas*), присвоения ею имущества (*propter res amotas*) или же дурного поведения (*propter mores*)⁵⁹. При издании такого закона Август руководствовался теми же мотивами, которые подвигли его вывести из-под управления мужа части приданого, вложенные в земли в Италии. И в том и другом случае тем, что он старался защитить в приданом, этой вечной приманке для претендентов, была возможность для женщин вступить в новый брак. Оказалось, однако, что намерения Августа, целиком и полностью соответствующие его демографической политике, а также безупречные в общественном смысле слова, ускорили — по причине, которую ему следовало предвидеть, — упадок семейного духа у римлян. Ибо если страх потерять приданое должен был побуждать мужа не расставаться с женой точно так же, как желание его получить подталкивало его к женитьбе на ней, из таких скверных чувств просто не могло выйти ничего хорошего. В некоторых случаях такое корыстолюбие продлеvalo порабощение мужа женой, о котором говорит Гораций:

...dotata regit virum
coniunx⁶⁰.

Однако этому закону, притом что он постоянно принижал достоинство брака, удавалось поддерживать его стабильность лишь до того момента, пока мужчина, уставший от своей жены, не обретал твердую уверенность, что в скором времени обретет другую, обеспеченную еще большим приданым. В таких условиях, ответственность за которые отчасти должно принять на себя чрезмерно превознесенное законодательство, не стоит удивляться, что на протяжении двух первых веков империи латинские источники показывают нам исключительно такие семейные союзы, которые либо временно скреплены деньгами, либо распадаются — то ли несмотря на деньги, то ли как раз из-за них.

Так что мать семейства, уверенная законами Юлия (вследствие своего статуса *sine manu* и собственного

имущества) в том, что сможет восстановить хотя бы основную часть приданого, если не все приданое целиком, так как без ее согласия муж не мог ни распоряжаться той его частью, что находилась в Италии, ни даже — ни в коем случае, даже с ее ведома⁶¹, — его закладывать, матрона эта напоминала тех американок с Пятой авеню, которые подчиняют мужей диктатуре своих долларов. Надлежащим образом вышколенная управляющим, который помогает ей своими советами и досаждаст предупредительностью, этим маленьким завитым «прокуратором», в эпоху Домициана постоянно состоящим при женщине у Марциала⁶², это она спекулирует, ведет дела и распоряжается. Как замечает Ювенал, «ее муж не может ничего подарить без ее согласия, ничего продать, если она этому противится, ничего купить, если она того не хочет»⁶³. И между тем, как заявляет сатирик, нет на свете ничего более невыносимого, чем богатая женщина:

*Intolerabilius nihil est quam femina dives*⁶⁴,

Марциал, со своей стороны, поясняет, что не свяжется с богачкой, потому что не желает задыхаться под свадебной фатой:

*Uxorem quare locupletem ducere nolim
quaeritis? Uxori nubere nolo meae*⁶⁵.

Но мужчины, бывшие пленниками приданого, а не женской нежности, если только их госпожа сама не давала им отставку, раньше или позже перебежали из одной золотой клетки в другую, и — в Городе точно так же, как и при дворе, — непрочные римские семейства занимались тем, чтобы распасться или, если кому-то это выражение больше понравится, расходиться с тем, чтобы сойтись вновь, и так без конца, до самой смерти. Вольноотпущенник, который по закону Августа должен был вручать кому полагается письменное уведомление о разводе, никогда еще не имел так мало досуга.

* Спрашиваете, почему не хочу я жениться на богатой? Отвечаю: не желаю за собственную жену выходить замуж.

Ювенал не преминул вставить эту суетливую фигуру в свою сатиру: «Вот три морщины обозначились на лице Бибулы, и Серторий, ее муж, спешит упорхнуть к иным наслаждениям. “Собирай вещи, — говорит ей вольноотпущенник семьи, — и убирайся!”»⁶⁶ В таком случае отвергнутой супруге ничего не оставалось, кроме как подчиниться распоряжению, форму которого поэт слегка изменил, между тем как Гай сохранил для нас четкую юридическую формулировку: *tuas res tibi agito*, «забирай свои вещи», однако позаботиться как следует о том, чтобы не унести ничего, что принадлежало лично твоему мужу: принадлежность всего этого ему она удостоверяет, уходя: *tuas res tibi habeto*, «свои вещи оставь себе»⁶⁷.

Впрочем, не следует полагать, что инициатива развода неизменно исходила от мужчины. Женщины, в свою очередь, также отвергали своих мужей и, продиктовав им свою волю, покидали их без каких-либо угрызений совести, как, например, ветреная супруга, которую показывает нам Ювенал, успевшая за пять сезонов сменить восемь супругов⁶⁸, или изобличаемая Марциалом Телесилла, которая через тридцать дней после нового введения в силу законов Юлия Домицианом вышла замуж за десятого мужа⁶⁹. Так что впустую теперь императоры предлагали подданным пример собственной моногамии. Чем подражать Траяну и Плотине, Адриану и Сабине, Антонину и Фаустине, которые жили в согласии на протяжении всей своей жизни, подданные эти были скорее готовы копировать предыдущих императоров, которые все — даже Август — разводились по одному или несколько раз. Процедура эта была столь частой, что нередко, как сообщают юристы той эпохи, неожиданности серийных разводов приводили к тому, что по прохождении нескольких промежуточных этапов красotka вместе со своим приданым оказывалась вновь на первом супружеском ложе⁷⁰. Те же самые причины, которые в наши дни заставили бы женщину, обладающую сердцем и душой, разделить судьбу супруга: старость, болезнь, отправление на войну, — тогда цинически указывались ими, чтобы покинуть семейный очаг⁷¹. И — вот еще более серьезный симптом

деморализации — они больше не шокировали бесчеловечное и оступевшее общественное мнение. Так что в Риме Антонинов, который напоминает в этом отношении Рино в американском штате Невада*, слова Сенеки сохраняли свою жестокую справедливость: «Никакую женщину больше не смущает то, что она расторгает свой брак, потому что самые блестящие дамы взяли за обыкновение считать годы уже не по именам консулов, но по именам мужей. Они разводятся, чтобы выйти замуж. Они выходят замуж, чтобы развестись (*exiunt matrimonii causa, nubunt repudii*)»⁷².

Как же далеко мы ушли от назидательной картины, которую предлагала нам римская семья героической эпохи республики! Ее лишенный изъянов образ трещит по всем швам. Женщина пребывала в строгом подчинении своему хозяину и господину; ныне она уравнивается с ним и соперничает, если не берет над ним верх⁷³. Она пребывала в состоянии общности имущества; теперь она существует в условиях едва ли не полного его разделения. Она была преисполнена гордости своей плодовитостью; теперь она ее бежит. Она была верна, а теперь ветрена и развращена⁷⁴. Разводы были редкостью; ныне они происходят так часто, что прибегать к ним с такой беззастенчивостью значило на деле, как говорит Марциал, предаваться легальному блуду: *Quae nubit totiens, non nubit: adultera lege est*⁷⁵.

* Рино (*Reno*) — город, прославившийся (и известный до сих пор) упрощенной процедурой как вступления в брак, так и его расторжения.

Глава третья

Образование, культура, верования

Признаки распада

Иные причины, а вовсе не законы, ускорили наступление этого упадка или, вернее будет сказать, определили это перевертывание семейных ценностей.

Среди них есть причины экономические, связанные с пагубным воздействием богатств, приобретенных несправедливым путем и еще более скверным образом распределенных, что уже было освещено нами прежде. Есть и причины социальные, возникающие в связи с опасной заразой, поражающей свободное население, соприкасающееся с рабством. Наконец — и в первую очередь — следует указать на нравы, которые производили разброд в умах проживавших в громадной мировой столице людей, где то заурядное тупое безразличие, то грубейшие суеверия противостояли взлету новых мистических веяний.

В первой четверти II века н. э., ознаменованной победами Траяна, рынки и дома Города наводнили пленники и пленницы, тысячами прибывавшие из Дакии, Аравии, с отдаленных берегов Евфрата и Тигра. Одновременно в Риме усугубились негативные последствия, связанные с разрастанием рабства, и тем самым имперское общество подтвердило тот природный закон, что в странах, где рабство получает широкое распространение, оно принижает и оскверняет брак, если вовсе его не упразд-

няет. Даже не будучи развратниками, богатые римляне, удрученные перспективой существования, в котором им пришлось бы вести борьбу или ежедневно считаться с волей законной жены, предпочитали законному браку беззаботный конкубинат, которому Август придал статус союза низшего порядка, но вполне легитимного¹. Общественное мнение совершенно избавилось от презрения к конкубинату, и именно в нем уже вскоре после того, как овдовел, обрел убежище мудрец на троне, император Марк Аврелий². Римлянин тут же освобождал любимую рабыню, будучи убежден, что по причине *obsequium*^{*}, которое вольноотпущенник обязан был оказывать патрону, она навсегда сохранит кротость и верность, а сверх того, римлянин знал, что, если от их отношений появятся дети, достаточно будет их усыновить, чтобы изгладить все следы незаконнорожденности. Возможно, впрочем, что нередко они пренебрегали исполнением этой формальности, грозившей уменьшением их авторитета. Существует целая группа эпитафий, на которых муж и его жена, являющаяся одновременно *liberta*, вольноотпущенницей, предоставляют доступ к своему погребению не собственным потомкам, но вольноотпущенникам, что заставляет заподозрить, что в определенных случаях, когда причиной этого была не их бездетность, эти супруги второго сорта предпочитали форменному *adrogatio*^{**} — простую *manumissio*, дополненную сверх того разделами о наследовании в их завещаниях. Так мы наблюдаем спорадическое проникновение в лучшие семейства Города настоящей гибридизации, которая, будучи аналогичной той, которой подверглись другие рабовладельческие народы, усиленно подчеркнула явления национального и общественного распада, вызванные почти повсюду мощной волной манумиссий рабов.

Здесь римским гражданам удавалось хотя бы сделать хорошую мину при плохой игре: они сообщали своим действиям минимум внешней пристойности. Однако многие из них, причем далеко не рядовые, считали слиш-

^{*} Почтение, уважение.

^{**} Торжественное усыновление (совершеннолетнего лица). Автор желает сказать, что эти «вольноотпущенники» и были их детьми, не удостоившимися формального усыновления.

ком стесняющими и неподатливыми даже эти, весьма необременительные цепи формального конкубината. Поглощенные исключительно собственными удобствами и удовольствиями, столь же безразличные к обязанностям, связанным с их положением, как и к достоинству, которого требовали уделявшие им почести, они полагали более приятным управлять, наподобие пашей, рабскими гаремами, которые им позволяло содержать богатство. Когда группа обозленных рабов убила коллегу Плиния Младшего по сенату, бывшего претора Ларция Македона, мы видим, как к его трупу сбегается, рыдая и вопя от горя, целый отряд его «одалисок»: *concupinae cum ululatu et clamore concurrunt*³. Наконец, даже в случае законных союзов присутствие рабов незамедлительно приводило к возникновению тяжких последствий и неурядиц. Сколько острых стрел выпустил Марциал по адресу прелюбодеев в домашнем кругу, будь то когда он высмеивает господина, вновь купившего служанку, без которой, как без любовницы, был не в силах обойтись, или когда обвиняком рассказывает о гранд-даме, изнывавшей по своему парикмахеру: отпустив его на свободу, она подарила ему сумму, эквивалентную всадническому цензу. Еще он упоминает о Марулле с ее многочисленными детьми, происходящими не от Цинны, законного мужа, но от их повара, управляющего, кондитера, флейтиста и даже от кулачного бойца и шута. Нет сомнения, эпиграммы эти целили в самые громкие среди потрясавших Город скандалов. Однако данная тема не подвергалась бы такой интенсивной разработке, случайся такие скандалы пореже, и при чтении поэтов этой эпохи создается впечатление, что во многих римских жилищах можно было слышать обмен взаимными упреками, о чем, кажется, заставляет думать следующее двустишие:

Ancillariolum tua te vocat uxor et ipsa
Lecticariola est...

(«Твоя жена зовет тебя служаночником, сама же истая носильщицница...»⁴)*

* То есть волокита за служанками (*ancillae*) и любительница мускулистых носильщиков портшезов (*lecticae*). *Ancillariolum* и

Очевидно, что злоупотребления, связанные с рабством, привели к упадку нравов даже в тех привилегированных семействах, где связи со служанками не допускались. Еще в большей степени, чем низменная проституция «волчиц»*, которые с наступлением ночи бродили по улицам предместий позади гробниц⁵, соседство конкубината, проникавшего в лучшие дома, атмосфера вседозволенности и разнузданности, которую порождали столь многочисленные связи с рабами, принизили брак, рассматривавшийся и самими супругами как нечто малозначительное и преходящее. Кроме того, чтобы противостоять этому захватившему всех и каждого поветрию унижения и девальвации брака, римляне нуждались в энергии и мощи идеала, но если оставить в стороне отдельных сильных личностей, некоторые философские школы и секты, собиравшие ревнителей веры, разум большинства, ослабленный донельзя примитивной, поверхностной и вербальной культурой, не был тогда в состоянии этот идеал постигнуть, а слабеющая вера — осуществить его на практике.

Начальная школа

Попечение о детях, сбережение которых изначально выпадает женщине, оказывалось отнятым у матери семейства, стоило им чуть подрасти. Прославленная Корнелия, мать Гракхов, так и осталась в одиночестве. В суровые времена республиканского Рима Катон Старший претендовал на то, чтобы единолично заниматься образованием своего сына: он хвастался, что самолично выучил его читать, писать, сражаться и плавать. А при империи следовало дожидаться правления Антонина Пия, чтобы судьи, получив доказательства недостойного поведения отца, хоть и не лишали

lecticariola — чрезвычайно редкие слова, второе встречается лишь в данном месте у Марциала, первое еще можно найти у Сенеки («О благоденствиях», I, 9).

* Волчица (*lupa*) — традиционное именование проституток в Древнем Риме, от которого происходит слово «лупанарий», публичный дом.

его прав, все-таки имели право передать попечение о детях женщине⁶. Впрочем, во всех случаях, когда они подрастали, она слагала с себя обязанности, связанные с их образованием. Богатая женщина передавала их в руки хорошего педагога, которого ей удавалось купить за баснословные деньги, и полагала, что исполнила долг по отношению к ним, обставив этот решающий для них выбор необходимыми предосторожностями и весомыми советами⁷. Что касается бедных, им оставалось лишь отправлять детей в одну из тех частных школ, что открывались профессиональными педагогами в Городе с конца II века н. э., теперь же их здесь было великое множество.

Однако обыкновения эти наносили всем немалый вред. Прежде всего женщинам, для которых, как говорит Плиний Младший, эта глубокая праздность сделалась в высшей степени пагубной. Одни из них, худшие, находили в своем устранении от дел побуждение к распущенности или оправдание для нее. Другие, более порядочные, стремились либо разогнать безделье искусственными занятиями, которым, как мы видели, они самозабвенно предавались, либо обмануть самих себя усиленной активностью и болтовней в «клубах»⁸, где женщины собирались в случае, если не удалялись в отупение сладкого дурмана гинекея, как старая Уммидия Квадратилла: она до самой своей смерти, наступившей на восьмидесятом году жизни, коротала дни, в которые не могла отправиться на спектакль, двигая по доске шашки или веля себя развлекать мимам, которыми наполнила дом⁹. Но затем — и в первую очередь — от этой, так сказать, материнской заброшенности жестоко страдали дети. В самом деле, как бы то ни было, те, кому их поручали воспитывать, были рабами, то есть людьми, стоявшими ниже их, и только при благоприятном стечении обстоятельств их педагогами оказывались вольноотпущенники, и этот вопиющий парадокс приводил к самым губительным последствиям. Если ученик принадлежал к обеспеченному семейству, ему ничего не стоило сбросить так называемого «мэтра» на подчиненное место, которое и принадлежало домочадцу, будь он хоть учителем. Уже Плавт в «Вакхидах» выводит

на сцену молодого да раннего Пистоклера, которому, дабы привести своего «педагога» Лида к собственной любовнице, достаточно напомнить ему о ничтожестве его рабского состояния. «Ведь в конце-то концов, — говорит он Лиду, — это я твой раб или ты — мой?»¹⁰ Вопрос не нуждался в ответе, и, как тонко подмечает Гастон Буассье, не одному римскому учителю приходилось выслушивать фразу, с которой Пистоклер обратился к Лиду. Если говорить о детях из семей со скромным достатком, они не чувствовали никакого уважения к наставнику низкого происхождения, чью школу посещали: получая смехотворную плату в 8 ассов с ученика в месяц, вынужденные просить о прибавке к жалованью с помощью жалких подработок в должности общественного писаря¹¹, эти наследники грозного Орбилия, заставлявшего трепетать Горация¹², также и во времена Марциала и Ювенала не обладали никаким иным авторитетом, кроме придаваемого им розгами или ферулой*, которыми они действовали в высшей степени энергично.

Сама профессия учителя была дискредитирована изначально. Авторы анналов начала I века до н. э. под влиянием явной антипатии, которая она им внушала, измыслили для *magister* из Фалерий, самого раннего упоминаемого в римской истории школьного учителя, неблагоприятную роль театрального злодея и предателя¹³. Во времена империи «педагоги» пользовались не лучшей репутацией, и здравомыслящие люди были недалеки от того, чтобы считать их отбросами общества¹⁴. В самом деле, нетрудно выделить причины, способствовавшие их оподлению. Прежде всего следует назвать безразличие государства, которое ни в малой степени не контролировало их деятельность и не снисходило до того, чтобы оплачивать их труд вплоть до 425 года н. э., уже в Византии, через 15 лет после взятия Рима Аларихом¹⁵. Далее следует назвать скверные условия, в которых они привыкли вести преподавание одновременно мальчишкам и девочкам, собранным в тесном и неудобном помещении, без различия возраста и пола:

* *Ferula* — букв. розга, но чаще линейка, которой учеников били по рукам в виде наказания.

девочки от семи до тринадцати лет, мальчики от семи до пятнадцати. Еще имела значение строжайшая дисциплина, в которой нуждалось это разношерстное собрание: злоупотребление телесными наказаниями постоянно толкало учеников к лицемерию и подлости, а в наставнике пробуждало садиста. «Боль и страх, — грустно отмечает Квинтилиан, — вынуждают детей совершать подлости, которые заставляют стогать со стыда. Уделяйся здесь хотя бы малейшее внимание нравственности надсмотрщиков и преподавателей, стыдно было бы говорить, до какой гнусности доходят низкие люди, пользуясь правом бить учеников, как и о тех поступках, на которые их, несчастных, вынуждает страх. Не станем здесь задерживаться: полагаю, все меня прекрасно поняли (*nimum est quod intellegitur*)...»¹⁶

Так что *ludus litterarius*, начальная римская школа, была способна скорее испортить молодежь, которую ей следовало наставлять. И напротив, слишком уж редко давала она воспитуемым ощущение красоты познания. Занятия начинались на рассвете и продолжались до полудня без перерыва; проходили они под навесом лавки, куда проникали уличные шумы, от которых их отделяли лишь несколько слоев полотна; из скудной обстановки имелись лишь стул учителя и скамьи или табуреты учеников, черная классная доска, таблички и несколько абаксов. Школа бывала открыта, с удручающей монотонностью, каждый день за исключением нундин*, квинкватр** и летних каникул. Задача, которую ставил перед собой наставник, ограничивалась формальным обучением детей чтению, письму и счету. Располагая для этого несколькими годами, он совсем не занимался совершенствованием своих скудных методов или, скорее сказать, обновлением этой невзрачной повседневности. Так, прибегая к приему, который осуждает Квинтилиан, он давал слушателям названия и порядок букв прежде, чем показать им их воочию, а

* Нундины, букв. «девятидневные», — предназначенный для базара день восьмидневной римской недели.

** Квинкватры — празднества в честь Минервы; *Quinquatrus majores* справляли на пятый день после Мартовских ид (19—23 марта). Это был день Минервы как покровительницы знания и учености.

когда ученики насилу выучивались зрительно различать буквы, им предстояло ценой новых усилий начать складывать их в слоги и слова¹⁷. Выполнение ими задания замедлялось совершенно произвольно; а когда они переходили к письму, то наталкивались на те же иррациональные и тормозящие механизмы. Вдруг ученики видели перед собой образец; и поскольку никто и ничто их к этому не подготовил, возникала необходимость в том, чтобы наставник держал их пальцы своими и чужая рука вела их руку, с тем чтобы воспроизвести очертания предложенного образца, так что должно было пройти бесчисленное множество занятий, прежде чем ученики обретали навыки, потребные для того, чтобы самостоятельно исполнить эту простую копию¹⁸. Наконец, занятия математикой требовали от учеников ничуть не больше рассуждений и не доставляли им хоть насколько-то больше радости. На уроках они учились считать единицы на пальцах: один плюс два на правой руке, три плюс четыре — на левой, вслед за чем переходили к операциям с десятками, сотнями и тысячами, передвигая маленькие камешки, или *calculi*, по соответствующим линиям абака¹⁹.

Вне всякого сомнения, и это доказано хотя бы надписью из Альюстреля*, что императоры II века н. э., в частности Адриан, благосклонно взирали на распространение начальных школ в провинциях, наиболее удаленных от центра империи, и что налоговыми льготами они поощряли педагогов-добровольцев обосновываться в заброшенных деревушках, в глубине рудничной области, такой как Випаска в Лузитании²⁰. Кроме того, можно не сомневаться, что к претензиям, которые высказывал Квинтилиан, кто-то, случалось, прислушивался, так что более или менее заразительным оказывался пример некоторых «педагогов» известных семей, например, того, которому поручил воспитание своего сына Герод Аттик. Чтобы помочь ученику быст-

* Город в Португалии (античное название поселка — Випаска) в 130 километрах к юго-востоку от Лиссабона, с древним рудником. Здесь были найдены две бронзовые таблицы (одна — в 1876 году, другая — в 1907-м) с пространными надписями, содержащими юридические тексты, регламентировавшие жизнь поселения при руднике.

рее выйти из затруднения, педагог озаботился не только тем, чтобы снабдить его алфавитом из слоновой кости или печени, но велел ходить перед ним рабам, каждый из которых носил на спине, на здоровенной планшетке, изображение одной из двадцати четырех букв латинского алфавита²¹. И все же сколько оставалось препятствий на пути учителя, желавшего вырваться из рутины! А в том множестве *ludi litterarii*^{*}, что необычайно расплодилось во II веке н. э., сколько было таких, что не выполнили образовательную миссию в отношении детей сограждан, которая была перед ними поставлена! В общем, следует признать, что даже в самую блестящую эпоху империи многочисленные усеивавшие ее школы не исполняли той роли, которую мы связываем с нашими школами. Вместо того чтобы укреплять нравственность, они ее подрывали. Они умерщвляли тело вместо того, чтобы делать его здоровее. А если даже эти школы сколько-то заполняли умственный вакуум в головах учеников, придать этому содержанию блеск им было не по силам. Ученики покидали их с приобретенным дорогой ценой багажом, состоявшим из немногих практических, всецело приземленных представлений, которые тем не менее оказывались столь легковесными, что уже в IV веке Вегетия приводило в отчаяние большое число неграмотных людей, которые вступали в легионы, не умея сосчитать даже пальцы на руках²². А за отсутствием в начальной школе веселых, радостных образов, как и серьезных плодотворных идей или хотя бы одной из тех забав для ума, которые черпает из профессий жизнь, ученики выносили отсюда лишь мрачное воспоминание о годах, потерянных в пережевывании одного и того же материала и в монотонном бормотании, с частыми зарубками жестоких наказаний. Так что в Городе народное образование показало свою несостоятельность, и если римская педагогика вообще существовала, искать ее следует не у «педагогов», но у грамматиков и риторов, которые, с соответствующими изменениями, предлагали имперским аристократам и буржуа то, что мы теперь могли бы назвать средним и высшим образованием.

* Начальных школ.

Если послушать приверженцев этого образования, надутых от сознания своей посвященности и собственного красноречия, ему лишь немного недоставало до осуществления идеи совершенства, до того, чтобы прямой дорогой привести человека к высшему благу. Один из его красноречивых поклонников, Апулей из Мадавры, писал в конце II века: «Когда человек обедал, первую чашу он пьет ради утоления жажды, вторую — ради радости, третью — ради наслаждения, а четвертую — по глупости. Напротив того, чем больше мы пьем на празднествах муз, тем больше прибавляет наша душа в мудрости и разумности. Первую чашу нам подает преподаватель (*litterator*), который приступает к полировке нашего грубого ума. За ним идет грамматик (*grammaticus*), который украшает нас различными сведениями. Наконец настает черед ритора (*rhbetor*), который вкладывает нам в руки оружие красноречия»²³. Большого самодовольства невозможно представить: увы, чаши эти оставались вдали от губ и действительность ни в коей мере не оправдывала лиризма Апулея.

Начать с того, что грамматиков и риторов обращались исключительно к ограниченному кругу лиц, и даже во II веке н. э. их образование сохраняло тот же избирательный характер, который изначально сообщила ему подозрительность правящей олигархии. Когда на протяжении II века до н. э. отцы-сенаторы, чье оружие и дипломатические средства были обращены против греков, ощутили потребность в том, чтобы их дети не уступали подданным и вассалам, которыми им следовало управлять, они способствовали основанию в Риме школ эллинистического типа, непосредственных преемников и конкурентов тех школ, что процветали на Востоке — в Афинах, Пергаме и на Родосе, — и пожелали, чтобы там на греческий манер обучали тому, что знали наиболее образованные греки. Но в то же время правящие круги давали себе отчет в том, что это высшее образование потенциально заключает в себе еще и мощное оружие предвыборной борьбы. Полные решимости ни в чем не поступиться своей политической

монополией, они приняли меры к тому, чтобы обеспечить эти новые преимущества за своей кастой. Первые преподаватели грамматики и риторики, которые с разрешения сената обосновались в Риме, были беженцами из Азии или Египта, жертвы Аристоника и Птолемея Фискона, которым Город предоставил убежище; те и другие вели преподавание по-гречески. Когда впоследствии их место заняли уроженцы Италии, они приноровились к их обыкновениям и заимствовали язык. Так что уроки в грамматических классах они продолжали давать на греческом и на латыни, а в классах риторики — исключительно на греческом.

Известны несколько попыток расстаться с этой зависимостью, означавшей изоляцию. В ходе демократической революции, связываемой с именем Мариа, один его клиент, ритор Плотий Галл, высказал пожелание говорить с учениками по-латински. А несколькими годами позднее была опубликована «Риторика к Гереннию»: наспигованная примерами из самой недавней истории, уснащенная ссылками на темы, обсуждавшиеся на комициях, вероятно, она происходила из того же либерального, конкретного и популяризаторского течения. Однако олигархия ветшала. Она и слышать не желала о том, чтобы лишиться своей наследственной власти; а поскольку на народных собраниях, которые ежегодно возобновляли ее полномочия, тон задавало красноречие, олигархия желала, чтобы ее сыновья были единственными, кто владеет тайными рецептами красноречия, и преследовала дерзких новаторов. «Риторика к Гереннию» распространения не получила, и нам так и неизвестно имя ее автора. Что до Луция Плотия Галла, ему пришлось прервать преподавание по распоряжению цензоров, которые сочли в 93 году до н. э., «что ему следует вернуться к порядкам предков и он виновен в том, что ввел новшество, противоречащее их обычаям»^{*24}. Чтобы увидеть возвращение в Рим латинских школ красноречия, следовало дожидаться диктатуры Цезаря,

* Перевод Ж. Каркопино создает впечатление, что постановление было направлено персонально против Плотия, однако это не так: его мишенью были все вообще так называемые «латинские грамматические школы».

которую обслуживали трактаты Цицерона²⁵, а также императорского строя, который в правление Флавиев финансировал от своих щедрот, например, Квинтилиана, самого знаменитого среди преподавателей. Но привычка была уже усвоена, и впредь она уже не исчезала: преподавание риторики, даже если теперь оно проводится как по-гречески, так и по-латински, остается уделом небольшого числа избранных. А чтобы сортировать аудиторию еще лучше, класс грамматики, бывший всего только первой ступенью, оставался двуязычным до конца расцвета империй*.

Но прежде всего следует указать на то, что то самое красноречие, на которое последовательно нацеливались грамматика и риторика, было лишено всякого предметного содержания. Политика покинула его, оставив форум с приближением преторианских когорт. Юридические контroversии, всё в большей и большей степени ограниченные кругом специалистов, более не питали его, после того как принципат приступил к поглощению юриспруденции и даваемых ею советов: начало процессу положил Август, а завершил его Адриан. Наконец, философия, математические и естественно-научные дисциплины, которые были связаны с красноречием в греческой древности, пользовались щедростью Траяна и Адриана исключительно в областях своего происхождения, а именно в Александрийском музее и в Афинах. В Риме, откуда философы были изгнаны Веспасианом, лишившим их привилегий, которыми он наградил риторов и грамматиков²⁶, философские исследования так никогда и не смогли оправиться от старинного запрета, наложенного на них сенатом в 161 году до н. э. и повторенного еще раз в 153 году до н. э., когда одновременно были высланы, с пренебрежением дипломатическим иммунитетом, которым они пользовались в качестве послов, платоник Карнеад, стоик Диоген и перипатетик Критолай²⁷.

* Напрашиваются аналогии с системой высшего образования в Российской империи, где греческий язык также долгое время служил препятствием к получению нежелательными лицами университетского образования.

Философия постоянно продолжала вызывать в Риме подозрительное и полное иронии предубеждение²⁸. Чтобы предаться занятиям философией как-то иначе, нежели исключительно в ходе разговоров с друзьями и происходящих время от времени частных собеседований или размышлений наедине с самим собой в башне из слоновой кости, гражданин, как правило, имел две возможности для выбора. Или он должен был располагать достаточными средствами, чтобы содержать философа-специалиста у себя на дому, или быть готовым сменить родину на один из тех отдаленных городов, где философам было позволено на свободе излагать свои мысли. Будь то физические или метафизические, их системы теперь больше не являлись предметом для изложения на общедоступных, проводившихся на постоянной основе лекциях — точно так же, как, скажем, политика и история. И красноречие, отлученное от живой мысли и от чистой науки, изгнанное также и из сферы действия, продолжало вращаться в изнуряющем круге литературных упражнений и словесных потуг. Так что, несмотря на любовь, которой подготовительные занятия грамматикой и риторикой пользовались у обеспеченной молодежи, несмотря на покровительство, которое оказывали им императоры, а также на почетное место, которое они занимали в Городе, где Цезарь отвел им *tabernae* на своем форуме, а Траян — полукруг на своем²⁹, занятия эти оставались выхолощены неизлечимым формализмом, к которому оказалось в конце концов сведено само красноречие.

Молодые люди приходили к грамматикам в возрасте, который, само собой, менялся в зависимости от их способностей и состояния семьи, но иногда, если судить по надгробным надписям первых веков нашей эры, он значительно снижался, что говорило о тревожной ранней зрелости вундеркиндов³⁰. Грамматик посвящал этих своих учеников в литературу или, скорее, в две литературы, преподавателем которых он являлся: в самом деле, если говорить о *grammaticus*, греческая литература у него стояла наравне с латинской или даже одерживала над ней верх. В вышедшей недавно книге, примечательной также и в прочих отношениях, «Святой

Августин и конец античной культуры» г-ну Марру удалось, как полагает он сам, выделить признаки ослабления эллинизма в римской культуре³¹. Однако я убежден, что в данном случае автор оказался жертвой той точки зрения, с которой по необходимости связан сам предмет его исследования, сосредоточенного на индивидуальности данного учителя церкви, и я опасаюсь, что г-н Марру без достаточных на то оснований распространил на Италию выводы, несомненно верные для Африки Августина, появившегося на свет в Тагасте, получившего образование в Мадавре и Карфагене и скончавшегося епископом Гиппона. В опровержение такой концепции нетрудно выдвинуть целый ряд фактов, опровергающих ее в том, что касается Рима II века н. э. Это и аффектированное, осмеянное Марциалом и Ювеналом³², пристрастие к греческому великосветских «львиц»; и успех, которым на протяжении всего II века пользовались как в Галлии, так и в Италии бродячие греческие риторы, самым оригинальным среди которых был Лукиан³³; и публикация на греческом трактатов «философов», начиная с Музония Руфа и до Фаворина из Арелата; и греческие эпиграммы императора Адриана и «Размышления» Марка Аврелия. Наконец — и это важнее всего — следует назвать сохранение греческого языка в литургии и в апологетике римских христиан, чья церковь не переходила на латинский до большого потрясения, расколовшего империю около середины III века и потрясшего основы античной цивилизации³⁴. Было бы удивительно, если бы греческий язык начал отступление в Риме как раз тогда, когда латинская литература, освобождая ему место во всех областях, терпела в Италии настоящее бедствие. И правда, сами надписи свидетельствуют о живучести греческого в образовании, начиная с эпитафии юного Квинта Сульпиция Максима, умершего в возрасте одиннадцати лет после того, как он одержал на Капитолийских играх 94 года до н. э. победу над пятьюдесятью двумя соперниками в борьбе за первенство в греческой поэзии³⁵, и вплоть до эпитафии сына Дельмация, которого смерть настигла на восьмом году жизни, и потому он еще не успел приступить к изучению греческого языка, а смог выучить лишь буквы латинские³⁶. Так

что римские грамматики, как можно полагать, никогда не переставали основывать свое преподавание латинской литературы на литературе греческой: примерно так же, как в наших коллежах при *ancien régime*^{*} преподавание французской литературы было всегда погружено в преподавание литературы латинской.

Вследствие вышесказанного всё, чего оказывались лишены уроки грамматиков по причине утраты связи с живой действительностью, могло быть восполнено за счет разнообразия. В самом деле, если в *ludus litterarius* познания, которыми обладал *magister*, ограничивались одной-единственной книгой, а именно экземпляром законов XII таблиц, буквы которого малыши начинали распознавать перед тем, как попробовать их воспроизвести, то в распоряжении *grammaticus* были целых две библиотеки. Однако соотношение между ними было весьма неравномерным, с явным преобладанием иностранных произведений и при подавляющем перевесе тех, что относились к глубокой древности. Если Гомер, трагики, комики (прежде всего Менандр), лирики и Эзоп обеспечивали грамматикам достаточно широкий выбор при подборе греческих текстов, в том, что касается авторов латинских, они долгое время ограничивали свой выбор поэтами первых поколений: Ливием Андроником, Эннием, Теренцием, и своеобразный шик заключался в том, чтобы толковать по-гречески этих писателей, чьи произведения были в большей или меньшей степени адаптациями греческих оригиналов³⁷. Лишь в последней четверти I века до н. э. вольноотпущенник Аттика Квинт Цецилий Эпирота решил произвести в той области грамматики, в которой он был тогда застрельщиком, сразу два революционных переворота: во-первых, он отважился говорить на латыни, а во-вторых допустил до чести быть предметом разбора на этих занятиях все еще здравствовавших латинских авторов или же таких, которые ушли из жизни совсем недавно: Вергилий и Цицерон³⁸. Другие, вслед за ним,

* Букв. «старый режим» (*фр.*), изначально применительно к устройству и нравам Франции до Великой революции 1789 года, хотя со временем этим словом стал называться любой порядок, предшествующий глубоким революционным преобразованиям.

робко последовали его примеру, и на протяжении первых двух веков существования империи мы наблюдаем, что спустя одно-два поколения после ухода из жизни прославленного писателя его произведения понемногу удлинняют списки программной литературы, в которых последовательно появляются, если говорить о прозе, трактаты Сенеки, а о поэзии — «Послания» Горация, «Фасты» Овидия, «Фарсалия» Лукана, «Фиваида» Стация. Однако эти перемежающиеся попытки осовременивания были недостаточны, чтобы изменить принципиальный характер образования, который тем более верно будет охарактеризовать как «классическое», что оно еще больше прилеплялось к традиции, уже освященной успехом. Возможно даже, что классицизм еще усилился, когда в правление Адриана возрождение аттицизма, которое дают нам ощутить громадное множество заряженных холодной изысканностью статуй и рельефов, должно было сопровождаться возвращением литературного вкуса к архаизму, проповедовавшемуся образованным императором, которому тем не менее импонировали скорее Катон Старший и Энний, нежели Вергилий и Цицерон. Римская школа грамматиков неизменно в большей или меньшей степени, в зависимости от момента, обращалась к прошлому, и преподававшийся там латинский, собственно говоря, никогда не был живым языком, но, как и греческий, от которого он был неотделим, то был язык, коим пользовались «классики», отлившийся в тех формах, в какие его влил — раз и навсегда — их талант. Так что в качестве принципа этой чисто книжной ориентации образования, даваемого *grammatici*, был изначально положен склероз, только усугублявшийся от напрасного усложнения методов, к которым они прибегали.

Вначале в занятия входили упражнения в чтении громким голосом и хоровая рецитация. Классы, нацеленные на отнесенное в далекое будущее воспитание оратора, начинались с курса дикции, которая вне всякого сомнения утончала вкус учеников и улучшала их понимание, но в то же время развивала в них, к ущербу углубленной чувствительности, тенденцию к бравурности манер и театральным позам. Затем преподава-

тель вместе с учениками приступали непосредственно к истолкованию. В первую очередь следовало согласовать тексты, которыми располагали ученики: прихоти рукописной передачи произвели в них расхождения, которых могут не опасаться печатные издания. Итак, *emendatio*^{*}, которую мы теперь назвали бы критикой текста, адресовалось к способности слушателей рассуждать. И это исправление могло бы воплотиться в подготовку, во всех отношениях благодетельную для их ума, если бы не постоянно приплетаемые сюда же дискуссии относительно достоинств и недостатков подлежащих восстановлению отрывков. В итоге процесс исправления искажали господствовавшие эстетические предрассудки, между тем как при объективной реализации он способствовал бы их корректировке. Наконец — и это можно было бы назвать чем-то вроде общего вывода, которым обычно завершались занятия, — разворачивался или скорее неспешно возникал комментарий в собственном смысле этого слова, то *enarratio*^{**}, чьи дефекты так навредят впоследствии трудам Сервия^{***}.

Грамматик на скорую руку спроворивал анализ избранного им произведения, после чего приступал к его разъяснению (*explanatio*) фраза за фразой и стих за стихом, с мелочным педантизмом выявляя смысл каждого слова, поочередно определяя как фигуры, в которые составлялись слова, так и многообразие «тропов», в которые они входят: метафора, метонимия, катахреза, литота, силлептический оборот. Суть изображаемого рассматривалась лишь во вторую очередь, как производное от обозначавших ее слов, так что переживание реальных вещей оказывалось до некоторой степени отодвинутым в сторону: оно уступало место форме высказываний, а действительности дозволялось лишь едва просачиваться между строк. Только обходными путями проникали в преподаваемый грамматиком курс дисциплины, которые римляне именовали

* Улучшение, исправление.

** Подробное изложение, объяснение.

*** Живший на рубеже IV и V веков грамматик, автор капитальных комментариев к Вергилию.

«свободными искусствами»: их спектр, чрезвычайно далекий от охвата всех отраслей того, что считали тогда наукой, всегда связывал между собой лишь редкие ветви знания, отождествлявшиеся греками с *ἐγκύκλιος παιδεία*^{*}, то есть образованием не энциклопедическим, но обычным и общепринятым, которое античность без больших изменений оставила в наследство Средневековью. Античный грамматик затрагивал все, но ни во что не углублялся, и его ученики, в свою очередь, всего только мимоходом пригубливали от сведений, подразумевавшихся литературой, которую он им предлагал. Это была мифология, совершенно необходимая для понимания поэтических легенд; музыка, когда от нее зависела метрика од или хоров; география, когда необходимо было следовать за Одиссеем в перипетиях его возвращения на родину; история, без которой остались бы непонятными многие места «Энеиды»; астрономия, поскольку та или иная звезда должна была восходить или закатываться в согласии с размером стиха; математические науки — в той мере, в какой они обуславливали музыку и астрономию.

Ослепленные избытком своего практического чувства, в поисках немедленных выгод, римляне не видели — в отдаленной перспективе — бескорыстного исследования: они не понимали его ценности, не ощущали его притягательности. Римляне ограничивались тем, чтобы собирать результаты, достигнутые наукой прежде, и в своих книгах они воспринимали науку уже вполне готовой, не испытывая нужды ни в том, чтобы ее приращивать, ни даже проверять. Например, их Пико де ла Мирандола, воспитанный в доме Октавии царь Юба, чьи мавретанские царства** были наводнены стадами слонов, предпочитал не наблюдать этих толстокожих собственными глазами, но воображать их на основе всего того вздора, из которого состояло его чтение и который он популяризировал в своих сочинениях. Вот и пятьюдесятью годами ранее Саллюстий, назначенный Цезарем управлять новой провинцией Африка, до

* От него происходит слово «энциклопедия».

** В составе Римской империи было две Мавретании: Тингитанская и Цезарейская.

того пренебрег наведением справок о городах, не подчинявшихся его власти, что, локализуя в своем сочинении «О войне с Югуртой» Цирту, древнюю столицу Нумидии и будущую Константину, преобразованную в независимую колонию, он преспокойно поместил ее... невдалеке от моря³⁹. Если до такой степени доходила в Риме апатия наиболее выдающихся умов, понятно, что расхожее мнение несколько не возражало против системы образования, низводившей науку на роль прислужницы литературы — в точно таком же смысле, как Средневековье низвело философию до уровня смиренной служанки богословия. Поэтому нет сомнения в том, что ничто в большей степени не способствовало иссушению живых токов образования у римлян, как это безрассудное подчинение, разве только еще тщета цели, которую они намечали для самой литературы, требуя от нее — единственной — воспитывать ораторов в эпоху, когда у ораторского искусства больше не было причин для существования.

Мнимая риторика

Ибо в конечном итоге то великое красноречие (*magna eloquentia*), которое описывает Тацит, настоящее красноречие, способное, если понадобится, посрамить заурядное красноречие, «подобно пламени: как и оно, красноречие требует вещества, которое бы его питало; как и пламя, оно разгорается от движения и освещает, лишь блистая»⁴⁰, и точно так же, как пламя, угасает, как только ему недостает воздуха, не бывает больше красноречия, когда погибла свобода. В самом деле, вся история, которую способен был охватить Тацит, подтверждала его мнение; красноречие просуществовало в Риме после роспуска собраний не дольше, чем у греков после оформления деспотизма в государствах диадохов. Аристотель, учитель Александра, различал три рода красноречия, в зависимости от того, желал ли оратор способствовать принятию того или иного решения в будущем, хотел оправдать решение, принятое прежде, или же удовлетворялся расска-

зами или похвалами, безотносительными к ходу дел и поведению людей в настоящем. Так Аристотель наперед признал превосходство первого рода над вторым, а второго — над третьим. Напротив, начиная с 150 года до н. э. мы наблюдаем, как ритор Гермагор переворачивает такой порядок ценностей и отводит первое место тому жанру, который называет «эпидиктическим», то есть чистому парадному красноречию, которое имело в его глазах тем больше достоинства, что, вращаясь в автономной и лишенной связи с действительностью сфере, оно соответствовало, в своей показной самодостаточности, теории искусства для искусства в той области, где такое учение представлялось на первый взгляд несостоятельным⁴¹. Сознательно или нет, но Гермагор сделал выводы из революции, свершившейся в эллинистических царствах; и римляне охотно согласились с его парадоксальным утверждением, когда привыкли к режиму, напоминавшему царский, в котором суверенитет императора полностью поглотил республику. Менее чем через поколение после того, как Катон Старший, отождествлявший оратора с благородным человеком, способным заставить возобладать те благие мысли, которые рождаются у него в голове (*vir bonus et dicendi peritus*), подчинил красноречие действию, римляне молча проглотили греческие трактаты по риторике, в которых они были разделены. И когда Цезарь склонял их к монархии, они, естественно, смирились с фактом такого развода, обрешшего красноречие, преподававшееся в их школах, на вечное скитание в безвоздушном пространстве — вместе со всем его аппаратом составленных под копирку рекомендаций и бряцанием звучных фраз, ответом на которые могло быть лишь глухое молчание.

Действуя по шаблону, их преподаватели риторики обездвигили композицию всех вообще речей, сведя ее к шести частям, от вступления (*exordium*) до заключения (*peroratio*). Затем они проанализировали комбинации, к которым их можно было при случае приспособить. Далее они выработали набор упражнений, считавшихся призванными помочь достичь совершенства в каждой из этих частей, например, повествова-

ние (*narratio*), период (*sententia*), хрия (*chria*), выраженные характеров или этопоия (*ethopoeia*), тезис (*thesis*), обсуждение (*discussio*)⁴². Они предвидели мельчайшие детали, и процесс разработки темы развивался у них в соответствии с неизменными последовательностями, с едва не автоматическими каденциями. Возникает впечатление, что преподаватели риторики буквально поняли формулировку, которую пустил в обращение один прирожденный оратор — *fiunt oratores**, — и были искренне убеждены в том, что возможно, приучая учеников к такой акробатике, дать право на это прекрасное звание всем без исключения. Пожалуй, нет ничего более характерного для их убогих методов, чем хрия, то есть склонение, но не отдельных слов, а мыслей или скорее выражавших ее высказываний под маркой высшего авторитета, как будто афоризм мудреца мог обрести новые оттенки и обогатиться благодаря разнообразию падежей и чисел, через которые они его неустанно прогоняли: Марк Порций Катон сказал, что корень учения горек; от Марка Порция Катона происходит афоризм, что корень учения горек; Марку Порцию Катону принадлежит афоризм, что корень учения горек; Марком Порцием Катонем сказано, что корень учения горек; Марки Порции Катоны сказали, что корень учения горек... и т. д. и т. п. Так и господину Журдену, в его первых опытах в искусстве красноречия, было велено бесконечно варьировать тему хрии, предложенной ему преподавателем. «Прекрасная маркиза, ваши глаза заставляют меня изнывать от любви; ваши глаза, прекрасная маркиза, заставляют меня изнывать от любви и т. д.»^{**}. Единственно, что Мольер хотел высмеять г-на Журдена и его учителя изящной словесности, между тем как ни один ритор в Риме I и II веков н. э. и помыслить не мог о том, чтобы смеяться над хриями, заготовленные формулировки которых переданы нам

* «Ораторами становятся». Близкая мысль содержится у Цицерона в «Речи за поэта Архия» (8, 18), но отчетливая формулировка *fiunt oratores, poetae nascuntur*, то есть «ораторами становятся, поэтами рождаются», возникла уже впоследствии.

** Разумеется, при отсутствии падежей (как во французском языке) хрия еще более обессмысливается.

Светонием еще прежде Диомеда⁴³, и Квинтилиан признает существование такой практики в своем «Воспитании оратора»⁴⁴.

Наконец, когда преподаватель риторики считал, что его ученики в достаточной степени ознакомились со всеми перепевами этого пситтацизма*, он просил их доказать свой дар речами, произнесенными на публике. Вот только во времена империи эти выступления утратили именование *causae*, которое имели еще во время Цицерона (из него получилось наше французское слово *choses*). Шла ли речь о *suasoriae*** , в которой рассматривался более или менее острый вопрос морали, или же о *controversiae****, будь то в форме вымышленной защитительной речи или такой же обвинительной, всё это были теперь исключительно *declamationes***** — термин, получивший впредь негативный оттенок. Конечно, если бы педагоги были в состоянии избавиться от своих маниакальных убеждений, такого рода опыты были бы в силах установить точки соприкосновения между их школами и реальной действительностью. Но они, напротив, всячески бежали от этой действительности, и чем более неправдоподобным оказывался рассматриваемый сюжет, тем более были они склонны за него приняться. Дело в том, что изначально грамматик и ритор представляли собой одно и то же лицо⁴⁵. Позже их школы были разделены, однако след изначального единства всегда сохранялся. Грамматик расчищал подходы к урокам ратора. А тот, в свою очередь, продолжал двигаться в кругу идей и образов, пройденных грамматиком. Ученик мог перейти из одного класса в другой, однако дух преподавания оставался неизменным, пребывая все в том же порабощении у искусственной литературы и в плену ограниченного классицизма.

* Пситтацизм (от лат. *psittacus* – «попугай») – бессмысленная речь, похожая на механическое повторение слов попугаем, обычно возникает в ситуациях, когда говорящий не понимает значения употребляемых им слов.

** Увещательная или защитительная речь.

*** Споры, прения.

**** Здесь: упражнение в красноречии.

Так, вместо того чтобы обращаться к теперешним занятиям учеников, сюжеты свазорий, которые намечал своим ученикам Сенека Старший, всегда относились исключительно к прошлому, причем к прошлому, удаленному не только во времени, но и в пространстве. Самые последние из оставленных им сюжетов заимствованы из вымышленных эпизодов последних недель жизни Цицерона: Цицерон колеблется — в одном случае, удастся ли ему или нет выхлопотать милость Антония, а в другом — пойдет ли он сам на то, чтобы сжечь свои произведения, дабы такую милость получить. Впрочем, в других случаях повсеместно ситуации из римской истории уступают место истории греческой: Александр Великий то задается вопросом, стоит ли ему плыть по Индийскому океану, то следует ли ему вступать в Вавилон, несмотря на неблагоприятные оракулы; афиняне размышляют, следует ли им уступить ультиматуму Ксеркса, а триста спартанцев Леонида — следует ли им дать изрубить себя всех до единого, чтобы замедлить прохождение персами Фермопил. Но случилось и так, что эти давно устаревшие условия задания казались все еще слишком недавними и заурядными. И тогда ритор, еще более углубившись в прошлое, течение которого ему так нравится проследить вплоть до времен, окутанных дымкой легенды, поручает ученикам составить речь, в которой Агамемнон задается вопросом, следует ли ему, чтобы обеспечить своему флоту благоприятный ветер, послушаться пророческих предписаний Калханта и принести в жертву свою дочь Ифигению.

Итак, мы видим, какое фактическое содержание было в свазориях. Что касается контroversий, которые должны были подготовить адвоката к его профессии, они намеренно бежали от происшествий повседневной жизни, удаляясь в иллюзорный мир необычных предположений и чудовищных ситуаций. Общие соображения, извлеченные Светонием из старинных руководств, уже были искажены этой нездоровой склонностью к исключительности и причудливости. В одном из этих смехотворных дел мы встречаем компанию гуляк, прибывших в прекрасный летний день поды-

шать морским воздухом на пляже у Остии. Здесь они договариваются с повстречавшимся рыбаком о покупке улова, который попадетс я ему при забросе сети. После заключения сделки они начинают требовать за ту ничтожную цену, которую уплатили, чтобы им был передан слиток золота, что вытащила его сеть в силу небывалого и фантастического стечения обстоятельств. Другое дело сталкивает, с одной стороны, работорговца, который, желая вывести из-под таможенных сборов самый драгоценный экземпляр в партии, решает по прибытии в Брундизий вырядить в претексту (одежда молодых граждан) красивого юного раба. С другой стороны, мы видим этого самого юношу, который по прибытии в Рим в этом наряде не желает с ним расставаться и упорно настаивает на том, что претекста была ему дана в знак окончательного и бесповоротного освобождения⁴⁶.

Однако эти два фантастических судебных дела все же оставляют немного места правде жизни, между тем как из контroversий, пространно разработанных для нас Сенекой Старшим, эта правда последовательно изгоняется. Вместо того чтобы брать за основу испытания, которому он подвергает учеников, ситуацию какого-либо процесса своего времени, ритор изо всех сил старается собрать побольше анахронизмов и невероятных случаев. Он воздерживается от того, чтобы уложить схемы своих «контroversий» в рамки гражданского права. Напротив, для того чтобы их изобразить, он пользуется зачастую воображаемыми, как правило искаженными и препарированными фактами, имеющими целью доставить удовольствие. Законодательства, на которые он ориентируется, чрезвычайно далеки и давно утратили действенность, а то и вообще по кусочкам скомпонованы в его кабинете. Потому-то среди всех сюжетов, описанных Сенекой Старшим, я нашел всего один, основанный — без существенных перемен — на подлинном свидетельстве римских анналов. Это было обвинение в покушении на величие императора, предъявленное Луцию Квинкцию Фламинину, виновному в том, что во время своего правления в Галлии он на пиру, по просьбе своей любовницы, распорядился отрубить у нее на глазах голову одному из пленников. Все прочие схемы

ситуаций самым циническим образом грешат против истины. Известно, например, что в ходе проскрипций 43 года до н. э. Цицерон был убит рукою некоего Попилия Лената, интересы которого он прежде защищал — по делу, вероятно, гражданскому и, уж во всяком случае, малозначительному, поскольку ни один из известных нам авторов не озаботился тем, чтобы уточнить, что это было за дело. Ритор пользуется этим совпадением, но поскольку обнаруживающаяся в нем черта неблагодарности, на его взгляд, недостаточно чудовищна, он ее произвольно усиливает и преспокойно диктует слушателям следующий текст: «С защитой Попилия, обвиненного в отцеубийстве», выступил Цицерон, добившийся его оправдания. Впоследствии Цицерона, занесенного Антонием в проскрипционные списки, убивает тот же Попилий. Обоснуйте выдвинутое против Попилия обвинение в преступлении против нравственности». В данном случае *actio de moribus*** был бы неприменим⁴⁷; наконец, никто и никогда не объявлял, что Попилием Ленатом было совершено какое-либо другое преступление помимо легального убийства Цицерона. Но ритору все нипочем: он охотно смешивает юридические понятия и совершает насилие над историей, чтобы благодаря этим намеренным ошибкам сообщить пикантность речи, которую просит подготовить учеников.

Но в данном случае он по крайней мере согласился с тем, чтобы поместить свой сюжет в римскую обстановку. Как правило же, он предпочитает подбавить в дело экзотики и отправить слушателей на чужбину. Вот он и отправляется в Грецию давних времен на поиски анекдотов, которым еще и придает затем остроты. Здесь он исходит из предположения, что в Элиде был закон, предписывавший отрубать руки святотатцам. На этой основе, измышленной им от начала и до конца, Сенека Старший разрабатывает следующую контрверсию: народ Элиды попросил афинян предоставить им Фидия, с тем чтобы тот изготовил

* В римском праве этот термин зачастую толковался расширительно, так что в него включалось также убийство других ближайших родственников: матери, братьев и сестер.

** Иск о безнравственности.

статую, которую они затем посвятят Зевсу Олимпийскому. Афины направляют к ним художника на том условии, что они либо вернут скульптора, либо уплатят 100 талантов. Когда Фидий закончил свое произведение, элидцы представляют дело так, что он якобы присвоил часть золота, предназначенного для священной статуи, и отсылают его в Афины, отрубив руки как святотатцу. Адвокат, представляющий Афины, требует уплаты 100 талантов, а тот, что представляет Элиду, оспаривает иск. В другом случае ритор своими хаотичными вымыслами искажает биографию Ификрата, подгоняя ее под биографию Кимона, сына Мильгиада, а чтобы нагнать побольше ужаса и жалости, совершает насилие над хронологией и соединяет с этим невероятное обвинение против Паррасия, который, позорно преобразившись в гнусного палача, якобы подверг пытке свою модель, обращенного в рабство пленного из Олинфа, ради того, чтобы с большей живостью передать страдания Прометея, живописное изображение которого предназначалось художником для храма Афины.

В прочих местах — тех, где мэтр не взялся за фальсификацию истории, — он сочинял небольшие криминальные романы с избыточными персонажами и немыслимыми перипетиями. В его школе только и слышно, что о тирании и заговорах, похищениях и узнаваниях, непристойностях и ужасах. Здесь нам приходится выслушивать жалобы мужа, который обвиняет жену в неверности, потому что богатый купец, проживающий по соседству, назначил ее наследницей в знак признания ее добродетели; отца, который собрался лишить наследства сына за то, что тот отказывается соблазниться перспективой женитьбы на богатой и не собирается расторгать брак с дочерью бандита, на которой женился после того, как благодаря ей сохранил жизнь и снова обрел свободу; видим мы и нечестивого, но доблестного солдата, который, чтобы с большей уверенностью побеждать в бою, разоряет гробницу, расположенную поблизости от места сражения, и забирает из нее оружие, украшавшее ее в качестве трофея; и девушку, которую похитители насильно заставили заниматься проституцией, однако она, испытывая

отвращение к постыдному разврату, умертвила приближавшего к ней солдафона, затем бежала из публичного дома и, возвратив себе свободу, в конце концов добилась почетного звания жрицы в святилище.

Мэтры от риторики были горды своими находками. Поиск эффектных ситуаций превратился у них в навязчивую идею, и они льстили себя мыслью, что достигают этого тем лучше, чем более невероятные случаи с участием отклоняющихся от нормы персонажей замышляют. Они оценивали достоинство речи по числу и серьезности затруднений, которые пришлось преодолеть, и более всего ценили красноречие, которому удавалось изложить нечто совершенно немислимое (*materias inopinabiles*^{*}) и, так сказать, высосать что-то из ничего. В качестве примера можно вспомнить Фаворина из Арелата, который в правление Адриана возбудил как-то воодушевление собравшихся своей хвалебной речью Терситу, а в другой раз — благодарственным словом четырехдневной лихорадке. Короче говоря, они постоянно путали искусство с искусственностью и оригинальность — с отсутствием естественности; а по здравом размышлении создается впечатление, что они были в состоянии воспитать исключительно шутов или попугаев. Разумеется, среди нас — причем в самое недавнее время — отыскиваются и такие критики, которые «в определенной степени» берутся их защищать, прибегая к той благовидной аргументации, что их педагогика была ориентирована иначе, чем наша, и что, будучи нацелены исключительно на то, чтобы пробудить в учениках способность к сочинительству, они были вправе думать, как говорит Авл Геллий, что чем абсурднее предложенная тема, тем большей «похвалы заслуживал ученик за ее трактовку»⁴⁸. Абсурдной, однако, была как раз данная концепция⁴⁹, и таковой ее сочли последние крупные писатели в латинской литературе.

Сенека осуждает образование, которое готовит людей не к жизни, а лишь учеников для школы: *non vitae sed scholae discimus*⁵⁰. Петроний на первой же странице своего романа высмеивает наполнявшее классы его

* Невероятные сюжеты, темы.

времени проборматывание напыщенных фраз⁵¹. Тацит с грустью отмечает, что «тираноубийцы, средства против мора, кровосмесительные связи матерей семейства, обсуждаемые величественными оборотами речи в школах, ничего общего не имеют с “форумом”, и вся эта выпренность знаменует настоящий вызов истине»⁵². Ювенал осмеивает этих самопровозглашенных ораторов, «у которых сердце не бьется в груди», навьюченных мулов, «этих аркадских ослов, забивающих наши головы своим чудовищным Ганнибалом и нудными речами, которые им приходится произносить каждый шестой день», этих преподавателей, что умирают, задущенные «капустой, разогретой уже в сотый раз»⁵³. Так что давайте не строить из себя больших римлян, чем сами римляне, и не будем пытаться оправдать систему, педантизма которой стыдились сами лучшие их представители.

Конечно, когда дело лишь за тем, чтобы мимоходом процитировать какую-то из этих условных несуразиц, можно ограничиться недоуменным пожатием плеч. Но если приходится их читать в трактате Сенеки Старшего одну за одной, уже очень скоро вас охватывает непреодолимое тоскливо-мерзостное ощущение. А если еще задуматься о том, что как раз на таких занудных процедурах, на столь предсказуемых и тягостных преувеличениях, столь фальшивых и нездоровых исходных посылах покоилось в конечном счете высшее образование в Риме, вас охватывает тревога за судьбу латинской словесности, которая примерно в середине II века н. э. испускала дух от литературной интоксикации. Попутно мы начинаем беспокоиться за участь цивилизации, на упадок которой указывают эти головоломные чудачества, и приходим в ужас от посвящения, через которое должно пройти элитное юношество, не имеющее иной умственной пищи помимо

* Разумеется, речь идет о первой странице дошедшего до нас фрагмента «Сатирикона» Петрония.

** Как кажется, это не вполне правильная трактовка данного отрывка из Ювенала. Основной его пафос – трудный хлеб учителя риторики и тупость учеников, хотя абсурдность и удаленность тем от действительности также вызывают усмешку поэта.

этой однообразной и пустой жвачки, которой обеспечивала их болтовня велемудрых жрецов познания. Из опасения прослыть невеждой, из амбициозного желания удивлять и ослеплять рассуждения заменялись спекуляциями, человеческий голос — ничем не обоснованными выкриками и намеченными заранее завываниями, искренность — аффектацией, естественность — гримасами и утрированной жестикуляцией, не имевшими даже достоинства новизны.

Болезненная страсть ко всему необычайному и исключительному изгоняла здравый смысл как изъян, вычищала жизненный опыт, как будто это слабость, а живая картина действительности, словно какое-то невиданное уродство, не рассматривалась в принципе. Однако сама жизнь мстила отступникам, и римляне начинали пресыщаться всем этим школьным вздором. Наиболее реалистичные среди них, так сказать, путали с пьесой пародию, которая была им отвратительна, и, полные решимости всё подвергать сомнению, как Лукиан, или не испытывая никакого интереса к любым формам культуры, как простонародье, ограничивали свой кругозор непосредственным удовлетворением своих нужд и стремлением к удовольствиям⁵⁴. Те, что были более любопытны и благородны, разочарованные, но не отчаявшиеся, уходили прочь — искать в религиях спасения ответ на вопросы, поставленные перед разумом таинственной действительностью. Они стремились к душевному успокоению, которого не могли им дать ни схоластическая наука, ни истерзанная грамматиками и риторами литература.

Упадок традиционной религии

В самом деле, история империи пребывала под знаком великого духовного явления. Я говорю о возникновении личной религии, последовавшем за покорением Рима восточным мистицизмом. Разумеется, римский пантеон, незыблемый внешне, продолжал существовать, и церемонии, которые веками отправлялись в числа, предписанные понтификами в их священном

календаре, продолжали совершаться согласно обычаям предков. Но живой человеческий дух их покинул, и если даже пантеон сохранил свое священство, паствы у него больше не было. Римская религия с ее маловыразительными богами и бесцветными мифами, этими банальными измышлениями, навязанными топографией или бледными перепевами приключений, через которые прошли олимпийцы греческой эпопеи; с ее молитвами, сформулированными в духе сделки, сухими, как параграф договора; с ее незаинтересованностью в метафизике и безразличием к моральным ценностям; с обуженностью и избитостью сферы ее действия, ограниченной интересами Города и политической конъюнктурой⁵⁵, религия эта прямо-таки душила вспышки веры своим педантичным холодом и прозаическим утилитаризмом. Ей неплохо удавалось воодушевлять солдат в отношении опасностей, которые подстерегают на войне, а крестьян — ободрять в связи с ущербом, нанесенным непогодой, но в пестрящем разнообразием Риме II века н. э. она утратила какую-либо власть над душами.

Вне всякого сомнения, народ продолжал демонстрировать живейшую заинтересованность в празднествах богов, которые с готовностью финансировала казна, однако Гастон Буассье грешит избыточным оптимизмом, когда в связи с этим воздает должное благочестию римлян. Среди празднеств, на которые сбегались простолюдины, были такие, что нравились им больше, потому что «они были более веселыми, шумными и представлялись более соответствующими их потребностям»⁵⁶. Так что неправ тот, кто строит какие-то иллюзии на этот счет. В частности, по народной любви к попойкам и пляскам, которыми ежегодно сопровождались на берегу Тибра празднества в честь Анны Перенны, делать вывод о просвещенной искренности почитания этой старинной латинской богини было бы столь же неосмотрительно, как оценивать распространение и силу католицизма в сегодняшнем Париже по наплыву горожан на рождественскую службу. Кроме того, нет недостатка в указаниях на постоянство, с которым римская буржуазия при империи только и знала, что отде-

львалась от своих — признаваемых государством — обязанностей по отношению к божествам. Например, такой «консерватор», как Ювенал, никогда не упускающий случай с презрением обрушиться на чужеземные суеверия, на первый взгляд всеми фибрами души привязан к народной религии, и можно подумать, что он относится к ней с глубоким почтением и любовью, когда читаешь этот красивый зачин XII сатиры, где он с изысканной живостью описывает свои приготовления к жертвоприношению Капитолийской троице*.

«Милее собственного дня рождения мне, Корвин, этот день, в который травяной алтарь с торжественным видом ожидает животных, обетованных богам. Царице я веду агницу белую, как снег; другая, с таким же точно руном, будет предложена богине, которая вооружается в битвах маской Горгоны Ливийской. Еще дальше, обещанная Тарпейскому Юпитеру, резвая жертва натягивает и трясет веревку, угрожающе наклоняя чело: это свирепый и созревший уже для храма и для алтаря телец. Чистое вино вот-вот оросит его, уже стыдящегося касаться сосцов своей матери и бороздящего прорезающимися рогами стволы деревьев. Обладай я большим состоянием, отвечающим моим чувствам, я бы привел на заклание быка большего, чем Гиспулла**, потому что я хочу отпраздновать возвращение друга, все еще трепещущего от опасностей, которые ему довелось пережить, и все еще дивящегося тому, что он остался жив»⁵⁷.

Но прочтем эти превосходные стихи еще раз. Их пылкая нежность адресуется вовсе не богам, но сельскому пейзажу, в котором предлагается это приношение, и животным, отобранным Ювеналом в его собственном стаде, чтобы их заклать: их красоту он оценивает и в качестве хозяина, и как поэт. Наконец и прежде всего, его пыл обращен к другу, неожиданное возвращение которого ему хочется отпраздновать: он заранее, через это аппетитное и ясное описание, ощутит дымок праздника, на которое приглашен в ознамено-

* То есть Юпитеру, Юноне Царице и Минерве.

** Очевидно, женщина, отличавшаяся чрезвычайной полнотой. Возможно, ее же упоминает Ювенал в VI, 74 в качестве отрицательного примера любителейниц актеров.

вание радостного события. Что же до божеств, погруженных в темноту на заднем плане картины, им приходится ограничиться то достаточно посредственным перифразом (как Минерве), то (как Юноне Царице) ритуальной характеристикой, а подчас так даже чисто географическим эпитетом, связанным с Юпитером, чей храм на Капитолии нависал, как известно каждому, над Тарпейской скалой. Кроме того, Ювенал испытывает трудности при прояснении их образов. Их черты изгладились в его представлении. Для него они просто абстрактные сущности, и всю их мифологию он отвергает целиком, ведь «если были бы какие-то маны, и подземное царство, и шест Харона, и черные лягушки в омуте Стикса, разве могло бы одной лодки достать на переправу стольких тысяч умерших? Да любой ребенок в такое не поверит, разве уж такой, что еще не вошел в возраст, чтобы платить за вход в бани...»⁵⁸.

Скептицизм Ювенала был по сути всеобщим. Скептицизм этот охватил простолюдинов: все больше их, причем самые лучшие, сами об этом сожалея, проявляют безразличие к этим римским богам, которые теперь «едва способны сдвинуться с места» — *pedes lanatos habent*. Скептицизм разделяют и гранд-дамы (*stolatae*^{*}), заявляющие без всякого смущения, что «ни во что не ставят Юпитера»⁵⁹. Разделяли его и наиболее выдающиеся и конформистски настроенные современники Ювенала. И если они «практиковали» религию в той же мере, как он, или даже больше, то такие вельможи, как Тацит и Плиний Младший, «верили» еще менее его. Претор при Домициане, консул и проконсул Азии при Траяне, Тацит по необходимости совершал богослужение на политеистических публичных церемониях, а его неприязнь к иудеям по крайней мере не уступала Ювеналовой. Вот уж кто старается убедить нас в своей правоте! Но он же заставляет и усомниться в ней. Что до тех самых иудеев, к которым он питает отвращение, Тацит нисколько не страшится косвенно похвалить их веру «в вечного и высшего Бога, образ которого не следует воспроизводить и который не должен погибнуть». В своей «Германии» он также дал выход вос-

* То есть те, кто носит столу, длинное просторное одеяние матрон.

хищению варварским племенем, которое не смиряется ни с тем, чтобы его боги были заключены в стены, ни с тем, чтобы их воспроизводили в человеческой форме из страха оскорбить их величие, которому больше по нраву посвящать их культу леса и рощи на своей территории и для которых «это таинственное уединение, в котором они их почитают, не видя, представляется отождествлением с самим божеством». В обоих случаях эта не высказанная явно, но несомненная симпатия показывает нам Тацита как разочарованного язычника⁶⁰.

Его друг Плиний Младший не проявляет ни малейшего отчуждения от религиозных форм, которым — из уважения к породившей их глубокой древности и освятившему их государству — он подчинил свои привычки и покорил жесты, но в то же время он отказывает им в задушевной привязанности своего разума. Как доказательство религиозности Плиния Младшего Гастон Буассье цитирует письмо, в котором тот описывает другу Роману очаровательное впечатление, которое производят протекающий в тени кипарисов ключ Клитумн в Умбрии и древний храм, в котором местный Юпитер изрекал свои оракулы⁶¹. Действительно, милый отрывок, однако проистекает он из того же источника, что и процитированные нами только что стихи Ювенала. Он свеж точно так же, как и они, и, как и они, выражает нежное волнение, внушаемое друзьям природы созерцанием красивого пейзажа. Но ему и дела нет до благочестия, сценой и объектом которого является это место, а завершается все стрелой, исподтишка пущенной в богомольцев, направляющихся сюда, чтобы эти обязанности исполнить: «Здесь, Роман, ты можешь пополнить свои знания, потому что можно прочесть множество надписей, нанесенных людской толпой на колонны и все стены в честь источника и бога. Многие из них вызовут твое восхищение. Некоторые насмешат. Или скорее, будучи хорошо воспитанным, ты ни над чем не станешь смеяться»⁶². В другом месте переписки Плиний объявляет, что готов восстановить, в соответствии с мнением на этот счет гаруспиков, у которых он просил совета, небольшой храм Цереры в его тоскан-

ском имени. И все-таки манера, в которой он сообщает об этом своему архитектору, является свидетельством не благоговения в отношении богини, а попечения о верующих. Плиний предвидит, что придется приобрести новую Цереру, потому что «в теперешней статуе, сделанной из дерева и весьма старинной, много недостающих кусков». Но в первую очередь он предусматривает строительство вблизи от святилища колоннады, так как до сих пор посетители не могли отыскать нигде поблизости «никакого убежища от солнца и дождя»⁶³. Так что более, чем благосклонности богини, Плиний Младший желает признательности своих колонов, и попечение, с которым он берется облегчить их паломничество, не в большей степени предрешает его собственные убеждения, чем выказывал их Вольтер в свою бытность в усадьбах фернейской знати.

Есть и лучшие примеры, которые показывают непробиваемое безразличие Плиния Младшего к культам, исполняемым им внешним образом. Перечитаем письмо, в котором он сообщает о своей недавней кооптации в коллегии авгуров. Радость, которую он от этого испытал, носит вполне светский характер. Он едва упоминает о священной власти, которую дает ему это почетное звание, *sacerdotium plane sacrum*^{*}, и нисколько не акцентирует внимание на той бесподобной привилегии, которую он отныне обретает, а именно истолковывать знаки небесной воли и оповещать магистратов и лично императора о значении этих предзнаменований. Напротив, то, что представляется ему весьма завидным в данной миссии, в связи с которой лицо, возложившее ее на себя, в силу этого принимало на себя сверхъестественное бремя как в горе, так и в радости, — это прежде всего то, что она была ему дарована на всю жизнь (*insigne est quod non adimitur viventi*^{**}). Далее, ему импонировало то, что эта миссия досталась ему по рекомендации Траяна, а также что он получил ее, заменив Фронтину; наконец, его привлекало то, что некогда ею был наделен Марк Туллий Цицерон, совершенный ора-

* Вполне священное жречество.

** Замечательно то, что, пока я живу, это не может быть у меня отнято.

тор⁶⁴. Так что удовлетворение, преисполняющее Плиния Младшего, нисколько не религиозного характера. Оно характеризует его как царедворца, как светского человека, наконец, как литератора, но не верующего. Плиний Младший обрадовался назначению авгуром примерно так же, как писатель ныне приветствует собственное избрание в члены академии и, конечно, официальное римское жречество сводилось для обладателей этого сана к своего рода «академиям».

Даже тот пыл, который внушал вначале императорский культ, в свою очередь также охладел и являлся теперь не более чем самой новой и лучше всего прилаженной деталью громадной официальной машины, двигавшейся благодаря набранной скорости, притом что души в ней уже не было. Падение Нерона, с которым угасло семейство Августа, нанесло культу императора непоправимый ущерб, лишив его династической составляющей, с которой было связано обожествление басилевсов в династиях диадохов. Веспасиан, этот выскочка, надеявшийся основать новую династию, симулировал в Египте способности чудотворца, но в Риме не соизволил настаивать на поддержании этой веры, и мы знаем его шутку о будущем обожествлении, на которую у него достало мужества на смертном одре. «Чувствую, — шутливо сказал он, — как становлюсь богом»⁶⁵. Убийство его сына Домициана, который, забыв о своем происхождении, настаивал на том, чтобы даже в Италии его приветствовали как «Господина» и «Бога», *dominus et deus*, сразу показало, до какой степени был оправдан скептицизм его отца. Быть может, императорской религии и удалось бы пережить преступления «лысого Нерона», располагай он достаточными деньгами для того, чтобы обогащать своих преторианцев и развращать население Города. Она оказалась ниспровергнута, когда он понес наказание за свои преступления: выяснилось, что если военные бунты могут порождать императоров, то достаточно дворцового заговора, чтобы сместить господина, божественности которого требовала как раз эта религия. При первых Антонинах она заявила о себе исключительно как повод для пиров, некий символ лояль-

* Прозвище Домициана — см.: *Ювенал*, IV, 38.

ности, один из пунктов конституционного порядка. Сразу после восшествия на престол Траян провозгласил божественным (*divus*) покойного Нерву, своего приемного отца, но при этом позаботился о том, чтобы это событие было приведено к масштабам, пропорциональным человеческой личности. Траян не только предназначал усопшим почести обожествления, но и усматривал в них высшее воздаяние государства своим благодетелям. А переложив на своего панегириста заботу уточнить мирской дух, исходя из которого он действовал при введении этого формального момента хорошего управления государством в целом, Траян позволил Плинию Младшему заявить сенаторам, что самые несомненные доказательства божественности покойного императора — превосходные качества его преемника (*certissima divinitatis fides est bonus successor*), и внес в формулу общественных молений, обращенных к богам за его жизнь и здоровье, ту оговорку, что они должны быть услышаны лишь в том случае, если он хорошо и в целях всеобщего блага правит государством (*si bene rem publicam et ex utilitate omnium rexerit*)⁶⁶.

Было бы несправедливо отрицать наличие в такой политике благородных мотивов. Но в то же время наивно верить, что в тогдашней политике еще оставалось место для каких-либо порывов и излишних чувств. Миновало время, когда победитель при Акции, положивший конец гражданским войнам и обеспечивший Риму спокойствие и власть над миром, принимая в благодарность титул Августа, разом помещал себя вне и выше человеческого состояния и естественным образом возвышался до уровня богов в глазах охваченных энтузиазмом масс и песнопений поэтов; время, когда доверчивый народ полагал, видя в небе над Римом прочерченную кометой траекторию, что это — след, оставленный на небосводе Цезарем, его отцом; время, когда решительно все, от последнего гражданина до наследника императора, приписывали полномочиям Тиберия силу, одухотворявшую планы его военачальников и сообщающую им неодолимую силу — примерно так же, как уже в наши дни один японский адмирал относил свою победу при Цусиме на счет духа микадо. Теперь личность и история

императора вновь снизили на землю. И если скромные подданные, по привычке и руководствуясь требованиями церемониала, продолжали апеллировать к «святому дому»⁶⁷ и «божественным решениям» императора, большая часть отдавала себе отчет в том, что говорить об императорском «доме» по сути больше невозможно, а самые правдивые в своей благодарности превозносили в лице императора просто-напросто «его неустанную заботу об интересах человечества»⁶⁸. К тому же и сами верховные правители, эти высшие стражи государства, сознавали, что достигают звания императора как своего последнего назначения на пост.

Траян настолько мало заботился о том, чтобы окутать свои деяния сверхъестественным ореолом, что прямо-таки хвастался тем, что разбил германцев еще до своего восшествия на престол, когда еще никто не мог назвать его сыном бога: *necdum dei filius (erat)*⁶⁹. Просмотрите бегло текст его панегирика: монархия, которую он представляет здесь нашему вниманию, изображается на каждой странице как лучшая из республик. С ней должен был установиться, прибегая к терминологии предшествующих правителей, новый режим, в котором впервые, прибегая к словам Тацита, свобода пришла бы в гармонические отношения с принципатом, но где, по причине рокового воздаяния, императорской религии предстояло окончательно (по крайней мере в Риме и в близких к сенату кругах) утратить свою трансцендентность и обмиршиться. Так что, несмотря на триумфальное возвращение просвещенного деспотизма, не может быть сомнения в том, что ни улыбчивой непринужденности Адриана, ни самоустраенности Антонина Пия, ни стоической невозмутимости перед замыслами судьбы Марка Аврелия не удалось оживить в сердцах людей чувства, пробужденные некогда культом Августа, но уснувшие впоследствии вечным сном.

Оживление восточной мистики

И все же вера в Риме не исчезла; не наблюдалось даже ее убыли. Напротив, при явной недостаточности образования, более не содержавшего какого-либо рацио-

нального начала, образования, полностью утратившего связь с действительностью, когда рассудочное начало человека оказывалось обеднено и разоружено, вера расширила сферу своего присутствия и прибавила в интенсивности. Вот только римские верования сменили свое направление и объект. Они отвернулись от официального политеизма и укрылись в «церквях», которые стали образовывать философские секты, и в братствах, где свершались таинства восточных богов. Отсюда верующие получали как ответы на свои вопросы, так и отдохновение от одолевавшего их беспокойства; они находили здесь и объяснение мира, и правила поведения, и освобождение от зла и смерти. Так что во II веке н. э. мы становимся свидетелями того парадокса, что религиозная жизнь пробудилась в Риме как раз в том смысле, в котором мы понимаем ее сегодня, причем именно в тот момент, когда его государственная религия прекратила существование в человеческих душах.

Эта метаморфоза, исподволь готовившаяся с давних пор и имевшая всеохватное значение, явилась результатом эллинистического влияния, которому Рим подвергался на протяжении двух столетий, сам того не замечая: откровения восточных религиозных учений и преподавание греческой философии привели в конце концов к их взаимопроникновению и слиянию. В рассматриваемую эпоху отлученные от кафедр философские учения обретают в Риме облачение и императивность религий для преподавателей, являющихся настоящими властителями дум, и для приверженцев, чью деятельность они регламентируют и определяют вплоть до фасона стрижки бороды и одежды. Даже в том случае, когда эти учения, как эпикуреизм, отрицали загробное существование и помещали бессмертных богов в бездействие «междумирий»*, все равно они заявляют о себе как об избавителях от тревог и страхов и устанавливают для своих приверженцев благочестивые празднества, на которых их «основатели» выступают в качестве «героев», что включает сюда и точно такие же гимны и жертво-

* *Intermundium* – придуманный Эпикуром термин, обозначавший своеобразные «пазухи» между мирами, в которых, по его мнению, помещаются вечно блаженные и бездеятельные боги.

приношения, что и обычные богослужения⁷⁰. Даже если их проповедниками были афинские греки или римляне, говорившие и писавшие по-гречески, они были не в состоянии скрыть специфически ориентальных корней, к которым восходила их диалектика. Жозеф Биде продемонстрировал все, чем был обязан стоицизм не только распространявшим его семитам, но и семитским верованиям⁷¹, и нет сомнения в том, что неопифагореизм, проповедовавшийся в Городе Нигидием Фигулом, подвергся глубоким изменениям под воздействием александрийской мысли⁷². С другой стороны, моменты сходства, отмеченные Францем Кюмоном между столь разными по происхождению культурами Кибелы и Атгиса, Митры, Ваала и Сирийской богини, Исиды и Сераписа, слишком многочисленны и буквальны, чтобы не попытаться выделить в них общую для всех особенность проявления вовне. Неважно, происходят ли они из Анатолии или Ирана, из Сирии или Египта, мужского ли они пола или женского, носят ли обращенные к ним ритуалы кровавый характер или вполне безобидны, «восточные» божества, с которыми мы сталкиваемся в Римской империи, обнаруживают тождественные черты, лежащие в основе взаимопересекающихся или взаимозаменяемых представлений. Всё это боги, весьма далекие от невозмутимости: они страдают, умирают и воскресают; это боги с мифологией, охватывающей космос и заключающей в себе его тайну; боги, чья небесная родина господствует над всеми земными; боги, обеспечивающие исключительно своим посвященным, причем без всякого различия национальности и сословия, защиту, пропорциональную чистоте каждого.

Напрасно старались бы мы отыскать некую предустановленную гармонию между разными породившими этих богов ментальностями людей Востока на основании аналогий, сближающих их между собой*. Правда в

* Забавное заключение, столь типичное для XIX—XX веков: если боги столь разных народов похожи друг на друга, значит, было что-то общее «в головах» людей. А не проще ли подумать, что схожи меж собой сами эти боги или, что вернее, что это одни и те же божественные сущности, увиденные разными людьми, с непохожими друг на друга (что поистине верно) «ментальностями».

том, что ни одна из этих «восточных» религий не высаживалась на итальянской почве, не задержавшись перед тем на продолжительное время в каком-либо греческом или хотя бы эллинизированном краю. Но будучи исторгнуты из эллинистической среды вскоре после завоевательного похода Александра, они пересекали ее границы лишь избавившись по пути от наиболее громоздкого багажа, а проникнув, напротив, философией космополитизма⁷³. В этом — причина единообразного оттенка, характерного для них всех. Ведь все эти религии занимались приспособлением своих частных мифов к идее всеобщего божества, реализуя данный проект с помощью символизма, построенного на почти одних и тех же знаках. Отсюда же и их подчиненность астрологии, которая так же явно берет верх над лучезарной диадемой Аттиса в Остии, как и в большей части наших «митреумов»*, как и на потолке святилища Бела в Пальмире, где Зевесов орел распростирает свои крылья в круге зодиакальных созвездий. Отсюда, наконец, и в первую очередь, и происходит та легкость, с которой обратились римляне к восточным богам: не только по причине того, что Восток был богат и многонаселен, но и потому, что эллинистическая цивилизация, которой был напоен Рим, равным образом модифицировала пришедшие из всех регионов Востока культы, построив их, так сказать, по своему образу и в соответствии со своими духовными склонностями.

Во II веке н. э. эти культы буквально затопляли Рим. Те, что происходили из Анатолии, обосновались здесь вследствие объявленной императором Клавдием реформы богослужения Кибеле и Аттису. Египетские культы, запрещенные в Риме при Тиберии, были допущены сюда Калигулой. Уничтоженный пожаром в 80 году храм Исиды был восстановлен Домицианом с роскошью, о которой свидетельствуют уцелевшие обелиски — как на самом этом месте, у Минервы, так и неподалеку отсюда, перед Пантеоном, и колоссальные статуи Нила и Тибра, которые поделили между собой музеи Ватикана и Лувра. Начиная с середины

* Святилище Митры, божества иранского происхождения, популярного среди военных.

I века Адад и его соправительница Атаргата, сирийская богиня, единственное божество, воздать почести которому снизошел Нерон, этот отрицатель всех прочих богов, располагали здесь храмом, который был обнаружен Полем Гоклером в 1907 году. Храм располагался на правом берегу Тибра, под *Lucus Furrinae*^{*} на Яникуле. Наконец, мы точно знаем, что в эпоху Флавиев святилища Митры были устроены как в Риме, так и в Капуе⁷⁴. Многочисленные коллегии, поклонявшиеся этим чужеродным богам, не только сосуществовали здесь без каких-либо трений, но и кооперировались для завоевания сторонников. В Остии, сколько можно судить, приверженцы Аттиса и приверженцы Митры совместно приобрели земельный участок, на котором воздвигли бок о бок строения, предназначенные для культа тех и других. В храме на Яникуле сирийские идолы мирно соседствовали со статуями греческих и египетских богов⁷⁵. Между этими разными религиями было гораздо меньше разногласий и вражды, чем точек сближения и взаимопонимания. Те и другие обслуживались священнослужителями, ревностно отделенными от толпы мирян, учения их ссылались на откровение, а престиж зависел от необычности одеяния и образа жизни. Те и другие предписывали своим сторонникам предварительное посвящение и периодическое следование более или менее аскетической модели поведения. Те и другие на свой лад толковали одни и те же астрологические и монотеистические рассуждения, поддерживали одни и те же оптимистические чаяния.

В глазах тех, кого этим течениям соблазнить не удалось, их окружала единообразная ненависть, замешанная на подозрении. Так, Ювенал, который не перестает кипеть по поводу того, что Оронт вливает в Тибр струю своих религиозных предрассудков, лупит наотмашь, не проводя меж ними никакого различия. Подобно тому как Тиберий воспользовался тем предложением, что какие-то поклонники Исиды плели интриги, оказывая покровительство некоему прелюбодею, и выслал их всех одним махом, так и Ювенал обрушивается на всех этих восточных священнослужителей скопом, клеймя их за

^{*} Роцца Фуррины, второстепенной богини римского пантеона.

шарлатанство и мошенничество, — халдеев, коммагенцев, фригийцев и адептов Исида, «одетых в лен и с бритыми черепами, которые бродят по улицам под маской Анубиса, исподтишка усмехаясь посреди общенародного раскаяния»⁷⁶. Он неустанно, вновь и вновь клеймит постыдное барышничество, которым они занимаются, то выторговывая «за жирного гуся или крошечный пирожок» индульгенцию от своих богов доверчивым грешницам, то обещая, ссылаясь на свой пророческий дар и способности гадалея, «этой — красавчика-любownika, а той — баснословное завещание бездетного богатея»⁷⁷. Ювенал мечет громы и молнии против их непристойности — то клеймя злосчастную процессию Матери Богов, из которой появляется «громадный евнух, почтенная персона в глазах всех этих покорных тварей»⁷⁸, то «происходящее в ходе мистерий, когда флейта припоривает собравшихся и под двойным воздействием трубы и вина, забыв обо всем, Приаповы менады с развевающимися волосами издают дикие кличи»⁷⁹. Он показывается со смеху, наблюдая епитимьи и умерщвления плоти, которым подвергают себя — с мрачным восторгом — ханжи обоого пола: например, та, что «спозаранку в самый разгар зимы» разбивает лед на Тибре, чтобы «трижды погрузиться в него», и, «обнаженная и дрожащая от холода», вслед за этим ползет «на окровавленных коленях по всему полю Тарквиния Гордого»; и та, что «по велению белоснежной Ио» отправляется «до самых глубин Египта, чтобы почерпнуть близ знойного Мероз воды, которую она привезет с собой, дабы окропить ею храм Исида»⁸⁰.

Не следует удивляться постоянству этой суровости. Силой своего гения Ювенал выражает естественную реакцию «старых римлян», ненавистников всего нового и ксенофобов, которые восставали против всякой несдержанности, усматривая в ней вырождение, и желали бы выстроить движения веры на основе мудрого регламента гражданской или военизированной процессии. Однако постепенно эти меры предосторожности начинают казаться нам чудовищно несправедливыми. Начать с того, что Ювенал упрекает исключительно восточные религии в предрассудках,

происхождение которых восходит к куда более давним временам, нежели вторжение Востока в римскую историю, между тем как развитие этих предрассудков протекало зачастую вне этих религий. И наконец (что всего важнее), ослепленный негодованием против этих религий, Ювенал оказывается неспособен распознать нравственный прогресс, реализованный самой пылкостью восточных религий, несмотря на все их излишества и заблуждения.

Например, пророчества, новый толчок оживлению которых был, вне всякого сомнения, дан связанной с этими религиями астрологией, неизменно практиковались в Риме. Как следствие политеизма, который, согласно Гомеру, самого Юпитера покорял неизбежности Судьбы, пророчества были неотделимы от гаданий и процедур экстиспиция*, совершавшихся во имя Города. Так что во II веке до н. э. даже люди, относившиеся к восточным религиям с безразличием, если не враждебно, без всякого смущения и недоверия прибегали к гаданиям, а органы государственной власти настолько мало в них сомневались, что наказывали прорицателей, практиковавших без разрешения. Так что, осмеивая приверженцев халдеев, которые трепещут от страха при сообщении о соединениях Сатурна, или глупца, который, будучи болен и лежа в постели без сил, полагает, что может «принимать пищу лишь в час, предписанный Петосирисом**⁸¹», Ювенал сам надевает шоры, дабы не видеть, что на всех уровнях римского общества равнодушные и безбожные люди становились добычей легковерия и фобий, за которые он осуждает верующих. Так, Тримальхион, этот вольноотпущенник-выскочка, размещает своих гостей перед настольным блюдом, с изображением зодиака, бахвалится перед ними тем, что родился «под знаком Рака», в высшей степени благоприятным, которому он обязан тем, что «крепко стоит на ногах и владеет богатствами

* Рассматривание внутренностей жертвенных животных и гадание по этим внутренностям.

** Называемый чаще всего вместе с Нехепсоном египетский мудрец, автор астрологического трактата (ок. 150—120 гг. до н. э.), популярного в античном мире.

на суше и море», после чего, разинув рот, слушает истории о вампирах и оборотнях, а под конец, услышав посреди своей ночной пирушки пение петуха, мрачнеет и страшится этого дурного предзнаменования⁸².

То, что мы встречаем на более высоких уровнях социальной лестницы, не менее показательно. Несмотря на свою сдержанность и определенно проскальзывающую иронию, Тацит воздерживается от формального отрицания «чудесных предзнаменований», которые упоминаются им столь же скрупулезно, как и его предшественниками, и признается, что не отваживается опускать и считать выдумками факты, «установленные традицией»⁸³. Большую часть подобных ему людей также одолевают те же опасения. Дурной сон, увиденный Светонием, тревожит его, так что ему начинает казаться, что он вот-вот проиграет судебный процесс, в котором участвует. Регул, столь ненавистный соперник Плиния Младшего по адвокатскому цеху, прибегает к гороскопам и гаданиям гаруспиков, чтобы укреплять свой престиж и перехватывать завещания. Что касается самого Плиния Младшего, он склонен отвергать ребячество толкования снов и, ссылаясь на Гомера, высказывает тот взгляд, что, как бы то ни было, каковы бы ни были видения, посещающие его во сне, он почитает «за лучшее из предсказаний то, которое состоит в защите родины». Однако в то же самое время он приводит в замешательство вице-императора, бывшего консула Лициния Суру, который соединял с талантом военачальника репутацию кладезя знаний, спрашивая в письме, что думает тот по поводу привидений и призраков, в действительность которых его заставляет верить целый ряд приключившихся прежде инцидентов, рассказываемых им со всеми подробностями⁸⁴. Уже одного письма Плиния Младшего на этот счет нам было бы достаточно для того, чтобы проявить сдержанность в отношении страстных нападок Ювенала. Читая все те безделицы, из которых оно составлено, мы становимся снисходительнее к пророчествам, которые стоики пытались во всяком случае оправдать имманентным действием Провидения, а также к оккультизму и теургии, использовавшимся восточными религиями — что следует поставить им в заслугу — в целях возвышения душ.

Ведь напрасно было бы отрицать превосходство восточных религий над косной теологией, которую они вытеснили. Несомненно, такие ритуалы, как тавробойи* Великой Матери и выставление напоказ поваленной сосны с последующим шествием в напоминание об оскотлении Аттиса, содержат в себе нечто варварское и непристойное, можно сказать, что они издают «зловоние боен и злочных мест»⁸⁵. Однако практиковавшие их религии все-таки оказывали на людей освежающее и благодетельное воздействие, в конечном итоге их возвышавшее. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к яркому анализу, которым мы обязаны Францу Кюмону⁸⁶. Восточные религии ошеломляли богомольца ослепительностью празднеств и пышностью процессий; они зачаровывали его томными песнопениями и опьяняющей музыкой. Что-то в них — то ли нервное напряжение, вызванное продолжительным умерщвлением плоти и непрерывными медитациями, то ли крайнее возбуждение головокружительных плясок, то ли даже прием после воздержания сброженных напитков — неизменно побуждало к экстазу, в котором «душа, избавленная от порабощения плоти и освобожденная от боли, взмывает ввысь и погружается в блаженство». Франц Кюмон совершенно справедливо отмечает, что в мистицизме можно соскальзывать «от возвышенного к извращенному». Верно, однако, также и то, что разным формам восточного мистицизма удалось извлечь из безобразий, внутренне присущих природным культам, под единообразно направленным воздействием греческого мировоззрения и римской дисциплины — некий идеал и подняться к тем возвышенным областям духа, где схождение воедино всеобъемлющего знания, совершенной добродетели, и победы, одержанной над материальным злом, над грехом и смертью, предстает взору в качестве блистательного сияния, как исполнение божественного обетования. Какой бы ложной ни была наука, включавшаяся в «гносис» каждой из этих разновидностей мистицизма, она одновременно возбуждала и утоляла жажду знания у своих посвященных.

* Торжественное принесение в жертву быка с последующим общением посвящаемого его крови.

К предписывавшимся ими материальным омовениям и очищениям теперь добавлялось еще и внутреннее умиротворение посредством самоотречения и аскезы. Наконец, и в первую очередь, проповедуя, что богослужение без благочестия лишается действительности, восточный мистицизм обретал право проповедовать будущее достижение своими мистами блаженного бессмертия, которым обладают в небесных сферах их постоянно рождающиеся заново боги. И вскоре они дадут импульс тому движению духовности, которое привлечет к себе мятежные умы.

С одной стороны, лучшие люди в Городе, включая сюда также и тех, кто полагал, что максимально удален от восточной мистики, смутно чувствовали, что божественные гарантии должны быть не столько получены, сколько заслужены. В ожидании того, что Ювенал умерит свой гнев в безмятежном убеждении, что «человек более дорог богам, чем себе самому»⁸⁷, Персий в начале второй половины I века ничуть не сомневается, что боги (которых он не определяет более конкретно) изначально требуют от него чего-то большего, чем «душа, в которой гармонически царят светское и божественное право, ум, очищенный вплоть до тайников, сердце, исполненное великодушной порядочностью»⁸⁸. И Стаций при Домициане неявно формулирует такое исповедание веры — исключительно как силу личной религии: «При моей бедности как бы я мог оправдаться перед богами? Нет, мне не удалось бы это сделать, даже если бы вся Умбрия без остатка вычерпала бы для меня богатства своих долин, а пастбища Клитумна доставили мне своих белоснежных быков; и все же боги много раз принимали от меня приношение, которое я им предлагал: немного соли и муки, насыпанных на дерн»⁸⁹. Так что поэты, служа рупором для современников, рассматривали божественную благосклонность в качестве награды за людскую добродетель.

С другой стороны, в языке II века латинское слово *salus*, с которым некогда связывалось исключительно земное представление о телесном здоровье, обретает сверхэтого еще и нравственное и эсхатологическое значение, которым предполагается освобождение души на

этом свете и ее блаженство в небесной вечности, а уже затем, мало-помалу, возвышенная идея спасения переходит с восточных культов на все действительно религиозные структуры римской древности. Она одушевляет те организации, которые разом возникли при Адриане в честь Антиноя, прекрасного вифинского раба, ради спасения императора пожертвовавшего в Египте своей жизнью⁹⁰. Идея эта объединяет вокруг себя братства, в которых собирались при Антонине Пие, в частности в Бовиллах, «древonoсцы» Кибелы и Аттиса⁹¹, как и те скромные погребальные общества, которые, начиная с правления Адриана, объединяли в единой семье плебеев и рабов Ланувия под знаком двойного обращения к Диане мертвецов и спасителю Антиною⁹². Идея эта сделалась столь престижной, что как первые, так и вторые взяли в свое наименование эпитет, в котором выражалась великая надежда: *collegium salutare**. Даже императоры более не могли избавиться от ее принуждения. Ведь, как показывают нам монеты и памятники II века н. э., они то желали уподобляться олимпийцам, император — Марсу, потомки которого были основателями Города, а императрица — Венере, этой общей матери цезарей и римского народа⁹³, а то хотели подвергнуть свою недавнюю святость повторной закалке в священных волнах старинных латинских легенд.

Тем не менее императоры больше не верили, что их официально объявленного по решению сената обожествления будет довольно для обретения сверхъестественного спасения, нужду в котором они испытывали, подобно прочим человеческим существам. После того как Адриан воздвиг посвященные Антиною статуи, храмы и города, но прежде чем Коммод вступил в религиозное братство Митры⁹⁴, Антонин Пий засвидетельствовал с помощью отчетливой надписи на реверсе отчеканенных им монет, что его жена Фаустина Старшая, которой он лишился в начале своего правления и чей храм на форуме все еще продолжает нести на себе символический фриз, могла вознестись на небеса лишь на колеснице Кибелы, по заступничеству Матери богов, дарующей спасение: *Mater deum salutaris*⁹⁵. Так

* Общество спасения.

что и в самом деле, благодаря сотрудничеству восточных мистиков и исконной римской мудрости, на развалинах традиционного пантеона родились и укрепились новые и плодотворные верования. Мы видим, как в недрах обветшавшего язычества организуется или, вернее будет сказать, вырисовывается настоящая система искупления людей двояким, и потому особенно действенным, способом: через их заслуги и божественное содействие. Так, благодаря совпадению, которое толкуется агностиками в духе исторического детерминизма, верующие же после Боссюэ усматривают в нем вмешательство Провидения, которому они поклоняются, Рим создал благоприятный христианству климат как раз в то время, когда здешняя христианская Церковь была достаточно велика и укоренена, чтобы выкопать здесь свои первые общественные кладбища и голосами собственных апологетов вознести вплоть до ступеней трона пример и моления своих верных.

Возвышение христианства

Ведь если, в самом деле, ни Стаций, ни Марциал, ни Ювенал и не подозревали о христианстве; если Плиний Младший, у которого случился конфликт с христианами в его провинции⁹⁶, в своих письмах не допускает даже намека на его существование; если Тацит и Светоний упоминают о христианстве лишь на основании слухов, первый с оскорбительными характеристиками, второй — с такими неточностями, что доказывают как провалы в его источниках информации, так и нехватку проницательности у него самого⁹⁷, у нас тем не менее нет никаких сомнений в том, что начало «вохристовления» в Риме восходит к правлению Клавдия (41—54)⁹⁸. При Нероне же христианство получило достаточное развитие, чтобы этот император, перенаправив на его приверженцев ненависть за пожар Города в 64 году, начал первое, сопровождавшееся особой утонченностью казней, гонение на христианство, которое обрушилось на него, но не уничтожило.

Очевидно, его сокрытый от посторонних взоров рост продолжался с поразительной скоростью. Объясняется это, быть может, не столько значением Города в мире, сколько ролью, которую играла здесь иудейская колония, явившаяся сюда благодаря благосклонности Юлия Цезаря. Колония эта, с самых первых шагов империи, выказала себя, с одной стороны, столь неумолимой, что Тиберию пришлось в 19 году принять против нее жесткие меры, а с другой — столь многочисленной, что он мог разом выслать на Сардинию четыре тысячи иудеев. Именно через эту общину христианство, отправившись из Иерусалима, проникло в Рим, внося при этом раскол в саму эту общину, подняв друг против друга приверженцев старинного закона и сторонников новой веры. Иудейская религия оказалась притягательной для некоторых римлян, соблазненных величиюм ее монотеизма и красотой Десяти заповедей. Вера же христиан, излучавшая то же самое блистание, но распространявшая сверх этого еще и весть об искуплении и братстве, не замедлила выдвинуться на место иудаизма со своим собственным прозелитизмом. При взгляде, направленном снаружи и с определенного отстояния, они поначалу до некоторой степени путались одна с другой, так что может быть, например, что нападки, с которыми Ювенал обрушивается на иудеев, в какой-то степени относятся к христианам, которых он еще не отличал друг от друга, в то время как они, также связанные Божьими заповедями, могли на взгляд поверхностного наблюдателя казаться просто «привязанными к иудейским обычаям»⁹⁹. Но после разрушения иерусалимского храма в 70 году и при первых Антонинах Церковь силою обстоятельств начала дистанцировать себя от Синагоги, и ее пропаганда, которую не останавливали никакие этнические соображения, уже очень скоро пришла на ее место.

Разумеется, мы не в состоянии подсчитать число обращений, которого удалось тогда достигнуть христианству в Риме. Но неправ был бы тот, кто ограничил бы их исключительно простонародьем. «Послания» апостола Павла, в которых содержится приветствие тем из его собратьев, кто пребывает «в доме Цезаря» (*qui de*

Caesaris domo sunt), сразу же показывают, что апостол вербовал учеников среди домочадцев императоров, среди тех рабов и вольноотпущенников, которые, щеголяя благовидной приниженностью, числились среди наиболее могущественных служителей режима¹⁰⁰. Несколькоими годами позднее целый ворох согласных меж собой свидетельств наводит нас на мысль, что христианская церковь пускала новые побеги в среде правящего класса. Тацит повествует, что Помпония Грецина, жена консула Авла Плавция, победителя британцев, который жил при Нероне и закончил жизнь при Флавиях, была заподозрена в принадлежности «к преступно иноземной религии»* по причине строгости своего нрава, постоянной печали и траурных одежд. Дион Кассий и Светоний сообщают, что Домициан последовательно преследовал, обвиняя их в атеизме, Мания Ацилия Глабриона, консула 91 года, который был осужден на смерть, а затем — пару своих собственных кузенов, Флавия Клемента, консула 95 года, которого приговорили к смертной казни, и Флавию Домициллу, сосланную на остров Пандатерию¹⁰¹. Наконец, Тацит отмечает в своей «Истории», что собственного брата Веспасиана, Флавия Сабина, который был городским префектом, «когда Нерон превратил христиан в живые факелы, чтобы освещать свои сады, как кажется, к концу жизни одолевали ужасные воспоминания о пролитой крови»¹⁰².

Разумеется, ни один из приведенных текстов не зачисляет крупных личностей, заинтересовавших наших авторов, в ряды христиан. Однако мы вправе, вместе с Эмилем Малем, задать вопрос, не примкнул ли к новой религии Флавий Сабин, с его манией преследования и умеренностью, будучи привлечен мужеством первых римских мучеников¹⁰³. И еще более вероятно, что нам следовало бы усматривать христианство также и в той чужеземной религии, в приверженности которой, как незаконной, подозревали Помпонию Гречину, как и в случае обвинения в атеизме, предъявленном

* Она была не просто заподозрена, но обвинена, однако право принять решение по ней было передано мужу, который оставил дело без последствий.

тем верующим, религия которых, видимо, запрещала им воздавать должные почести ложным богам официального политеизма. В частности, в случае Флавия Клементина и Флавии Домициллы такая вероятность еще возрастает в связи с тем фактом, что их племянница, также именуемая Флавией Домициллой, была, по свидетельству Евсевия, сослана на остров Понтию за принадлежность к христианству¹⁰⁴. Впрочем, как бы то ни было, если даже вместе с наиболее радикальными критиками предположить, как того нередко желают, что катакомбы Присциллы, в которых жива память Ацилиев Глабрионов, относятся уже ко второй трети II века, то все же крипта Луцины, в которой была открыта позднейшая греческая надпись от имени некоего Помпония Грецина, и гробница Домициллы, имя которой, вне всякого сомнения, заставляет вспомнить о жертвах Домициана, не дают возможности отмахнуться от предположения, говорящего в пользу громких обращений, имевших место начиная с конца I века, что совпадает с сопоставлениями, к которым пришел Де Росси¹⁰⁵. И уж, вне всякого сомнения, положительно установленным остается то, что окружение многих великих римского мира, при их поддержке, начиная с правления Адриана (117—138), отправилось, по призыву Христа, пополнять ряды его римской церкви.

Несомненно, церковь эта представляла собой в Городе всего лишь незначительное меньшинство, и меньшинство это постоянно было здесь мишенью как массовых предупредительных мер, так и враждебности властей, и не только потому, что приверженцы Иисуса уклонялись от традиционного поведения, но и вследствие того, что, наполненные видениями своей небесной родины и забывая о родном городе, на поставленный им вопрос о происхождении они неизменно отвечали лишь званием христиан, производя таким образом впечатление дезертиров и врагов народа¹⁰⁶. Вот только казни, которые навлекала на них непреклонность (их жертвой стал при Адриане папа Телесфор), были слишком непоследовательными, чтобы их истребить, а с другой стороны, христиане выносили их с такой стойкостью, что это не могло не вызвать в

их отношении — даже против воли — восхищение их противников. Сила их «Верую» и евангельская мягкость, которыми была напитана вся их жизнь, как и героизм их мучеников, неизменно способствовали отныне их продвижению вперед, причем в большей степени, чем их «Апологии», начало которым положил при Адриане Квадрат*. Ибо, в конце концов, даже те, кто обращает внимание на аналогии между христианством и языческими мистериями, согласны, что христианство подобно им, однако превосходит их по всем статьям¹⁰⁷. И на какую высоту оно возносится! Множественности греко-римских богов, пусть даже сведенных до уровня символов, размытому генотеизму восточных религий христианство противопоставляло единого, суверенного и отчужденного Бога. Идолопоклонству, пускай даже ослабленному метафизикой божественного эфира и вечных планет, оно давало бесстрашный ответ в виде разумного культа, освобожденного от их астрологических заблуждений, кровавых жертвоприношений и смутных посвящений, сознательно ставя на их место крещение в чистой воде, молитвы и совместно справляемую трапезу. Как и языческие мистерии, от имени своих священных книг оно давало всем ответы относительно происхождения вещей и судьбы людей, однако искупитель, чью «благовест» оно открывало, вместо того, чтобы теряться, будучи неуловимым и двусмысленным, в лабиринте мифологий, являлся в чудесной действительности земной жизни Иисуса, Сына Божия. Как и они, христианство гарантировало спасение после смерти, но вместо того, чтобы низвергать человека в безмолвную бездну звездной вечности, оно оживляло его посредством индивидуального воскрешения, которому предшествовало Воскресение Христа. Наконец, христианство, как и они, предписывало своим верующим правила, но никакими из них, ни медитацией, ни аскетизмом, ни экстазами, оно не злоупотребляло, концентрируя свою мораль в милосердии и любви к ближнему, которые главенствовали в его евангелиях.

Этим-то, вне всякого сомнения, и была столь привлекательна новая религия. Все христиане были меж

* В русской традиции его чаще называют Кодратом.

с собой братьями и именно так друг друга именовали. Их собрания нередко назывались «агапами», что означает по-гречески «любовь». Они постоянно помогали друг другу «без шумихи и высокомерия». От общины к общине всё это было непрерывным обменом «советами, полезными сведениями, материальной помощью», и, как пишет Дюшен, «все это жило какой-то иной жизнью, нежели языческие братства». А что до христиан, как часто, должно быть, о них можно было услышать: «Как чиста и проста их религия! Какое доверие испытывают они к своему богу и его обещаниям! Как они любят друг друга и как счастливы в своем кругу!»¹⁰⁸

Конечно, во II веке н. э. эта евангелическая радость наполняла лишь небольшие изолированные группы в массе громадного города; однако уже тогда она доказала свою заразительность и, без сомнения, уже начала оказывать свое действие, притом что большинство об этом и не догадывалось, на тысячи и тысячи человеческих судеб. Это — момент, о котором следует помнить, если мы желаем понять жизнь в Риме в ту эпоху. Наличие Церкви здесь пока еще мало заметно. Однако она уже присутствует; она действует, и если ее благодеяния вершатся не среди бела дня, нам не следует упускать из вида спасительные возможности, которыми они были подспудно заряжены. Церковь втайне вырабатывает средства против величайших зол, угрожавших цивилизации Города. Во имя нового идеала она восстанавливает пошатнувшиеся или утраченные древние добродетели: достоинство и мужество индивидуума, сплоченность семейств, ощущение нравственных ценностей в поведении взрослых и воспитании детей; и, сверх этого, она насыщает взаимоотношения между людьми гуманизмом, которого еще не знали жестокие античные общества. В этом Риме, чье видимое величие теперь уже плохо скрывает внутренний распад, который в конечном счете и разрушит его могущество и расточит его богатства, в эпоху Антонинов мы были бы более всего поражены кишением людских толп у ног императорского величия, неутолимой жаждой золота, показной роскошью, компенсирующей бедствия Города, расточительностью его зрелищ, среди которых влачится его

праздность и разжигаются дурные инстинкты. Мы бы неприятно удивились пустоте интеллектуальных развлечений, в которых одни люди изнемогали от бледной немочи, и исступлению плотских утех, оскотинивавших прочих. Однако ни этот обманчивый блеск, ни зловещие тени не должны скрывать от нас слабое сияние, которое, каким бы призрачным и дрожащим оно ни было, уже пробудилось в душах элиты в качестве занимающейся зари нового мира.

ДЕНЬ СВОБОДНОГО РИМЛЯНИНА

Глава первая

Начало дня

В Риме первых Антонинов, громадном, космополитичном и пестром, где режут глаз многочисленные контрасты, можно все же с достаточной отчетливостью обрисовать день среднего римлянина. Разумеется, немалую роль в такой реконструкции неизбежно будут играть воображение и произвол. И все же, закрыв глаза на профессиональные различия, а также на своеобразные отклонения, создаваемые как на верхних, так и на нижних этажах социальной лестницы роскошью мультимиллионеров и нищетой бедняков, мы можем отыскать тот общий минимум попечений, занятий и развлечений, который, за некоторыми исключениями, присутствовал в повседневном существовании большинства обитателей Города. К тому же за развитием и основными моментами этого минимума проследить тем проще, что в связи с характерным для римлян общим конформизмом их не связывал такой жесткий распорядок дня, как наш.

Дни и часы римского календаря

Разумеется, после юлианской реформы 46 года до н. э. календарь римлян, как и наш, его преемник, соотносился с периодом обращения Земли вокруг Солнца.

Двенадцать месяцев нашего года сохраняют порядок, протяженность и названия, данные им гением Цезаря и осмотрительностью Августа. С самого начала империи каждый из месяцев, в том числе февраль в обычные и високосные годы, не только содержит столько дней, сколько привычно нам теперь, но сверх того астрологическое поверье, растворенное в религиях и моделях мироустройства, внедрило сюда, наряду со старинным официальным делением на календы (1-е число каждого месяца), ноны (5-е или 7-е число) и иды (13-е или 15-е число)¹, еще и пользование неделями, каждый из семи дней которых был подчинен одной из планет, чьи движения, как считалось, правят Вселенной. Этому подразделению было суждено настолько глубоко укорениться в народном сознании, что в начале III века н. э. Дион Кассий говорил о нем как о специфически римском². В практически неизменном виде (за всего только одним исключением: *dies Dominica*, день Господень, воскресенье, заменил *dies Solis* — день солнца, *Sonntag, Sunday*) оно сохранилось в большинстве романских стран, пережив упадок астрологии и триумф христианства. Наконец, каждый из семи дней недели делился на 24 часа и начинался не как у вавилонян — с восходом солнца, и не как у греков — с его закатом, а как у нас — посреди ночи, чему и соответствует наша полночь³. Однако на этом аналогии между понятием времени в римской античности и в наши дни заканчиваются. Появившиеся в составе римского дня «часы», хотя и носят то же название и составляют в сумме то же число, что и у нас, подразумевают нечто совсем иное.

Как слово, так и понятие «час» (*hora*) изобрели греки, связав его с измерениями этапов видимого прохождения Солнца по небосклону, которые они научились проводить к концу V века до н. э. Солнечный циферблат Метона, которым он обеспечил афинян, представлял собой высеченную в камне вогнутую полусферу (*polos*, *πόλος* по-гречески), посредине которой возвышался металлический стержень, или штифт (*gnomon*, *γνώμων* по-гречески). Как только Солнце поднималось над горизонтом, тень стержня попадала внутрь вогнутой полусферы, обращенной к зениту, и прочерчивала по ней —

в обратном направлении — дневную траекторию Солнца. Четырежды в год — в дни равноденствия и солнцестояния,двигающийся таким образом след тени обозначали линиями, которые тут же высекали в камне, а поскольку кривая осеннего равноденствия совпадала с кривой весеннего равноденствия, в итоге получались три концентрические кривые, каждая из которых делилась затем на двенадцать равных частей. Оставалось соединить соответствующие точки трех параллельных линий двенадцатью* отстоящими друг от друга линиями, чтобы получить двенадцать часов, ὥραι по-гречески (или *horae* по-латыни), которые размечали ход Солнца за год, между тем как *polos* с неизменной точностью это отмечал, откуда и происходит его название ὥρολόγιον, что означает по-гречески «часомер». Это слово в латинском варианте *horologium* (фр. *horloge***) сохраняет смысл и форму греческого названия⁴.

По примеру Афин, также и прочие эллинистические города почли за честь обзавестись своими «часами», и оказалось, что здешние астрономы в состоянии приспособить принцип их действия к местоположению каждого. В самом деле, в зависимости от широты места видимый путь Солнца по небосводу менялся, и менялась также длина тени, отбрасываемой *гномоном* на *полос*. Так, в Александрии она составляла лишь три пятых высоты стержня, а в Афинах — три четвертых; она приближалась к девяти одиннадцатым в Таренте и достигала в Риме восьми девятым. Сколько было городов, столько солнечных циферблатов следовало изготовить. Римляне были последними, кто почувствовал в этом необходимость; а поскольку они ощутили потребность узнавать время на протяжении дня лишь двумя веками после афинян, то и научились делать это с достаточной точностью еще столетием позднее⁵.

В конце IV века до н. э. римляне все еще довольствовались тем, что делили день на две части: до полудня и после. Именно поэтому так важно было с точностью определять момент прохождения Солнцем полудня. Обязанность следить за этим была возложена на слу-

* Чтобы получить 12 интервалов, линий должно быть 13.

** Стенные, башенные часы.

жащего при консулах, а заметив, он должен был немедленно возвестить об этом народу, суетившемуся на форуме, а также тяжущимся сторонам, коим следовало явиться в суд до полудня, чтобы дело имело ход. Поскольку делать это «глашатай» должен был тогда, когда светило проникало в створ «между рострами и грекостасисом»*, нет никакого сомнения, что эти обязанности были учреждены сравнительно недавно. Ведь ни о каких «рострах» не могло идти и речи прежде, чем к ораторской трибуне прикрепили *rostra*, или тараны кораблей, взятых у жителей Антия после морской победы Гая Дуилия в 338 году до н. э.** Точно так же и о грекостасисе (*graecostasis*), предназначенном для приема греческих посольств, не могло идти речи прежде первого из них, отправленного, по всей видимости, к сенату Деметрием Полиоркетом к 306 году до н. э.⁶

Во время войны с Пирром обозначился незначительный прогресс: каждую из половин дня поделили на две части: утро и предполуденное время (*mane* и *ante meridiem*) и послеполуденное время и вечер (*de meridie* и *suprema*)⁷. Но лишь в начале Первой пунической войны, в 263 году до н. э., *horologium* греков и их часы, так сказать, одно на другом, проникли в Город⁸. Один из консулов на тот год Маний Валерий Мессала вывез из Сицилии в числе прочих трофеев солнечный циферблат Катины*** и водрузил его, как он был, на комициях, где на протяжении трех поколений его линии, проведенные по полусфере для другой широты, отсчитывали римлянам часы, не имевшие отношения к действительности. Несмотря на утверждение Плиния Старшего, что

* Букв. «стоянка греков», здание, предназначенное для приема иноземных делегаций.

** Ж. Каркопино смешивает два события: окончательное покорение портового города вольсков Антия (ныне Анцио) в 338 году, после чего шесть носов (*rostra*) захваченных здесь кораблей были впервые прикреплены к ораторской трибуне на форуме, и победу Гая Дуилия над карфагенским флотом при Липарских островах в 260 году до н. э., после которой в его честь на ораторской трибуне была возведена колонна с трофейными корабельными носами.

*** Или Катана, ныне Катания, — древняя (основана в 729 году до н. э.) греческая колония на Сицилии. Отсюда происходил знаменитый законодатель Харонд (VI век до н. э.).

горожане якобы слепо жили по этим часам в течение 99 лет⁹, позволим себе думать, что на протяжении почти века они все же упорствовали не столько в заблуждении, сколько в невежестве. Должно быть, они просто утратили интерес к солнечному циферблату Мессалы и продолжали жить как бог на душу положит, будто его и не было, руководствуясь видимым продвижением Солнца над памятниками городских площадей.

Однако в 164 году до н. э., три года спустя после Пидны, просвещенная щедрость цензора Квинта Марция Филиппа впервые одарила римлян «часами», настроенными специально для них и потому более-менее верными; если верить Натуралисту*, этот дар был принят здесь как большое благодеяние¹⁰. Вот уже тридцать лет их легионы почти непрерывно сражались на греческой территории, вначале против Филиппа V, потом против этолийцев и царя Сирии Антиоха и, наконец, против Персея; за это время они успели привыкнуть к изобретениям своих врагов и экспериментировали, порой, несомненно, себе во вред, с преимуществами менее неопределенного распорядка дня, чем тот, которым они довольствовались до сих пор. Они были счастливы, что часы перевезены к ним на родину и установлены там; чтобы заслужить благодарность народа, подобную той, которой удостоился Квинт Марций Филипп, его преемники на посту цензоров Публий Корнелий Сципион Назика и Марк Попиллий Ленат в 159 году до н. э. дополнили его инициативу тем, что установили подле его солнечного циферблата водяные часы, призванные служить в пасмурные дни и в ночное время¹¹.

Вот уже более сотни лет жители Александрии пользовались *ὕδριον ὑποσκολεῖον***, разработанными Ктесибием на основе древней клепсидры, дабы компенсировать неизбежные недостатки *horologium* в собственном смысле; на латыни этот прибор стали называть *horologium ex aqua*. Механизм его действия был донельзя прост. Сперва представим себе клепсидру, то есть прозрачный сосуд, в который строго в одном и том же объеме поступает вода, и поместим ее подле солнечного циферблата. Когда гно-

* То есть Плинию Старшему.

** Водяными часами (*гр.*).

мон отбросит тень на какую-то кривую на *polos*, достаточно будет отметить уровень жидкости в клепсидре, нанеся на внешнюю стенку сосуда черту. Когда тень переместится на следующую кривую на *polos*, мы проводим новую черту, параллельную первой, и так дальше, до тех пор, пока дюжина помет не будет соответствовать двенадцати часам дня, выбранного для опыта. При этих условиях достаточно будет придать клепсидре цилиндрическую форму, а затем нанести на нее двенадцать вертикальных линий, соответствующих двенадцати месяцам года, после чего пометить на каждой из этих линий двенадцать часовых уровней, полученных для какого-то — одного и того же — дня каждого из месяцев, и наконец объединить кривой линией часовые метки, расставленные по вертикалям месяцев, чтобы немедленно узнать, какой теперь час по уровню воды на линии соответствующего месяца, и каким бы пасмурным ни был тот день, тень, отброшенная стержнем на солнечный циферблат, показала бы в этот миг точно такое же время.

Водяные часы, сооруженные благодаря солнечным, позволяли впредь обходиться без них, а произведя простую перестановку в считывании месячных вертикалей, распространять на ночное время дневные часовые показатели. Понятно, что с этих пор употребление часов в Риме получило стремительное распространение. Принцип солнечного циферблата применялся как в громадных устройствах, например на Марсовом поле, где в 10 году до н. э. Август возвел обелиск Монтечиторио в качестве исполинского гномона, чья тень отмеряла дневное время по бронзовым линиям, врезанным в мраморные плиты площади¹², так и во всех более мелких, вплоть до крошечных *solaria* — карманных циферблатов, служивших владельцам ту же службу, что и наши наручные часы; экземпляры, найденные в Форбахе и Аквилее, имеют в диаметре не более трех сантиметров. Но в то же время общественные здания Города и даже частные дома богачей оснащались все более усовершенствованными водяными часами. Со времен Августа *clepsydrarii* и *organarii** соперничали между собой как в

* Здесь неточность. Если *clepsydrarii* — это действительно ремес-

совершенстве своих детищ, так и в аксессуарах к ним. Подобно тому, как у наших настенных часов предусмотрен бой, а у курантов — карийон, *horologia ex aqua*, описанные Витрувием, были снабжены автоматическими поплавками, которые при всякой смене часа подбрасывали вверх камешки или яйца, либо издавали оповещающий свист¹³.

Во второй половине I века и во II веке н. э. мода на них непрерывно растет. Как пианино в наши дни, во времена Траяна водяные часы являлись видимым признаком достатка и исключительности владельцев. Роман Петрония представляет нам Тримальхиона как «человека в высшей степени изысканного», *lautissimus homo*, так что его свите не доставляет никакого труда оправдать восторг, который он ей внушает: как же, ведь у него «в столовой часы, а в них встроены трубочки, чтобы возвещать ему, какой еще части жизни он лишился». Впрочем, Тримальхион так очарован своими часами, что хотел бы забрать их с собой в иной мир, поэтому он завещал наследникам возвести ему величественную гробницу, в сто футов (30 метров) в высоту и вдвое больше в глубину, «с часами посередине, так чтобы никто не смог справиться о том, который теперь час, не прочтя его имя»¹⁴. Это необычное обращение к потомкам оставалось бы вещью в себе, когда бы современники Тримальхиона не привыкли часто сверяться со своими часами: очевидно, деление дня на часы уже глубоко укоренилось в обычае римлян. Однако неверно было бы полагать, что они не отрывали глаз от гномонов солнечных часов и поплавков клепсидр, как мы — от стрелок наручных часов. Так что рабами часов, какими являемся мы, их точно не назовешь, поскольку тем недоставало ни точности, ни постоянства.

Начать с того, что соответствию между тенью от гномона и водяными часами было очень далеко до точности. Гномон мог быть верен лишь в той мере, в какой его приноровили к широте данного места констру-

ленники, изготавливавшие водяные часы (слово встречается только в поздних эпиграфических источниках), то *organarii* — это, сколько можно судить, музыканты, в крайнем случае мастера по изготовлению музыкальных инструментов.

торы. Что до водяных часов, метки на которых смешивали меж собой все дни данного месяца, притом что солнце светило в них далеко не одинаково, их создатели не могли воспрепятствовать появлению некоторых колебаний в точности показаний при сверке часов по гномону. И потому, если кто-то спрашивал, который час, он мог быть уверен, что ему дадут одновременно несколько разных ответов, поскольку, как отмечает Сенека, в Риме невозможно знать точное время, и легче было привести к согласию философов, чем часы: *horam non possum certam tibi dicere (facilius inter philosophos quam inter horologia comueniet)*¹⁵. Время в Риме всегда было лишь приблизительным.

Так что время здесь было подвижно и, если угодно, противоречиво по сути. Ведь изначально часы подсчитывались только для дневного времени; и даже когда водяные часы сделали возможным исчисление ночного времени (простым перевертыванием данных, предоставленных солнечными часами для дня), объединить то и другое не удалось. *Horologia ex aqua* по определению нуждались в том, чтобы их заводили, то есть сосуд опорожняли — отдельно — перед наступлением дня и ночи. Отсюда первое расхождение между календарным днем, в котором 24 часа следуют друг за другом от полуночи до полуночи, и 24 часами естественного дня, которые распадались на две группы — двенадцать дневных и столько же ночных¹⁶.

Но это еще не все. Если каждый наш час содержит по 60 минут, составленных 60 секундами в каждой, и точно определяется мимолетным мигом, когда раздается бой, то отсутствие более мелких частей внутри римского часа приводило к тому, что каждый из них растягивался на весь интервал между предыдущим и следующим, а сам этот интервал, вместо того чтобы быть неизменным, был непостоянным и менялся в течение года и даже в течение суток — в связи с прямо противоположной продолжительностью дня (в строгом смысле этого слова) и ночи. Поскольку 12 дневных часов по необходимости отсчитывались гномоном с восхода до заката, 12 ночных часов должны были уместиться между заходом и восходом, причем те и другие увеличивались и

уменьшались, смотря по сезону, на равную величину, только с обратным знаком. Лишь дважды в год, а именно в равноденствие, дневные часы были равны ночным и совпадали с нашими. До и после равноденствия они увеличивались и соответственно уменьшались одни за счет других — вплоть до солнцестояний, когда разница между ними достигала максимума. В зимнее солнцестояние (25 декабря), когда солнце светило лишь 8 часов 54 минуты против 15 часов 6 минут темноты, дневной час ужимался до 44 $\frac{4}{9}$ минут, зато ночной час растягивался до 1 часа 15 $\frac{5}{9}$ минут. В летнее солнцестояние ситуация менялась на обратную: ночной час сжимался, а дневной увеличивался.

Так, в день зимнего солнцестояния дневные часы распределялись так:

I — *Hora prima*: с 7:33 до 8:17.

II — *Hora secunda*: с 8:17 до 9:02.

III — *Hora tertia*: с 9:02 до 9:46.

IV — *Hora quarta*: с 9:46 до 10:31.

V — *Hora quinta*: с 10:31 до 11:15.

VI — *Hora sexta*: с 11:15 до полудня.

VII — *Hora septima*: с полудня до 12:44.

VIII — *Hora octava*: с 12:44 до 13:29.

IX — *Hora nona*: с 13:29 до 14:13.

X — *Hora decima*: с 14:13 до 14:58.

XI — *Hora undecima*: с 14:58 до 15:42.

XII — *Hora duodecima*: с 15:42 до 16:27.

На летнее солнцестояние дневные часы были таковы:

I — *Hora prima*: с 4:27 до 5:42.

II — *Hora secunda*: с 5:42 до 6:58.

III — *Hora tertia*: с 6:58 до 8:13.

IV — *Hora quarta*: с 8:13 до 9:29.

V — *Hora quinta*: с 9:29 до 10:44.

VI — *Hora sexta*: с 10:44 до полудня.

VII — *Hora septima*: с полудня до 13:15.

VIII — *Hora octava*: с 13:15 до 14:31.

IX — *Hora nona*: с 14:31 до 15:46.

X — *Hora decima*: с 15:46 до 17:02.

XI — *Hora undecima*: с 17:02 до 18:17.

XII — *Hora duodecima*: с 18:17 до 19:33.

Ночные часы повторяли дневные с точностью до наоборот: удлинялись с лета до зимнего солнцестояния и укорачивались с зимы до летнего солнцестояния.

Это накладывало глубокий отпечаток на образ жизни римлян. С одной стороны, поскольку на протяжении всей Античности способы измерения непостоянных часов, которыми эта жизнь измерялась, оставались эмпирическими и неточными, распорядок дня никогда не бывал математически выверен, хотя такое впечатление и могло возникнуть от картины, которую мы здесь пытаемся воспроизвести, следуя нашим собственным методам; и уж, конечно, этой точности было далеко до той, которая господствует над нашим распорядком дня. Это значит, что, несмотря на городскую загруженность делами, здесь можно было располагать известной гибкостью и полем для маневра, неизвестными нашим современным столицам. С другой стороны, поскольку продолжительность дневного времени, за которое протекала жизнь, без конца изменялась в зависимости от сезона, ее интенсивность падала с наступлением коротких и темных зимних дней и возрастала с приходом летнего солнечного периода. А это-то как раз и значит, что, несмотря на все кипение большого города, римская жизнь по своему темпу и стилю все равно оставалась сельской.

Утреннее пробуждение

Для начала скажем, что императорский Рим просыпался так же рано, как и деревня: с самыми ранними солнечными лучами, а то и до зари. Вспомним еще раз эпиграмму Марциала, на которую я уже ссылался: в ней поэт перечисляет причины бессонницы, донимавшей в его время несчастных римлян. С самого восхода солнца им некуда деться от оглушительного шума, доносящегося с улиц и площадей, в котором удары медников и кузнецов мешаются с гомоном голосов школьников¹⁷. Чтобы спастись от шума, богачи забираются вглубь особняков с толстыми стенами, обнесенных садами. Но там их сотря-

сает внутренний шум, издаваемый бригадами слуг, на которых возложены работы по дому. Свет едва пробивается, а по сигналу колокола дом уже наполнила орда уборщиков с заспанными лицами, вооруженных целым арсеналом ведер, тряпок (*maprae*), лестниц, чтобы доставать до потолков, шестов (*perticae*) с привязанными к ним губками (*spongia*), веников и метел (*scorae*): первые — из зеленых пальмовых листьев, вторые — из собранных в пучок сухих ветвей тамариска, вереска или полевого мирта. Они рассыпают по полу древесные опилки, которые выметают затем вместе с облепленным ими мусором, и с губками наперевес штурмуют пилястры и карнизы. Рабы чистят, трут, вытряхивают пыль и от избытка рвения шумят. Часто хозяин, который ждет важного гостя, сам поднимается ни свет ни заря, чтобы встать у руля, и тогда его голос, властный или капризный, перекрывает производимый слугами шум: «Подмети пол; а ты до блеска вымой колонны; сними-ка тряпкой паутину с дохлым пауком; а вы там надрайте серебро и вазы с насечкой»¹⁸. Даже если хозяин полагается в этом на домоправителя, ему все равно не спать, если только он не предусмотрел, как Плиний Младший на своей лаврентийской вилле, коридор, отделяющий спальню от остальной части дома, где по утрам кипит работа¹⁹.

Впрочем, римляне всегда были жаворонками. Искусственное освещение в античном городе было столь жалким, что все, богатые и бедные, старались по возможности максимально использовать дневной свет. Каждый был готов присвоить авторство максимы Плиния Старшего: жить — значит бодрствовать, *profecto enim vita vigilia est*²⁰. Как правило, утро в постели проводили разве что юные прожигатели жизни, о которых пишет Авл Геллий, либо пьянчуги, из которых не выветрился вечерний хмель²¹. Да и те были на ногах задолго до полудня, поскольку «пятый час», в который, согласно Персию, они решались показаться на улице, как правило, заканчивался до 11 часов утра²², а утро, проведенное в постели, — удовольствие, которым похвально Гораций в Манделе²³, Марциалу же довелось насладиться его покоем лишь в далеком Бильбилисе²⁴, — не прости-

ралось дальше «третьего часа», заканчивающегося к 8 утра.

К тому же привычка вставать с зарей столь глубоко вошла в римскую плоть и кровь, что даже если кто-то оставался в постели после восхода солнца, просыпался он все равно рано и еще лежа принимался в мыслях за дела при скудном и неверном свете фитиля из пакли и воска, называвшегося *lucubrum*, откуда произошли слова *lucubratio* и *lucubrare*,* которые мы потом превратили в *élucubration* и *élucubrer***²⁵. От Цицерона до Горация, от обоих Плиниев до Марка Аврелия римляне, принадлежавшие к элите, всякую зиму «трудились при свете лампы»²⁶; и в любое время года Натуралист, проведя остаток ночи в «бодрствовании»²⁷, еще до зари являлся к императору Веспасиану, который также не стал бы дожидаться его сколько-нибудь дольше, чтобы выслушать донесения и просмотреть почту²⁸.

Вообще между подъемом с постели и выходом из дома не было практически никакого, так сказать, зазора. Подъем происходил запросто, немедленно и стремительно. Да и то сказать, спальня (*cubiculum*), обычно уменьшенного размера, с глухими ставнями, которые, будучи затворенными, погружали ее во тьму, а в распахнутом виде оставляли на полный произвол дождевых струй, света и сквозняков, не заключала ничего притягательного, что могло бы удержать хозяев. В редких случаях украшенная произведениями искусства, как то было в чуть ли не скандально известной спальне Тиберия²⁹, обычно она имела из обстановки только ложе (*cubile*), от которого и произошло ее название, да еще, может, ларь для хранения одежды, тканей и денег (*arca*), стул, на который Плиний Младший усаживает своих секретарей и зашедших в гости друзей, а Марциал кладет плащ, и, наконец, ночную вазу (*lasanum*)³⁰ или «судно» (*scaphium*)³¹, различные виды которого, от обычного глиняного (*matella fictilis*)³² до

* *Lucubratio* — работа по ночам, занятия при лампе, а отсюда — плод бессонных ночей, ночная работа. *Lucubrare* — работать при вечернем освещении, бодрствовать.

** *Élucubration*, — умствование, потуги на творчество, *élucubrer* — соответствующий глагол (*фр.*).

серебряного, инкрустированного драгоценными камнями³³, описаны в литературе. Что до постели, то как ни великолепны были в ней спинки и рама, ее комфортность далеко отставала от богатства³⁴. На переплетенные крест-накрест ремни укладывались матрас (*torus*) и валик изголовья (*culcita, cervical*), набивка (*tomentum*) которых у бедняков состояла из соломы и тростника, а у богатых — из стриженной шерсти овец из Леке в долине Мааса либо из лебяжьего пуха³⁵. А вот пружинной сетки снизу и простыней сверху не было. Матрас накрывали двумя покрывалами, или коврами (*tapetia*), на одном (*stragulum*)³⁶ располагался спящий, а другим он накрывался (*operimentum*). Все это было покрыто либо стеганым одеялом (*lodices*), либо покрывалом из разноцветного камчатного полотна (*polymita*)³⁷. У подножия кровати, или, чтобы выражаться как древние, «перед матрасом» (*ante torum*), имелся прикроватный коврик (*toral*), часто не уступающий в роскоши *lodices*³⁸.

Наличие *toral* на полу спальни считалось в какой-то степени обязательным. Поскольку, был ли римлянин обут в *soleae* (род монашеских сандалий с подошвой, привязанной к подъему ноги веревочками), в *crepidae* (кожаные тапочки, державшиеся на ноге с помощью ремня, продетого в дырочки), в *calcei* (кожаные туфли с перекрещенными ремнями) или в *caligae* (полностью закрытые полусапожки), защищал ли он ноги обмотками (*fasciae*) — ибо ничего похожего на наши чулки или носки тогда не существовало, — стоило ему разуться, он оставался босиком, а перед тем, как лечь спать, он разувался³⁹. А вот что касается одежды, то, как это принято у жителей Востока и в наши дни, укладываясь в постель, римлянин не раздевался либо раздевался лишь наполовину. Он снимал только плащ, который либо расстилался поверх *operimentum* в качестве добавочного одеяла⁴⁰, либо небрежно сбрасывался на соседний стул⁴¹.

В самом деле, древние различали два вида одеяния: одно, которым облакаются непосредственно по телу, и второе — в которое заворачиваются потом. Таково различие, выражаемое на греческом языке словами

endumata и *epiblemata*, на латыни же это *indumenta*, которое носят и днем и ночью, и *amictus*^{*}, в котором ходят лишь часть дня. В части *indumenta* прежде всего следует отметить *subligaculum*, или *licium*, что отнюдь не было подштанниками, как приходится иногда слышать, но простым закрепленным на талии запоном, чаще всего полотняным. Вначале, возможно, это было единственным исподним как у знатных лиц, так и у ремесленников. У последних оно к тому же было и единственным одеянием; что до первых, то они заворачивались в тогу непосредственно поверх, как то практиковалось еще во времена Цезаря и Августа некоторыми законсерваторами, желавшими выказать верность старинным традициям⁴². Но во II веке н. э. в таком виде публике являлись лишь атлеты⁴³. Даже рабочие⁴⁴ приучились тогда надевать поверх *licium* тунику, которая и стала *indumentum* в собственном смысле. Туника была чем-то вроде полотняной или шерстяной рубахи, сшитой из двух кусков. Надевали ее через голову и подпоясывали. Правильно подобранная туника должна была оканчиваться сзади чуть повыше, на уровне колен, а спереди — чуть пониже⁴⁵. Впрочем, мода внесла кое-какие варианты в это одеяние, которое, будучи общим как для обоих полов, так и для разных общественных групп, поначалу не имело никаких отступлений от единообразия. Женская туника была длиннее мужской и могла ниспадать до пят (*tunica talaris*)⁴⁶. Туника военных была короче, чем у гражданских лиц, туника простолудинов короче латиклавии — туники сенаторов, окаймленной сверх того широкой пурпурной полосой⁴⁷. В эпоху империи римляне нередко надевали две туники, одну поверх другой: нижняя называлась *subucula*, а верхняя и была собственно туникой (*tunica exterior*). Те, кто легко зябнул, случалось, надевали и по две *subuculae* вместо одной, и даже по три, как Август, если только принимать на веру то, что пишет о причудах этого императора Светоний⁴⁸. Но и зимой и летом туники неизменно имели короткие рукава, едва прикрывавшие руки; и только при поздней империи длину

^{*} *Indumenta* — одеяние в широком смысле; *amictus* — плащ, драпировка.

рукавов можно было увеличить, ничем не греша против правил⁴⁹. Это объясняет не только пользу ношения рукавиц, позволявших в суровые морозы даже рабам⁵⁰, но и необходимость *amictus*, которым оборачивались *indumenta*.

Специфически римским *amictus* периода республики и начала империи было «покрывало», называемое *toga* (от глагола *tegere* — покрывать). Тога изготовлялась из белой шерсти и представляла собой в плане широкий сегмент круга диаметром 2 метра 70 сантиметров. Закругленность тоги отличала ее от всех видов одежды, восходящих к *himation* греков⁵¹. Некогда Леон Эзи посвятил прекрасные строки этим двум «облачениям», четко выразив противоположный смысл того и другого⁵². Будучи предрасположены в архитектуре к прямым линиям, «греки оставляют... у куска ткани, в который заворачиваются, прямые края и углы, получившиеся в процессе производства», и извлекают «восхитительные результаты из этих элементарных форм, импонирующих их простым вкусам и четкости ума». Напротив, этруски, а вслед за ними и римляне, которые довольно рано ввели в свою архитектуру арку и охотно возводили круговые в плане храмы, сгладили также и углы своих одеяний. Это придало им «больше торжественности и богатства, пускай даже ценой меньшей естественности и меньшей прикосновенности к подлинной красоте». Благодаря этим неустрашимым чертам величественной ширины тога (по ней убийцы, отряженные Митридатом на охоту за обосновавшимися в Азии выходцами из Италии, тотчас узнавали, никогда их ранее не видав, кого следует резать⁵³) являлась национальным римским костюмом, оставаясь в годы расцвета империи парадным одеянием, неотделимым от всех проявлений гражданской деятельности римлян. Тога была достойным облачением повелителей мира — пышным, красноречивым, торжественным, но чрезмерно усложненным в части регламента его использования, да и несколько вычурным в упорядоченной сумятице складок. Требовалась подлинная виртуозность, чтобы искусно укутаться в тогу; это было задачей, с которой, к примеру, такому не замеченному в кокете магистрату, каким был Цинциннат, не дано было

справиться без посторонней помощи, за каковой этот подлинный герой античной простоты и умеренности обращался только к жене Рацилии⁵⁴. Поддерживать тогу в равновесии при напряжении ходьбы, в пылу беседы, в сумятице толпы можно было только ценой ежесекундного внимания⁵⁵. Тяжесть ее была непомерна⁵⁶. А содержание в чистоте, сохранение ее непорочно белого цвета предполагало частые и весьма накладные отбеливания, которые уже очень скоро изнашивали ее и превращали в рухлядь⁵⁷. Так что впустую издавали императоры указы, обязывавшие носить тогу⁵⁸: Клавдий — в суде⁵⁹, Домициан — в театре⁶⁰, Коммод — в амфитеатре⁶¹. Так что если кто в Риме в начале II века н. э. бежал от тоги в деревню, он сменял⁶² ее на *pallium* — подобие греческого *himation*, либо на *lacerna*, представлявшую собой цветной *pallium*, либо на *paenula*, то есть *lacerna*, дополненную капюшоном (*cucullus*). В самом Городе ее снимали в ходе дружеской пирушки, облачаясь в *synthesis*, соединявший неприятельность туники сверху с шириной тоги снизу⁶³. Даже должностные лица в муниципиях не желали более облачаться в тогу хотя бы на время отправления обязанностей, что уж говорить о простых гражданах, которые представляли в ней лишь в день собственных похорон, на смертном одре⁶⁴.

Зато восставая с «одра жизни» после ночного сна, римлянин вовсе не торопился отяготить ею свои плечи. Так что накинуть на себя тогу или сменивший ее в благосклонности граждан *amicтус* было поутру единственным сколько-то продолжительным действием, требовавшим усилий, лишь немногим уступавших трудам археологов по их реконструкции. Ну а уж если кто-то, подобно муниципальным эдилам, и вообще отказывался от *amicтус* в любой его форме или откладывал нудное и сложное облачение в них на потом, приведение себя в порядок протекало за один миг: достаточно было обуться на *toral*. Так, стоило Веспасиану сунуть ноги в *calcei*, а после мигом укутаться без посторонней помощи, как он был готов принимать секретарей и исполнять прочие обязанности императора⁶⁵. Так что, едва встав с постели, римляне той поры были готовы к исполнению гражданского долга.

Завтрак римлянам заменял стакан проглоченной наспех воды⁶⁶. Поскольку им было известно, что ближе к вечеру они еще побывают в бане — либо в частном *balneum* (в случае, если были достаточно состоятельны, чтобы обзавестись им в собственном доме), либо в общественных термах, по утрам они не тратили время на туалет.

В Помпее отыскалась лишь одна вилла (она принадлежала Диомеду), в которой в спальне хозяина была устроена *zotheca*, или альков со столиком и тазом. В тексте Светония, который позволяет нам присутствовать при пробуждении Веспасиана, об утреннем туалете не сказано ни слова; а в рассказе того же Светония о последних часах Домициана об этом хоть и говорится, но так уклончиво, что никакого определенного значения этому придать невозможно⁶⁷. Перепуганный предсказанием, что пятый час дня станет для него смертельным, а именно это и произошло 18 сентября 96 года н. э., император наглухо затворялся в спальне и не покидал постель, под изголовьем которой прятал меч. Но затем вдруг, по ложному докладу о наступлении шестого часа, между тем как начинался лишь пятый, император решил подняться с постели и заняться туалетом — *ad corporis curam* — в соседней комнате. Однако его камергер Парфений, состоявший в заговоре, задержал его в спальне под тем предлогом, что явился посетитель, который лично желает поведать ему нечто очень важное. К несчастью, Светоний не описал в подробностях того, как именно собирался позаботиться «о теле» Домициан*, когда ему помешала хитрость убийц. Но сама краткость упоминания и легкость, с какой Домициан отказывается от своего намерения, свидетельствуют о маловажности утреннего туалета. А поскольку мы знаем, что слово *sapo*** все еще означало только краску, а пользоваться мылом еще не научились⁶⁸, ско-

* Судя по тому, что здесь же рассказывается, как он выдавливал угорь или прыщ, Домициану не была чужда забота о своей внешности, так что, возможно, эта *corporis cura* не была уж такой малозначительной.

** Позднее оно все же стало означать «мыло»: отсюда англ. *sap*, фр. *savon*, ит. *sapone* и др.

рее всего речь шла только о том, чтобы ополоснуть прохладной водой лицо и руки. Вот к чему продолжает сводиться *cura corporis* и в IV веке н. э., как это описал в стихах Авзоний в очаровательной оде своих «Эфемерид»: «Раб, вставай же, подъем! Поддай мне сандалии и муслиновый плащ. Принеси приготовленный тобою *amictus*, потому что я выхожу из дому. И полей мне свежей воды, чтобы я мог сполоснуть руки, рот и глаза»:

Da rore fontano abluam
Manus et os et lumina!⁶⁹

После чего поэт идет в свою часовню и, помолившись, отправляется к друзьям.

Туалет римлянина

Настоящий туалет римского щеголя во II веке н. э. свержал *tonsor* — цирюльник, коему доверяли стрижку бороды и укладку волос. В этом и заключалось главное содержание *cura corporis* для Юлия Цезаря, чьи замашки денди не преминул подчеркнуть в связи с этим Светоний⁷⁰. Во II веке эта процедура превратилась в совершенную неизбежность. Тот, кто был достаточно богат, чтобы позволить себе содержать личного цирюльника, отдавался ему в руки с самого утра и по мере необходимости прибегал к его услугам еще и в течение дня.

Ну а кому это было не по карману, мог так часто, как возникала потребность, в любой светлый час заглянуть в одну из бесчисленных цирюлен, открытых в городских *tabernae* либо — для публики попроще — прямо на улице⁷¹. Праздные горожане наносили им частые и продолжительные визиты. Впрочем, повернется ли язык назвать их праздными, учитывая, сколько времени у них на это уходило и какими заботами окружали там задествованных между зеркалом и расческой людей: *Hos tu otiosos vocas inter pectinem speculumque occupatos*⁷². Наплыв клиентов наблюдается в *tonstrina* с восхода солнца и до восьмого часа⁷³, причем он так велик, что цирюльня превращается

в место встреч, салон, место обсуждения городских новостей и сплетен, неистощимый источник информации⁷⁴. С другой стороны, там царит такое смешение разношерстной публики, что трудно вообразить более живописное зрелище, оттого-то со времен Августа любители живописи гонялись за жанровыми полотнами кисти александрийцев, еще давно изображавших подобные сценки в цирюльнях⁷⁵. Кроме того, труд цирюльника вознаграждался так хорошо, что в «Сатирах» Ювенала и «Эпиграммах» Марциала не редкость встретить бывшего *tonsor*, сделавшего состояние и превратившегося в респектабельного всадника либо состоятельного землевладельца⁷⁶. Цирюльня, или *tonstrina*, окружена скамьями, на которых сидят ожидающие очереди клиенты. По стенам развешаны зеркала, перед которыми не преминет остановиться тот, кто пока еще не стал клиентом, чтобы оглядеть себя и при необходимости подправить внешность⁷⁷. Посреди цирюльни на табурете восседает тот, чья очередь стричься, его одежда защищена либо простой салфеткой большего или меньшего размера (*mappa* или *sudarium*), либо накидкой (*involucre*) из батиста (*linteum*) или кисеи (*sinдон*)⁷⁸, и цирюльник, около которого хлопочут помощники (*circitores*), его стрижет, а если он не оброс с прошлого раза — укладывает волосы по последней моде. Мода же задается желанием подражать императору. За одним исключением — Нерону нравилось носить артистически взбитые волосы⁷⁹, — императоры предстают перед нами на монетах и бюстах последователями (во всяком случае вплоть до Траяна) Августа, который уделял своим *tonsores* лишь несколько мгновений⁸⁰, так и эстетических представлений Квинтилиана и Марциала, возмущавших против длинных волос и многоуровневых локонов на голове⁸¹. Так что в начале II века н. э. большинство римлян довольствовались простой стрижкой и легкой укладкой с помощью расчески; необходимость в последнем вызывалась тем, что цирюльник пользовался железными ножницами (*forfex*), лишен-

* Также и у художников Кватроченто уличный цирюльник и его клиенты — излюбленный мотив изображения.

ными оси посередине и колец, за которые их можно было держать*, так что процедура стрижки была чрезвычайно несовершенной, с нередким браком в виде того, что мы называем «лесенками», осмеиваемыми во всеуслышание в «Посланиях» Горация:

Si curatus inaequali tonsore capillos
Occurri, rides...⁸²

Потому-то щеголи стали предпочитать стрижке завивку. Адриан, его сын Луций Цезарь и внук Луций Вер предстают на изображениях с волосами либо уложенными с помощью расчески (*flecto ad pectinem capillo*⁸³), либо завитыми с помощью *calamistrum* — железных стержней, которые *ciniflones* (*ciniflo* — слуга, накаливавший в горячей золе железо для завивки волос или делавший самую завивку, парикмахер) нагревали в металлическом кожухе на горячих углях, и затем цирюльник опытной рукой накручивал на них волосы. В начале II века н. э. это практиковалось повсеместно, и не только молодыми людьми, которых никто бы за это не стал попрекать, но и зрелыми мужчинами, чьи поредевшие волосы плохо поддавались этой излишне для них лестной, если не сказать смехотворной процедуре. Марциал обращается к бичуемому им Марину со следующими словами:

Отовсюду сбирая редкий волос,
Закрываешь все поле гладкой плешу
Волосатыми ты, Марин, висками,
Но все волосы вновь, по воле ветра,
Рассыпаются врозь, и голый череп
Окружается длинными кудрями...
Уж не проще ли в старости сознаться
И для всех наконец предстать единым?
Волосатая плешь — ведь это мерзость!^{** 84}

Впрочем, как раз на цирюльника и возлагалась задача создать видимость молодости, чего так жаждали его клиенты: он поливал кропотливо выделан-

* Эти ножницы напоминали те, которыми еще не так давно в наших деревнях стригли овец.

** Цит. по: *Марк Валерий Марциал. Эпиграммы.* М., 1994.

ные завитки красками⁸⁵ и орошал их духами, накладывал на щеки белила и румяна, наклеивал на лицо крошечные кружочки ткани, призванные либо скрыть изъяны увядшей кожи, либо вернуть ей сочные цвета. Эти кружочки называли *splenia lunata*, мы бы сказали: мушки. Столь грубые ухищрения не переставали навлекать на головы приверженных им римлян потоки сатирических высказываний, начиная с острых словечек Цицерона по поводу влажной бахромы на лице иных его врагов-щеголей⁸⁶, вплоть до эпиграмм Марциала на модников уже его эпохи: на Коракина, от которого «разит, как от банки Никерота», знаменитого парфюмера⁸⁷; на Постума, подозрительного как раз тем, что «всегда благоухает», а ведь «всегда хорошо пахнуть — скверно»⁸⁸; на Руфа, сверкающая шевелюра которого наполняет запахом духов весь театр Марцелла, между тем как по лбу рассеяны созвездия мушек⁸⁹.

Но в эпоху, о которой идет речь, в ежедневные обязанности *tonsor* входило также стричь или брить бороды. Несомненно, такая потребность созрела постепенно. Римляне, как, впрочем, и греки, долго носили бороды. Греки состригли их по приказу и по примеру Александра. И лишь сто пятьдесят лет спустя так же стали поступать и римляне. В начале II века до н. э. Тит Квинкий Фламинин (на лицевой стороне своих проконсульских монет) и Катон Старший (при всяком упоминании в литературе о нем или о его деятельности на посту цензора) изображаются бородатыми⁹⁰. Поколение спустя у них поубавилось подражателей в этом отношении. Сципион Эмилиан стремился бриться ежедневно; и даже когда в знак протеста против несправедливых обвинений, мишенью которых сделался, ему следовало бы отказаться от такой заботы о себе*, он и не подумал пойти на это⁹¹. Сорок лет спустя введенный им обычай стал насаждаться уже диктаторами, словно дух эллинистической цивилизации, которой они проникались помимо воли, распространял влияние на все — от основ политической системы до мель-

* Подвергавшиеся судебному преследованию римляне нередко намеренно запускали внешний вид, в том числе и чтобы добиться оправдательного приговора.

чайших деталей быта. Сулла был гладко выбрит. Цезарь, его подлинный наследник, прилагал много стараний к тому, чтобы всегда выглядеть свежевыбритым⁹². Август, став императором, уже не мыслил хоть день обойтись без *tonsor*⁹³. В конце I века до н. э. требовались действительно серьезные или горестные обстоятельства, чтобы сильные мира сего забывали выполнять формальность, вставшую для них наряду с делами государственной важности: Цезарь после резни, учиненной эбуронами над его военачальниками⁹⁴; Катон Утический после поражения своей партии при Тапсе в 46 году до н. э.⁹⁵; Антоний после поражения своих войск при Мутине⁹⁶; Август при известии о разгроме Вара⁹⁷. В эпоху империи, от Тиберия до Траяна, верхушка уже не позволяла себе уклониться от заведенного порядка, а подданные сочли бы себя недостойными своих правителей, если бы не последовали неукоснительно их примеру в данном вопросе.

По правде сказать, римляне следовали этому ритуалу, словно священному обычаю. Когда молодому человеку впервые предстояло подставить щеки *tonsor* и лишиться бородки, устраивалась религиозная церемония: *depositio barbae*. Нам известны даты, когда эта церемония свершилась в отношении императоров и их родичей: Августа — в сентябре 39 года до н. э.⁹⁸; Марцелла — в 25 году до н. э., когда он принял участие в экспедиции против кантабров⁹⁹; Калигулы и Нерона — одновременно с облачением в тогу совершеннолетнего¹⁰⁰. Простые граждане скрупулезно следовали их примеру. Так, безутешные родители в эпитафии сыну напоминают, что впервые он сбрил бороду в конце двадцать третьего года жизни, или в том же возрасте, что и Август¹⁰¹; и точно так же, как Нерон посвятил бородку со своего *depositio* в золотой шкатулке Юпитеру Капитолийскому¹⁰², Тримальхион показывает гостям стоящий в его частной молельне, между серебряными ларами и мраморным изваянием Венеры, золотой ларец, в котором хранится его первый пушок (*lanugo*)¹⁰³. Бедняки ограничивались стеклянной плошкой, вроде той, что была извлечена во время нежданной находки в 1832 году в античном доме на Соляной дороге¹⁰⁴. А во времена

Ювенала богатые и бедные отмечали это торжество, исходя из своих возможностей, а подчас и перекрывая их: устраивались празднования и пирушки, на которые созывались все друзья семейства¹⁰⁵.

При *depositio barbae* цирюльник отрезал бороду, которую полагалось предложить божеству в качестве первого подношения, ножницами; те же юноши, чьи подбородки покрывал лишь более или менее густой пушок, обычно дожидались, чтобы побриться, когда минет пора юности¹⁰⁶. Но считалось, что негоже избегать бритья по прошествии определенного возраста, если только ты не солдат¹⁰⁷ или философ¹⁰⁸. Марциал сравнивает тех, кто так поступает, с африканскими козлами, пасущимися на берегах Кинипса, что течет между двумя Сиртами¹⁰⁹. Даже рабов посылали к уличным *tonsors*¹¹⁰, если только хозяин из соображений экономии не приглашал ими заняться личного брадоброя, как было принято у управляющих Адриана на территории рудников в Випаске¹¹¹. Самостоятельно не брился никто. При несовершенстве тогдашних материалов и инструментов римляне были просто вынуждены отдаваться в опытные руки мастеров своего дела. Археологи обнаружили немало бритв, раскапывая доисторические стоянки и этрусские поселения, но в силу какого-то на первый взгляд парадоксального противоречия почти не нашли бритв на территории собственно Рима. Дело в том, что бритвы террамаров* и этрусков были из бронзы, а прочие — будь то собственно бритвы (*novaculae*) или ножи, которыми брились и подрезали ногти (*cultri* или *cultelli*), были из железа, которое ела ржавчина. Этим общим словом *ferramenta* обозначались все разновидности железного инструмента, хрупкого и недолговечного. Но это — наименьший из присутствующих ему недостатков. Как ни острил его цирюльник о точильный камень (*laminitana*)¹¹², завозимый из Испании, который он смачивал слюной¹¹³, давление лезвия (столь же устрашающего, сколь и малоэффективного) на кожу не ослабевало, ведь никакого предварительного умягчения ни мыльной пеной, ни каким-либо

* Террамара — культура бронзового века в Северной Италии, процветавшая во II тысячелетии до н. э.

жировым притиранием не производилось. Единственный известный мне текст, содержащий разъяснения на этот счет, дает понять, что если цирюльник и проводил предварительный обмыв лица клиента, то лишь чистой водой. Вспоминается забавный анекдот, в котором Плутарх описывает мотовство Марка Антония Кретика, отца триумвира Антония. Как-то раз к этому «дырявому карману» заявился друг с просьбой одолжить денег, и тому пришлось сознаться, что жена, опасавшаяся его новых трат и державшая деньги под замком, не оставила ему ни денария. И все же он нашел выход из положения и помог другу, прибегнув к хитрости: Марк велел рабу принести ему в серебряной миске воды. Как только приказание было исполнено, он схватил миску и намочил бороду, словно желая побриться. Затем Марк под каким-то предлогом отослал раба и вручил серебряную посудину другу, после чего тот отправился по делам: проделка удалась. Очевидно, хитрость Антония Кретика не понять, если не знать, что единственная операция, которую совершал его *tonsor* перед бритьем, было смачивание лица чистой водой¹¹⁴.

При таких условиях ловкость *tonsor* играла большую роль, и чем незауряднее она была, тем лучше. И действительно, правом открыть собственную цирюльню обладал лишь тот, кто прошел длительное обучение у мастера и напрактиковался с затупленными ученическими бритвами¹¹⁵. Однако ремесло это было сопряжено с трудностями и даже риском. Виртуозы в этом деле весьма скоро приобретали такую известность, что описывать их не чурались и поэты — так, например, Марциал посвятил памяти Пантагата трогательную эпитафию:

Здесь погребен Пантагат, скончавшийся в юные годы,
Это и горе и скорбь для господина его.
Ловкий он был брадобрей: едва прикасаясь железом,
Волосы стричь он умел ровно и щеки обрить.
Да, хоть и будешь, земля, ему мягкой и легкой, как должно,
Быть невозможно тебе легче искусной руки¹¹⁶.

Увы, но Пантагат принадлежал к лучшим в профессии, большинству же его собратьев было до него далеко. Цирюльник с городских перекрестков подвер-

гал своих клиентов-простолюдинов самым неприятным случайностям. Достаточно ему было отвлечься или случиться какому-нибудь уличному происшествию, — и от толчка, полученного в уличной суете либо от попадания брошенного предмета цирюльник мог серьезно ранить клиента*, за что уже в эпоху Августа юристы сочли уместным назначить ответственность и предусмотреть наказание¹¹⁷. В начале II века н. э. в этом ремесле ничего не поменялось, так что клиентам оставалось выбирать между осторожным, но нескончаемым бритьем и быстрым, но опасным, после которого нижняя часть лица покрывалась более или менее глубокими рубцами. Самые известные брадобреи грешили невероятной медлительностью, и Август как мог восполнял потерянное время, разворачивая во время процедуры свиток либо берясь за грифель и таблички¹¹⁸. И сто лет спустя эта медлительность все еще была методом насмешек:

Ловкий пока Эвтрапел подбородок бреет Луперку
И подчищает лицо, снова растет борода¹¹⁹.

Или:

Брадобрея-мальчишку, да такого, —
Что искусней Неронова Талама,
Кому бороды брить случалось Друзов,
Как-то, Цедициан, по просьбе Руфу
Одолжил я, чтоб чисто выбрить щеки.
Руфа брил он старательно и долго,
Перед зеркалом руку направляя,
Кожу чистил его, потом неспешно
Подстригал вновь и вновь его прическу,
И вернулся ко мне он — с бородою!¹²⁰

У большинства *tonsores* мука длилась не так долго, но доставляла столько же неприятностей.

Кто не стремится еще к теням спуститься стигийским,
От Антиоха тогда пусть брадобрея бежит.
Бледные руки ножом не так свирепо терзают

* Классический пример в римской юридической литературе — брошенный с силой мяч, попадающий в вооруженную бритвой руку брадобрея.

Толпы безумцев, входя в раж под фригийский напев;
 Много нежнее Алкон вырезает сложную грыжу
 И загрубелой рукой режет осколки костей.
 Киников жалких пускай и бороды стойков бреет,
 Пусть он на шее коней пыльную гриву стрижет!
 Если бы стал он скоблить под скифской скалой Прометея,
 Тот, гологрудый, свою птицу бы звал — палача;
 К матери тотчас Пенфей побежит, Орфей же — к менадам,
 Лишь зазвонит Антиох страшную бритвою своей.
 Все эти шрамы, в каких ты видишь мой подбородок,
 Эти рубцы, как на лбу у престарелых борцов,
 Не от когтей происходят моей разъяренной супруги:
 Их Антиох мне нанес бритвою наглою своей.
 Лишь у козла одного из всех созданий есть разум:
 Бороду носит и тем от Антиоха спасен¹²¹.

Подобные порезы были столь часты, что до наших дней дошел рецепт пластыря Плиния Старшего против кровотечения (надо сказать, отвратительный по составу): шарик из выдержанной в масле и уксусе паутины¹²².

Что и говорить, чтобы довериться *tonsor*, поистине требовалась немалая храбрость, и потому часто римляне предпочитали, подобно Гаргилиану, трепещущему от страха герою Марциала¹²³, прибегать по утрам к услугам *dropacista* и позволять ему обмазывать себя *dropax*¹²⁴ — эпиляционной мазью из древесной смолы и ивара, — либо втирать *psilothrum*¹²⁵, вытяжку из ломоноса виноградолистного¹²⁶, или какую-то другую густую массу на основе клея из плюща, жира осла или козьей желчи, или крови летучих мышей, или змеиного порошка, — тут уж Плиний Старший не делает нам никаких побряжек по части аппетитности ингредиентов¹²⁷. Следуя рекомендации Натуралиста, они предпочитали даже комбинировать эти средства с простой эпиляцией¹²⁸ и, подобно женщинам теперь, а также Юлию Цезарю в давние времена, рвали волоски щипчиками, *volSELLa*¹²⁹. Готовность переносить экзекуцию доходила у некоторых персонажей второго ряда до того, что они просили брадобрея пустить в дело сразу и ножницы, и бритву, и щипчики для эпиляции, рискуя услышать по выходе из *tonstrina*:

Выбрита часть твоих щек, часть острижена, частью же волос
 Выщипан. Кто же сочтет одноголовым тебя?¹³⁰

Однако в начале II века большинство римлян уже с трудом выносили кабалу, в которой пребывали у брადобрея. И потому когда император Адриан (то ли оттого, что хотел, согласно биографу, скрыть уродливый шрам*, то ли просто желая скинуть невыносимое бремя) решил отрастить бороду, которая курчавится на подбородке у всех его изображений — на монетах, бюстах и статуях, его подданные и наследники наперебой последовали его примеру; и с тех пор то, что на протяжении двух с половиной веков являлось в Риме основной составляющей *cura corporis* мужчин, исчезло на полтора века, не оставив по себе ни следа, ни сожалений.

Утренний туалет матроны

Вот что можно сказать насчет туалета римлянина. Но это лишь половина истории. Чтобы приступить ко второй и поприсутствовать при пробуждении и подъеме римлянки, нужно отправиться к ней и, по большей части, перейти в другое помещение.

На память приходит забавная глава из «Физиологии брака» Бальзака, где автор с ученой миной взвешивает преимущества и недостатки различных систем, между которыми должны выбирать супруги, дабы поддерживать в гармонии свои взаимоотношения: общая постель в одной спальне, две постели в одной спальне и, наконец, две постели в разных спальнях. Сам автор допускает первое, предпочитает последнее и категорически предписывает компромисс, то есть постели, стоящие бок о бок. Так наш великий романист, сам того не зная, узаконил обычаи, господствовавшие в императорском Риме.

Лишь в одном из недавно расчищенных в Геркулануме домов, на первом этаже, была обнаружена *cubicula* с двумя постелями. Правда, есть вероятность того, что это был постоялый двор, и тогда постели необязательно принадлежали именно супругам. В текстах же мы читаем о нескольких постелях в одном помещении

* История Августов, Адриан, 26, 1.

лишь тогда, когда речь заходит о перегруженных *cenacula*, сдаваемых внаем. Как правило, для супругов здесь предусмотрено либо супружеское ложе (*lectus genialis*), либо две разные спальни. Обычно этот вопрос решался в зависимости от величины жилища, то есть в конечном счете исходя из общественного ранга супругов. Простые люди, обычные горожане, не располагавшие лишним помещением, которое можно было бы сдать, не мыслили брака без общего ложа. И, к примеру, Марциал, который дает в одной из своих эпиграмм шутовское согласие на брак со старухой-богачкой при условии, что они никогда не будут спать вместе:

Communis tecum nec mihi lectus erit¹³¹, —

в другой эпиграмме умиляется нежности, которую выказывали друг другу Кален и Сульпиция на протяжении полутора десятка лет, что длился их брак, и без чрезмерной стыдливости поминает любовные забавы, свидетелем которых было их «брачное ложе» и их «светильник, обильно политый духами Никерота»¹³². Напротив, вельможи организовывали свой быт так, что каждый из супругов мог наслаждаться независимостью у себя дома. Так, Плиния Младшего мы никогда не видим кроме как пребывающим в одиночестве в своей комнате, просыпающимся «в первом часу, редко раньше, редко позже», где он, пользуясь тишиной и тьмой, царящей в помещении за закрытыми ставнями, чувствует себя свободным и предоставленным самому себе, своим мыслям и воображению¹³³. Однако, по всей видимости, его дорогая Кальпурния отдыхает или просыпается тем временем в другой комнате, где он романтически навещает ее, когда она пребывает под его крышей, и куда его продолжают сами собой нести ноги, когда ее нет, словно она все еще здесь¹³⁴.

Очевидно, хорошим тоном в тогдашнем высшем обществе считалось иметь отдельные спальни, и в этом парвеню старались подражать знати, что не преминул отметить в своем романе Петроний. Тримальхион бахвалится перед гостями громадными размерами выстроенного им дома, ясно давая понять свое

следование новейшим веяниям: «Вот, глядите, моя собственная спальня, где сплю я», — и тут же, стрельнув глазами в сторону жены: «А вот и этой змеи логово»¹³⁵. Да только Тримагхион заблуждается или хочет нас провести. Гони природу в дверь — она влетит в окно. На практике одна из двух спален, заказанных им, оставалась незанятой. Что бы он ни говорил, спит он не в своей спальне, а делит ложе с Фортунатой в другой комнате. Подобно мужьям, старающимся при посторонних обращаться к женам на «вы», но то и дело невзначай им тыкающим, он прерывает рассказ, полный непристойных подробностей, и приписывает свою бессонницу ночной канонаде, исходящей от покоящейся рядом с ним дородной половины: «Что, Фортуната, смеешься? А разве не ты меня по ночам сна лишаешь?»¹³⁶

Однако не так уж важно, спит ли Фортуната в своей спальне или делит ложе с мужем; утренний туалет римлянки во многом напоминает мужнин. Как и он, она не снимает на ночь нижнего белья: передника, лифчика (*strophium, mamillare*) или блузки (*capitium**), туники, может, даже не одной, а подчас, к великому огорчению мужа, еще и плаща¹³⁷. Поэтому ей, как и ему, встав поутру с постели, достаточно обуться на коврике, а затем накинуть *amictus* по своему выбору и умыться. И в самом деле, подобно римлянину, у римлянки ожидание посещения бань также сводит *cura corporis* к чему-то такому, что мы сочли бы делом второстепенным. Что касается утреннего ухода за телом, и у римлянок эпохи империи, и у восточных женщин нашего времени лозунг один: важнее всего избыточное и необязательное.

Юристы, составившие примерный список имущества, остающегося после смерти женщины, помогают нам лучше классифицировать неравнозначные

* В оригинале неверно: *capetium* (один из многочисленных средневековых вариантов написания того же слова *capitium*, получившего тогда уже иное значение: «спинка кровати», «хоры церкви» и др.), что тем не менее несколько раз, со ссылкой на Ж Каркопино, нашло отражение в Интернете. В науке нет единого мнения о том, что это за деталь туалета. Возможно, что-то вроде сорочки или блузки: как кажется, надевали ее через голову. Носили ее, возможно, и поверх туники (см. соответствующую статью в словаре Даремберга–Сальо, адрес в Интернете: <http://dagr.univ-tlse2.fr/sdx/dagr/index.xsp>).

и существовавшие независимо друг от друга уровни, по которым раскладывало свои приманки кокетство римлянок. Вещи, остававшиеся после них наследникам, распределялись юристами на три категории: туалетные принадлежности (*mundus muliebris*), украшения (*ornamenta*), гардероб (*vestis*). В последней рубрике перечисляются куски мануфактуры, которыми они обертывали тело. К туалетным принадлежностям, благодаря которым женщина содержала в чистоте свое тело (*mundus muliebris est quo mulier mundior fit*), относятся ее лохани (*matellae*), зеркала (*specula*) из бронзы, серебра и даже — с недавних пор — из амальгамированного, правда, не ртутью, а свинцом, стекла, а также, когда она достаточно состоятельна, чтобы пренебрегать посещением общественных бань, — личная ванна (*lavatio*). Что до украшений, к ним причислены все приспособления и средства, помогавшие ей сделать себя привлекательной — начиная с расчесок, булавок и застежек и вплоть до бальзамов, которыми она напитывает кожу, и драгоценностей, которыми она ее покрывает. После терм она вправе соединить и *mundus*, и *ornamenta*, но поднявшись с постели, ей достаточно лишь «украситься»: *ex somno statim ornata, non tamen conmundata*¹³⁸.

Так что она принимается за прическу. В эпоху, в которой мы пребываем, это было далеко не пустячным делом. Давно забыты безыскусные республиканские прически (вновь было вошедшие в моду при императоре Клавдии), когда один-единственный пробор делил надвое волосы, собранные сзади в шиньон. Теперь матроны не довольствуются и косами, валиком уложенными надо лбом, как это можно наблюдать на некоторых скульптурных бюстах Ливии и Октавии. С Мессалиной появилась мода на завивку, многоуровневость которой характерна для женской иконографии эпохи Флавиев. И если в последующие годы задавав-

* К женскому туалету относится то, благодаря чему женщина становится опрятнее.

** «Сразу со сна женщина бывает принаряжена, но не помыта». По-русски фраза выглядит грубовато, но суть передает. Вот отрывок целиком: «Ведь женщина может быть чиста, но не украшена, как бывает с теми, кто помылся в бане, но не украсился, и, напротив, сразу со сна она может быть принаряжена, но нечиста».

шие тон придворные дамы — Марциана, сестра Траяна, и Матидия, его племянница, — от этого отказались, все же они сохранили привычку укладывать косы на голове в виде диадемы с башню вышиной. «Взгляни на это величественное чело и высящиеся над ним надстройки из волос», — пишет Стаций в «Сильвах»¹³⁹. А Ювенал, в свою очередь, потешается над несоответствием малого роста некой модницы и претенциозностью ее прически, достававшей чуть не до небес: «Сколько ярусов, один над другим! Сколько переплетений в этом строении, которым она вооружила свою голову! Посмотришь с лица — вылитая Андромаха. А со спины она уменьшается прямо на глазах: совсем другая женщина»¹⁴⁰.

Точно так же, каких мужья не могли жить без цирюльника, римлянки не смогли бы обойтись при возведении своих монументальных причесок без ловких парикмахерш — *ornatrices*: о том, когда и сколько они жили, а также о домах, в которых они трудились, мы узнаем из эпитафий. Женщины были вынуждены уделять им столь же долгие часы, сколько мужчины — брадоброям, и страдать не меньше, особенно если, как Юлия, которую поминает Макробий, они поручали им безжалостно вырывать седые волосы¹⁴¹. Обязанности *ornatrix* не назовешь синекурой, вовсе нет. Нередко эти мучительницы сами делались страдальцами, стоило хозяйке, занемевшей в неудобной позе, заметить, что результат стольких терзаний оставляет желать лучшего. Эпиграммы и сатиры полны воплей разгневанных матрон и стонов их служанок. Ювенал пишет: «Госпожа договорилась о встрече. Она желает быть красивее обычного. Ее причесывает бедная Псека (Крошка), с растрепанными волосами, голыми плечами и обнажившейся грудью. Но вот этот локон лег слишком высоко. Бац! Бычья плетка незамедлительно наказывает этот проступок — неудачно положенный локон!»¹⁴² Марциал тоже рассказывает: «Один локон, всего лишь один, был положен неверно. Плохо закрепленная шпилька его не удержала. Лалага отмстила за это преступление тем же зеркалом, что дало ей о нем знать: Плекуса (Сплетальщица) тут же пала жертвой свирепых волос!»¹⁴³ Счастливой, при таком положении дел, могла считаться та *orna-*

trix, которой по причине плешивости хозяйки всего только и нужно было с минимальным риском для себя водрузить на ее голову накладные косы (*crines, galeri, corymbia*), а то и целый парик, либо окрашенный под блондинку с помощью майенского *sapo*, смеси козьего жира с пеплом бука¹⁴⁴, либо в цвет эбенового дерева, как те состриженные волосы, которые доставлялись из Индии в таких количествах, что властям пришлось внести *capilli Indici** в список товаров, подлежащих оплате на таможене¹⁴⁵.

Впрочем, на этом обязанности *ornatrices* не заканчивались. Еще им полагалось делать эпиляцию¹⁴⁶ хозяйке и прежде всего ее «раскрашивать»: лоб и руки — в белый цвет мелом и белилами¹⁴⁷; губы и скулы — красным с помощью охры, морской водоросли фукуса или винного осадка¹⁴⁸; ресницы и вокруг глаз¹⁴⁹ — черной краской из пепла (*fuligo*) или сурьмы¹⁵⁰. Их палитра была составлена целой батареей баночек и флаконов, арибаллов и алебастров, *gutti*** и коробочек, откуда они по приказу доставали притирания, помады и румяна. Как правило, хозяйка хранила этот арсенал дома запертым в шкафу супружеской спальни (*thalamus*)¹⁵¹. По утрам она расставляет все это на столе, рядом с толченым рогом, чтобы эмалировать зубы по примеру Мессалины¹⁵², и прежде, чем велеть своим *ornatrices* приняться за дело, озабочивается тем, чтобы плотно затворить двери, поскольку из Овидия ей известно, что «искусство красит лицо лишь когда само от глаз сокрыто»¹⁵³. Отправляясь в баню, она захватывает свой арсенал, где каждой баночке определена ячейка в специальной шкатулке, иногда из массивного серебра, которую именуют собирательным термином *capsa* или «алебастротекой»; так что в этих баночках и хранится дневное лицо матроны, которое она надевает по утрам, а после бани еще раз, расставаясь с ним лишь с наступлением ночи, ложась в постель: «Ты обитаешь, Галла, в сотне шкатулок, и лицо, которое ты показываешь нам, не спит с тобой вместе!»¹⁵⁴

* Индийские волосы.

** Сосуды с длинным узким горлышком.

Накрасившись, матрона, также с помощью *ornatrices*, перебирает свои драгоценности с самоцветами и украшается ими: диадема — на голове, серьги — в ушах, ожерелье (*monile*) или подвески (*catellae*) — вокруг шеи, кулон (*pectoral*) — на груди, браслеты — на запястьях, кольца — на пальцах, обручи — на руках, а на щиколотки — другие обручи, *periscelides*, что-то вроде золотых «хальхалей», в которые заключают свои лодыжки арабские женщины из «большого шатра»^{*155}. Наконец, ей на помощь приходят горничные (*a veste*). Они надевают на нее *stola*, длинную верхнюю туннику, с широкой затканной золотом каймой понизу (*instita*), что является признаком высокого общественного положения. Ее подпоясывают кушаком (*zona*); а в завершение ее заворачивают либо в длинную шаль, покрывающую плечи и спускающуюся до ног — *supparum*¹⁵⁶, или в *palla* (женский род от *pallium*) — ослепительной расцветки, квадратный широкий женский плащ, лежавший на ней складками. Женскую одежду в Риме отличал от мужской скорее не покрой, а богатство материала и цветов. Льну и шерсти женщины предпочитали ткани из хлопка, доставлявшиеся из Индии, с тех пор как при Августе с парфянами установился мир, подкрепленный впоследствии победами Траяна, что обеспечивало безопасность индийскому экспорту. Но особенно полюбился женщинам шелк, который присылали в империю загадочные серы^{**}. Со времен Нерона шелк поступал либо по суше, из Иссидона Скифского (ныне Кашгар) к Черному морю или через Персию — к Тигру и Евфрату, либо локальными морскими перевозками: от Индии до Персидского залива, а затем — к египетским портам на Красном море. Эти ткани были не только более мягкими, легкими и блистающими; они лучше других поддавались всем манипуляциям, которым подвер-

* См. изображение хальхала: <http://tribes.tribe.net/ethnicjewelry/photos/d1005a54-5648-4cc8-bc3b-f011f860c057> или http://www.marocantics.com/photos/bijoux_berbresbracelets_e/img_1618.html. «Большой шатер», *араб.* «хайма кбира» — этим словом у кочевников Сахары чаще всего обозначается жилище вождя племени.

** Как уже говорилось, так называли в Римской империи китайцев.

гали их *offectores*, умевшие особыми веществами подчеркнуть их природные оттенки, и *infectores*, которые, напротив, лишали их первоначального цвета*, а также все красильщики — *purpurarii, flammarii, crocotarii, violarii***, — их было ровно столько, сколько имелось использовавшихся ими красителей растительного, животного и минерального происхождения. Так, белый получали из мела, мыльнянки и соли винного камня, желтый — из шафрана и резеды, черный — из чернильного орешка, голубой — из вайды, светло- и темно-красный — из марены, лакмусового лишайника и багрянки. Следуя советам Овидия¹⁵⁷, матроны подбирали цвета одеяний, соответствующие цвету своих кожи и волос, сочетая их между собой так удачно, что стоило им отправиться на прогулку по Городу, как улицы оживлялись многоцветьем их нарядов — платьев, шалей, плащей, яркие цвета которых порой еще подчеркивались изумительными вышивками, как те, что украшали *palla* великолепного черного цвета, в котором появляется у Апулея Исида¹⁵⁸.

Впрочем, только от матроны зависело дополнение своего облика аксессуарами, которые, будучи чуждыми мужскому костюму, еще рельефнее оттеняли живописность ее силуэта. В то время как мужчины по большей части ходили без головного убора, довольствуясь тем, чтобы, если слишком пекло солнце или шел проливной дождь, набросить на темя полу тоги или паллия, либо поднять *cucullus* (капюшон) своего *paenula*, римлянка, в отсутствие на голове диадемы или митры, покрывала волосы, свобода которых более не сдерживалась сеточкой (*reticulum*)¹⁵⁹, либо простой головной повязкой пурпурно-красного цвета (*vitta*), либо *tutulus*¹⁶⁰, повязка

* Несколько искусственное определение, встречающееся лишь у лексикографа Феста. Следует сказать, что если слово *offector* встречается только в надписях (где о его смысле можно заключать лишь гадательно) и у Феста, то *infector* — вполне классическое слово, означающее красильщика вообще (у Плиния Старшего — также краситель).

** *Purpurarii* — багрянщики, изготовители пурпурной краски; *flammarii* (или *flammearii*) — изготовители покрывал для невест (которое было окрашено в ярко-красный цвет *flammeum*); *crocotarii* — изготовители одежды шафранного цвета (от *crocum* или *crocus* — шафран); *violarii* — красильщики в синий цвет.

которого напоминала ту, что носили фламиники*, расширяющуюся к середине, образуя конический выступ надо лбом. Шея римлянки часто была повязана косынкой (*focale*), на руке висела *mappa*** , служащая для того, чтобы отирать с лица пыль или пот (*orarium, sudarium****), и в которую, она, возможно, могла и высморкаться — обыкновение, начало которого мы не вправе относить к слишком уж ранним временам, ведь единственное латинское слово, с полным основанием переводимое как носовой платок — *musciniium*, не отмечено в источниках прежде конца III века н. э.¹⁶¹ Одной рукой она зачастую обмахивалась веером из павлиньих перьев (*flabellum*), которым отгоняла заодно и мух (*muscarium*)¹⁶². При хорошей погоде она держала в другой руке (если только уже не поручила того служанке (*pedisequa*) или ухажеру) зонтик (*umbella, umbraculum*), как правило, веселого зеленого цвета, который нельзя было закрывать, как наши зонтики, из-за чего в сильный ветер его оставляли дома...¹⁶³

Разнаряженные таким образом, красавицы могли смело показаться на глаза представительницам своего пола и вызывать восхищение прохожих. Несомненно, однако, что усложненность их туалетов вкупе с вневременным кокетством должны были намного затягивать их «пробуждение», занимавшее гораздо больше времени, чем у их мужей. Впрочем, никого это не заботило, поскольку в Риме женщины не были так заняты, как мужчины, и, сказать правду, из всех видов общественной жизни граждан они принимали участие исключительно в развлечениях.

* Фламиника — жена жреца-фламина, также исполнявшая жреческие функции.

** Салфетка, платок.

*** Платки: *orarium* — от слова *os* (род. падеж *oris*), лицо; *sudarium* — от слова *sudor* — пот.

Глава вторая

Занятия

Обязанности клиентов

В Риме времен Траяна женщина по большей части оставалась дома. Если она была бедной, то занималась домашним хозяйством¹, по крайней мере пока не наступал час посещения отведенных женщинам общественных бань. Если же она была богата и освобождена от материальных забот многочисленной прислугой, то была вольна выйти тогда, когда ей вздумается и как только этого пожелает: чтобы нанести визит подругам, прогуляться, посетить театральное представление, а под вечер — обед, куда была приглашена. Мужчины, напротив, дома не засиживались. Если им приходилось зарабатывать на жизнь, они спешили к своим занятиям, начинавшимся сплошь, во всех областях деятельности, будь то на форуме или в сенате, в первом часу. Но и в том случае, если они были свободны, их все равно захватывали, стоило лишь им подняться, обязанности клиентелы. Дело в том, что не только вольноотпущенники имели патронов, от которых продолжали зависеть. Всякий римлянин, начиная с приживалы и вплоть до властного вельможи, считал себя связанным с кем-то более могущественным, чем он сам, теми же отношениями обязанности и почтения или, употребляя технический термин, *obsequium*, которые привязывали бывших рабов к освободившему их господину.

«Патрон» должен был принимать у себя клиентов, время от времени приглашать их к столу, оказывать им помощь и дарить подарки. Когда у них не было насущенного, он давал им съестные припасы, которые те уносили в корзине, называвшейся *sportula*, либо, чтобы избавиться от хлопот, награждал их деньгами. Во времена Траяна этот обычай так распространился, что соответствующая норма денежного довольствия почти не отличалась от дома к дому, так что в Городе установился своего рода «корзинный» тариф: шесть сестерциев на человека в день². Сколько было здесь адвокатов не у дел, преподавателей без учеников, художников без заказов, для которых это ничтожное вспомоществование оказывалось самой внушительной статьёй дохода!³ Клиенты, занимавшиеся каким-нибудь ремеслом, прибавляли эту сумму к своему жалованью и, дабы не опоздать в мастерскую или лавочку, прибегали за ней спозаранку⁴. Поскольку могущество вельможи измерялось его клиентелой, он повредил бы своей репутации, предпочтя понежиться в постели вместо того, чтобы с самого утра толкаться в собственной прихожей. Ладно бы только в провинции, в каком-нибудь Бильбилизе! Но и в Риме он бы никак не посмел уклониться от жалоб одних, требований других и приветствий от них всех⁵. Впрочем, посещения эти регламентировались и упорядочивались мелочными и суровыми правилами. Начать с того, что если в выборе способа добраться до патрона — пешком или все же на носилках — клиенты были вольны, то одеянием, приличествовавшим случаю, была исключительно тога, и это неукоснительно соблюдавшееся правило ложилось на их бюджет настолько разорительным бременем, что от их «корзинок» уже весьма скоро ничего бы не осталось, не введи патроны в обычай предлагать им по тому или иному торжественному поводу сменную тогу в добавление к тем пяти-шести фунтам серебряной посуды, на которые те могли рассчитывать ежегодно в качестве подарков⁶. Кроме того, им следовало терпеливо ждать своего часа, поскольку очередь выстраивалась не по времени прихода, а в зависимости от места, занимаемого человеком в обществе: преторы прежде трибунов, всадники прежде простолюдинов, свободнорожденные прежде вольноотпущенников⁷. Наконец, всем им приходилось следить за тем, чтобы,

обращаясь к патрону, как-нибудь ненароком не назвать его по имени и обращаться к нему лишь как к *dominus* — господину, — иначе был риск вернуться домой несолоно хлебавши⁸.

Так что каждое утро Рим просыпался посреди кутерьмы этих привычных проявлений учтивости. Самые ограниченные в средствах наносили несколько визитов подряд, чтобы подкопить побольше «корзин». Даже богачи несколько не были избавлены от необходимости совершать их — после того как приняли своих визитеров. Дело в том, что как бы высоко ты ни взошел по римской иерархической лестнице, всегда был кто-то, стоящий выше и потому заслуживший знаки внимания с твоей стороны, так что, по правде говоря, в Городе один только император не наблюдал над собой никого. Женщины, во всяком случае, были избавлены от этого вихря дежурных приветствий. Как правило, они и сами не ходили ни к кому на поклон и у себя никого не принимали. Исключением из этого правила были во II веке н. э. лишь вдовы, желавшие лично описать свои невзгоды патрону почившего супруга или перечислить ему свои нужды, да супруги некоторых ненасытных вымогателей, ради дополнительного вознаграждения заставлявших жен с пышностью сопровождать свои обходы, сидя на носилках. Ювенал беспощадно заклеил этот корыстный гротеск: «Вот один тащит за собой больную или беременную жену. Другой требует для отсутствующей, указывая на пустые, закрытые со всех сторон носилки: “Вот Галла! Что, не веришь? Галла, покажись! Давайте не будем ее тревожить: она дремлет...”»⁹ Уловка до того шита белыми нитками, что поневоле спрашиваешь себя: уж не выдумал ли ее Ювенал смеха ради? Но так или иначе, истина это или вымысел, она наглядно показывает нам нежелание матрон вливаться в утренний поток римлян, отправляющихся к патронам с визитами.

Торговцы и рабочие

Покончив с визитами, каждый брался за свое дело. Решительно, императорский Рим, в котором размещались двор, сенаторы, запустившая свои щупальца во

все стороны бюрократия — это, как говорит Ростовцев, город «рантье»¹⁰. К рантье относились крупные землевладельцы: земельная собственность в провинциях доставила им место в курии и обязала обитать в Городе¹¹; рантье были и писцы, снимавшие пенки сразу с нескольких постов в магистратах, а их места покупались, как в королевской администрации Франции при *ancien régime*¹²; рантье были управляющие и пайщики обществ откупщиков, чьи подряды обеспечивались их капиталами, а прибыли увеличивали доходы; рантье были также бесчисленные чиновники на местах: неизменно и сполна вознаграждаемые за счет фиска, они проводили волю императора во все административные органы империи; наконец, рантье были те 150 тысяч пролетариев, которых за счет государства питала Аннона: безработные и убоготворенные, они ограничивали сферу своих трудозатрат тем, чтобы раз в месяц, в определенный день, раздобыть провизию, пожизненное право на которую было ими получено однажды. Но было у Рима и другое лицо. Наличие в Городе рантье, живших за счет пособий или подачек, не лишало его роли экономической метрополии. Политическое главенство и развитый до гигантских масштабов урбанизм обрекали его на непрерывную напряженную деятельность, и не только в сфере спекуляции и торговли, но и разнообразных операций, а также созидательного труда. Вспомним, что в Риме заканчивались дороги Италии и морские маршруты Средиземноморья, что Рим, как повелитель Вселенной, поглощал все лучшее из ее продуктов. Он присвоил себе право содержать все ее ресурсы и управлять ими. Он оставил за собой право потреблять ее богатства. Совершенно очевидно, что для поддержания господства Риму следовало трудиться не покладая рук, хотя и на свой лад.

Ошеломляющий размах этой систематической эксплуатации засвидетельствован самими римлянами, он проглядывает даже в руинах некоторых монументальных ансамблей. Петроний описал нам это в самом начале включенной в роман поэмы:

* Старый режим (*фр.*).

Римлянин, всех победив, владел без раздела вселенной:
Морем, и сушей, и всем, что двое светил освещают.
Но ненасытен он был. Суда, нагруженные войском,
Рыщут по морю, и если найдется далекая гавань
Или иная земля, хранящая желтое золото,
Значит, враждебен ей Рим. Среди смертоносных сражений
Ищут богатства. Никто удовольствий избитых не любит,
Благ, что затасканы всеми давно в обиходе плебейском.
Так восхваляет солдат корабельный эфирскую бронзу;
Краски из глубей земных в изяществе с пурпуром спорят,
С юга шелка нумидийцы нам шлют, а с востока китайцы.
Опустошает для нас арабский народ свои нивы...¹³

Те же образы витают вокруг Рима и поныне — в Остии, там, где прежде был форум цеховых корпораций. Он представляет собой обширную площадь более 100 метров в длину и 80 метров в ширину. Посередине возвышается храм, который мне удалось идентифицировать в свое время как храм Анноны Августы, то есть обожествленного императорского снабжения продовольствием¹⁴. Вдоль стороны, на которую смотрит вход в храм, проходит портик, покоящийся на колоннах из глазкового мрамора, а за ним — сцена театра; в тени этого портика некогда прогуливались зрители. Над тремя прочими сторонами площади, замкнутыми сплошной задней стенкой, нависала сдвоенная колоннада из оштукатуренного под мрамор кирпича, и в эту колоннаду выходили двери целой вереницы небольших помещений (всего шестьдесят одно), отделенных одно от другого каменными цоколями, надстроенными деревянными перегородками. Судя по их единообразию и одинаковым размерам (приблизительно 4x4 метра), все эти помещения имели одно предназначение. В чем именно оно заключалось, нам стало ясно из серии выложенных черными кубиками по белому фону мозаик, которые устилали колоннаду перед входом в каждое из помещений. Эти мозаики, такие условные и в то же время красноречивые, вводят нас в соответствующие палаты, отводя каждую из них тому или иному профессиональному объединению, размещавшемуся здесь с согласия римских властей. В самом восточном конце была распознана

*statio** конопатчиков и канатчиков; в соседнем помещении — скорняков. Далее располагались торговцы деревом, чье имя вписано в картуш в виде соединения «ласточкин хвост»; затем *mensores frumentarii* — весовщики зерна, один из которых изображен при исполнении своих обязанностей: опершись одним коленом на землю, он с помощью *rutellum* — гребля старается с точностью выровнять по краям содержимое *modius*** , меры сыпучих тел. На противоположном конце располагалась *statio sacomarii*, или весовщиков, дополнявших деятельность *mensores*; а поскольку там же был обнаружен очаровательный резной алтарь (выставленный ныне в Музее терм), посвященный в 124 году н. э. гению их профессии, нет никаких сомнений в том, что это помещение, как и другие ему подобные, предназначалось для отправления культа. Прочие принадлежали союзам судовладельцев (*navicularii*), различавшимся меж собой лишь портами, откуда они происходили: например корабельщики Александрии; корабельщики Нарбонна и Арля в Галлии; Кальяри и Порто-Торрес в Сардинии; корабельщики прославленных или позабытых портов Северной Африки: Карфагена, чей торговый флот символически отобразил мозаист; Гиппо Диаррита, нынешней Бизерты; Курбиса, ныне Курбы, в северной части Хаммаметского залива; Миссуа, ныне Сиди-Дауда на северо-западном берегу полуострова Бон; Гумми, Бордж-Седрии в глубине Карфагенского залива; Муслувия, сегодняшнего Сиди-Рекана между Зиамой и Бужи, герб которого, несколько усложненный, но все же вполне наглядный, включает рыб, амура верхом на дельфине и две женские головки, одна из которых почти стерлась, а другая увенчана колосьями и соседствует с серпом, использовавшимся жницами; Сабраты, порта на побережье Сирта, через который экспортировалась слоновая кость Феццана: этот последний был символически изображен в виде слона под именем судовладельцев.

* Стоянка, местоположение. Здесь: помещение, пункт.

** Модий равнялся 8,75 литра.

Хотя данное перечисление далеко не полное, боюсь, и оно может утомить. Однако если бы вместо того, чтобы пробежать список этих местностей взглядом, вам представилась возможность самим расшифровать их в Остии, ступая ногами по этим наивным картинкам, на которых каждый из союзов пожелал какой-то беглой черточкой определить род своих занятий и материализовать воспоминание о далекой родине, вами овладели бы чувства восторга и страха перед лицом величественной и пугающей действительности, стоящей за этими непритязательными эмблемами. Несомненно, они поясняют нам назначение помещений, перед которыми изображены — этих часовенок корпоративных братств, или, если угодно, скромных временных алтарей, где продолжает свое движение вокруг Анноны идеальная процессия возникших при богине цехов, продолжает теплиться пламя их гражданственной религии. Но оказывается, что сверх этого площадь, которую они некогда украшали, заключает в своих пределах все протяжение морей и земель, находящихся между Суэцким перешейком и Геркулесовыми столпами. Так и видишь, как она внезапно заполняется сумятицей и толкотней разноязыких народов: чуждые друг другу и отдаленные территориально, они стекались сюда, налегая на весла, чтобы удовлетворить насущные потребности Рима. Можно было бы сказать, что вокруг этого незабываемого заповедного места по сей день витают как несметные богатства, присваивавшиеся Римом повсюду, так и процессия благочестиво покорных наций, обреченных на служение римскому благоденствию¹⁵.

В самом деле, в три римских порта — Порт, Остию и Эмпорий у подножия Авентинского холма — доставлялись: из Италии — черепица и кирпич, овощи, фрукты и вина; из Египта и Африки — пшеница; из Испании — растительное масло; из Галлии — дичь, лес и шерсть; из Бетики — соленья; из оазисов — финики; из Тосканы, Греции и Нумидии — мрамор; из Аравийской пустыни — порфир; с Иберийского полуострова — свинец, серебро и медь; с Сиртов и из обеих Мавретаний — слоновая кость; из Далмации и Дакии — золото; с Касситерид — олово, а с Балтики — янтарь; из долины Нила — папи-

рус; из Финикии и Сирии — стеклянные изделия; с Востока — ткани; из Аравии — ладан; из Индии — специи, кораллы и самоцветы; с Дальнего Востока — шелк¹⁶.

По самому Городу и его предместьям тянулись ангары нескончаемых *horrea*^{*}, чрева *Urbs*, накапливавшего запасы, потребные для его благополучия и роскоши: *horrea* Порты Траяна, значение которых обнаружилось в ходе раскопок, предпринятых в 1923 году покойным князем Джованни Торлония; *horrea* Остии, которые, будучи расчищены едва ли на треть площади, которую они занимали в эпоху Адриана, уже простираются на десяти гектарах; *horrea* Рима, о количестве и размахе которых нам известно по источникам, между тем как к их раскопкам почти не приступали. Где-то специализировались на хранении какого-то одного товара, как, например, *horrea candelaria*, наполненные факелами, свечами и жиром; *horrea chartaria* на Эсквiline, где хранились свитки папируса и пергаментные тетради; а возле форума *horrea piperataria*, где накапливались партии перца, имбиря и приправ, привозившихся арабами. Но большинство *horrea* представляли собой своего рода склады общего назначения, в которых друг с другом соседствовали самые разнообразные товары, так что они различались разве только местоположением и названиями, унаследованными от первых хозяев и впоследствии сохраненными, даже если со временем они вошли во владение императоров: *horrea Nervae* на Латинской дороге; *horrea Ummidiana* на Авентине; *horrea Agrippiniana* между *Clivus Victoriae* и *Vicus Tuscus*, на краю форума, и все прочие между Авентином и Тибром; *horrea Seiana*, *horrea Lolliana* и самые значительные из всех — *horrea Galbae*. Эти последние, основанные еще в конце II века до н. э. и расширенные в эпоху империи, имея площадь более трех гектаров, располагали по периметру трех просторных внутренних дворов анфиладами *tabernae*, где складировались не только пшеница, вино и растительное масло, но и самые различные материалы и провизия, по крайней мере если соотнести со всем этим переданные нам эпиграфикой упоминания торговцев, находивших приют в здешних «амбарах»: тут —

* Складов.

торговка рыбой, *piscatrix*, там — резчик по мрамору, *mar-morarius*, а еще дальше — торговец военными и гражданскими плащами, *sagarius*¹⁷.

Ясно, что с таким скоплением складов, к которому в первые годы II века н. э. еще добавились торговые ряды форума Траяна¹⁸, Рим эпохи Антонинов, в котором соединились воедино античные банк и биржа, был также и основной торговой площадкой империи. И если он не пережил расцвета того, что мы могли бы назвать крупной промышленностью, все же наряду с генеральным штабом здешних финансовых воротил и крупных торговцев Рим дал занятие целой армии конторских работников, розничных торговцев в лавках и рабочих на строительных площадках, которых требовало поддержание в исправности как капитальных архитектурных сооружений, так и жилищ, а также вокруг доков, где разгружался, складировался и растекался по разным направлениям колоссальный римский импорт, и наконец — в тех мастерских, где, прежде чем поступить к потребителю, подвергались окончательной обработке как грубое исходное сырье, так и редкие, требовавшие нежного обращения товары, благодаря которым нищали или, напротив, обогащались, поставляя их сюда, подданные Рима и дальние клиенты его подданных, обитавшие как снаружи, так и внутри пределов империи.

Достаточно бросить взгляд на списки корпораций Рима и его пригорода Остии, помещенные Ж. Вальцингом в начале четвертого тома его капитального труда. Их обнаружено более ста пятидесяти, причем определены они совершенно точно, а большего их числа и не требуется, чтобы убедиться в мощи и размахе деловой жизни, вовлекающей в рамках одной и той же группы как аристократию патронов, так и плебс наемных работников, причем далеко не всегда можно отличить купца от банкира, торговца от крупного производителя, перекупщика от хозяина крупной мастерской. Отсутствуют критерии, по которым можно было бы распознать спекулянтов и капиталистов и среди оптовиков — *magnarii*, которые торговали пшеницей, вином, растительным маслом, и среди судовладельцев — *domini navium*, которые стро-

или, снаряжали и содержали целые флотилии, и среди кораблестроителей и судоремонтников — *fabri navales* и *curatores navium*. С другой стороны, широкий луч снабжения продуктами питания, уступая импульсу собственного прогрессивного развития, расщепился на целый спектр самых разнородных специальностей. Одни были представлены торговцами в розницу, у которых не имелось иной заботы кроме как распространить свои товары: это и торговцы люпином (*lupinarij*), и фруктами (*fructuarij*), и дынями (*peponarij*). Прочие же были представлены озаботившимися либо производством того, что они выставляли на продажу, либо получением этих товаров благодаря силе и навыкам. Среди них можно назвать *olitores*, в одно и то же время торговцев овощами и огородников, и *piscatores*, рыбаков и рыботорговцев: в основном эти специальности требовали большей или меньшей степени владения соответствующим мастерством.

Бродячие *vinarii* переходили из одного *vicus** в другой, распродавая вино собственного производства с повозок с целым набором бочек и амфор. Кабатчики (*thermopolae*) предлагали в кратерах искусно выверенную и доведенную до нужного подогрева смесь вина с водой. Достаточно бросить взгляд на барельефы, украшающие знаменитую гробницу Эврисака, и мы поймем, что в большой булочной *pistor*, то есть булочник, трудился бок о бок с мельником (*molinarij*). Пирожники (*siliginarij*), кондитеры (*pastillarij*), держатели постоянных дворов (*caupones*) привлекали клиентов к прилавкам или за столы лишь благодаря репутации тщательности и сноровки, которые они могли поставить себе в актив. Обращая взор на торговлю предметами роскоши, мы наблюдаем тот минимум старательности и навыков, что требовался повсюду и тут: парфюмеры и москательщики (*pigmentarij*) расхваливали собственноручно приготовленные смеси; зеркальщики (*specularij*) сами полировали зеркала, висевшие у входа в лавки; цветочники (*rosarii, violarij*), стараясь угодить вкусу прохожих, составляли у себя на лотках букеты и плели венки, которые продавались у *coronarij*; рез-

* Квартал, улица.

чики по кости (*eborarii*) владели искусством обрабатывать бивни слонов, поступавшие от африканских охотников; торговцы перстнями (*anularii*) и жемчугом (*margaritarii*), как и золотобиты (*brattiarum inauratores*) и серебряных дел мастера (*aurifices*)*. Что до специальностей, связанных с одеждой, нельзя назвать ни одной, где можно было бы разделить продажу и изготовление. Можно вспомнить, например, *lintearii*, обработавших** тонкое полотно, портных по верхнему платью (*vestiarii*) или плащам (*sagarii*), или сапожников (*sutores*), башмачников (*caligarii*), дамских обувщиков (*fabri solarum baxiarii*). Но особенно это касается всех тех занятий, которые участвовали в императорском Риме в изготовлении одежды: это и простонародные ремесла прачек (*fontani*), сукновалов (*fullones*) и красильщиков (*tinctorum, offectores, infectores*), и утонченные промыслы золотошвей (*plumarii*) и шелковщиков (*sericarii*), расшивавших хлопком шелковые ткани, регулярно, с конца правления Клавдия, присылавшиеся в период муссонов Китаем.

Но чем особенно изобиловал Рим, так это корпорациями, члены которых сами производили то, что предлагали публике, а также теми, что могли предложить лишь услуги в сфере физического труда. В числе первых можно назвать кожевников (*corarii****), скорняков (*pelliones*), канатчиков (*restiones*), конопатчиков (*stuppatores*), столяров и краснодеревщиков (*citrarii*), металлургов бронзы и железа (*fabri aerarii, ferrarii*). Во вторую категорию попадали строители: рабочие по сносу (*subruptores*), каменщики (*structores*), плотники (*fabri tignarii*); те, кто занимался перевозками: по земле — погонщики мулов (*muliones*), возчики (*iumentarii*), ломовики (*catabolenses*),

* Так в оригинале: предложение не закончено. Очевидно, перечисленные в последней части торговцы также были одновременно и ремесленниками.

** В оригинале — довольно редкий глагол *ütoffer* (от *ütoffe* — ткань, материя), который означает «развивать», «насыщать содержанием»; «усиливать», то есть не имеет отношения к материальному производству. Поэтому трудно сказать, что именно, по мысли автора, делали *lintearii* с полотном. Оксфордский латинский словарь переводит слово как «торговец полотном или ткач».

*** Более распространенный вариант написания — *coriarii*.

извозчики (*vecturarii*), кучера (*cisarii*) и по воде — корабельщики (*lemuncularii*), лодочники (*lintrarii*), моряки каботажного плавания (*scapharii*), сплавщики (*caudicarii*), бурлаки (*helciarii*), засыпщики балласта (*saburarii*); и, наконец, корпорации, в чьи обязанности входило поддержание порядка и обслуживание доков: сторожа (*custodiarii*), носильщики (*baiuli*), крючники (*geruli*), грузчики (*saccarii*). Очевидно, перевернув последнюю страницу этого бесконечного перечня, остаешься в убеждении, что Рим эпохи Антонинов был в большей степени населен трудовым людом, чем рантье¹⁹: оглушительный грохот, на который сетуют сатирики той поры, круглый год не смолкавший в городе, был сложен из мерного перестука их инструментов, из звуков суеты и суматохи, сопровождавших процесс труда, из их ругани и надсадных криков²⁰.

И все же три особенности отличают римских рабочих от трудового люда современных крупных городов.

Прежде всего (за исключением, быть может, основного района доков на берегу Тибра близ Авентина) они отнюдь не сбивались в плотно заселенные компактные кварталы, отторгавшие всех чужаков. Они были рассеяны повсюду и нигде не образовывали города в Городе. Вместо того чтобы сосредоточиться в одном месте, образовав исполинский базар или чудовищных размеров мастерскую, они распределялись размытым пунктиром, тысячекратно прерывавшимся лавками, мастерскими и специализированными командами, что приводило к забавному чередованию в пределах Города сумятицы и кутерьмы с частными особняками и доходными домами²¹.

Далее, эти шумливые и беспокойные рои состояли почти исключительно из мужчин. Феминизм эпохи Антонинов остался явлением, ограниченным пределами элиты, рассчитанным на потребности исключительных, аристократического настроения личностей. Как ни претендовали гранд-дамы на равенство с мужчинами во всех сферах, это не привело к возникновению соответствующего течения среди обычных женщин, которые и не задумывались о том, чтобы начать самостоятельную борьбу за существование. Сами же

они посвящали себя музыке, литературе, науке, праву, философии точно так же, как занятиям спортом: чтоб только время провести²², — и сочли бы неприличным опуститься до овладения каким-либо ремеслом. Среди тысяч относящихся к Городу эпитафий, собранных издателями *Corpus Inscriptionum Latinarum*^{*}, я насилу отыскал упоминание об одной женщине, владевшей ремеслом секретаря (*libraria*)²³, еще об одной переписчице (*amanuensis*)²⁴, стенографистке (*notaria*)²⁵ и двух женщинах-педагогах²⁶ против восемнадцати педагогов-мужчин²⁷; о четырех женщинах-врачах²⁸ против пятидесяти одного *medici*²⁹. Так что гражданское состояние подавляющего числа римлянок должно было предполагать формулировку «без профессиональной подготовки», что в наше время наблюдается все реже. Судя по надписям, в эпоху империи женщины либо выполняют те обязанности, к которым мужчина не пригоден по природе, — это штопальщица (*sarcinatrix*)³⁰, парикмахерша (*tonstrix*³¹, *ornatrix*³²), повитуха (*obstetrix*)³³ и кормилица (*nutrix*)³⁴, либо, в редких случаях, удовлетворяются занятиями, в которых они неизменно бывали квалифицированнее и опытнее мужчин. Так, я обнаружил лишь одну торговку сельдью (*piscatrix*)³⁵, одну зеленщицу (*negotiatrix leguminaria*)³⁶, одну модистку (*vestifica*)³⁷ против двадцати портных (*vestifici*)³⁸; двух торговок шерстью (*lanipendae*)³⁹ и двух — шелком (*sericariae*)⁴⁰. Не нужно удивляться отсутствию женщин-ювелиров, ведь в Риме, с одной стороны, почти отсутствовала грань между *argentarii*, торговавшими драгоценностями, и *argentarii*, ведавшими банковскими и обменными операциями, а с другой — банковские операции были запрещены женщинам все тем же преторианским правом, которое лишило их возможности выступать в суде от чужого имени⁴¹.

Несомненно, о многом говорит тот факт, что женщины никогда не входят в списки корпораций, пополнение которых поощрялось императорами, например, по снаряжению кораблей во времена Клавдия⁴² или хлебопечению при Траяне⁴³. Я не обнаружил ни одной *pistrix*

* «Собрание латинских надписей», издается с 1862 года.

среди *pistores** Города⁴⁴; как нет их и среди дошедших до нас списков корабельщиков. Если матроны и поддались на уговоры Клавдия, который пошел на то, чтобы пообещать *ius trium liberorum* (привилегии, полагавшиеся матери троих детей) тем состоятельным дамам, которые, будучи незамужними или замужними, но бездетными, согласились бы снарядить на свои средства судно, это неизменно оставалось за кулисами, осуществляясь через подставное лицо, свободнорожденного *procurator* либо раба — *institor*. Кажется, не найти лучшего доказательства того, что, несмотря на моральную и гражданскую эмансипацию, которой пользовалась римлянка в эпоху империи, она предпочитала все же домашний уют, подальше от суеты форума и шума мастерских.

И правда, она до того погрузилась в *farniente*** , что, судя по всему, ненамного чаще появлялась в лавочках в качестве покупательницы, чем служащей. Нет сомнений в том, что это сам пролетарий, а не его супруга, стучался в назначенный день в калитку портика Минуция, что предписывалось ему билетом (или скорее жетоном) пользующегося вспомоществованием Анноны. На историческом барельефе из музея Консерватории, который, судя по всему, увековечил щедрость раздач при Адриане, изображен император, стоящий на постаменте и объявляющий о своих щедротах римскому народу, символически изображенному в виде трех граждан разного возраста — ребенка, молодого человека, зрелого мужа. Мы видим, что женского присутствия здесь нет точно так же, как при действительной раздаче императорских даров⁴⁵. Отсутствуют женщины и на большинстве фресок Геркуланума и Помпей, и на погребальных барельефах, где скульптор представил уличные сценки, запечатлев с натуры оживление прилавков и лотков.

На этих изображениях женщины представлены лишь тогда, когда их присутствие продиктовано обстановкой и даже необходимо: у сукновала, передающего матроне ее белье⁴⁶; у резчика по мрамору (*marmorarius*),

* Булочница... булочники.

** Безделье (*ист.*).

к которому вдова явилась заказать надгробие покойному супругу⁴⁷; у сапожника, который примеряет каждую туфлю ей на ногу⁴⁸; и наконец, у портных и в лавках модных товаров, посещавшихся римлянкой времен Траяна, сколько можно судить, с не меньшим рвением и прилежанием, чем выказываемые в наши дни парижанкой в отношении магазинов «Прентан» и «Галери Лафайет». То она совершает свой выбор в сопровождении мужа, сидящего на скамье рядом с ней, как на барельефах музея Уффици во Флоренции⁴⁹, то с любимой подругой или целым эскортом подруг, как на кампанских фресках⁵⁰.

Напротив, на *saepa Iulia*^{*}, превращенной спячкой, в которую погрузились комиции, в место прогулок римлян, где бронзовых дел мастера, ювелиры, антиквары наперебой силились залучить клиента, прохаживаются и приторговываются к товарам исключительно мужчины: коллекционер Эрот, греховодник Мамурра, старый Эвкт⁵¹. Более того, и у булочника⁵², и в мясной лавке⁵³, и в харчевне⁵⁴ — везде нос к носу сталкиваются только мужчины, как продавцы, так и покупатели. На оставшихся нам от жителей Помпей изображениях городских площадей женщины появляются при полном параде либо поодиночке, либо, как на знаменитой фреске из так называемого дома Ливии на Палатине, ведя с собой ребенка за руку⁵⁵; при себе у них не видно ни плетеной сетки для покупок, ни корзинки, они праздно прогуливаются, не заботясь ни о чем. Следует высказаться вполне определенно: матроны в императорском Риме не больше участвовали в жизни вне стен своего дома, чем делают это ныне женщины крупных мусульманских городов, и потому все целиком покупки и снабжение дома возлагались

* «Ограда Юлия». Первоначально деревянная *saepa* огораживала место для проведения голосований народного собрания (по-римски «комиций», *comitii*). Юлий Цезарь собирался ее перестроить и заменить мраморной, но не успел. Это сделали уже при Августе Марк Випсаний Агриппа и Марк Эмилий Лепид, назвавшие ее в честь Цезаря в 26 году до н. э. Понятно, что при императорах, заботившихся о том, чтобы их власть была обставлена возможно более полным набором освященных традицией властных атрибутов, комиции хоть и проходили, однако выродились в чисто декоративный институт.

тогда на римлян — точно так же, как ныне на горожан-мусульман⁵⁶.

Однако если эта праздность римлянок придает Городу в чем-то восточную специфику, условия, в которых трудились римляне, переносят нас скорее в наиболее развитые страны современного Запада. Ведь они не уступали людям нашего времени в сознательности и организации, и стоявшие перед ними задачи несколько их не ошеломляли. А кроме того, они никогда не отдавались им всецело. Они научились отводить делу строго определенное место, и это удавалось им с тем большим успехом, что система корпораций, выстроенная законодательством Августа и эдиктами последующих императоров, позволяла каждому из цехов располагать своим набором правил, действительных для всех его членов. Уже в силу природных условий и солнечного календаря зимой рабочий день не мог затягиваться более чем на восемь наших часов⁵⁷. Мало того: похоже, что вскоре им не только удалось не удлинять его также и летом, но даже (сколько я могу судить) в начале II века н. э. сократить. Было бы несправедливо, если бы транспортникам, которых закон принуждал на ночь ставить повозки на прикол, приходилось тяжелее по ночам, чем их собратьям, работавшим в дневное время. И в самом деле, заря даже еще не занималась, когда сотрапезников Тримальхиона, расходившихся по домам после чрезмерно обильного ужина, предложенного хозяином, и неспособных отыскать дорогу в темноте, которая становилась еще гуще по причине винных паров, направили по верному пути возчики их хозяина, возвращавшиеся к себе во главе обоза, вероятно, по окончании трудов⁵⁸. Кроме того, мы располагаем многочисленными указаниями, что в ту эпоху мастерские, ларьки и лавки хотя и открывались на заре (чего никто не возьмется оспаривать), однако и закрывались задолго до захода солнца. Например, когда изголодавшийся приживала задолго до обеда (что смешно уже само по себе) является к Марциалу выклянчивать приглашение, пятый час еще не

* Не вполне точный пересказ эпизода: дорогу герои отыскивали, однако не могли войти на постоянный двор, в чем им как раз и помог возчик, о котором идет речь.

истек, а рабы, которым позволено оставить свои занятия, направились в баню⁵⁹.

Свободные ремесленники, несомненно, не допустили бы, чтобы их положение было более скверным, чем у рабов, и, по правде говоря, если не принимать во внимание некоторые профессии, — такие как рестораны, или «антиквары», которые, надеясь до последней минуты завлечь гуляющих по *saepia Iulia*, закрывали свои заведения лишь в одиннадцатом часу⁶⁰, или цирюльники (*tonsores*), деятельность которых, включавшая в себя также и досуг клиентуры, продолжалась до восьмого часа⁶¹, — почти все римские трудящиеся прекращали работу либо в шестом, либо в седьмом часу, в зависимости от времени года:

In quintam varios extendit Roma labores
Sexta quies lassis, septima finis erit⁶².

Если, как следует из расчета, римский час в зимнее солнцестояние равнялся 45 минутам, а в летнее — 75⁶³, получается, что летом рабочий день продолжался семь часов, а зимой — менее шести.

И летом, и зимой римские труженики наслаждались свободным временем всю вторую половину дня или по крайней мере добрую ее часть, и в нашей сорокачасовой рабочей неделе, с иным распределением времени, они, возможно, увидели бы куда больше отрицательных моментов, чем положительных. Вначале деревенские привычки, а впоследствии представление о своем превосходстве над прочими спасли их от изматывающего безостановочного труда и иссушающих забот, так что в ту пору, когда писал Марциал, торговцы и лавочники, ремесленники и чернорабочие царственного народа, при деятельной поддержке своих профессиональных союзов, достигли такой организации труда, которая позволяла им в течение 17 или 18 часов из наших суток в 24 часа наслаждаться покоем и иметь досуг, сравнимый с досугом рантье.

* Различные работы продолжаются в Риме до пятого часа, шестой час дарует утомленным отдых, седьмой — кладет конец трудам.

Судя по всему, интеллектуалы пребывали в менее привилегированном положении, чем дельцы и рабочие. Я не говорю о тех подвижниках, героях и жертвах собственной ненасытности в отношении знания, ярким примером которых является Плиний Старший. Известно, что он начинал день при свечах, и это даже в августе, иногда с первого часа ночи, и просиживал над рукописями по двадцать часов в день, причем без какой-либо корысти, а исключительно ради удовольствия. Отдав визит вежливости императорскому двору, он, нисколько не медля, с поразительным рвением вновь садился за труды, делая перед полуднем лишь небольшую передышку на то, чтобы понежиться на солнышке и перекусить: пока Плиний лежал, секретарь продолжал вслух чтение того, что он начал читать утром, затем Плиний ополаскивался в бане в холодной воде, немного дремал и на скорую руку перекусывал. После этого он, как одержимый, не зная устали, начинал как бы новый день своих занятий, продолжавшийся теперь уже до вечернего ужина — упорно, настойчиво и без перерывов⁶⁴. Здесь мы имеем дело с неслыханным исключением, единственным среди римлян случаем энциклопедиста*, обуреваемого демоном познания вплоть до самопожертвования, между тем как прилежные изыскания, которым он был предан телом и душой, были совершенно лишены принуждения и корысти, что давало им право претендовать на прекрасное латинское название досуга — *otium*. Так что Плиний Старший не может служить мерой, по которой мы могли бы судить об обычной деятельности его современников. Но если нельзя и думать о том, чтобы поставить кого-либо рядом с этим титаном мысли, образованные «горожане», занимавшиеся в императорском Риме тем, что мы назвали бы сегодня свободными профессиями, как правило, были всецело поглощены обязанностями публичной жизни. Безусловно,

* Я все же напомнил бы здесь о Марке Теренции Варроне (116—27 гг. до н. э.).

у нас отсутствуют сведения о прилежании, требовавшемся от *officiales**, наполнявших конторы администрации, и мы не смогли бы на основе четких критериев оценить отдачу, которую обеспечивали *scrinia*, то есть императорские министерства. Однако в литературе мы там и сям встречаем довольно наводящих на размышления деталей, чтобы ощутить бремя обязанностей, которые нес на себе прежде всего мир судопроизводства, как и еще более тяжкие нагрузки, сваливавшиеся в определенные времена года на сенаторов, заботившихся о честном исполнении долга в соответствии с возложенными на них почетными полномочиями.

Бесценное упоминание, имеющееся у Марциала, указывает нам на то, что в присутственные дни обычные суды заседали без перерыва с самой зари и до конца четвертого часа⁶⁵, что на первый взгляд ограничивает зимой заседания тремя нашими часами, а летом продлевает их до пяти часов кряду. Но, приглядевшись повнимательнее, мы замечаем, что данный текст несколько не исключает простого перерыва в заседаниях, как и другие свидетельства вынуждают думать, что слушания могли возобновляться позже. Уже в законах XII таблиц дело, поступившее на рассмотрение до полудня, могло быть заслушано, если присутствовали обе тяжущиеся стороны, до заката того же дня⁶⁶. А в эпоху, когда жил Марциал, не редкостью бывало, что адвокат одной из сторон испрашивал и получал у судей по меньшей мере шесть клепсидр для произнесения только своей речи⁶⁷. Как можно заключить на основании текста Плиния Младшего, эти клепсидры, равномерность истечения воды из которых согласовывалась с графиком равноденствий⁶⁸, должны были завершаться через двадцать наших минут каждая, откуда следует, что одна только речь защитника по времени была почти равна зимнему заседанию, а для завершения процесса, с возражениями и опросом свидетелей, требовалось по меньшей мере еще одно заседание. Впрочем, бывали адвокаты, не желавшие укладываться с речами в шесть клепсидр. Например, болтливый Цеци-

* Чиновников.

лиан, которому Марциал адресовал следующую эпиграмму:

Только крича, ты просил о семи клепсидрах для речи,
Цецилиан, и судья волей-неволей их дал.
Много и долго зато говоришь ты, и, все нагибаясь
К фляжке стеклянной своей, теплую воду ты пьешь.
Чтоб наконец утолил ты и голос и жажду, все просим,
Цецилиан, мы тебя: выпей клепсидру до дна⁶⁹.

Послушайся адресат его совета — и двадцать минут оказались бы разом вычтены из тех двух с половиной часов, что были так неосторожно отведены судьей этому невоздержанному защитнику. Однако выиграны они были бы лишь в воображении поэта: стоило лишь противной стороне попросить о той же поблажке, и процесс, который вспоминает (или измышляет) Марциал, длился бы по меньшей мере пять наших часов, с перерывом в заседании или же без него. Мы совершенно правы, когда восхищаемся глубиной и тонкостью юридического мышления римлян, преподавших право всему миру. Но не будем предаваться самообману: этому доброму гению постоянно досаждал гений злой, и они, подобно нашим норманнам, законникам и крючкотворам, неизменно становились жертвами собственной страсти к сутяжничеству. Она заявляла о себе уже в хитроумных речах Цицерона. В эпоху империи страсть эта становится поистине роковой, и она завладевает Городом, из которого императорами была изгнана политика. От правления к правлению то был настоящий прилив, который поднимался все выше и выше, вынося на городскую площадь больше дел, нежели по силам было разрешить людям. Чтобы противодействовать заторам все множившихся тяжб, Августу пришлось уже во 2 году до н. э. отвести для них выстроенный им форум, носящий его имя⁷⁰. А семьдесятю пятью годами позднее затор в судопроизводстве возникает вновь, и Веспасиан задается вопросом, как бороться со столь необъятным притоком дел, «что жизни тяжущихся не достанет, чтобы их разрешить»⁷¹. В Риме начала II века судебные процессы разыгрывались на

форуме повсюду: и в суде городского претора, близ *puteal** Либона⁷², и в суде претора по делам иностранцев, между *puteal* Курция и оградой Марсия⁷³, в базилике Юлия, где собирались на заседания центумвиры. Уголовное же судопроизводство метало свои перуны сразу и на форуме Августа, где отправлял юрисдикцию городской префект⁷⁴, и в казармах *Castra praetoria*** , где выносил постановления префект претория, и в курии, где сенаторы карали тех своих коллег, что совершили злоупотребления или стали неудобны, и на Палатине, где император принимал апелляции со всего света, в пощаженной временем полукруглой пристройке его частной базилики.

Итак, на протяжении 230 дней — в том, что касается гражданского судопроизводства⁷⁵, — Город снедала юридическая лихорадка, а что до уголовных дел, она вообще не прерывалась, причем лихорадка эта поражала не только истцов или обвиняемых, но и их адвокатов, и толпы любопытных, которые часами оставались прикованными к местам, откуда можно было следить за происходящим в суде, вследствие жажды ко всему скандальному либо большой любви к ораторским прениям.

Следует сказать, что заседания эти ни для кого не были синекурой. Они изматывали всех на свете: истцов и свидетелей, судей и адвокатов — о зрителях говорить не будем. Давайте заглянем во времена, когда центумвиры отправляли судопроизводство, в базилику Юлия, которую они избрали местом своего пребывания⁷⁶. От Священной дороги, которая проходит вдоль этого архитектурного памятника, задуманного Юлием Цезарем и завершеного, а впоследствии перестроенного Августом, взойдем по семи ступенькам к окружавшему его мраморному портику⁷⁷. Затем, поднявшись еще на две ступени, мы вступаем в просторный зал, разделенный тридцатью шестью пилястрами из облицованного мрамором кирпича на три нефа, средний из которых, наибольший, имел 18 метров в ширину и 82 метра в длину. На возвышавшихся над ним трибунах, на первом этаже, как и во фланкировавших его боковых нефях, находили укры-

* Каменной ограды вокруг колодца.

** Лагерь преторианцев.

тие помощники, как мужчины, так и женщины, которым не удалось найти место здесь, в непосредственном контакте со сторонами, на минимальном расстоянии от собственно «суда». Входявших в него центумвиров было не сто, как можно было бы подумать, судя по их именованию, но 180, и они были разделены на четыре особые «палаты»⁷⁸. В зависимости от дел, которые были отданы в их ведение, они заседали по отдельным секциям или в составе всех палат сразу. В последнем случае у них председательствовал лично претор *bastarius*, восседавший на импровизированном помосте, а по обеим сторонам его курульного кресла сидели его 180 заседателей. У ног их размещались, рассевшись по скамьям, истцы, их поручители, их адвокаты, их друзья. Это был, так сказать, «венец», или, как сказали бы мы сегодня, «клуба»*. Дальше, стоя, толпилось простонародье.

Если четыре секции заседали по отдельности, в каждой было по сорок пять заседателей с децемвиром в качестве председательствующего, и та же самая расстановка повторялась четырежды, отделяясь от соседней занавесами или ширмами. В том и другом случае как должностные лица, так и публика оказывались в стесненном положении, так что дискуссия происходила в удушающей обстановке. Ужасная акустика довершала достойную сожаления картину, что принуждало адвокатов надсаживать голос, судьи старались вслушиваться в происходящее с обостренным вниманием, а от публики требовалось безграничное терпение. Нередко громовой голос одного из защитников наполнял весь просторный зал и перекрывал своими раскатами дебаты в других отделениях. В частности, так случалось с Галерием Тракалом, бывшим консулом в 68 году н. э., голосовые связки которого были наделены чрезмерной мощностью, так что он принуждал аплодировать себе публику прочих «палат», которая его не видела и вообще не должна была слышать⁷⁹. Сверх того, еще усугубляя какофонию, в дело теперь вступал оплаченный энтузиазм клакеров: бесстыжие адвокаты взяли за обыкновение таскать их за собой, подражая Ларцию Лицину. Они поступали так на процессах, в которых желали победить любой ценой,

* *Corbeille* — слово из французского судебного жаргона.

как с целью произвести впечатление на жюри, так и для укрепления репутации, и напрасно стыдил их за это Плиний Младший. Как-то раз в присутствии Квинтилиана Домиций Афр в своей спокойной манере выступал перед секцией центумвиров с величественной речью, когда собравшихся оглушили непомерно звучные крики со стороны. Оратор в недоумении замолчал. Снова воцарилась тишина, и он вернулся к своей речи. Новые крики. Он снова умолкает. Та же картина наблюдается и в третий раз. Наконец, Афр спрашивает, кто выступает в соседнем помещении. Ему отвечают: «Лицин». И тогда он отказывается от своего выступления со словами: «Центумвиры, наше искусство погибло!» Впрочем, для кого оно вовсе даже не погибло, так это для наемных одобрял, или «софоклов», как именовали их по-гречески*. Ведь записным клакерам, или *laudiceni***⁸⁰, как называли их по-латыни, искусство это доставляло пропитание вне зависимости от того, превосходной или скверной была речь, которой им велено было аплодировать. Впрочем, им было дозволено, не нарушая условий договора, терять интерес к заседанию, как только наставала очередь адвоката, с которым их не связывало соглашение, и начиная с этого времени, оставаясь на месте, отвлечься от проходящего процесса и прямо здесь же обратиться к излюбленному времяпровождению, например, к тому роду шашек, чьи граффити были обнаружены в ходе раскопок базилики Юлия на многих мраморных плитах ее пола⁸¹. Однако нет никакого сомнения в том, что только клакеры могли развлекаться в зале заседаний. Так что мы можем с легкостью вообразить себе ту досаду и даже страдание, которые могло доставить внимательным судьям и сознательным адвокатам заседание, проходящее посреди этой суеты, в непрестанном гомоне, под шквалом притворных одобрительных возгласов.

* Составлено из «софос» — «умно!», «ловко!» (восклицание одобрения) и «клео» — «кричу», «возглашаю». См. то же письмо Плиния Младшего II, 14, 5.

** Каламбур основан на полном тождестве данного слова, искусственно составленного из двух: *laudo* — хвалю и *cena* — обед, с вариантом латинского именованья обитателей города Лаодикея (во Фригии, Малая Азия).

Плиний Младший в какой-то степени льстит себе, говоря, что заработал имя, произнеся здесь перед центумвирами самую длинную, а также, как пишет он сам, самую лучшую из своих речей⁸². Но ценой какого телесного и умственного напряжения! Возвращаясь в конце карьеры к ее началу, прошедшему в базилике Юлия, он производит впечатление человека, вспоминающего об этом исключительно с ужасом⁸³, так что он мог бы сказать об этом то же самое, что о своем пребывании в Центумцеллах (ныне Чивитавеккья) при судейской коллегии, учрежденной Траяном в собственной вилле: «Какие славные дни! Но и до чего же тяжкие!» — «*Vides quam honesti, quam severi dies!*»

Ибо император, когда ему приходилось принимать на себя рассмотрение непосредственно подсудных ему дел, а также тех, которые были ему переданы из провинций, испытывал перенапряжение и перегрузки обычного судьи. На сей счет мы в достаточной степени информированы благодаря той сессии, где должен был председательствовать Траян в ходе одного своего выезда на природу в Центумцеллы и свидетелем которой был Плиний Младший⁸⁴. Она продолжалась всего только три дня. Три дела, вынесенные на рассмотрение, не отличались значительностью: зыбкое, исходившее от обозленных клеветников обвинение против видного жителя Эфеса, Клавдия Аристана, характеризуемого Плинием Младшим как «щедрый и любимый народом человек, притом что он вполне порядочен»; обвинение в прелюбодеянии, предъявленное жене военного трибуна Галлитте, уличенной в оказании всяческого расположения простому центуриону; наконец, прения о действительности кодициллов*, присоеди-

* Начиная с последних лет существования республики получила распространение практика составлять в дополнение к собственно завещанию отдельный документ, где как бы в приложении фиксировались распоряжения, которые своевременно не смогли войти в завещание. Эти документы (*codicilli*, то есть маленькие *codices*) впервые получили признание у Августа, в одно время с «фидеикомиссом» (просьбой или рекомендацией, с которой завещатель обращается к наследнику, чтобы он что-то дал, исполнил или позволил чему-то свершиться в отношении «выгодоприобретателя» или «фидеикомиссария»), который чаще всего в них содержался и был здесь самым важным элементом.

ненных к завещанию неведомого нам Юлия Тирона. Тем не менее, и притом что Траян пожелал выносить на рассмотрение и разбирать лишь по делу в день, императору пришлось потратить на них немало своего драгоценного времени. В частности, много хлопот доставила ему тяжба о наследстве. Подлинность кодициллов была поставлена под сомнение одним из его прокураторов в Дакии, Эвритмом. Наследники, не доверяя местному судопроизводству, просили императора принять рассмотрение дела на себя. Но, добившись своего, они, из уважения к суверену, вольноотпущенником которого был Эвритм, сделали вид, что не решаются выступить, в свою очередь, в качестве обвинителей, и лишь в ответ на формальное приглашение Траяна двое из них явились на разбирательство. Эвритм требовал слова, чтобы доказать свои обвинения. Два наследника, которым предоставил слово Траян, отказались выступать под тем предлогом, что их солидарность с прочими сонаследниками не позволяет им двоим отстаивать интересы всех. Обрадованные этими маневрами и контрманеврами, рассчитанными на отсрочку и промедление, адвокаты натешились всласть в процедурных дебрях. Император неоднократно призывал их соблюдать меру, намеченную им для самого себя. Наконец, измученный их дразгами, он обратился к своему совету и призвал его положить конец их словесным уловкам, и потому лишь позднее ему удалось распустить зрителей и пригласить своих заседателей к очаровательным развлечениям (*iucundissimae remissiones*), приготовленным им для них, однако насладиться ими ему и гостям удалось лишь во время обеда⁸⁵.

Кроме того, никто из ответчиков не погрешил против почтительности, которую следовало проявлять к величию суверена. Однако мы вынуждены признаться, что не всегда все происходило именно так. Подчас обвиняемые не ожидали завершения заседания, чтобы злословить императора, и зрелище отправления им правосудия завершалось, если называть вещи своими именами, скандалом. Один оксиринхский папирус рисует нам сцену, на которую достало отваги и решимости у некоего египтянина Аппиана, бывшего вообще-

то александрийским гимназиархом и священнослужителем: он выступил тогда против Коммода, только что осудившего его на смерть. Стоило лишь императору подписать смертный приговор, как Аппиан поднялся с места с видом самого возмутительного презрения. «Да знаешь ли ты, с кем говоришь?» — спросил Коммод. «Разумеется, знаю: с тираном». — «Нет, — возразил Коммод, — с императором». — «Вовсе нет, — отвечал Аппиан. — Твой отец, божественный Марк Аврелий Антонин, имел право именоваться императором, потому что он покровительствовал мудрости, презирал богатство и любил благо. Но у тебя нет такого права, потому что ты во всем противоположность твоему отцу: тирания, порок и жестокость»⁸⁶. Так суверену, как какому-нибудь простому центумвиру, доводилось бывать не только оглушенным и замученным пересудами и происками подсудимых, но сверх этого еще и подвергнуться оскорблениям с их стороны. И между тем как императорский двор заставляет нас вспомнить все великолепие Людовика XIV, его заседавший во дворце трибунал, с его суетой утонченных, шумных и продолжительных процедур, напоминает нам исключительно простонародные фамильярность и суматоху, обуревавшие судопроизводство какого-нибудь паши перед его диваном, в патио его сераля.

Впрочем, какими бы всепоглощающими и зачастую нудными ни были занятия адвокатов и судей, в жизни сенаторов бывали периоды, когда они располагали собой еще в меньшей степени. Несомненно, после Августа число обычных заседаний сената значительно сократилось (*dies legitimi*). Распускаемый в обязательном порядке на каникулы в сентябре и октябре, в остальное время года сенат, как правило, созывался лишь дважды в месяц, на календы и на иды⁸⁷; помимо этого на бездействие сенаторов обрекала, как правило, законодательная деятельность императоров. Время от времени, однако, следовало считаться также и с возможностью внеочередных заседаний, которые оказывались тем более наполненными, чем реже они происходили — особенно таких, которые назначал или дозволял сам суверен, чтобы поразить политические

преступления ужасными карами, персональную ответственность за которые он все же предпочитал от себя отклонить. Тогда-то для *patres* и наступало настоящее время принудительных работ, а они не располагали иными возможностями избежать этих из ряда вон выходящих заседаний, кроме как заранее согласовав законность причины своего отсутствия.

Собирались они в курии Юлия Цезаря, размеры которой, по всей вероятности, были сохранены в ходе перестройки, предпринятой Диоклетианом: она простиралась не более чем на 25,5 метра в длину и 67,6 метра в ширину⁸⁸, имея не более трехсот мест, распределенных между тремя нависающими один над другим возвышениями, которые недавно обнаружил профессор Бартоли под полом древней церкви Сант-Адриано. Поскольку на призыв явиться по всяким из ряда вон выходящим случаям отзывались более половины из шестисот членов сената, они, должно быть, пребывали здесь в такой же тесноте, что и английский парламент — в палате лордов, когда необходимо бывает выслушать тронную речь. Сенаторы входили сюда, предварительно совершив жертвоприношение и вознеся молитвы, в первый час дня. Покидали они курию лишь с наступлением ночи⁸⁹, чтобы явиться сюда вновь завтра и послезавтра, а также в последующие дни. И они были не в состоянии противостоять такому режиму исправительного учреждения, если только регламент их собрания, или скорее существовавший в нем обычай, не уполномочивал их произвольно являться и уходить, исчезать, а затем появляться вновь.

В зале заседаний имела место нескончаемая череда дискуссий, какой-то непрекращающийся потоп красноречия и интриг. Плиний Младший оставил нам рассказы о нескольких таких заседаниях сената, преобразованного в Верховный суд: том, на котором предстали Марий Приск, проконсул Африки, и его сообщники по служебным преступлениям; том, на котором, по запросу всей провинции, следовало расследовать и покарать растраты Цецилия Классика, бывшего наместника Бетики. Это чтение заставляет нас пожалеть сенаторов, прикованных к их курульным крес-

дам. Первый процесс, на котором в качестве консула председательствовал Траян, продолжался с рассвета и до заката на протяжении трех дней кряду. В один из них Плиний Младший, которому было поручено выступить с обвинением против одного из сообщников Приска, держал речь беспрерывно на протяжении пяти часов, и под конец его усталость сделалась настолько явной, что император в нескольких случаях дал ему советы по бережному обращению со своими горлом и легкими. Когда Плиний закончил, столь же пространной речью от лица обвиняемого ответил Клавдий Марцеллин. После того как второй оратор произнес последние слова, Траян отложил продолжение слушаний на завтра, опасаясь, что третья речь окажется остановлена наступлением ночи⁹⁰. В сравнении с этим второе дело, против Классика, показалось Плинию Младшему, чья роль сводилась на этот раз исключительно к тому, чтобы слушать и высказывать мнение, куда более сносным, по-настоящему «кратким и легким» (*circa Classicum quidem brevis et expeditus labor*). В самом деле, мы вполне в состоянии представить себе его легкость, потому что испанцы облегчили задачи обвинения, наложив руки на личную, в высшей степени циничную переписку обвиняемого, и прежде всего на одно письмо, в котором он, валя взятки и любовные интриги в одну кучу, объявлял одной из любовниц о своем возвращении к ней в Рим, причем в выражениях, которые бесповоротно его разоблачали: «О радость! Я лечу к тебе свободный, как ветер, потому что я уже прикарманил четыре миллиона сестерциев, избавившись от половины моих подчиненных...» Однако коротким процесс Классика не оказался, несмотря на свидетельства фактов, установленных с помощью уличающих виновного документов. Оно, как и дело Мария Приска, заняло три заседания сената, и Плиний Младший, хотя на этот раз он и хранил молчание, отбыл с него в несколько не лучшей форме, чем с первого, будучи совершенно изнурен. «Ты можешь себе представить, — пишет он своему дорогому Корнелию Минициану, — наше утомление от всех этих речей, всех этих выступлений свидетелей,

которых следовало опросить, поддержать, опровергнуть! (*Concipere animo potes quam simus fatigati!*)»⁹¹.

И действительно, мы вполне можем вообразить эту усталость, но что остается непостижимым для нас, так это как терпели римляне эту изнуряющую систему, не делая ее более проницаемой и сносной. Не следует ли полагать, что их головы и нервы были более устойчивы к нагрузкам, чем наши? Или же, закаленные целым веком общедоступных чтений, они сделались совершенно нечувствительными ко всяким раздражающим факторам, утомлению и скуке?

Публичные чтения

Практика общественных чтений, этот предмет неизбывных забот и неизменное занятие образованных римлян, столь чужда нашим обычаям, что необходимо предпослать ее описанию несколько объяснительных слов.

На протяжении двух столетий ученые и литераторы в Риме даже не помышляли ни о чем таком, что понимаем мы под словом «публикация». Вплоть до самого конца республики они изготавливали — у себя на дому или в доме своего покровителя — списки собственных сочинений, рассылая их затем родственникам и знакомым. Атик, которому Цицерон доверил свои речи и трактаты, озаботился тем, чтобы наладить в мастерской, организованной им за свой счет, настоящее производство. Одновременно Цезарь, бывший столь же великим революционером в области как мирского, так и духовного, облегчил ему поиски клиентуры, основав в Риме первую государственную библиотеку по примеру той, что существовала в александрийском Мусейоне. Создание библиотеки завершил Азиний Поллион⁹², и уже в скором времени в провинциях появились учреждения по ее образцу⁹³. Увеличение числа публичных и муниципальных библиотек повлекло за собой умножение рядов книготорговцев-издателей (*bibliopolae, librarii*). Уже очень скоро в этой новой профессии появились свои знаменитости: Сосии, которых упоми-

нает Гораций, — они открыли лавочку *volumina* при выходе с Викас Тускус (Тускуланской улицы) на форум, близ статуи бога Вертумна, позади храма Кастора⁹⁴; Дор, у которого можно было приобрести Тита Ливия и Сенеку⁹⁵; Трифон, торговавший в розницу «Воспитанием оратора» Квинтилиана и эпиграммами Марциала⁹⁶; и конкуренты Трифона: Гай Поллий Валериан Секунд неподалеку от форума Мира и Атрект в Аргилете⁹⁷. Эти предприниматели, сколотившие и натащавшие специализированные бригады рабов, продавали свои копии достаточно дорого — от 2 до 4 сестерциев за текст, который уместился бы на 20 страницах нашего формата в двенадцатую долю листа, 5 денариев или 20 сестерциев за *liber*⁹⁸, который на самом деле не достигал объема в 40 страниц аналогичного формата⁹⁸, однако всю возникавшую при этом прибыль они целиком оставляли себе. И если чаще всего им приходилось платить за изготовление этих списков, они не приобретали даже рукописи пользовавшегося известностью писателя, а в лучшем случае соглашались лишь на то, чтобы ее воспроизвести⁹⁹. Но от чего они были в первую очередь избавлены, так это от уступки малейших прав авторам, поскольку юристы слепо, без какого-либо разграничения распространяли на надписи, покрывавшие папирусы и пергаменты, старинный правовой принцип, что *solo cedit superficies*¹⁰⁰, то есть всякое добавление продолжает оставаться собственностью того, кому принадлежит основа, на которой сделано добавление¹⁰⁰. Так обогащались книгопродавцы, рассылая по всему миру, «в глубины Британии, в заиндевелую Фракию», стихи, которые «мурлыкал центурион в дальнем гарнизоне», между тем как их барыши не приносили ни полушки поэту, погрязшему в нищете¹⁰¹.

Поистине роковым в этих условиях оказывалось то обстоятельство, что начинающие авторы и бедняки в публичном чтении своей прозы или поэм обретали

* Аргилет — часть Города между Субурой и Римским форумом.

** Книга, том.

*** Букв. «почва берет верх над тем, что на почве», то есть постройка, возведенная на чужой земле, считается собственностью хозяина земли.

возможность как избежать требований *librarius*, так и связать ему руки, причем они испытывали тем меньше сомнений на этот счет, что в таком случае новизны лишалось еще только возможное издание, не доставлявшее им никогда и ничего. С другой стороны, естественно, что власти империи, стремившиеся к контролю над литературной продукцией, однако избегавшие публичного и скандального сожжения книг, которое устраивал Тиберий¹⁰², как и смертных приговоров, вынесенных Домицианом Гермогену из Тарса и его *librarii*¹⁰³, предпочитали без шума достигать того же результата — окольными путями, которые уже доказали свою эффективность в долине Нила. Префекты и заведующие, назначенные управлять публичными библиотеками, уже обладали властью обречь на медленное, но верное исчезновение подозрительные или опасные книги, которым они затворяли двери своих книгохранилищ¹⁰⁴. Они присваивали себе право с большой помпой распространять добрые семена писаний, расположенных к режиму, сочинений, полезных в пропагандистских целях. И не нужно удивляться, если Азиний Поллион, связавший свое имя с первой из римских библиотек, тут же ввел в ней, со своими приглашениями прийти послушать «Гражданские войны» собственного сочинения¹⁰⁵, обычай, в высшей степени согласовывавшийся с положением писателей и с желанием властей предрержащих, так что нет ничего удивительного в том, как стремительно обычай этот совершил свое победное восхождение. Так сосуществование всесильных издателей и сервильных библиотек породило это начавшее тут же неудерживо разрастаться чудовище, будущий бич литературы — публичные чтения. Политические расчеты и самолюбие литераторов сделали их модными. Ничто им больше не препятствовало и не могло остановить.

С самого начала своего правления Август способствовал успеху этого начинания своей усидчивостью, «доброжелательно и терпеливо выслушивая тех, кто читал ему не только поэзию и исторические сочинения, но даже и речи, и диалоги»¹⁰⁶. Минуло несколько лет, и дело пошло еще лучше. Клавдий, по наущению Тита Ливия вбивший себе в голову, что будет писать историю,

тешил себя тем, что читал главы своего труда вслух по мере их составления. А поскольку он был среди ближайших претендентов на высшую власть, от желающих его послушать не было отбоя. Однако Клавдий был робок и шепеляв, а тут еще в ходе одной из читок приключился гротескный эпизод, когда под тяжестью одного тучного слушателя обрушилась скамья, что спровоцировало взрыв хохота, никоим образом не входивший в повестку дня. Поэтому он быстро оставил идею самолично читать собственные сочинения. Но он не мог отказаться от того, чтобы другие слушали плоды его досугов, оглашаемые теперь натренированным голосом вольноотпущенника¹⁰⁷, и когда впоследствии Клавдий сделался императором, то запросто предоставил гостеприимство своего дворца для чтений других авторов, и бывал донельзя счастлив, если выпадала пауза в делах, заявиться туда внезапно в качестве простого слушателя, как он сделал это однажды ради консуляра Нониана, представ перед аудиторией, ошеломленной неожиданной честью¹⁰⁸. В свою очередь также и Домициан, претендовавший на то, что является страстным поклонником поэзии, любил читать свои стихи перед публикой, что и делал неоднократно¹⁰⁹. Возможно, ему подражал Адриан. Несомненно, во всяком случае, что он решительным образом освятил публичные чтения, предоставив в их исключительное распоряжение целое здание: *Athenaeum*, своего рода небольшой театр, построенный им за свой счет. Его местоположение, увы, теперь позабыто, между тем как подданные были за него благодарны Адриану так, как если бы он решил наконец приютить «свободные искусства» в действительно достойной их школе: *ludus ingenuarum artium*¹¹⁰.

Говоря по правде, сооружение Атеней — всего только показатель значимости, обретенной публичными чтениями в Городе, который претерпевал теперь настоящее половодье талантов. Атеней не отличался новизной в архитектурном смысле, и с его появлением еще один, на этот раз официальный, памятник добавился к многочисленным залам, которые и без того вот уже продолжительное время наполнялись красноречивыми

модуляциями в ходе чтений. Теперь всякий образованный человек, располагай он хоть какими-то средствами, почитал за долг устроить в своем доме помещение, отведенное исключительно для чтений: *auditorium*¹¹¹. Немало друзей Плиния Младшего с легким сердцем приняли на себя сопряженные с этим немалые расходы: например Кальпурний Пизон, а также Титиний Капитон¹¹². Убранство во всех *domus* было почти одним и тем же: здесь имелось возвышение, где усаживался автор-чтец, который ради такого случая особенно тщательно заботился о своем туалете, приглаживал волосы, облачался в новую тогу, украшал пальцы всеми перстнями и вообще предпринимал меры к тому, чтобы соблазнять своих слушателей не только качеством своих сочинений, но и представительностью своих манер, задушевностью взглядов, сдержанностью произношения и сладостью переливов голоса¹¹³. Позади него развешаны занавеси, скрывающие от прочих присутствующих тех приглашенных, которые желают слушать его, не обнаруживая себя другим, например жена¹¹⁴. Перед ним располагается публика, созванная им через разосланные по домам билеты (*codicilli*), распределенная по стульям со спинками (*cathedrae*) для гостей в первых рядах и по банкеткам для прочих; лакеи, на которых возложено поддержание порядка, раздают программы вечера (*libelli*)¹¹⁵. Такова была мизансцена, которая не всем оказывалась по карману. Бедные авторы зависели от доброй воли богатых. Видные вельможи, такие как Титиний Капитон, движимые похвальным чувством братства, охотно предоставляли свои *auditorium*¹¹⁶. Менее щедрые и более практичные богатеи сдавали их за плату, и Ювенал клеймит спекуляцию, в которую ударялись эти Гарпагоны, драпирующиеся в Меценатов, взимая крупные суммы за краткое использование неубранного помещения и дрянных мебелишечек¹¹⁷. Впрочем, *auditorium* не был уж таким обязательным элементом публичных чтений, если только чтец не рассчитывал с его помощью произвести впечатление и пробудить к себе интерес. Более утонченные натуры, пользовавшиеся устойчивой репутацией, предпочитали ограниченный круг слушателей, составленный такими же, как

они, любителями изящного. К примеру, Плиний Младший находил удовольствие в том, чтобы приглашать на чтения всего только горсточку друзей, которых он размещал в своем *triclinium*, то есть в столовой: одни вытягивались на ложах, которые находились здесь постоянно, другие — на стульях, принесенных нарочно для такого случая¹¹⁸. Что до бедняков, не располагавших *triclinium* и не имевших денег на съём помещения, то возможность показать себя изыскивали и они. Стоило им только завидеть скопление народа, с которым можно было рассчитывать на возбуждение хотя бы любопытства, и они оказывались тут как тут, с невозмутимым видом разворачивая свой *volumen*: на форуме, под портиком, посреди столпотворения у терм¹¹⁹. Так что *recitatio** проникла в Город вплоть до уличных перекрестков, и, обращаясь к свидетельствам современников, очень скоро убеждаешься, что всякий и каждый здесь занимался чтением произведений перед публикой, причем читали когда угодно и что угодно.

Когда угодно: утром и вечером, летом и зимой. Конечно, если ты рассчитывал собрать большую аудиторию, следовало избегать жарких месяцев, когда многие римляне отбывали на свои виллы. Однако если ты предпочитал качество количеству, возможно, как раз они лучше подходили, чтобы собрать сливки общества, и Плиний Младший читал в июле, потому что надеялся, что ослабление юридической активности предоставит ему большую духовную свободу и позволит его соперникам по адвокатской практике почтить присутствием его «аудиторию»¹²⁰. Тем не менее по большей части чтения устраивались ближе к вечеру, когда деловые люди могли вновь располагать временем¹²¹. Однако находились ненасытные, которым второй половины дня недоставало на то, чтобы продемонстрировать свой шедевр, и они кичились тем, что удерживали своих слушателей целый день (*totum diem impendere*)¹²², не отказываясь также прихватить и второй, и следующие за ним¹²³. Поневоле перестаешь удивляться принудительному перенапряжению судов и сената, когда видишь, с какой кротостью досужие

* Читка, исполнение вслух.

слушатели подвергали себя добровольному перенапряжению «аудиторий».

Верно, впрочем, и то, что присутствующие вели себя по отношению к хозяину достаточно бесцеремонно, и их усидчивость зачастую облекалась в более или менее вежливые формы рассеянности и невнимания. В своих письмах Плиний Младший пересказывает эпизоды, дающие нам возможность получше познакомиться с вольностями, которые допускала публика. Например, выдался как-то апрель, в течение которого ни дня не обходилось без *recitatio*, и тут слушатели не выдержали. По привычке они продолжали являться в ответ на приглашения; но время, когда происходило чтение, заполняли непринужденной болтовней, или, довольствуясь тем, что явились, уходили прежде окончания: одни с мерами предосторожности, украдкой, «другие едва не хлопали дверью», совершенно открыто и без церемоний¹²⁴. Как-то раз Плиний Младший с опозданием появился в заполненном под завязку *auditorium*, и тут он с гордостью, к которой примешивалось смущение, заметил, что его приход одернул присутствующих, положив конец шуточкам, которыми они обменивались, и как по мановению руки восстановил тишину¹²⁵. Впрочем, в тот раз ему довелось иметь дело со слушателями, которые заботились о том, чтобы сохранить видимость образованности, и воздерживались от шума, что тем не менее не мешало им выказывать отсутствие интереса и холодность, граничащие с дерзостью, если только им не удастся предаться сладкой и вполне заслуженной дремоте. Так, в ходе одной *recitatio*, среди слушателей которой находился знаменитый правовед Яволен Приск, когда автор, прежде чем развернуть свой *volumen*, пожелал, в соответствии с протоколом, обратиться к нему, как к наиболее видной из присутствующих знаменитостей, за разрешением начать чтение: «*Prisce jubes?* Велишь начать, Приск?», Яволен, словно его внезапно разбудили или вернули из дальних краев, куда он перенесся в мыслях, поспешил ответить невпопад: «Да нет же, не надо ничего — *Ego vero non jubeo*», между тем как со всех сторон раздался смех, что еще убавило присутствия духа бедному чтецу¹²⁶.

На других чтениях присутствующие притворялись, что внимают, однако по их виду можно было догадаться о притворстве; и посреди самых прекрасных эпизодов книги, украшенной всеми совершенствами, они оставались как бы оцепеневшими и неподвижными, как статуи, в презрительном и отрешенном ступоре, не выказывая ни малейшего признака понимания, не изменяя положения рук, не разжимая губ, не трогаясь с места, «словно изнемогая от одного своего восседания»¹²⁷. Плиний Младший, оставивший нам описание этой «немой карты»*, возмущен уже от одной только мысли, что эти предатели убили целый день на то, чтобы оскорбить писателя, чье приглашение приняли, чтобы превратить в заклятого врага друга, чьими задушевными приятелями они были еще на входе в зал. Однако способность сохранять внимание имела свои пределы даже у римлян — на всяком языке нескончаемое красноречие прискучивает. Нет сомнения в том, что неразумно было со стороны автора дни напролет навязывать слушателям красоты своих творений, которые блекли по мере возрастания усталости и скуки. И *recitatio*, шедшая без перерыва, могла в итоге избежать отвращения лишь ценой безразличия. Вместо того чтобы пробуждать любовь к литературе, публичные чтения вызывали у слушателей несварение; они куда чаще отталкивали, а не привлекали, подвергали их терпению жестоким испытаниям, вынуждая их, давя изо всех сил зевоту, изнемогать под грузом то и дело повторяемых слоновьих доз изящной словесности.

Еще более усиливало их разлагающее воздействие то обстоятельство, что в целях ослабления монотонности этих все учащающихся чтений устроители не придумали ничего лучшего, как сделать их программы совершенно бессвязными. Все, абсолютно все сюжеты и жанры были для них подходящими. Г-ну Жоржу Дюгамелю принадлежат пронизанные горькой и рази-

* Географическая карта без указания названий пунктов и областей. Данное именование здесь чрезвычайно уместно, поскольку во всем этом небольшом письме нет никаких имен и реалий, ни даже названия того превосходного произведения, на чтении которого присутствовал Плиний.

тельной иронией страницы о тех американских собраниях пластинок, которые безжалостно, без малейшей паузы изливают на вас самые диссонансирующие мелодии: сонату Бетховена — перед танцем в джазовом стиле, сцену из оперетты — после смерти Зигфрида. Впрочем, эта «сцена из будущей жизни» уже имела место в прошлом, на глазах у Траяна и Адриана. Замените механический аппарат живым голосом, а музыку — литературой: этот хаос дисгармонирующих звучаний — сама суть публичных чтений. Здесь адвокаты повторяли вновь свои речи¹²⁸, а политики — свои выступления¹²⁹. Светские персонажи, никогда в жизни не писавшие о себе, разве что с целью отправления профессиональных или семейных обязанностей, а также поддержания социальных контактов, несколько не колебались, воспроизводя здесь погребальные речи, которые были вынуждены впервые произнести по причине родства с усопшим перед его прахом¹³⁰. Если же говорить о собственно литераторах, они находили применение самым ничтожным своим произведениям и оказывались поистине неиссякаемыми во всем. Что до прозы, когда судебные речи и моральные проповеди кончались, сюда несли исторические сочинения, которые находили тем более благоприятный прием, что события, о которых здесь рассказывалось, относились к отдаленному прошлому, так что никому из собравшихся не приходилось краснеть¹³¹. Из стихов слушали вперемешку разношерстные пустячки Плиния Младшего¹³², астрологические вирши Кальпурния Пизона¹³³, элегии Пассенна Павла¹³⁴, «Фиваиду» Стация¹³⁵ и множество тех вторичных эпических сочинений, что питались подражанием «Энеиде» и реминисценциями из нее, ведь «великий мертв Расин, ликует Кампистрон»: нескончаемые гераклеиды, диомедеиды, «завывания в Лабиринте, всплеск от падения в море Икара и рядом — летящий его отец»¹³⁶; к этому следует еще прибавить длинную череду трагедий без декораций¹³⁷ и комедий без актеров¹³⁸. Все разновидности литературной продукции сменяли друг друга на трибунах *auditoria* точно так же, как все виды продукции музыкальной перемалываются ныне патефонами.

Так что напрасно Плиний Младший пытается измыслить преимущества и пользу упражнений, в которых, как тщится он полагать, он столь преуспел, и желает убедить себя в том, что новое повторение в ходе публичных чтений собственных судебных речей побуждает его к тому, чтобы их переделать и сделать еще более совершенными, что критические замечания, объектом которых становится в ходе *recitatio* любое произведение, избавят его от огрехов¹³⁹. Что видно здесь всякому, так это недостатки, причем серьезные, и словесные уловки, пускай хитроумные, испорченного ребенка, не желающего утешиться из-за потери любимой игрушки или запрета доступа к ней. Эти скудные достоинства, эти случайные преимущества не в состоянии уравновесить неудобства, опасности и изъяны, которые предчувствовал в самом начале публичных чтений еще Гораций¹⁴⁰. В какой ужас пришел бы поэт, явись он на землю всего столетие спустя после смерти, когда публичные чтения стали зловеще сеять вокруг себя опустошения, которые он еще только предвидел! Между тем они только лишь доводили до логического завершения негативные моменты, связанные с чисто формальным образованием. Уже обыкновение писать на *volumina*, развертывание которых никогда не давало воспринимать более небольшого отрывка за раз, без какой-либо возможности как заглянуть вперед, так и вернуться назад, вело к фрагментизации и дроблению композиции римских сочинений до такой степени, что если мы сопоставим их с нашими собственными требованиями, самые лучшие из них в большей или меньшей степени попадут под удар критики, высказанной Калигулой насчет Сенеки¹⁴¹: «песок без известки», *arena sine calce*^{*}. Публичные чтения, в ходе которых автор должен был пробуждать и поддерживать интерес публики не красотой архитектурного целого, но яркостью деталей, усугубляли вред, наносившийся *volumina*, и приближали роковую развязку, в конце которой непоправимо извращенный вкус был не в состоянии воспринимать что-либо помимо трескучих тирад и игры афоризмов (*sententiae*). Кроме

* Светоний «Калигула», 53.

того, отделяя произведения, которыми им удавалось завладеть, от их естественной среды (судебную речь — от суда, выступление по политическим вопросам — от курии, трагедию и комедию — от театра), чтения окончательно обрывали связи, которые еще могли соединить литературные творения с жизнью, выхолащивали из них человеческое содержание, без которого немислимо создание никакого шедевра. Наконец, присущая публичным чтениям вредоносность, их губительность, о которой люди Нового времени вплоть до сегодняшнего дня — точно так же, как и люди античности — и не подозревали, способствовали уничтожению самой литературы, изнемогавшей от напряжения связанных с чтениями перегрузок. С одной стороны, постоянно удовлетворенное благодаря чтениям самолюбие авторов постепенно отвратило их от притязаний на что-то более высокое, нежели немедленный и грубый, при всей своей опьяняющей силе, успех, который обеспечивали им возгласы одобрения в *auditorium*, обуреваемой фальшивым воодушевлением, так как образована она друзьями, настроенными на снисходительность, и собратьями по цеху, в свою очередь ожидающими взаимности от коллеги.

Можно рассуждать о величине ущерба, который причинило или еще причинит книге развитие беспроводного вещания. Но, как кажется, никто не может ставить под сомнение громадный вред, нанесенный публичными чтениями изданию *volumina*, начиная с того момента, как мода на них достигла своего максимума. С другой стороны, невозможно оспаривать пробужденное чтениями ужасное, разросшееся подобно раковой опухоли зло, заключавшееся в стремительном распространении ложно понятых призваний. Когда публичные чтения в Риме внедрили в нравы в качестве основного занятия и почти исключительного предмета забот образованной публики, литература здесь распорчалась со своим достоинством и утратила серьезность. Свет начеканил из нее разменной монеты, и сплав, из которого она изготовлялась, менялся по мере расширения круга любителей. Приглашенные также хотели приглашать, и в условиях, когда каждый всходил на эст-

раду, все закончилось тем, что слушатели превратились в авторов. Внешне то был триумф литературы. На деле же эта пиррова победа, этот безрассудно возвращенный нарост знаменовал ее конец. Начиная с момента, как литература насчитывала столько же слушателей, сколько авторов (мы сказали бы теперь: столько же писателей, сколько читателей), она была обречена на гибель: ей предстояло задохнуться под гнетом собственной злокачественной опухоли.

Глава третья

Зрелища

Panem et circenses

Кто не знает наизусть знаменитой тирады Ювенала, которой тот разразился по адресу «выродившейся толпы потомков Рема», его современников, этого сжатого перечисления, где сквозит скорее презрение, нежели гнев: «Теперь, когда у него больше нет голосов, которые можно было бы продать, этот народ, некогда наделявший властью, фасциями, легионами — короче, всем на свете, этот низко падший народ желает с лихорадочным вожделением всего лишь двух вещей: хлеба и зрелищ» —

...duas tantum res anxius optat
panem et circenses¹.

И все же, как ни известны эти слова, нам приходится повторить этот стих в начале главы, которую он поясняет. Ибо если вычесть из них неистовство обвинительной интонации, пламенеющей словно позорное клеймо, хранящее в себе отзвук самого прекрасного республиканского восклицания, которое только раздавалось при империи, слова эти являются констатацией бесспорного и главенствующего факта, выражают историческую истину, которую сорока годами спустя выразит Фронтон с невозмутимостью, присущей мудрецу перед лицом очевидности: «Римский народ поглощен прежде всего двумя вещами: пропитанием и зре-

лищами (*populum Romanum duabus praecipue rebus, annona et spectaculis, teneri*)»².

И действительно, императоры заботились сразу о том, чтобы питать народ и его развлекать. Своими ежемесячными раздачами в портике Минуция они обеспечивали его хлебом насущным. Представлениями, которые они ему предлагали в различных, как религиозных, так и светских учреждениях — на форуме, в театрах, на стадионе, в амфитеатре и навмахиях, они заполняли и упорядочивали его досуг; они постоянно держали народ в напряжении благодаря постоянно обновляемым развлечениям, и вплоть до совсем уже скудных годов, когда стесненность в средствах заставляла императоров умерить свою щедрость, они все же исхитрялись обеспечить ему столько празднеств, сколько никогда не выпадало никакому другому плебсу ни в одной другой стране мира.

Обратимся скорее к календарям, которые донесли до нас эпиграфика: в них против соответствующих дат упоминаются праздники римского народа. Каждая календарная колонка буквально пестрит праздничными днями³. Есть здесь такие дни, что отмечают течение месяца: дюжина ид, половина календ, четыре ноны, всего 21 день. Имеются 45 дней *feriae publicae*^{*}, традиция которых теряется в глубине истории латинов, неизменно продолжая поддерживаться и при империи. Среди прочих здесь можно назвать *Lupercalia* в феврале; *Parilia*, *Cerialia*, *Vinalia* в апреле; *Vestalia* и *Matralia* в июне; девятидневные *Volcanalia* в августе; *Saturnalia*, продолжавшиеся с 17 по 24 декабря. Были здесь и *ludi* или «игры», которые завершались в тот же самый день, в который начинались: конные процессии 19 марта и 19 октября; бег в мешках** на *Robigalia*, 25 апреля; простой бег и скачки на мулах в честь *Consualia*, 21 августа и 15 декабря; состязание по ловле рыбы на удочку в

^{*} Всенародные праздники.

^{**} *Course en sacs*, пишет Ж. Каркопино, однако мне не удалось найти упоминания о таком состязании: античный автор, а он здесь один, Веррий Флакк, пишет в составленных и высеченных по его приказу фастах, найденных в Пренесте уже в Новое время, об обычных состязаниях в беге среди взрослых и детей: *sacrificium et ludi cursoribus maioribus minoribusque fiunt*.

ludi piscatorii, 8 июня; конные скачки в честь *equus october*, 15 октября, *ludi martiales** 1 августа; день рождения Августа, основателя режима, 23 сентября; к этому следует еще прибавить праздники, приходившиеся при разных императорах на разные даты: день рождения императора (*dies natalis*) и день его прихода к власти (*dies imperii*), а также день обожествления его предшественника, что увеличивает прибавляемое число еще на двенадцать дней.

Наконец — и даже в первую очередь — имелись еще циклы игр, то конных, то сценических, то конных и сценических одновременно, учрежденных республикой в честь богов в тяжелые годы истории: впоследствии они были призваны подкреплять амбиции диктаторов и политику императоров: *ludi Romani*, учрежденные в 366 году до н. э. и теперь растянутые на период с 4 по 19 сентября; *ludi plebei*, появившиеся в промежуток между 220 и 216 годами до н. э. и тянувшиеся теперь с 4 по 17 ноября; *ludi Apollinares*, восходившие к 208 году до н. э. и проходившие с 6 по 13 июля; *ludi Ceriales*, которые, будучи посвящены Церере в 202 году до н. э., охватывали дни с 12 по 18 апреля; *ludi Megalenses*, посвященные Великой Идейской Матери в 191 году до н. э., когда было освящено ее святилище на Палатине, и с тех пор постоянно возобновляемые с 4 по 10 апреля; *ludi Florales*, которые начали упорядоченное почитание богини Флоры, надо полагать, лишь с 173 года до н. э.: они совершались в особом режиме с 28 апреля по 3 мая; *ludi Victoriae Sullanae*** , в которых дали о себе знать притязания Суллы на божественность, они продолжали справляться и через два века после его смерти, с 27 октября по 1 ноября; *ludi Victoriae Caesaris*, продолжавшие в период с 20 по 30 июля напоминать римлянам свершения покорителя Галлий, а начиная с 45 года до н. э. они дополнили празднования четырех годовщин: Фарсала, Зелы, Тапса и Мунды; наконец, *ludi Fortunae reducis****, учрежденные Августом после своего возвращения из умиротворяющей экспе-

* Марсовы игры.

** Игры сулланской победы.

*** Игры Фортуны Возвращающей.

диции в 11 году до н. э.: они заполняли декаду, с 3 по 12 октября.

Подводим итог: к 22 дням, священным обязательно и независимо от прочих, прибавляем 45 дней *feriae publicae*, затем 12 дней однодневных *ludi*, а к ним — 103 дня *ludi*, сгруппированных в более или менее протяженные периоды. Подсчет сделать несложно: закрывая глаза на некоторые совмещения, когда два праздника совпадают, как, например, 8 июня, которое делят друг с другом *Vestalia* и *ludi piscatorii*, мы приходим к следующему математическому результату: в обязательном порядке праздничные дни императорского Рима занимали более половины года. Сверх того, полученное нами число 182 представляет собой минимум, который оказывался постоянно превзойденным.

В самом деле, сколько пропусков в нашем подсчете! Мы не учли в нем праздники Аттиса, которые проходили в марте в два этапа: сначала *quatrividuum** рождения, жертвы, смерти и воскресения бога-соправителя Кибелы: *dendrophoriae*, *sanguis* и *bilaria*, с одной стороны, и с другой — процессия к реке Альмон, где 28 марта происходило купание идола Великой Матери; а между тем, с тех пор как император Клавдий предоставил Аттису права римского гражданства, стало довольно затруднительно не рассматривать мистерии его культа в качестве официальных. Далее мы закрыли глаза на праздники предместий, в которых население Рима участвовало чрезвычайно охотно, начиная с сельских пиршеств, находившихся под покровительством Анны Перенны, и вплоть до латинских празднеств на вершине Альбанских гор. Точно так же мы упустили из виду церемонии, которые, не привлекая ни средств государства, ни его ответственности, вполне легально привлекали к себе благосклонность римского народа: вокруг его районных святилищ, в молельнях чуждых, однако дозволенных религий, в *scholae* его цехов и коллегий. Также не приняты во внимание те обряды, исполнение которых вменялось государством воинам: их список был обнаружен в нумидийском Тебессе и в Дуре на Евфрате; возможно, городской плебс полу-

* Четырехдневный срок.

чил право присутствовать на них в *Castra Praetoria*, как на славных военных церемониалах и назидательных проявлениях лояльности⁴. Кроме этого, мы рассмотрели лишь обычные годы, между тем как выпадали и годы экстраординарные, в которые обычное расписание празднеств комбинировалось с повторением четырехлетних циклов, как, например, *Actiaca*, а теперь еще и *agon capitolinus*, и, время от времени, повторяясь и растянувшись на долгую череду дней, происходили то «вековые» возобновления, как в 17 году до н. э. и в 88 и 204 годах н. э., то «столетия» Вечного города, как в 47, 147 и 248 годах⁵.

Наконец — и это также очень важно, так как изображение суверена, которое и вводило внезапно праздники в календарь, уклоняется от всякой перманентной оценки, — мы были вынуждены обойти молчанием праздники, учреждавшиеся императорами сверх программы, праздники, непредвиденность которых обостряла интерес к ним и которые прибавляли в весомости по мере роста преуспевания данного режима: триумфы, которые назначал императору принуждаемый им к тому сенат; состязания, вдруг учреждавшиеся императором; но в первую голову *munera*, или бои гладиаторов, которые назначались им по случайному поводу, однако их возрастающая частота привела к тому, что они сравнялись с *ludi*, а во II веке н. э. разыгрывались месяцами подряд. Тем не менее все то, что мы опустили в нашей статистике, имело место в действительности, и в конечном счете необходимо согласиться с тем, что в эпоху, в которой мы находимся теперь, в Риме почти не бывало такого года, в который на один рабочий день не приходилось бы одного или двух выходных.

Расписание развлечений

На первый взгляд в выводе этом есть нечто поразительное. Но по зрелом размышлении он представляется неизбежным следствием политического и социального развития, которое побудило властителей империи пользоваться празднествами, некогда введен-

ными в Риме религией, еще их умножая, в целях упрощения своего господства над массами, окружавшими их дворцы и наполнявшими Город.

При рождении каждого из римских празднеств присутствует религия⁶, и в дальнейшем она вновь обнаруживается в нем — в большей или меньшей степени. Она дает о себе знать на поверхности древних торжественных ритуалов, неизменно отправлявшихся римлянами, притом что они их больше не понимали, позабыв значение и смысл. Так, состязание удильщиков 8 июня, которое возглавлял лично городской претор, завершалось жарким на камне Волканала*, которым самым прозаическим образом должны были наслаждаться победители, но одно замечание Феста, которое не может быть поставлено под сомнение, уподобляет его заместительной жертве, коей удовлетворяется бог Вулкан вместо человеческих жертвоприношений: *pisciculi pro animis humanis***⁷. Точно так же 15 октября на форуме устраивались конские бега, исход которых обнаруживает изначальную их идею. Горе скакуну, пришедшему первым***! Фламин Марса приносил его в жертву сразу после победы. Его кровь делили на две части: одну тут же возливали на очаг *Regia*****, а другую передавали весталкам, приберегавшим ее для очищений, которым предстояло свершиться в этом году. Что до головы, отсеченной ножом совершавшего жертвоприношение жреца, за нее ожесточенно боролись жители, обитавшие вдоль *Via sacra*, с одной стороны, и обитатели Субуры — с другой (нечто подобное можно ныне наблюдать в борьбе сиенских кварталов «контрад», оспаривающих *palio******), чтобы установить, какому из этих районов достанется честь выставить на стене одного из зданий трофей «октябрьской лошади». Смысл этих необычных обрядов проясняется, стоит нам обратиться к временам их формирования.

* Храм Вулкана.

** Рыбки взамен человеческих душ.

*** Следует сказать, что состязались здесь парные упряжки, и в жертву приносили правого коня.

**** Дворец Нумы Помпилия, второго царя Рима.

***** Знамя (*ит.*).

По возвращении из военной кампании, которая начиналась ежегодно весной и завершалась осенью, латины Древнего Рима в качестве умиловительного дара предлагали богам бега и приносили им в жертву коня-победителя, чтобы очистить Город возлиянием лошадиной крови и защитить его фетишем лошадиного остова.

В этих восходящих к незапамятным временам обычаях тут же становятся видимыми обряды предков. Ведь религия, хоть ее присутствие и не было уже столь очевидно, все еще наличествовала в более поздних играх, последовательно учрежденных республикой, призванной в часы затруднений Олимп себе на помощь: в честь Юпитера, Аполлона, Цереры, Кибелы и Флоры. Впоследствии диктаторы еще удлиннили этот список в честь своих собственных побед, чтобы поднять их (а с ними — и самих себя) на сверхчеловеческий уровень. Посредством игр и скачек, драматических представлений и триумфального пурпура люди пытались не только потешить богов, но и овладеть их энергией, воплотившейся на миг в справляющего триумф магистрата, в актеров постановки и в победителей турниров. Наконец, когда в 105 году до н. э. государство устроило за свой счет бои гладиаторов, которые простые смертные организовывали прежде у могил предков⁸, оно назвало их *titius*^{*}, и это название сохранилось за ними на будущие времена: в нем выразилась зловещая функция данного учреждения — отвращать человеческими смертями гнев бессмертных и утишать беспокойство покойников с помощью нового умерщвления живых. «Приношение, предлагаемое из долга» — так определяет его Фест во времена Августа. «Непременные почести в отношении манов», — провозглашает Тертуллиан в конце II века. «Кровь, разлитая по земле, дабы умиротворить бога-серпоносца в глубине небес», — напишет Авзоний во времена упадка империи⁹. Можно полагать, что ужасное представление, доставшееся в наследство от мрачного этрусского гения, без каких-либо изменений, нисколько не ослабевая, продолжало

* Обязанность, долг, повинность (перечислена только часть значений: слово чрезвычайно многозначно).

жить столетиями. Однако это всего лишь видимость. В эпоху империи такие утверждения эрудитов публика оставляла без внимания, а про себя между тем обмирщала священные игры, как ей было угодно. Нет сомнения в том, что люди являлись в цирк, как на работу, облачившись в праздничную тогу, ношение которой стало обязательным в соответствии с одним указом Августа, между тем как другой указ, Клавдия, не позволял прятать ее под плащом, кроме как по случаю скверной погоды, и лишь после того, как император подаст сигнал садиться¹⁰. Также нет сомнения в том, что зритель, чтобы не быть выдворенным, должен был сохранять благообразие и ни в коем случае, к примеру, не пить и не есть во время заездов¹¹. Однако римляне сознавали, что присутствуют не на литургии, но следуют этикету; и когда, подчиняясь правилам, они вставали с мест, чтобы бурно приветствовать вступительную процессию, в которой статуи *Divi** сопровождали статуи официальных божеств, они тем самым проявляли вовсе не благочестие, но верность правящей династии, свою привязанность к профессиональной группе, частью которой являлись сами под покровительством того или иного бога или богини, и свое восхищение прекрасной организацией такого блестящего парада. Если же в их рядах случайно оказывался какой-нибудь фанатик, обладавший достаточной наивностью, чтобы вообразить, что, проходя перед ним, дорогое его сердцу божество подало условный знак или совершило защитительный жест, эта вспышка легковерия оказывалась достаточно редкой и выглядела архаичной, возбуждая тем самым любопытство соседей и вдохновляя рассказчиков¹².

Древняя римская религия могла предоставить благочестивый предлог своих традиций для великолепного развертывания зрелищ в эпоху империи. Внимания на нее больше не обращали, и уважение к ней практиковалось, так сказать, бессознательно. Как в этой, так и в прочих областях новые верования отодвинули ее на задний план, если не затмили полностью. Если какая

* Букв. «божественные» — имеются в виду обожествленные члены правящей фамилии.

живая вера и заставляла сердца зрителей биться сильнее, так это вера в астрологию, благодаря которой они смотрели на все затаив дыхание, усматривая в арене образ Земли, во рве Эврип, который охватывал арену, — образ моря, в обелиске, возвышавшемся на центральной террасе, — эмблему Солнца, льющего лучи с божественной высоты; в воротах 12 столб, или *carceres*, — созвездия зодиака, в семи кругах упряжек по арене, которые составляли каждый заезд, — блуждания семи планет и последовательность семи дней недели; в самом цирке — отображение Вселенной и как бы сокращенное изложение ее судьбы¹³. И если душой публики овладевал энтузиазм, то вызывался он, при появлении предвещающей священной процессии, скульптурным обликом благих усопших императоров и одновременным появлением в правительственной ложе еще более превосходного здравствующего императора, покровительству которого зрители были обязаны числом представлений и их великолепием. Это зрелище устанавливало между толпой и сувереном благодетельную связь, которая препятствовала императору замкнуться в опасной изоляции, а толпе — недооценить значение августейшего присутствия императора. Стоило ему только войти в цирк, в театр, в амфитеатр, толпа вскакивала с мест в едином порыве и обращалась к нему, маша платками, как это делают еще и сегодня в ватиканской базилике правоверные перед святым отцом, с трогательным приветствием, напоминая по способу выражения гимн, а по интонации — молитву¹⁴. Впрочем, такой род обожания не исключал и просто человеческих чувств, более сильных и нежных в одно и то же время. Громадная толпа собравшихся не только сподоблялась счастья, как пишет в «Панегирике» Плиний Младший, «непосредственно лицезреть своего императора посреди его народа»¹⁵, но и приблизиться к нему в переживаниях бегов, схваток или драмы, разделяя с ним его эмоции, пожелания, страхи и радости. Так авторитет первого лица несколько расслаблялся в непринужденности общих чувств, однако, с другой стороны, закалялся вновь в тех волнах популярности, которые разбивались у его ног. И во времена, когда комичии

умолкли, когда сенат зачитывал по шпаргалке заданный ему урок, лишь в ликовании *munera* и *ludi* народному мнению удавалось материализоваться вновь и подчас выразиться в прошениях, которые, подхваченные вдруг тысячами голосов, истребовали от Тиберия «Апоксиомена» Лисиппа¹⁶, а от Гальбы — добились казни Тигеллина¹⁷. Получив мгновенный урок, императоры тут же приняли меры к тому, чтобы использовать и направлять соответствующие течения, делая это с ловкостью, которая позволяла им переключиваться на массы ответственность за меры, которые они замыслили, однако предпочитали изобразить дело так, что их суровость была им навязана со стороны¹⁸. Именно так получалось, что зрелища, не будучи неотъемлемой частью императорского режима, укрепляли его каркас и, не вливаясь в религию империи, поддерживали в ней горение того, что еще было к такому способно.

Но было здесь и нечто большее: действуя через автократию, зрелища становились препятствием для революции. В Городе, где насчитывалось 150 тысяч безработных, избавленных общественным вспомоществованием от необходимости трудиться, и, быть может, столько же работающих, которым из года в год после полудня оставалось лишь сложить руки и предаться безделью. Между тем как в праве использовать свою свободу в сфере политики им было отказано, спектакли занимали их время, завладевали их страстями, направляли инстинкты в иное русло, давали проявиться активности в безобидных формах. Народ, который зевает, созрел для революции. Императоры не давали римскому плебсу зевать ни от голода, ни от скуки. Зрелища были великим средством извлечь подданных из состояния безделья и, следовательно, верным орудием их абсолютизма. Окружая подданных своим попечением, швыряя на это баснословные средства, императоры сознательно обеспечивали незыблемость своей власти.

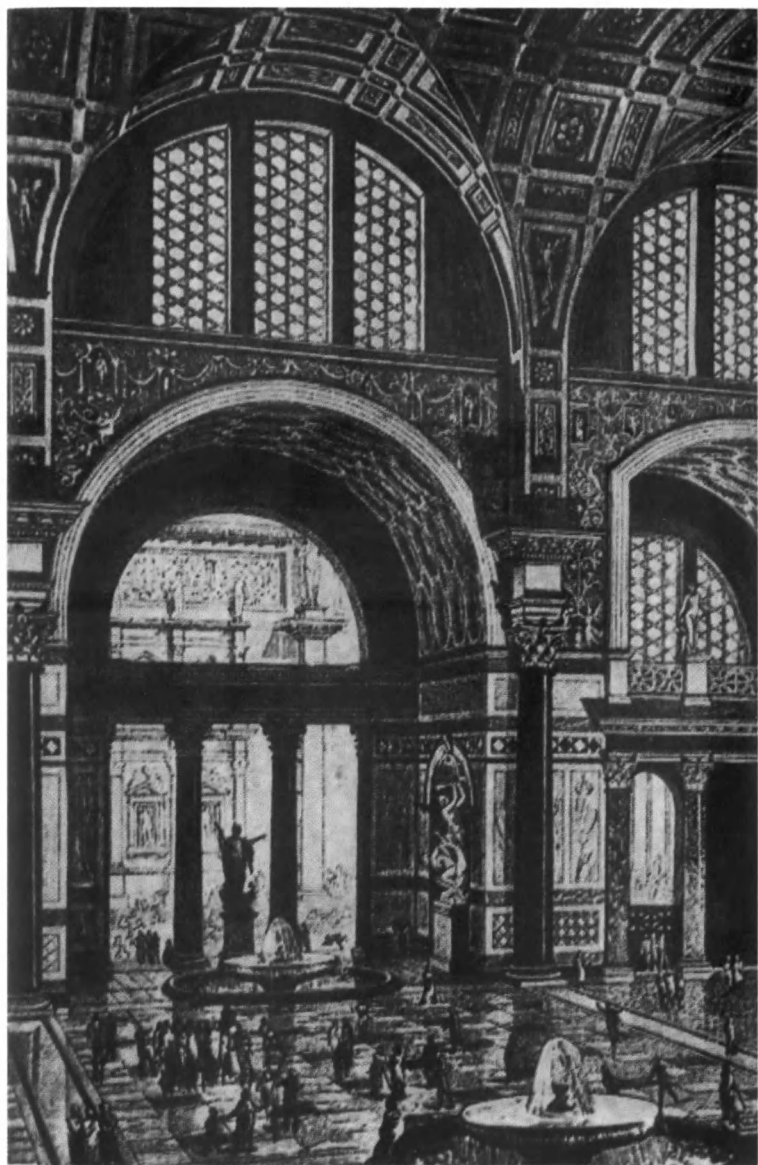
Дион Кассий сообщает, что как-то раз Август упрекнул пантомима Пилада за то, что он заполонил Рим спорами за первенство и дразгами. Пилад отважился ему ответить: «Тебе самому выгодно, Цезарь, чтобы

народ интересовался нами...»¹⁹ В этом ответе остроумный артист выразил задушевную мысль Августа и проник в одну из тайн его правления. Игры были одним из столпов его режима, обеспечивавшим внутреннюю стабильность. Август никогда не упускал случая на них присутствовать, выказывая ревностный интерес к зрелищу и сохраняя сосредоточенную серьезность. Он усаживался посреди своей *pulvinar**, между женой и детьми. Если ему приходилось удалиться прежде завершения представления, он тут же извинялся и назначал того, кому передавал свое председательство. Оставаясь до конца, Август никогда не бывал уличен в том, что отвлекся и позабыл о происходящем — то ли потому, что действительно находил в представлении вкус, как наивно признавался он сам, то ли потому, что желал избежать кривотолков, которые вызвал его отец Цезарь, принимавшийся во время игр читать доклады и на них отвечать. Он хотел наслаждаться вместе с народом. Но в первую очередь он ничего не жалел, чтобы его потешить. «Представления его правления превосходили в разнообразии и великолепии все, что приходилось видеть прежде», а сам он в своих *Res gestae*** с самодовольством напоминает о том, что четырежды давал игры от своего имени и 23 раза — от имени магистратов, которые должны были брать на себя расходы на них, однако либо отсутствовали в это время, либо не имели таких средств²⁰. И консулы, и преторы были просто сокрушены его тратами, совершенными в их честь, и Марциал в шутку наскоро измышляет историю про некую молодую женщину Прокулею, которая сразу по занятии мужем преторской должности извещает его о разводе, прося вернуть все ее имущество:

В нынешнем ты январе, Прокулея, старого мужа
Хочешь покинуть, себе взяв состоянье свое.
Что же случилось, скажи? В чем причина внезапного горя?
Не отвечаешь ты мне? Знаю: он претором стал,
И обошелся б его мегалезский пурпур в сто тысяч,

* Здесь — ложа в цирке.

** «Деяния», итоговый документ правления Августа, в котором от первого лица перечисляются его жизненный путь и свершения.



Термы Каракалы (реконструкция)



Шлем
гладиатора

Жертвоприношение.
Рельеф из Помпей

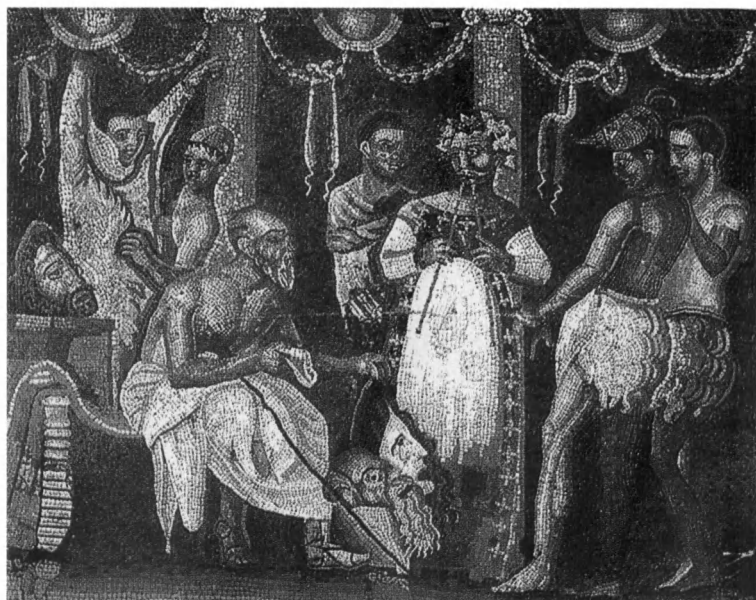




Гладиаторские игры в Колизее

Колизей в наши дни





Комические актеры

Мимы

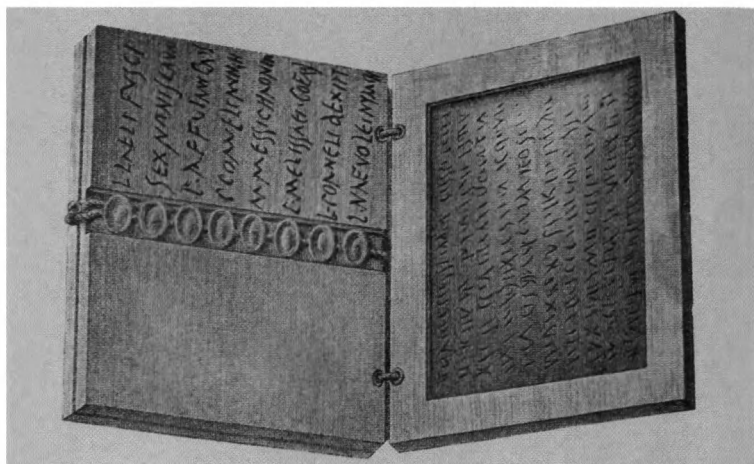


Театральная маска



Сцена из трагедии





Дошечки для письма

Художница. Фреска из Помпей





Цирковые бега

Римляне на пиру. *Фреска из Помпей*

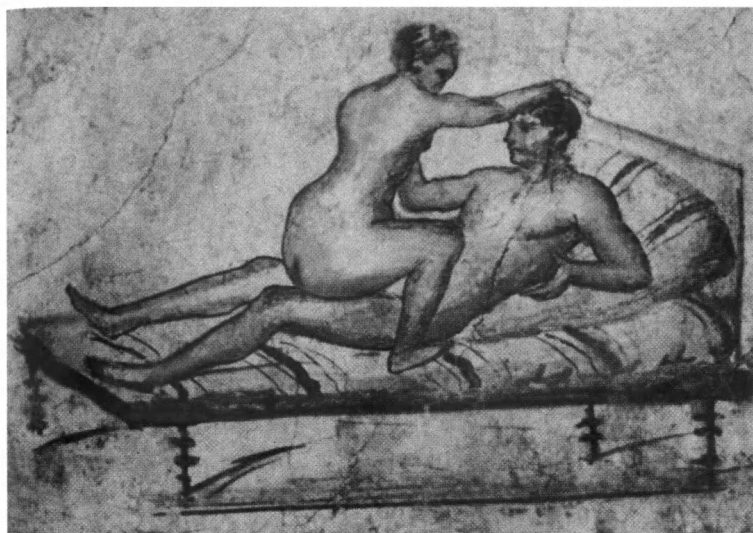




Жетоны для клиентов публичного дома

Внутренний вид лупанария в Помпеях





Фреска на стене лупанария

Приап. Фреска из Помпей





Любовники. Фреска из Помпей



Сенаторы на религиозной церемонии

Обряд поклонников персидского бога Митры





Сложная прическа замужней женщины



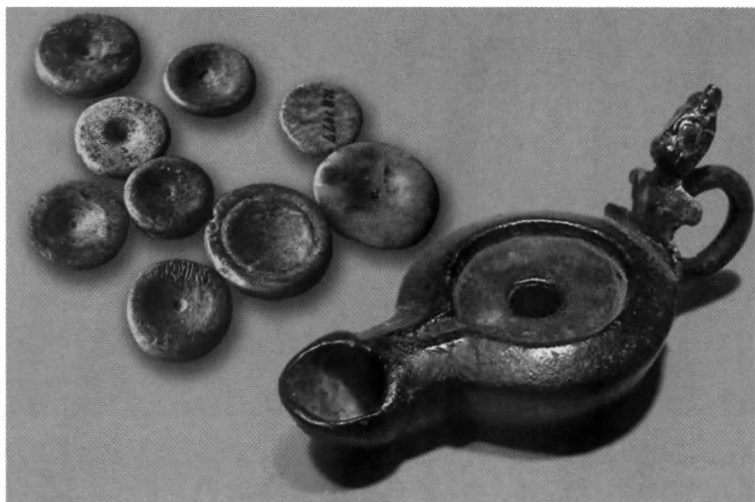
Римлянка
в традиционной одежде



Костяной гребень



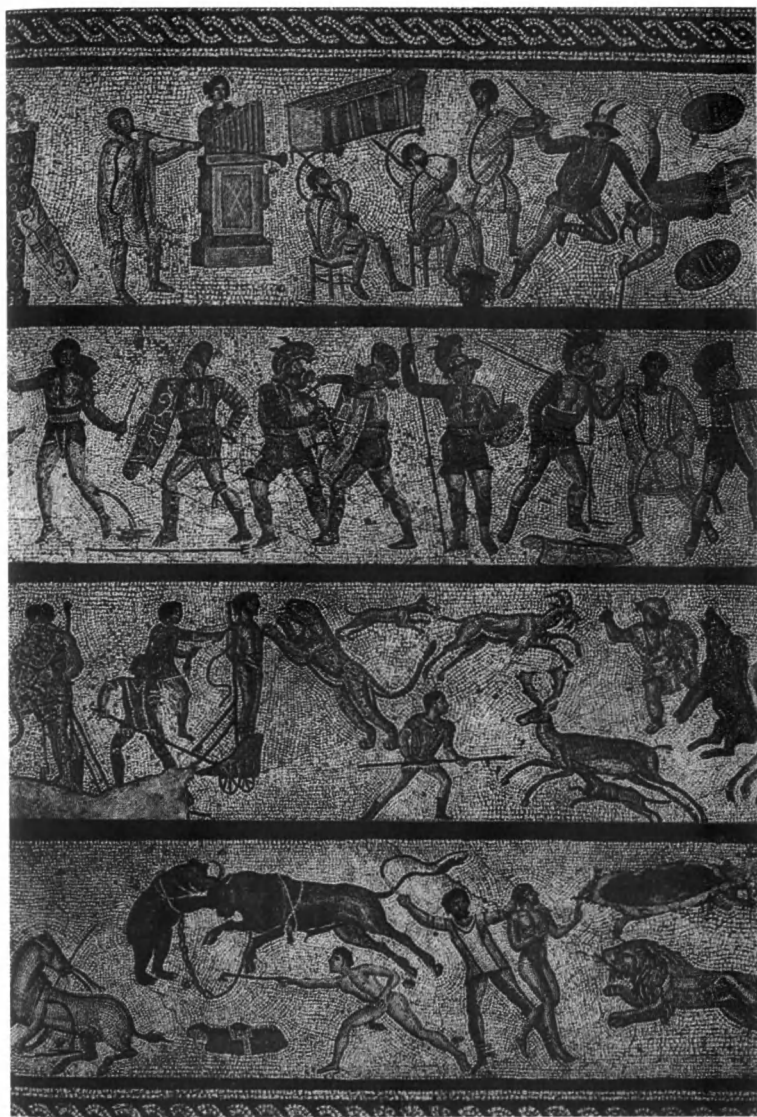
Римлянин
в традиционной одежде



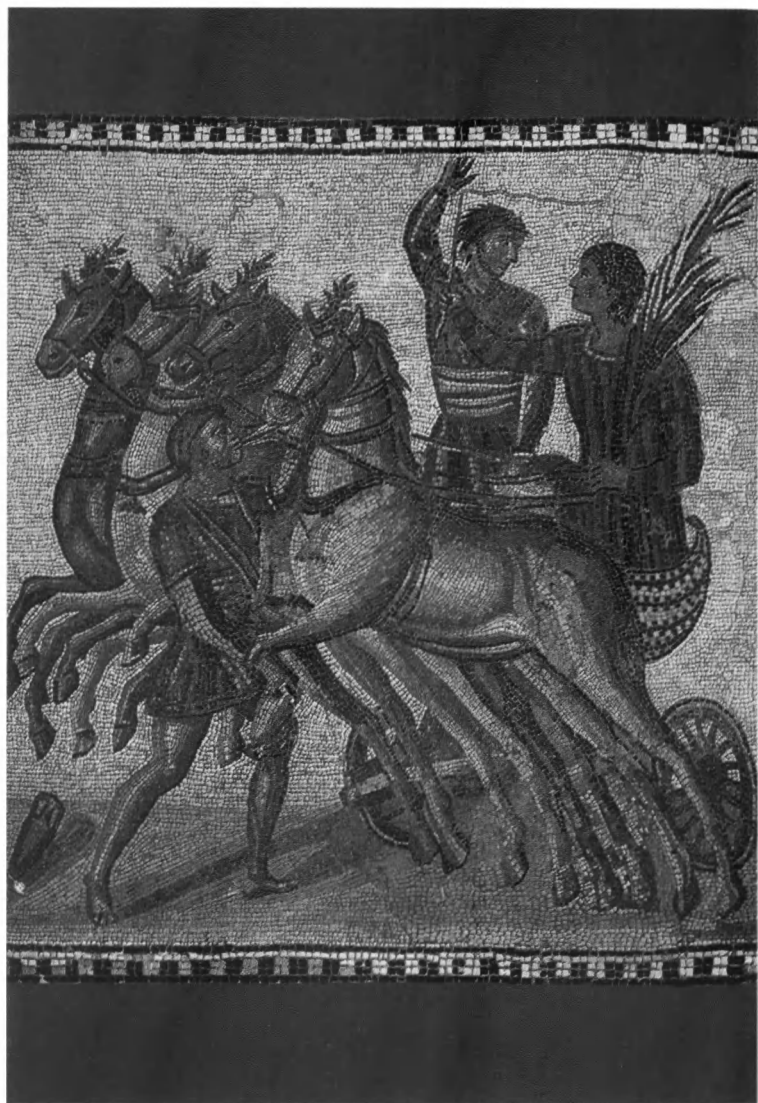
Фишки для азартной игры и масляная лампа

Бритва и набор булавок





Различные виды цирковых игр



Гонки колесниц — любимое развлечение римлян

Как ни скупилась бы ты на устроение игр;
Тысяч бы двадцать еще пришлось и на праздник народный.
Тут не развод, я скажу, тут, Прокулея, корысть²¹.

Императорам все в большей и большей степени приходилось помогать магистратам или вообще их заменять, и все они стремились перещегоолять Августа, чтобы не показалось, что в их принципат представления были менее блестящими, чем в предыдущий. За исключением Тиберия, этого республиканца на троне, чья неисцелимая мизантропия относилась как к простонародью, так и к знати, все императоры состязались в расточительности, желая разработать программу традиционных игр, удлинить их подчас до самого утра, сопровождать бесконечной чередой представлений вне программы. Даже скряги не осмеливались отказаться от этих расходов. При бережливом Клавдии Римские игры стали в 760 тысяч сестерциев, а Аполлонийские игры, учредитель которых обошелся некогда 3 тысячами сестерциев, стоили 350 тысяч²². При Веспасиане, этом выскочке, сыне судебного секретаря, чья репутация скряги и скупца никем и никогда не оспаривалась, начали подниматься стены амфитеатра Флавиев, название которого «Колизей» в большей степени происходило от необъятности размеров, нежели от соседства с колоссальной статуей Солнца*. В этой оргии наслаждений, в этом швырянии деньгами мудрецы были нисколько не лучше отъявленных негодяев, и возникает впечатление, что больше всех роскошествовал, безумнее всех транжирил, быть может, Траян, этот образцовый император, *optimus princeps*, в титулатуре которого значилось, что в совершенстве он сравнивался с Юпитером. И в самом деле, как отмечает Дион Кассий**, «благодаря своей мудрости он никогда не упускал случая проявить внимание к мастерам сцены, цирка и арены,

* Прилагательное *colosseus* — громадный, исполинский — чаще употреблялось на латыни применительно как раз к статуям. Именование амфитеатра Флавиев «Колизеем» (*Colosseum*), как об этом говорит и сам Ж. Каркопино, появилось лишь в Средневековье.

** На самом деле цитата заимствована из уже упоминавшегося места сохранившегося во фрагментах сочинения Фронтона «Начало римской истории» (II, 18) (изд. *van den Hout*, 1954).

потому что ему было прекрасно известно, что совершенство правления не в меньшей степени обнаруживается в заботе о развлечениях, нежели в попечении о вещах серьезных, и в то время как раздачи зерна и денег служат удовлетворению отдельных людей, чтобы убогатворить народ как целое, необходимы представления»²³.

Эти слова дают нам в руки ключ ко всей проблеме. Политика императоров, направленная на то, чтобы все больше и больше развлекать своих подданных, была продиктована необходимостью, являющейся неотъемлемой частью всякого популистского режима. Мы видели, кто за последнее время применял или же применяет подобные принципы: в Германии с помощью *Kraft durch Freude*^{*}, в Италии — стараниями *Dopo Lavoro*^{**}, во Франции — через службы Министерства досуга и развлечений. Но какую бы гордость нам ни внушали эти современные достижения, они не идут ни в какое сравнение с теми, что имела Римская империя. Благодаря им она сберегла себя, обеспечила порядок в перенаселенной столице, сохранив покой более чем миллиона человек. И зенит ее величия, начало II века н. э., совпадает с максимумом щедрости, проявлявшейся здесь в ходе *ludi*, представлений здешних театров, нешуточных поединков ее арен, потешных единоборств, литературных и музыкальных конкурсов ее *agones*.

Бега

Играми в собственном смысле этого слова были цирковые представления — *circenses*. Они немислимы вне тех сооружений, чье имя носили. Эти специализированные строения имели различные размеры при неизменном виде, если смотреть на них сверху: вытянутый прямоугольник с закругленными меньшими сторонами. Это и цирк Фламиния, сооруженный в 221 году до н. э. цензором Фламинием Непотом на месте, где

* «Сила через радость» — нацистская программа организации досуга немецких рабочих и служащих.

** «После работы» (*ит.*).

сегодня стоит дворец Каэтани, и определяемый в плане двумя осями в 400 и 260 метров; и цирк Гая, возведенный Калигулой на Ватикане, с размерами 180 метров в длину и 90 метров в ширину, чей центральный обелиск украшает ныне площадь Святого Петра; и, наконец, самый обширный из всех, Большой цирк, или *Circus Maximus*, который послужил моделью для двух прочих. Сама природа, до некоторой степени, заранее задала его форму, когда ему отвели нижнюю часть долины Мурции, зажатой между Палатином на севере и Авентином на юге. И если это место используется ныне для выставок, проводимых в современном Риме, те последовательные украшения, что производились в этом месте некогда, являются весомыми свидетельствами нарастающей любви, которую испытывал к бегам античный Рим.

Первоначально место для заездов представляло собой самое дно долины, пружинящая поверхность которой смягчала падения; трибуны для зрителей, или *cavea*, располагались по склонам двух соседних холмов, на которых забирались кучки зрителей. Что касается площадки для маневров, совершавшихся участниками состязаний, ее средняя линия обозначалась двумя деревянными веховыми тумбами (*metae*), из которых более западная, *meta prima*, возвышалась перед ямой с сокрытым в ней алтарем бога Конса, доступ к которому осуществлялся лишь по случаю игр. Стойла и конюшни, именовавшиеся *carceres*, были впервые возведены в 329 году до н. э. западнее первой *meta*, к которой и были обращены их фасады. Долгое время это были просто временные сараи²⁴. Возможно, тогда же или немного позднее две *metae* были соединены продольной насыпью, что уже предполагает предварительное осушение долины Мурции. Римляне сравнивали эту насыпь со спинным хребтом арены, *spina*, и они нарушили ее однообразие, расположив по ней сначала статуи божеств, считавшихся благосклонными к состязаниям, такую, например, как Полленции, «Блистающей силы» (она была случайно сброшена с пьедестала в 189 году до н. э.²⁵), а потом, в 174 году до н. э., *septem ova*, те семь больших деревянных яиц, манипуляции с которыми указывали публике на различные этапы состязаний. Но

только в I веке до н. э. и I веке н. э. монархия постепенно сообщила Большому цирку то монументальное величие, которое так поражало древних, современная же археология обнаруживает лишь его жалкие следы.

В ходе игр, устроенных Помпеем в 55 году до н. э., он пожелал, дабы обезопасить зрителей, разместить железные перила между ними и ареной, на которой должны были атаковать друг друга двадцать слонов, подстрекаемых погонщиками. Однако под натиском обезумевших толстокожих эти поручни в нескольких местах, к ужасу зрителей, обрушились²⁶, так что в 46 году до н. э. Цезарь, чтобы паника не повторилась, расширил арену на запад и на восток и окружил ее рвом, наполненным водой, названным Эврипом²⁷. Одновременно он перестроил *carceres* или выстроил их заново из туфа и перепрофилировал противоположные склоны холмов, так что на них могли с легкостью разместиться 150 тысяч зрителей²⁸. Приемному сыну довелось завершать его труд. Сговорившись с Октавием, Агриппа продублировал систему сигнализации из *septem ova** семью бронзовыми дельфинами, которых он поместил на *spina* поочередно с яйцами, причем они поворачивались по завершении нового круга заезда²⁹. Позднее Август привез из Гелиополя, чтобы поместить его в центре, обелиск Рамзеса II, который украшает сегодня Пьяцца дель Пополо. А над *cavea* со стороны Палатина он возвел для себя, своего семейства и гостей парадную ложу, или *pulvinar*, упомянутую в его *Res gestae*: с самых первых шагов империи она представляла собой в глазах римлян, раздавленных таким великолепием, первый набросок будущей *kathisma*** византийских императоров на ипподроме в Константинополе³⁰.

Сколько можно судить, Август все же не выстроил каменных скамей для всех присутствующих в цирке, потому что в его правление ему пришлось, перейдя на наиболее угрожаемое место, успокаивать толпу, встревоженную подозрительным треском: возможно, без этого проявления мужества и присутствия духа со стороны императора толпа поддалась бы своим страхам

* Семи яиц.

** Императорская ложа в цирке.

и спровоцировала толкотней ту самую беду, которой опасалась³¹. Первые каменные места, как кажется, были устроены для сенаторов Клавдием, когда он сменил деревянные *metae* на бронзовые золоченые столбы, а кроме того, перестраивая *carceres*, заменил мрамором туф³². Другие каменные скамьи приготовил всадникам Нерон, когда он, восстанавливая Большой цирк после пожара 64 года, воспользовался этим ремонтом для того, чтобы одновременно, засыпав Эврип, увеличить скаковое поле. Также были расширены *cavea*, снабженные теперь новыми скамьями, и *spina*, отныне достаточно широкая для того, чтобы в ней поместились выкопанные Нероном бассейны: в них-то и падала вода, извергавшаяся бронзовыми дельфинами во время представления: *delphines Neptuno vomunt*³³. Наконец, Домициан, а затем Траян завершили расширение *cavea*. Первый исполнил это с помощью камней, извлеченных при разборке навмахии по соседству с Золотым домом*. Второму пришлось для этого еще сильнее зарыться в холмы: это было связано с таким объемом работ, что Плиний Младший специально о нем говорит в своем «Панегирике»: это увеличило количество мест на пять тысяч³⁴.

Так Большой цирк, имевший 600 метров в длину и 200 в ширину, приобрел колоссальные размеры и декоративное оформление, более не менявшиеся до самого окончательного его разрушения³⁵. Взгляду со стороны открывались замыкавшие его по верхнему краю кривые трехэтажной аркады, которой он был обнесен. Аркады были облицованы мрамором, а их наложение друг на друга напоминало решение, столь восхищающее нас в Колизее. Под кровлей этих аркад находили убежище кабатчики, торговцы жареным мясом, пирожники, астрологи и проститутки. Что больше всего поражает внутри, там, где скаковое поле устлано теперь песочной подушкой, в которой подчас поблескивают золотистые чешуйки горной зелени**, так это исполинская величина

* Грандиозный дворец, выстроенный Нероном после пожара Рима в 64 году.

** Как пишет Светоний (Калигула, 18), Калигула из эстетических соображений посыпал цирк слоем киновари и буры (горной зелени).

cavea, нависающей вдоль Палатина, под императорским *pulvinar*, а также, прямо напротив, вдоль Авентина — три его яруса скамей. Первый, нижний ярус имел сиденья из камня; второй — сиденья из дерева; третий, самый верхний, как кажется, имел лишь стоячие места. «Регионарии» IV века бестрепетно дают цифру 385 тысяч мест. Несомненно, эти завышенные сведения следует несколько скорректировать, придерживаясь, как бы то ни было, 255 тысяч сидячих мест, которые получаются при суммировании свидетельства Плиния Старшего для эпохи Флавиев с той прибавкой, которую приписывает Траяну Плиний Младший. Даже с учетом такого уменьшения грандиозность этой цифры приводит в замешательство.

Подобно Олимпийскому стадиону в Берлине, Большой цирк, в дни наплыва народа, являл сам по себе некий призрачный и чудовищный город, каким-то чудом вселившийся в Вечный город. Но что было в нем наиболее удивительно, так это хитроумность деталей, которые обеспечивали его функциональность. По коротким сторонам друг другу гармонично противостояли две арочные стены. Та, что на востоке, в направлении Целия, прерывалась триумфальной аркой в три проема, которую в 81 году до н. э. освятил Домициан в ознаменование победы своей династии над иудеями. Под этой аркой проходила процессия *pompa circensis**. Та, что на западе, в направлении Велабра, была заполнена на уровне первого этажа двенадцатью *carceres*, в которых лошади и экипажи, в преддверии того, чтобы выстроиться на белой стартовой линии, ждали момента, когда упадет веревка, натянутая между двумя мраморными гермами перед каждым из двенадцати ворот. А на этаже поверх *carceres* стена была занята трибуной, выделенной для председательствовавшего на играх курульного магистрата, а также его представительной свиты. *Spina*, имевшая 214 метров в длину, определяла окружность арены, переменная ширина которой (87 метров у *meta prima*, всего лишь 84 метра у *meta secunda*) делала еще более затруднительным и рискованным преодоление кругов дистанции, каждый из которых составлял 568 метров.

* Торжественное цирковое шествие.

Это-то и импонировало толпе римлян: трудности, подхлестывавшие их эмоции; потому-то они и были без ума от этих зрелищ, в которых все соединялось воедино, дабы подогреть любопытство и вызвать упоение: кишение громадной толпы, в которой переживания каждого увлекались вслед за переживаниями прочих; непостижимая величественность декора, с витающими в воздухе ароматами и переливающимся многоцветьем праздничных туалетов; святость древних религиозных церемоний; самоличное присутствие августейшего лица; препятствия, которые необходимо преодолеть; опасности, которых следует избежать; подвиги, которые необходимо совершить для победы; непредвиденные перипетии каждого из этих заездов, которые подвергают испытанию могучую красоту чистокровных коней, богатство их упряжи, совершенство выучки и, в первую голову, ловкость и отвагу возниц и наездников.

По мере того как цирк наращивал размеры и совершенствовал структуру своих частей, дополнялась и обогащалась также и сама последовательность заездов. Подобно тому как однодневные *ludi* сменились недельными, девятидневными и даже пятнадцатидневными, происходило наращивание программы также и каждой отдельной *ludus*. Заезд должен был включать семь кругов³⁶. Однако с переходом от республики к империи число заездов за день постоянно возрастало, а при империи оно росло от одного правления к другому. При Августе в день проводилось всего только двенадцать заездов. При Калигуле их число возросло до 34³⁷, а при Флавиях — до 100. Опасаясь, что их невозможно будет провести до наступления кромешной ночи, Домициан уменьшил число кругов, обязательных для каждого заезда, до пяти³⁸. Произведем подсчет: 5 кругов, или *spatia*, на заезд, или *missus*, составляет 5 раз по 568 метров, или 2840 метров. Сотня *missus* дает в результате 284 километра! Если учесть перерыв, наступавший в полдень, и паузы, неизбежно разделявшие заезды, приходится согласиться с тем, что день оказывался забитым полностью с самого восхода и вплоть до заката.

Однако римлянам это никогда не прискучивало, да, впрочем, само разнообразие *ludus*, которые

предлагались их вниманию, предупреждало наступление пресыщения. Интерес к простым заездам лошадей подогревался всевозможными акробатическими упражнениями, для которых они служили предлогом. То жокей управлял двумя лошадьми сразу и должен был перепрыгивать с одной на другую: это были *desultores*; то они должны были, сидя на лошади верхом, проделывать упражнения с оружием, разыгрывая потешный бой; то им следовало, пустив лошадь галопом, последовательно занимать на ней положение верхом, стоя на коленях и лежа; то подобрать с земли, не слезая с лошади, брошенную на дорожку ткань, или, совершив удивительный прыжок, одним махом перескочить вместе с ней в колесницу, запряженную четверкой. Что касается бегов экипажей, они различались типами упряжи: в две лошади — биги; в три лошади — триги; в четыре лошади — квадриги; иногда бывали упряжки в шесть, восемь и десять лошадей (*decemiuges*). И каждая из этих запряжек подавалась как нечто единственное и неповторимое — на это работали и торжественность их выезда, и выставление убранства напоказ. Сопровождавшийся звуками трубы сигнал к старту давал консул, претор или эдил, которые председательствовали на играх, бросая на арену с высоты трибуны белую салфетку. Жест был решителен и окончателен; впрочем, стоило поглядеть и на фигуру того, кто его исполнял. Поверх пунцовой, такой же, как у Юпитера, туники он был укутан в вышитую тирскую тогу, «широкую, как занавес». Ходячий истукан, он держал в руке посох слоновой кости, «наверху которого красовался приготовившийся взлететь орел», а на голове у него была корона с золотыми листьями, столь громоздкая, что «находившийся тут же раб или шут должны были ему помогать ее поддерживать»³⁹, и такая увесистая, что стоило претору Павлу отделить от нее один листочек, этого оказалось достаточно, чтобы Марциал изготовил из него драгоценный кубок⁴⁰.

Экипажи у его ног, прежде чем устремиться вперед, занимали полученные по жребию места, сохраняя неизменный порядок и ослепительный вид. Всякий из них с честью представлял конюшню, или *factiones*, меж

которыми они были распределены. Конюшни учреждались, чтобы нести колоссальные расходы, сопряженные с отбором и обучением участников, как животных, так и людей, и чтобы получать, в виде более или менее солидной компенсации, премиальные, которые выплачивались победителям председательствующими магистратами, зачастую со щедрой прибавкой от императора. Поскольку можно сомневаться в том, что размеры скакового поля позволяли с удобством разместиться более чем четырьмя квадригам одновременно, ясно, что, как правило, насчитывалось всего только четыре *factiones*, а впрочем, они зачастую (по крайней мере начиная со II века н. э.) группировались друг против друга по двое: с одной стороны Белые (*factio albata*) и Зеленые (*factio prasina*); а с другой — Синие (*factio veneta*) и Красные (*factio russata*), чья площадка для дрессировки, как кажется, находилась на месте нынешнего дворца Фарнезе⁴¹. Каждая из этих *factiones*, помимо возниц (*aurigae, agitadores*), которые оспаривали между собой главный приз, содержала многочисленный штат конюхов и тренеров (*doctores* и *magistri*), ветеринаров (*medici*), портных (*sarcinatores*), шорников (*sellarii*), распорядителей конюшен (*conditores*) и их помощников (*succonditores*)*, чистильщиков и поильщиков (*spartores*), которые сопровождали животных в *carceres, iubilatores*, чья роль состояла в том, чтобы радостными криками усиливать боевитость экипажей.

Конь выступал из стойла с венком на голове и высоко подобранным хвостом, завязанным в узел, с усыпанной жемчугами гривой, со сбруей, украшенной блестящими металлическими бляхами и амулетами, с наброшенным

* Хотя Ж. Каркопино переводит *conditores* как «охранники конюшен», а *succonditores* — как «конюхи» (непонятно, впрочем, чем эти конюхи отличаются от упомянутых выше), следует сказать, что роль тех и других совершенно не прояснена. Понятно лишь, что *succonditores* — лица, подчиненные и зависящие от *conditores* (как русское «подрядчики» и «субподрядчики»). Наш перевод пробный и неокончательный. Неясна и функция нижеупомянутых *spartores* и *iubilatores*, хотя автор их также переводит (а следом за ним и мы) — вероятно, гадательно. Следует сказать, что все эти термины встречаются лишь в эпиграфических памятниках (где контекст сжат или отсутствует), почему и непонятны.

на шею гибким хомутом и трензелем цветов конюшни. И пока он в нетерпении переступал ногами, все взоры обращались на возницу, взошедшего на колесницу и стоявшего на ней в полный рост, посреди обступивших его слуг. Голову возницы увенчивал шлем, в руке он держал кнут, лодыжки и бедра были обвиты ремнями, одет он был в плащ цветов своей *factio*, а вокруг пояса обмотаны вожжи, которые он в случае падения должен был обрезать висевшим на поясе кинжалом. Публика приходила в восторг еще до того, как начинался заезд. Все в беспокойном восхищении взирали на экипажи, которым отдавали предпочтение. На ломящейся от зрителей трибуне между соседями и соседками, притиснутыми друг к другу, полным ходом шли обсуждения: они оживленно обменивались прогнозами на предстоящие заезды. Впрочем, эта сдавленная толпа, перетасованная волею случая, была не лишена очарования для тех, кто в ней оказывался: в ней прелестницы приискивали себе мужа, а ветреницы — приключения. Еще во времена республики очаровательная разведенка Валерия, сестра оратора Гортензия, вырвав нитку из тоги Суллы с тем, чтобы приобщиться к его неизменному везению, в последний раз заставила сердце диктатора забиться чаще. А уже при империи Овидий в «Искусстве любви» не преминул посоветовать своим ученикам посещать цирк, где предоставляется столько изящных поводов познакомиться посреди столь приятных предшествующих заездам бесед, а затем — в том возбуждении, которое возникает с их началом⁴².

Это возбуждение овладевало публикой, стоило ей только завидеть пыль из-под колес экипажей, и до тех пор, пока позади не оставался последний прямой отрезок, зрители обмирали от страха и надежд, от неуверенности и страсти. В какой ужас повергала их малейшая задержка! Какой восторг, когда веховые столбы были благополучно пройдены! Поскольку *metae* всегда находились с левой стороны колесниц, успех маневра зависел, что касается квадриг, от гибкой мощи двух лошадей, именовавшихся *funales*^{*}, которые взамен того, чтобы быть припряженными к ярму, как две средних,

* Пристяжные.

были к ним соответственно пристегнуты веревкой (*funis*): правая *funalis* — с правой, атакующей стороны, но прежде всего *funalis* левая — за ось. Если колесница подходила к поворотной тумбе слишком близко, она могла разбиться о нее. Если же поворот оказывался, напротив, чересчур уводящим от нее, колесница утрачивала преимущество либо оказывалась задетой той, что шла за ней, подвергаясь опасности потерпеть «кораблекрушение». *Agitatores* раздирали зверские, противоположные друг другу порывы: вперед, чтобы понукать и направлять своих скакунов; и назад, чтобы избежать столкновения с колесницей, которая старалась их нагнать. Какое же облегчение испытывал возница, достигнув цели, десять раз избежав столкновения с тумбами, сохранив преимущество или его завоевав, несмотря на предательские изъяны скаковой дорожки и происки соперников! Надписи, в которых он увековечит свои победы, не оставят никакого сомнения насчет условий, при которых он их одержал: он сразу вышел вперед и победил — *occipavit et vicit*; он переместился со второго места на первое и победил — *successit et vicit*; либо он был в заезде аутсайдером, которого никто уже ждал, однако в последнюю секунду он одержал над всеми верх — *erupit et vicit*. Победителей встречает буря приветственных криков, и толпа с восторженным шумом окружает возниц и их животных.

Лошади, которых приобретали на заводах Италии, Греции, Африки, но прежде всего Испании, проходили дрессуру в течение трех лет, а в пять лет начинали принимать участие в состязаниях. Здесь использовались как кобылы, которых впрягали в ярмо, так и чистокровные жеребцы, пристегивавшиеся к колеснице веревками. У каждого животного была родословная; имелись и послужной список, и завоеванная в народе популярность — столь распространенная, что она перелетала из уст в уста вплоть до самых границ империи, и столь прочная, что ее отзвуки достигли даже нас. Их прославленные имена были написаны по бокам ламп, которые лепили гончары (*Coraci, nica**)⁴³, и на мозаичных полах, открытых в провинциальных домах, как в тех нумидий-

* Побеждай, Коракс!

ских термах, владелец которых Помпеян признался в своих нежных чувствах к коню Полидоксу: «Победишь ты или нет, мы любим тебя, Полидокс! — *Vincas, non vincas, te amamus, Polydoxe!*⁴⁴» Мы продолжаем их читать на камне, на котором увековечена память о коне *Tuscus*, который брал первый приз 386 раз⁴⁵, или о коне *Victor*⁴⁶, который оправдал свое имя 429 раз; но они могли быть выгравированы и на бронзовых пластинках, которые их неприятели уснащали проклятиями и доверяли мщению божеств преисподней на дне гробниц, из которых мы их теперь извлекаем⁴⁷.

Слава, причем несравненно большая, была ведома также и их возницам. Хоть они и происходили из низов, по большей части из рабов, которых могли освободить после нескольких одержанных побед, от приниженного положения их избавляла завоеванная репутация, а также состояния, которыми они стремительно обзаводились, присоединяя к подаркам, получаемым от магистратов или от императора, громадные оклады, истребованные от *domini factionum*^{*} под страхом перехода к соперникам⁴⁸. В конце I — первой половине II века н. э. Рим гордился этими первоклассными возницами, именовавшимися здесь *miliarii* (тысячники), но не потому, что они были миллионерами, а потому, что взяли первый приз по меньшей мере тысячу раз: Скорп 1043 раза, Помпей Эпафродит — 1467 раз, Помпей Мускюз^{**} — 3559 раз и, наконец, Диокл, которому после того, как он одержал 3 тысячи побед на бегах двоекбиг и 1462 победы на бегах квадриг, то есть среди еще более престижных экипажей, достало рассудительности, чтобы около 150 года н. э. покинуть арену с 35 миллионами сестерциев⁴⁹. Фридлендер сопоставил эти результаты и заработки с теми, что показывали жокеи Эпсума в конце XIX века: Вуд, скончавшийся мультимиллионером в 29 лет, или Арчер, завоевавший за 6 лет выступлений 1172 приза и 60 тысяч фунтов стерлингов^{***}. Однако, будучи равны нашим современникам

* Хозяев конюшен (команд).

** Или Мускулос, то есть «жилистый», «мускулистый».

*** Похоже, кто-то — или Фридлендер или Ж. Каркопино — перепутал Вуда и Арчера. Это Фредерик Арчер (1857—1886) покончил с

числом побед и полученным за них вознаграждением, античные жокеи Рима превосходили их престижем и почестями, которые их окружали.

В Городе было принято гордиться их проказами, нисколько не осуждая, и если, к примеру, им приходило в голову, потехи ради, поколотить или даже обобрать прохожих, стражи порядка закрывали на это глаза⁵⁰. На стенах вдоль улиц, в помещениях *insulae* в бесчисленных экземплярах красовались их портреты, или, как пишет Марциал, «блестел позолоченный нос Скорпа»:

Aureus ut Scorpi nasus ubique micet...⁵¹

Их имена не сходили с уст всякого и каждого⁵², и если кто-то из чемпионов умирал, придворные поэты, привычные петь дифирамбы императору, не считали, что роняют престиж своей лиры, посвящая памяти преставившегося кучера проникновенные и изысканные слова прощания:

В горе пусть сломит свои идумейские пальмы Победа,
Голую грудь ты, Успех, бей беспощадной рукой!
Честь пусть изменит наряд, а в жертву пламени злому
Слава печальная, брось кудри с венчанной главы!
О преступление! Скорп, на пороге юности взятый,
Ты умираешь и вот черных впрягаешь коней.
На колеснице всегда твой путь был кратким и быстрым,
Но почему же так скор был и твой жизненный путь?⁵³

Необычайно высокий престиж, которым пользовались в Риме возникшие, вероятно, объясняется присутствием им особыми телесными и нравственными качествами; осанкой и силой, стремительностью и хладнокровием; изматывающими тренировками с ранних лет; опасностями, неразрывно связанными с их ремеслом, этими кровавыми *naufragia*^{*}, навстречу которым они шли с легким сердцем, нередко расставаясь с

собой в возрасте 29 лет; он одержал за свою продолжавшуюся 17 сезонов карьеру 2748 побед, некоторые его рекорды оставались непревзойденными 50 лет. Чарли Вуд выступал одновременно с Арчером и, судя по всему, был его моложе. Более подробной информации о нем отыскать пока не удалось.

* Букв. «кораблекрушение».

жизнью в цвете лет: Туск — в 24 года после 56 побед; Кресцент — в 22 года, заработав перед этим 1 миллион 600 тысяч сестерциев; Марк Аврелий Моллиций — в 20 лет после 125 побед⁵⁴. Но сила чувств, которые они внушали всему народу, восходила к гораздо менее чистому источнику. Связана она была в первую голову с азартом, поводом для которого служили бега и в чьей сфере жокеи были суверенными господами. Зрелища, героями и властителями которых они являлись, были неотделимы от *sponsio*, то есть от пари. «Делаются ставки на будущего победителя», — отмечает уже Овидий при описании Большого цирка в праздник⁵⁵. «Погоди, — дает совет своей книге Марциал, — погоди, пока тебе не удастся соблазнить читателя, которого уже не привлекают ставки на Скорпа»⁵⁶. Даже Ювенал допускает:

В цирк пусть идет молодежь: об заклад им прилично побиться,
Им-то идет — покричать, посидеть с нарядной соседкой...⁵⁷

Победа экипажа приводила к обогащению одних и обнищанию других. И перспектива выигрыша по пари оказывалась тем более притягательной для римской толпы, что она состояла из большого числа праздных людей. Ставя на цвета той или иной конюшни, на любимую *factio*, богатеи проматывали состояния, а бедняки — остатки своих «продовольственных пакетов». Отсюда взрывы шумного веселья и вспышки подавляемого гнева при объявлении победителей. Отсюда хор заявляемых во всеуслышание похвал и подспудных проклятий, окружавшие лошадей-фаворитов и испытанных возниц. И потому-то, дабы успокоить слишком острое разочарование и предупредиться от подвохов приближающегося мятежа, по завершении представления устраивалось пиршество, *epulum*, а в ходе его — *sparsiones* и *missilia*, этот дождь лакомств, наполненных монетами кошельков, «ордеров» на корабль, на ферму, на дом, который, по воле Агриппы, Нерона, Домициана, проливался в цирке на зрителей и приносил самым шустрым среди них реванш и утешение⁵⁸. Отсюда, наконец, и эта чудовищная пристрастность к *factio*, будь то

за или против них, которую проявляли императоры, бывшие еще и заядлыми игроками, начиная с Вителлия, который казнил оппонентов своих «синих», и вплоть до Каракаллы, приговорившего к смерти возникших «зеленых».

Несомненно, в ту эпоху, где мы пребываем теперь, ни Траян, ни Адриан не впадали в это преступное безумие; и уже недалеко то время, когда Марк Аврелий, философ, будет себя поздравлять с тем, что безразличен к «играм»⁵⁹. Однако множество их подданных остаются одержимыми ими, и лучшие среди императоров пользовались этим для их порабощения. Бега, обеспечиваемые гражданам императорами, — таков теперь их барыш, некогда доставлявшийся им политикой. Состязательный процесс переместился с форума в цирк, чьи команды заменили прежние партии. Несомненно, это признак нравственного упадка, который, понятное дело, заставлял сокрушаться и патриотическую гордость Ювенала, и возвышенную мудрость Марка Аврелия. Но в то же самое время это отвлекающее средство от потребности масс в беспокойствии и возбуждении, которой они страдают; и императорскому режиму, по крайней мере, удалось использовать его в интересах собственной стабильности и общественного спокойствия.

Театры

Если верить эрудитам, при республике в программу крупных игр, объединенных годовым циклом, входило больше сценических представлений, нежели бегов⁶⁰. Однако установить фактическое соотношение между ними очень затруднительно⁶¹; и даже если оно было именно таким вначале, при империи оно, вне всякого сомнения, изменилось на обратное. Тогда в римской системе ценностей *circenses* взяли верх над трагедиями, комедиями и тем, что пришло им на смену позднее. Плиний Младший, который вовсе не говорит нам о повальном увлечении своих современников театром, сожалеет о важности, которую придает «ничтожнейшей»

накидке* «не только чернь, чьи туники еще ничтожнее», но и люди, считающиеся изысканными, претендующие на «серьезность». «Когда я думаю, — говорит он, — об этом ничтожном, глупом, однообразном развлечении, пригвождающем их, вечно до него охочим, к их местам, мне отрадно, что меня это вовсе не радует»⁶².

Если бега завоевали элиту еще в то время, нам нетрудно представить притягательность, которой они обладали для простого человека, чьи амбиции обычно не простирались далее того, чтобы иметь доход, достаточный для обладания двумя крепкими рабами, которые, нося его на своих плечах, позволяли ему до конца жизни «занимать безопасное место в бушующем цирке»⁶³. Так что Траян несомненно правильно понял желание подавляющего большинства своих подданных, когда в 112 году, задумав вознаградить их внеочередными *ludi*, он оплачивал им цирк в течение 30 дней подряд, а театр — всего только 15 дней⁶⁴. Верно, впрочем, и то, что «Остийские фасты», которым мы обязаны этим сообщением, прибавляют, что представления эти устраивались на трех сценах сразу. Но какой бы вместительности они ни были, три римских театра пять раз уместились бы только в *cavea* (трибуне) Большого цирка. Амфитеатр Помпея, освященный в 55 году до н. э. северо-восточнее цирка Фламининов, там, где изгибы Пьяцца ди Гротта Пинта все еще, как это можно видеть посейчас, продолжают описывать его контуры, вмещал при своем диаметре в 160 метров, 40 тысяч *loca*, что, надо полагать, ограничивает число сидячих мест в нем до 27 тысяч⁶⁵. Амфитеатр Бальба, заложенный в 15 году до н. э. под нынешней Монте деи Ченчи, насчитывал 11 510 *loca*, то есть 7700 сидячих мест. Наконец, спроектированный при Юлии Цезаре и завершенный уже архитекторами Августа в 11 году до н. э. амфитеатр Марцелла, урбанистические конструкции которого на Виа дель Маре заявляют о себе внушительными массивами травертина и гармоническим сочетанием деталей (ныне его венчает дворец Сермонета), вмещал, при диаметре в 150 метров, всего только 20 500 *loca*, или 14 тысяч сидячих мест. Следовательно, в этих

* Имеется в виду плащ возничего.

трех театрах могли разместиться, в самом лучшем случае, 60 тысяч зрителей. Цифра ничтожная, если сравнить ее с 255 тысячами мест, определенными нами для Большого цирка. Цифра поразительная в сравнении с вместительностью величайших театров современности: с 2156 местами Гранд-Опера в Париже, с 2900 местами Сан-Карло в Неаполе, с 3600 Ла Скала в Милане и даже с 5 тысячами мест театра «Колон» в Буэнос-Айресе. Самый маленький из театров императорского Рима был все же вдвое больше крупнейшего из американских, и уже только на основе этих данных можно сделать вывод, что хотя любовь римлян к театру была не столь всепоглощающей, как их страсть к конским ристалищам, сцена их все-таки также увлекала. Чтобы удовлетворить эту любовь, императоры инициировали или финансировали возведение каменных театров, тем более обременительное, что «театральный сезон», охватывавший период между *ludi Megalenses* и *ludi Plebei*, длился только с апреля по ноябрь⁶⁶ и что в течение этого усеченного периода представления устраивались лишь по определенным дням, и потому, несмотря на стремительное ее вырождение, эта страсть утасла окончательно только после империи: ведь театр Помпея, восстанавливавшийся при Домициане, Диоклетиане и Гонории, подвергся этой операции в последний раз стараниями короля остготов Теодориха в период между 507 и 511 годами.

На первых порах испытываешь искушение превознести римлян за это постоянство: в нем, мнится, выразилась склонность к драматическому искусству, которой достало бы на то, чтобы обеспечить славу Древней Греции, в латинском же языке она иллюстрируется именами Акция и Пакувия, произведениями Плавта и Теренция. В действительности же то, что произошло с афинянами, приключилось и с римлянами, и между тем как Рим принялся возводить постоянные театры, и мир, которым он правил, покрывался, по его образцу, этими, подобными римским, строениями, чьи внушительные размеры и совершенство формы так нас восхищают не только в Италии и Галлии, но и в Ликии, Памфилии, триполитанской Сабрате, само драмати-

ческое искусство, для которого они предназначались, умирало, словно продолжение его существования было изначально несовместимо с приходом в него народных масс. Дни представлений все так же заполнялись конкурсами, однако теперь в них состязались одни лишь руководители труппы (*domini gregis*). Творчество иссякло. Последние трагедии, написанные для постановки, «Фиест» Вария и «Медея» Овидия*, вышли в свет еще в правление Августа; а позднейшими новыми комедиями, цитаты из которых встречаются в литературе, явились сочиненные Луцием Помпонием Бассом в принципат Клавдия**.

Начиная с времени Нерона те литераторы, которые упорствовали в желании сочинять драматические сочинения, удовлетворялись тем, чтобы читать их, подобно Сенеке с его трагедиями, в *auditoria*, перед такими же интеллигентами, как они сами. С конца I века до н. э. публику кормили почти исключительно прежним репертуаром. К тому же при громадных размерах залов под открытым небом, посреди зрительской суеты и гомона публика больше и не была в состоянии следить за тонким развитием сюжета в стихах, кроме как при условии, что во всех подробностях знала его заранее, поскольку уже видела, как он развертывался перед нею прежде. Отдельные перипетии сюжета становились ей понятны благодаря подсказкам, оживленным в памяти зрителей в прологе, а также раз навсегда установленным знакам, ориентировавшим их умы. Этими знаками служили устрашающие или веселые маски, цвет которых, коричневый или белый, определял пол персонажей, между тем как их костюмы, исполненные в греческом или же римском стиле, определяли образ их действий и социальное положение: белые для стариков, разноцветные для молодых людей, желтые

* Хотя Квинтилиан и Тацит и говорят о «большом успехе» «Медеи», существует мнение, что также и эта пьеса (от нее дошли лишь две строки) в силу своей подчеркнутой риторичности не предназначалась для театра, тем более что сам Овидий (Печальные элегии, V, 27) отрицает, что писал что-либо для театра.

** Никакими сведениями о Помпонию мы не располагаем. Согласно Иерониму, однако, расцвет его творчества пришелся на 89 год н. э., так что указание Ж. Каркопино не вполне точно (Клавдий правил в 41—54 гг.).

для куртизанок, пурпурные для богачей, красные для бедняков, короткая туника для рабов, хламида для солдат, скатанный паллий — для паразитов, а пестрый — для сводников. Из-за таких трафаретных условностей сам спектакль лишился всякого интереса, и публике оставалось только напрягать память (или же она вообще отказывалась понимать происходящее), так что она сосредоточивала свое внимание на игре актеров и на побочных обстоятельствах постановки. Римский театр перерос самого себя; он пал жертвой классической формы, служившей ему одеянием на протяжении почти трех столетий, но которую сами его нынешние размеры сделали теперь невыносимой. Он продолжал существование исключительно благодаря условностям, становившимся все более тяжкими, а справиться с ними ему удалось лишь в результате радикальных преобразований, начисто выключивших его из литературы.

В конце I века н. э., быть может, под влиянием эллинистического театра⁶⁷, в два этапа осуществилась эволюция трагедии, с логической неумолимостью преобразовавшая ее в конце концов в балетные па. Начиная с самой глубокой древности текст римских трагедий подразделялся на диалогические части (*diverbia*) и на речитативы и песни (*cantica*), которые нравились суровой римской публике тем, что давали ей расслабиться и сменить обстановку. Руководители труппы республиканского периода заставляли хор, чтобы в большей степени вовлечь его в действие, подняться с оркестры на сцену. Режиссеры времен империи ничтоже сумняшеся заставили хор участвовать в действии, рискуя разрушить его фантастическими декорациями и музыкально-лирическими заклинаниями. Они безжалостно сокращали традиционные рукописи, которые ставили на сцене ежегодно, и наконец до того урезали диалоги в них, что после их ножниц трагедия состояла лишь из более-менее ловко слеplенной последовательности ее лирических пауз, или *cantica*. Представим себе «Сиду», от которого остались одни стансы, «Аталию», сведенную к ее хорам, и мы начнем понимать метаморфозу, приключившуюся с имперской сценой.

Можно полагать, что наиболее известные из этих *cantica*, повторявшихся из поколение в поколение, были известны всем и каждому, притом что наизусть их никто не учил. На похоронах Цезаря толпа пела песню из *Armorum iudicium** Пакувия, который, как кажется, сочинил ее двумя столетиями прежде лишь для того, чтобы выразить нынешнее подавленное состояние людей: «Не для того ли я их спас, чтобы погибнуть от их рук?»

Men' servasse ut essent qui me perderent?⁶⁸

Вспоминается также, как во время Сатурналий 55 года н. э. Британик избежал ловушки Нерона, который, желая над ним поглумиться, вдруг повелел ему в конце праздника, куда Британик был приглашен наряду с компаньонами Нерона по непотребствам, выйти на середину пиршественного зала и что-нибудь пропеть. Юный вельможа не дал себя запугать. Вместо того чтобы промолчать или разразиться непристойностями, которых несомненно ожидали от него прочие сотрапезники, поскольку именно с ними они бы и выступили на его месте, он запел песнь, подходившую к его несчастью, поскольку герой, в уста которого она была вложена, сам был лишен отцовского трона и извержен из привилегированного состояния. Это был, как представляется Юсту Липсию, *canticum* из «Андромахи» Энния, наиболее красивые строфы которого сохранены для нас Цицероном в его «Тускуланских беседах»:

O Pater! O Patria! O Priami domus!^{69**}

Впечатлению, произведенному этой декламацией, было невозможно противиться, и даже за столом Нерона она вызвала «умиление, тем более искреннее, что ночь и удовольствие изгнали притворство прочь»⁷⁰.

* «Спор об оружии» — трагедия на тему соперничества Аякса и Одиссея за оружие Ахилла (сюжет, разработанный Эсхилом в несохранившейся одноименной трагедии).

** О отец! О родина! О дом Приама!

Те же чувства пробуждали в толпе *cantica* театраль-ных представлений. Со сцены звучали напевы мелодий, которые так долго волновали или укачивали публику, их поддерживала инструментальная полифония, а выигрышные моменты — подчеркивали чудесные декорации; но прежде всего мелодии оживлялись выразительными интонациями и живой жестикующей певца, благодаря чему спектакль выводил зрителей из апатии. С силой, умноженной присутствием этих тысяч мужчин и женщин, объединенных общими воспоминаниями и синхронной вибрацией, эти мелодии порождали в толпе эхо, возбуждавшее или успокаивавшее ее нервы и в конечном итоге сообщали сознанию мощь и сладость вечных эмоций. Детище несравненной греческой трагедии, растерзанная в ключья римская драма влачила существование посреди мрамора имперских театров, однако вместе с оперными мелодиями, возникавшими на этих развалинах, время от времени здесь вновь возрождалось ощущение чистого упоения искусством, некогда охватывавшее зрителей шедевров древности.

Вот только по причине своего рокового уклонения опера эта лишила себя всего, что еще связывало ее с поэзией. Законы жанра не переставали требовать, чтобы исполнитель *cantica* был солистом⁷¹. Они все в большей и большей мере перекраивались по мерке певца: на него падала исполнительская нагрузка и ему доставалась вся слава в случае успешного результата. Вокруг себя он терпел исключительно одних статистов: исполнявших пирриху* танцоров, приходивших в движение по его мановению и в такт с ним; *sympboniarii* (хористов), подававших ему реплики и подхватывавших исполняемый мотив; инструменталистов оркестра, который сменял его в ходе исполнения или ему аккомпанировал — кифаристов, трубачей, кимвалистов, флейтистов и гармонистов (*scabellarii***). То были всего лишь спутники его звезды. Это он наполнял сцену своими движениями и театр — своим голосом. Солист в одиночку полностью

* Военная пляска с вооружением.

** *Scabellum* (или *scabillum*) — скорее ударный инструмент вроде кастаньет, приводившихся в действие ног.

заполнял все действие — пением, пантомимой, танцем. Ценой суровой диеты, из которой были исключены кислые продукты и напитки, диеты, предписывавшей рвотные и очистительные средства, едва лишь легкая прибавка в весе угрожала фигуре, он продлевал молодость, сохранял изящество очертаний. И, храня верность наиболее нудной из дисциплин, он неустанно повторял гимнастические упражнения, сохранявшие силу мускулов, гибкость суставов, силу и очарование голоса⁷². Способный воплощать все человеческие типы, изображать все ситуации, солист становился тем, чьи подражания охватывают всю природу целиком, «пантомимом»* как таковым, который с помощью собственной фантазии создает вторую природу. Кроме этого, несмотря на то, что закон продолжает называть его «гистрионом» и называет «подлым», солист театра зачастую оказывается героем дня и любимцем женщин. Еще в правление Августа пантомим Пилад заполонил Город своей славой, претензиями и дрызгами. При Тиберии толпа затеяла потасовку, желая победы своим любимцам-пантомимам, между которыми разделились ее голоса, и драка вылилась в бунт, в результате которого распрощались с жизнью несколько солдат, центурион и трибун⁷³. Завидовавший их славе Нерон был тем не менее вынужден жестоко их наказать, чтобы остановить кровопролитие, вызванное их соперничеством. Однако ни он, ни его подданные уже не могли без них обходиться, и призвав их снова вскоре после изгнания, Нерон допустил их до ближнего круга своего двора, что явилось первым примером того вовлечения, которое было заклемено Тацитом под именем *bistrionalis favor*⁷⁴, того неистребимого и заразного, как болезнь (*morbus*)⁷⁵, поклонения, жертвой которого пала в конце I века — в объятиях пантомима Париса — императрица Домиция.

Невозможно оспаривать то, что среди идолов, которым поклонялся римский народ, присутствовали великие артисты. Например, Пилад I** во времена Августа,

* В буквальном переводе с греческого «пантомим» — всеподражатель.

** Многие римские артисты, вслед за ним, избирали себе это сценическое имя. Известны по крайней мере еще три Пилада.

вне всякого сомнения, облагородил пантомиму как таковую, жанр, родоначальником которого в Риме он и явился. Несколько историй с его участием свидетельствуют о его добросовестном отношении к профессии и глубине. Когда ученик и соперник Пилада, пантомим Гилас, репетировал в его присутствии роль Эдипа, выказывая в ней завидную уверенность, Пилад подошел к нему поближе и сказал без затей, просто чтобы вернуть к действительности: «Вспомни, Гилас, что ты слеп!» Как-то в другой раз Гилас играл перед публикой пантомиму, последней сценой которой было, по-гречески, изображение «великого Агамемнона», τὸν μέγαν Ἀγαμέμνονα. И вот когда Гилас, чтобы осуществить это завершение стиха в натуре, выпрямился во весь рост, Пилад не смог удержаться от того, чтобы не крикнуть ему прямо со скамьи *cavea*, где он сидел в качестве простого любопытствующего: «Но ты его играешь длинным, а не великим!»* Зрители, подхватившие его реплику на лету, заставили Пилада взойти на сцену, чтобы сыграть ту же пантомиму; и когда он подошел к тому месту, исполнение которого раскритиковал, то принял, не имея иного средства, вид обычного размышляющего человека, потому что для вождя характерно думать о более возвышенном, чем прочим людям, причем думать за весь мир⁷⁶. Пилад, во всяком случае, обладал чувством чистой красоты, той, которая, будучи доступна задушевному взгляду, расцветает в потаенных глубинах действительности.

Но вот преемники Пилада не были достойны его. Большая их часть отказалась от идеи стремиться к достижению мастерства одновременно в пении и танце, и точно так же, как у истоков римской трагедии можно было видеть, как Ливий Андроник, игравший собственные драмы, перестал декламировать, поскольку требования со стороны публики подорвали его голос, и ограничился тем, что исполнял жесты своей роли, между тем как певец зачитывал ее речитативом под звуки флейты⁷⁷,

* Ср. историю о Наполеоне, который адъютанту, вызвавшемуся помочь ему снять книгу с высокой полки и сказавшему при этом: «Позвольте вам помочь, сир: ведь я выше вас», ответил: «Не выше, а длиннее».

пантомимы эпохи Домициана и Траяна в своем большинстве желали быть всего только танцорами, оставляя хору распевать *cantica*, транслируя соответствующие ей чувства в свою поступь, позы и жесты. Точно так же как пение поглотило трагедию, так и музыка покорила танцу, и талант «пантомимов» выражался впредь лишь в немом языке их движений. Говорящим в них было решительно все, за исключением голоса: голова, плечи, колени, ноги, но прежде всего руки. Их виртуозность исторгла восхищенное восклицание Квинтилиана: «Их руки просят и обещают; они зовут и отпускают; они изображают ужас, страх, радость, печаль, сомнение, согласие, раскаяние, умеренность, отказ, число и время. Они возбуждают и успокаивают. Они зывают и одобряют. Они обладают способностью подражания, заменяющей слова. Чтобы вызвать в представлении болезнь, руки имитируют врача, который щупает пульс, а чтобы обозначить музыку, они располагают пальцы так, как это делает играющий на лире»⁷⁸. Во II веке н. э. пантомим достигает такого мастерства, что способен без помощи слов, как в «Пире Фиеста», на котором присутствовал Лукиан, изобразить одного за другим под аплодисменты публики, уже не упускающей ни одного из его намерений, Атрея и Фиеста, Эгисфа и Аэропу⁷⁹.

Вне всякого сомнения, Терпсихора* — одна из муз, и прочитав г-на Поля Валери, более невозможно не признавать поэтического волшебства танца. Прославляя тело, он возвышает душу. В приливе и отливе своих причудливых и упорядоченных прыжков он поднимает и утишает зыбь человеческих страстей, и в поистине божественные мгновения танец гибкостью своих звучных и подвижных линий воспроизводит гармонию самой Вселенной. Следует, однако, признать, что ошеломляющие трансформации Фреголи** вовсе не были ему внушены Терпсихорой свыше, и нет никакого сомнения в том, что крайностями собственной акробатики римские пантомимы умертвили искусство.

* Муза — покровительница танца.

** *Леопольдо Фреголи* (1867—1936) — итальянский актер и режиссер, прославился способностью к мгновенным изменениям сценического образа.

Прежде всего, они неосмотрительно перевернули систему ценностей. Начав с того, чтобы комментировать *cantica* своими подражаниями, они присвоили себе право подчинить их себе. Вместо того чтобы служить производству, они им всецело завладевают. Теперь уже руководители труппы, музыканты, либреттисты — это всего лишь их чернорабочие. Поэт почитает себя осчастливленным, если, как это случается в Риме, пантомим закажет ему и оплатит «Агаву»⁸⁰, однако это счастье покупается авторами ценой творческой свободы. Пантомимы создают законы, определяют мизансцены, диктуют стихи, насвистывают музыку и избирают сюжеты в зависимости от своих достоинств и недостатков, чтобы оттенить первые и скрыть вторые, выступая перед публикой, число которой вне всякого сомнения огрубело вкус. Наконец, и это важнее всего, они все в большей степени задаются целью не затронуть сердца, но поразить взоры, заморозить чувства или, напротив, их воспламенить. По сути, пантомимы знают лишь два жанра: «черная» драма, в которой они сеют среди публики ужас, и драма чувственная, которой они, не прилагая усилий, наверняка щекочат сладострастие зрителей, тут же становящихся соучастниками их преднамеренного эротизма. К первой категории, среди репертуара, большую часть составляющих элементов которого уже отметил Лукиан, относятся: «Пир Фиеста» и «Агава», впавшая в безумие и умертвившая собственного сына; «Ниоба», потерявшая голову среди своих умерщвленных детей; различные «Безумия», взятые из эпоса или из мифологии «Безумие Аякса» и «Безумие Геркулеса», в котором в утрирование впадал уже Пилад⁸¹. Что до второй категории, ее список не имеет конца. Тут и несчастные или преступные любовные истории Дидоны и Энея, Венеры и Адониса, Ясона и Медеи. Тут и сомнительное пребывание переодетого Ахилла среди дочерей Ликомеда на Скиросе. Это и чудовищные истории кровосмешения: «Кинир и Мирра», первое представление которой, как сообщает Иосиф Флавий, состоялось накануне убийства Калигулы⁸²; «Прокна и Терей», ее зять, отрезавший ей язык, чтобы заставить молчать, за что она отомстила ему, подав ему на обед тело Итиса, его собственного

сына, которого ему родила в законном браке Филомела, сестра Прокны*; «Макарей и Канака», его сестра, роль которой не постеснялся исполнить Нерон в ходе одного из своих скандальных выступлений⁸³, притом что на сцене Канаке приходилось рожать, а Эол швырял то, что она породила, своре своих собак. Еще чудовищней была «Пасифая», предлагавшая себя в критском лабиринте быку для случки.

Сюжеты в таком роде могли лишь огрубить или испортить зрителя, который то замирал от чисто физического страха, то ощущал, как по жилам, сопровождаемое смутным наслаждением, растекается пламя бесплодного желания. Зверская мимика приводила женщин в транс. При виде сладострастных жестов они впадали в величайшее волнение:

Тукция вовсе собой не владеет, а Апула с визгом,
Будто в объятиях, вдруг издает протяжные стоны,
Млеет Тимела (она, деревенщина, учится только)...⁸⁴

В таких условиях становится понятным, что из чувства уважения к святости своей власти Траян, который между тем, если верить злословию, испытывал чрезвычайно глубокую нежность к Пилладу II, великому пантомиму своего времени⁸⁵, был вынужден запретить, чтобы в будущем на сцене, отданной на откуп похоти, гистрионы все же осмеливались прерывать непристойные балеты, чтобы протанцевать в своем стиле хвалу правящему императору⁸⁶. Трагедия, преобразовавшаяся в оперу, а затем — в пантомиму, кончила тем, что низвела римский театр на уровень мюзик-холла.

Не менее радикальным было и проходившее, возможно, не столь стремительно вырождение комедии.

* Прокна и Филомела поменялись у автора местами: на самом деле Прокна — законная жена Терей, а Филомела — ее сестра (лишь в одном, уже средневековом, источнике они охарактеризованы, как у Ж. Каркопино). Варианты мифа имеются в отношении того, в кого превратились сестры: в основном говорится, что Филомела превратилась в соловья, а Прокна — в ласточку, но говорится и об обратном: Филомела, как безъязыкая, стала ласточкой, а Прокна — соловьем. Первая традиция гораздо популярнее: не случайно на поэтическом языке многих европейских литератур «Филомела» означает соловья.

Во II веке н. э. зрители еще ходили на пьесы Плавта и Теренция, однако делали это в большей степени отдавая дань традиции, нежели ради удовольствия. Если, как остроумно пишет Роберто Парибени, римляне отвернулись от трагедии, потому что «на их вкус, привыкший к жгучим приправам», «Эдип в Колоне» и «Ифигения в Тавриде» производили действие «ромашкового отвара»⁸⁷, вполне можно полагать, что умеренные специи «Менехма» и «Девушки с Андроса» казались им безвкусной преснятиной. Предпринятая Батиллом во времена Августа попытка омолодить комедию музыкой и танцами не пережила его самого. Поскольку возродить комедию не удалось, ее вовсе списали в утиль, заменив мимом, который уже прошел испытания в столицах диадохов, римлянам же, перенесшим его на свою почву в I веке до н. э., очень быстро удалось его приспособить к вкусам своей зрительской массы.

Мим (по-гречески μίμος, по-латински *mimus*) означает одновременно и жанр, и актера. Это буффонадный или буффонадно-драматический фарс, срисованный с действительности с максимальной точностью⁸⁸. Собственно говоря, это есть «кусочек жизни», с пылу с жару перенесенный на сцену, так что успех его определялся реализмом или, если угодно, все более и более явным натурализмом.

В миме все условности упразднены. Персонажи больше не носят масок. Актеры одеваются, как обычные горожане. Число их таково, как требует действие, и они образуют однородную труппу. Женские роли исполняют актрисы, чья дурная в смысле нравственности репутация утвердилась еще со времени Цицерона, который, будучи равнодушен к таланту Арбускулы и очарованию Кифериды, всецело готов защищать уроженца Атины, виновного в том, что похитил «*mimula*» (актриску), основываясь на освященном обычае праве муниципиев⁸⁹. Сюжеты заимствуются из самых заурядных буден, причем предпочтение явно отдается как можно более грубым темам с участием персонажей как можно более низких: *a diurna imitatione vilium rerum et levium personarum*⁹⁰. Как правило, они трактуются с гротескным подчеркиванием, точность кото-

рого доходит, как мы еще увидим, до непристойности и зверства. Допускалась в мимы и политика, подобно тому как это происходит в конце года с нашими «ревю». При республике мим зачастую отличался духом фрондерства, и на основе встречавшихся в нем аллюзий Цицерон ожидал начала реванша над деспотизмом Цезаря. При империи мим был вынужден перейти на сторону принцепса. Он насмеялся над лицами, впавшими при дворе в немилость. Мим Виталий бахвалился тем, что особенно преуспел в такой стрельбе по цели: «Тот, кого я копировал прямо у него на глазах, побелел от ужаса, когда увидел, что я в большей степени он, нежели он сам»⁹¹, и, по моему мнению, не было случайностью то, что мим, чаще всего исполнявшийся с 30 по 200 год н. э., «Лавреол» Катулла*, поставленный при Калигуле и хорошо известный Тертуллиану, доказывал судьбой, уготованной разбойнику, своему главному герою, что при хорошем правительстве злодеи несут наказание и последнее слово всегда остается за силами порядка.

Несомненно, в самой идее мима, в его презрении к условностям и в стремлении к простоте присутствовали плодотворные моменты возрождения. По крайней мере двое из авторов мимов конца I века до н. э., Децим Лаберий и Публилий Сир, создали произведения, в которых они выступали авторами и исполнителями, достойные литературы самого высокого уровня. Но чем больше росла слава мима, тем сильнее сужалась в нем роль текста. Великие мимы, которых я упомянул, были, подобно Мольеру, авторами, исполнявшими свои произведения. Мимы императорского времени были актерами, приспособлявшими к своей игре сценарии, созданные в воображении, и, смотря по моменту и настроению публики, они расцветивали их непредвиденными вариациями на основе объявленной темы. Мим мог внести в древнюю комедию достоинства, подобные тем, которыми «Комеди Франсез» обязана комедии дель арте. На деле же она заменила ее такими постановками, импровизации которых напоминают «Петрушку на ярмарке» или клоунов в наших парижских

* Не путать с Гаем Валерием Катуллом (ок. 87 — ок. 54 до н. э.), знаменитым поэтом конца республики.

цирках, где слова имеют не больше значения, чем экранные титры, даже двуязычные — для развития действия наших фильмов.

Вообще говоря, нынешний кинематограф выпускает продукцию двух видов: фильмы приключенческие и любовные. Первые предлагают нам более-менее связную последовательность краж, убийств, совершенных при помощи кулака, ножа или револьвера, головокружительных погонь и бурных арестов, невыразимых катастроф и чудесных спасений. Вторые щедро наделяют нас томными идиллиями и бурными страстями, переходя в зависимости от желания зрителя от тяготины про простодушных молодоженов — к цинизму супружеских измен, от трогательной или пошлой сентиментальности — к распущенности обнажения тела и скабрёзности, разбиваемой длиннотами голливудских поцелуев, сценами свиданий и падений. Однако, каким бы поразительным ни выглядело это совпадение, точно те же компоненты входили 18 веков назад в рецептуру римских мимов. В тогдашнем Городе публика находила отраду в мимах Латина и Панникула, наполненных историями похищений, обманутых мужей, любовников, спрятанных в спасительном сундуке⁹², когда актрисы, поскольку это позволялось им тогда исключительно во время ночных игр Флоралий, взяли за обыкновение раздеваться донага (*ut mimae nudarentur*⁹³) с бесстыдством, которое вгоняет в краску Марциала⁹⁴. Или, напротив, публика предпочитала страшные мимы, персонажи которых обменивались затрещинами, где звучала площадная брань, звенели пощечины, от души сыпавшиеся на щеки участников, и где шуточные удары перерастали в реальное смертоубийство.

Если «Лавреол» не сходил со сцены на протяжении почти двухсот лет, то его долголетие объясняется зверством блиставшего в нем разбойника, поджигателя и душегуба, а также жестокостью наказания, когда благодаря разрешенной Домицианом финальной замене актёра на преступника, осужденного за уголовное преступление, главный герой испускал дыхание в муках, в которых уже не было ничего воображаемого — этот

смехотворный и жалкий распятый на кресте Прометей, раздираемый вбитыми в руки и ноги гвоздями и терзаемый клыками каледонских медведей, на съедение которым его отдавали. Это отвратительное зрелище несколько не вызывало возмущения зрителей. Ювенал слегка затрагивает его, без какого-либо негодования, в одной из своих сатир, а Марциал превозносит императора, сделавшего его возможным⁹⁵. Римлянам того времени мим, поставленный в таком виде, представлялся достигшим совершенства своих средств и изобразительных эффектов. И говоря по правде, этот ломоть жизни, вырезанный из живой, трепещущей плоти, с легкостью затмевал самые зловещие порождения, которые только дозволяются кинематографу благодаря фототрюкам. Но в то же время мим, подходя к завершению своего пути, решительным образом изгнал с римской сцены искусство вместе с человечностью. Он дошел до низшей точки извращенности, которой широкие массы Города поддались — вместо того чтобы испытывать от нее отвращение, — потому что после стольких лет гнуснейшей резни, совершавшейся в амфитеатрах, чувства людей огрубелись и опошлились, а инстинкты извратились.

Амфитеатр, залитый кровью

Когда мы ныне, через теперь уже почти две тысячи лет христианства, попадаем на арены, возникает впечатление, что мы перенеслись в античный ад. Как желали бы мы из уважения к римлянам выдрать из книги их истории этот лист, на котором омрачился, будучи забрызган несмываемой кровью, образ цивилизации, знаковые понятия которой были ими созданы, а живая действительность — распространена широко по свету. Нам уже недостаточно осуждать, мы более не в состоянии даже понимать то помрачение, в которое впал римский народ, преобразовав *titius*, это человеческое жертвоприношение, в праздник, радостно справляемый всем Городом. Из всех удовольствий, которые ему предлагались, он предпочитал убийство

людей, вооруженных с единственной целью убивать и быть убиваемыми у него на глазах. Еще в 164 году до н. э. этот народ покинул ради одного из таких гладиаторских поединков театр, где давали «Свекровь» Теренция. В I веке до н. э. народ сделался столь падок на такие представления, что кандидаты пытались победить на выборах, завлекая его на эти зрелищные побоища, и, чтобы обуздать их недешевые происки, сенату в 63 году до н. э. пришлось поддержать закон, заранее объявляющий недействительными выборы магистратов, в течение двух предшествовавших выборам лет финансировавших эти бои⁹⁶. Разумеется, претенденты на монархическую власть использовали их в своих честолюбивых целях. Это и Помпей, накормивший ими сограждан досыта⁹⁷; и Цезарь, вернувший им привлекательность благодаря ослепительной роскоши, которой он их обставил⁹⁸. Наконец, императоры, намеренно льстя этому убийственному пристрастию толпы, выковали из «гладиатуры» наиболее надежное, но также и наиболее зловещее орудие своего правления.

Начнем с Августа. За пределами Города он соблюдал распоряжения посмертных законов Юлия Цезаря и продолжал принуждать к устройству ежегодного *munus* муниципальных магистратов, которые, впрочем, были обязаны нести эту повинность практически в одиночку начиная с 27 года н. э., когда Тиберий запретил это делать частным лицам, чей доход был ниже «всаднического капитала» в 400 тысяч сестерциев⁹⁹. Он повелел преторам дважды в год исполнять соответствующую повинность в Городе (начиная с Клавдия преторов в этой роли сменили более многочисленные квесторы), вводя ее в некоторые пределы, установленные им на уровне 120 пар, сражающихся на представлении, что было снижено Тиберием до 100¹⁰⁰. Впрочем, это ограничение имело целью не столько сдерживать страсть подданных, сколько поднять престиж их суверена. Ибо если он таким образом регламентировал *editio munera** обычного рода, Август отдал всецело на собственное усмотрение устройство «внеочередных» *munera*, которые он трижды предлагал народу от своего собственного имени и пять

* То есть устройство игр.

раз — от имени своих детей и внуков¹⁰¹, и которым он присвоил вследствие ослепительного блеска собственных представлений своего рода фактическую монополию, готовую уже преобразоваться, как оно и случилось на деле после формальных запретов Флавиев, в монополию юридическую¹⁰². Итак, согласно указам Августа *munera* сделались столь же официальным и обязательным спектаклем, как и *ludi* в театре или цирке, причем спектаклем прежде всего императорским. В то же время империя наделила их грандиозными строениями, специально приспособленными к своему назначению, форма которых, сымпровизированная волей случая и повторенная затем сотню раз, представляется нам сегодня новым и могучим порождением императорской архитектуры: то были амфитеатры.

До Юлия Цезаря строители *munera* либо пользовались гостеприимством цирка, либо в спешном порядке возводили на Форуме загородки, которые разбирались уже на следующий день. В 53 или 52 году до н. э. Курион Младший, которого Цезарь тайно снабжал галльским золотом и чью кандидатуру в качестве трибуна он негласно поддерживал*, решил нанести ошеломляющий удар по воображению избирателей. Под предлогом оказания почестей манам недавнего скончавшегося отца он объявил сценические игры, дополненные *tipus*, и выдвинул оригинальную идею возвести в предвидении этого поразительного дня не один, но два деревянных театра, чрезвычайно просторных, соприкасавшихся вершинами замыкающих их кривых и помещенных на вертикальные поворотные валы. Предназначенные до полудня для сценических игр, они оставались таким образом развернутыми друг к другу спинами,

* Разумеется, Ж. Каркопино — специалист по Цезарю. Все же решусь осторожно заметить, что переход Гая Скрибония Куриона на сторону Цезаря сделался явным, и то постепенно, лишь в 50 году, на который Курион был избран народным трибуном. Насколько большую роль сыграли здесь деньги (говорили о громадных долгах Куриона, уплату которых Цезарь якобы взял на себя), сказать трудно. Возможно, Курион изменил прежней партии, руководствуясь политическим инстинктом. Но во времена сооружения своего двойного театра он наверняка был еще противником Цезаря (насколько убежденным — другой вопрос).

дабы шум одного представления не мешал другому. Ближе к вечеру, когда должен был начаться *munus* (и уже это подразделение программы указывает на то, что люди, которых с утра не отпускали дела, предпочитали лишиться комедий, но не гладиаторских поединков), можно было видеть, что театры вдруг повернулись вокруг оси и сошлись друг к другу лицом, так что их полукруги образовывали теперь единый овал, между тем как перегородки их сцен оказались отброшены, чтобы дать место единой арене. Эти эволюции до чрезвычайности занимали воображение зрителей, которые, проявляя безразличие к опасностям, которым их подвергали, были вне себя от восторга, оказавшись вовлеченными в эту волшебную трансформацию. Даже столетие спустя Плиний Старший все еще был в отчаянии от безумной опрометчивости этих шалопаев: «Вот сильнейший на земле народ, завоеватель Вселенной, подвешенный внутри машины и рукоплещущий опасности, которая над ним нависает!»¹⁰³ Разумеется, такая отвага достойна всякого сорвиголовы, но если задуматься, именно она дала начало всем на свете аренам.

В самом деле, для *munus*, предложенного Цезарем плебсу по случаю его четверного триумфа в 46 году до н. э., он сразу принял, без всяких механических ухищрений, расположение сдвоенного театра, измышленного его другом Курионом¹⁰⁴. Гениальный диктатор отыскал формулу, однако поскольку он приложил ее только к временной конструкции из дерева, честь ее реализации в долговечном камне принадлежит Августу, а писателям века Августа предстояло отыскать латинское слово, которое должно было впредь обозначать этот новый род памятников: *amphitheatrum*¹⁰⁵.

Самым древним из постоянных амфитеатров явился возведенный в Риме в 29 году до н. э. одним из приближенных императора Гаем Статилием Тавром. Расположенный к югу от Марсова поля, он был уничтожен пожаром 64 года н. э.¹⁰⁶ Почти сразу же Флавии решили заменить его другим, схожих очертаний, но увеличенных размеров. Веспасиан начал его строительство, Тит завершил его сооружение, Домициан — отделку. После 80 года н. э. ни землетрясениям, ни хищническому

использованию во времена Возрождения, когда его каменные блоки вновь пускались в дело во дворце Венеции, во дворце Барберини, в Капитолийском дворце, не удалось ни поколебать его внушительный вид, ни принизить величие. Лишь поцарапанный, но нисколько не поврежденный когтями времени, он столь же восхитительно красив, возвышаясь все на том же месте, где был воздвигнут восемнадцать с половиной веков назад — между Велием, Целием и Эсквилином, близ колосса Солнца, в поспешно засыпанной низине озера Золотого дома: *stagnum Neronis* (Нероново болото). Это амфитеатр Флавиев, чаще обозначаемый сегодня именем «Колизей», доставшимся нам от Средневековья. Проведя, начиная с 2 года до н. э., обширные и многозатратные работы на правом берегу Тибра, Август создал пару амфитеатру Тавра, приспособленному исключительно для сухопутных сражений. Это была предназначавшаяся для инсценировки морских битв «навмахия», внешний эллипс которой, определяемый осями в 556 и 537 метров, описывал вовсе не утрамбованную земляную площадку, покрытую песком, но водную поверхность с возвышавшимся посреди искусственным островом, а вокруг всего сооружения были разбиты парки и сады. Хотя навмахия Августа и занимала площадь, почти втрое превышавшую площадь Колизея, а сам Колизей, по крайней мере на первых порах, был приспособлен служить в качестве как арены, так и навмахии, уже очень скоро публика сочла, что этого недостаточно, и Траяну пришлось соорудить один за другим добавочный амфитеатр, *amphitheatrum castrense*^{*}, невдалеке от нынешней церкви Санта-Кроче ин Джерусалемме, и дополнительную навмахию к северо-западу от Замка Святого Ангела, *naumachia Vaticana*. От обеих навмахий и от *amphitheatrum castrense* сохранились почти только одни воспоминания. Однако вида того, что уцелело от Колизея, нам вполне достаточно, чтобы понять типичное устройство римских амфитеатров.

* Дворовый (императорский) амфитеатр, хотя иногда, вероятно, неверно, слово *castrense* понимают буквально, как «лагерный», толкуя в таком случае наименование как «амфитеатр при лагере (преторианцев)».

Возведенный из плотного и твердого травертина, блоки которого, извлеченные из карьеров Альбулы близ Тибура (ныне Тиволи), привозили в Рим по проложенной специально дороге в 6 метров шириной, Колизей образует весьма закругленный овал с осями в 188 и 156 метров, общей протяженностью 527 метров, и вздымает свои четырехэтажные стены на высоту 57 метров. Три первых этажа, вероятно скопированные с ротонды театра Марцелла, нависают друг над другом тремя рядами первоначально снабженных статуями аркад, которые отличаются меж собой только ордерами колонн, использованных в их пилонах: дорические, ионические, коринфские. Четвертый этаж, отсутствующий в театре Марцелла, состоит из сплошной стены, перегороженной на разных уровнях пилястрами с бордюром, причем получающиеся проемы попеременно то пронизываются окнами, то украшены бронзовыми щитами, повешенными сюда Домицианом (разумеется, впоследствии щиты исчезли). Сверху каждого окна приделаны три консоли, соответствующие стольким же отверстиям, пробитым в карнизе: они поддерживали основания мачт, на которых подразделение Мизенского флота в дни, когда ослепительно сияло солнце, вывешивало полотнища гигантского тента, дававшего тень бойцам на арене и зрителям в *cavea*. *Cavea* начиналась в четырех метрах выше уровня арены, защищенной бронзовой балюстрадой платформой, *podium*, на которой помещались мраморные места «привилегированных» — я бы сказал «абонированных» — зрителей, имена которых дошли до нас. За ними высились три яруса ступеней, или *maeniana*. Первый отделялся от *podium* и от второго двойным поясом их *praecinctions*, шедших по кругу горизонтальных проходов, обрамленных с боков невысокими стенками. Каждый из них делился наклонными коридорами, которые «извергали» сюда волны зрителей, откуда и происходит их название *vomitoria**. Первый ярус делился на 20 трибун, второй — на 16. Между вторым и третьим ярусами была возведена стена высотой 5 метров, прорезанная дверьми и окнами. Под террасой, связывавшей ее с вне-

* Букв. «рвотники».

шной стенкой, рассаживались женщины. Перегрины и рабы стояли на террасе: поскольку они не были допущены к раздаче входных «жетонов», или *tessera*, то не могли занимать места на скамьях.

Хотя «Регионарии» насчитывают в Колизее 87 тысяч *losa*, число сидячих мест здесь оценивается в 45 тысяч, а стоячих — в 5 тысяч. Еще в архитектуре Колизея можно выделить хитроумные приспособления, предназначенные им для входа и выхода этой громадной толпы. Четыре из 70 описывавших сооружение аркад, а именно те, которые находились на продолжении осей, были закрыты для публики и лишены каких-либо наружных знаков. Прочие были пронумерованы с I до LXVI. Войдя в Колизей, каждому из приглашенных магистратом или императором зрителей не оставалось ничего другого, как направиться к той, цифра которой была обозначена на *tessera*, а затем — к *maeniana*, трибуне, и скамье, указание которой также здесь имелось. Две концентрические стены между *cavea* и внешней стеной предопределяли, на первом этаже, двойную колоннаду, а на верхних этажах — галерею, предназначение которых было разноплановым, поскольку они подпирали в качестве аркбутанов и поддерживали *cavea*, обеспечивали доступ к лестницам, ведущим к *vomitoria*, и наконец давали толпе место для прогулок перед началом спектакля и во время антрактов — убежище от яркого солнца или ливня. Лучшими среди всех мест были, очевидно, находившиеся на уровне *podium* ложи, расположенные друг против друга на концах малой оси: ложа императора и императорской семьи на севере и, на юге, ложа городского префекта и магистратов. Однако можно утверждать, что даже *pullati*, то есть одетые в грубые одежды из ткани коричневого цвета бедняки, толкавшиеся локтями в «курытнике» на верхней террасе*, были в состоянии следить за перипетиями смертельных драм, происходивших на арене одна за другой.

Что до арены, то она со своими осями в 86 и 54 метра занимала площадь в 36 аров и была окружена металлической решеткой, отстоявшей на 4 метра от

* Игра слов: *pullus* по-латински цыпленок, птенец, одновременно — темный цвет, и еще все присущее простонародью.

цоколя подиума: решетка защищала публику от ярости диких животных, которых сюда выпускали. Между тем как гладиаторы входили через одну из аркад большой оси строения, звери уже заранее были загнаны в подвальные помещения арены. Действительно, этот подвал, после того как он был снабжен системой труб, позволивших в 80 году мгновенно залить арену водой и превратить амфитеатр в навмахию, был снабжен (вне всякого сомнения, в ходе сооружения *naumachia Vaticana* при Траяне) не только клетками каменной кладки, в которых содержали зверей в ожидании момента, когда их следовало выпустить на арену, но и целой системой пандусов и грузовых подъемников, через которые их быстро прогоняли на арену или мгновенно на нее поднимали. Разумеется, нельзя скупиться на похвалы архитекторам Флавиев: осушив *stagnum Neronis*, они смогли возвести здесь грандиозный и совершенный памятник, где, в самих деталях устройства, некогда одержала блестящую победу изобретательность их техники, основательность которой восторжествовала над столетиями; памятник, внушающий нам восторг или, точнее будет сказать, ощущение полноты, которое мы испытываем также в соборе Святого Петра в Риме, и столь громадной мощи, что она должна была бы нас расплющить, а также искусства, столь уверенного в себе, что безошибочные пропорции, на которых эта мощь балансирует, переплавляют ее в высочайшую гармонию. Но чтобы остаться под воздействием обаяния, которое внушает нам его вид, нам следует забыть бесчеловечные цели, которым служил этот памятник, и невыносимой жестокости представления, для которых императорские архитекторы некогда возвели этот шедевр.

В эпоху, в которой мы теперь находимся, организация кровавых игр, увы, была поставлена на самом высоком уровне¹⁰⁷. В италийских муниципиях, в провинциальных городах, местные магистраты, на чью долю ежегодно выпадает обязанность устройства *munera*, обращаются с целью исполнения своего долга к особого рода предпринимателям: *lanistae*. Эти обесславленные дельцы, чье ремесло заклеено в литературе

и у юристов тем же позором, что и ремесло сводников, или *lenones*, являются, говоря по правде, торговцами смертью. Ланиста передает труппу гладиаторов, или *familia gladiatoria*, дуовирам или эдилам, сторговавшись с ними о лучшей цене, для проведения схваток, в которых половина бойцов обычно погибает. В этой труппе, которую ланиста содержит на собственные средства, сходились вместе, живя в условиях каторжной дисциплины, как купленные им рабы, так и бедные изголодавшиеся горемыки, и промотавшиеся сыновья семейства*, которые, уверенные в обильном пропитании в его «тренировочной школе», *ludus gladiatorius*, прельщенные видами на вознаграждение и благополучие, доставленные победами, которые ланиста позволит им одержать, рассчитывая на премиальные, которые он им выплатит, если они будут еще живы при истечении заключенного договора, цинично сдали ему внаем свои тела и жизни, отказались от всех своих прав (*auctorati*) и были обязаны по его приказу без звука отправляться на бойню. Напротив того, в Риме ланист больше не было. Их профессия исчезла, будучи перехвачена самим императором, который отправляет те же функции через посредничество управляющих. Эти должностные лица имеют в своем распоряжении официальные строения, казармы *ludus magnus* (больших игр), возведенные, вероятно, при Клавдии, и казармы *ludus matutinus* (утренних игр), построенные при Домициане (те и другие располагались на Виа Лабикана). Кроме этого, имелись полчища диких зверей и диковинных животных, которых присылали императору подвластные ему провинции, а также цари, пребывавшие под его покровительством**, вплоть до индийских властителей: эта живность напол-

* Подразумевается лицо, составляющее пару к «отцу семейства», *pater familias*, главе семьи, на котором основывалась система римского права. В руках *pater familias* сосредоточивалась вся полнота имущественных и прочих прав, переходивших (как правило) после его смерти к сыну-наследнику. Но, разумеется, бывали и непутевые дети, о которых и идет здесь речь.

** В оригинале «цари-клиенты»: действительно, отношения патрон—клиент зачастую связывали также и римского императора с суверенами подчиненных или пока еще формально независимых, но покоренных власти Рима или сопредельных ему государств.

няла его зверинец, или *vivarium*, вне Пренестинских ворот и вблизи от них. Наконец, и что всего важнее, под властью этих чиновников находился личный состав настоящей армии бойцов, постоянно пополняемой в результате вынесения смертных приговоров и из военной добычи.

Составляющие эту армию гладиаторы подразделяются на инструкторов и учеников и изоштрены, в зависимости от своих физических данных, в различных вооружениях: самниты, которые имеют щит (*scutum*) и меч (*spatha*); фракийцы, защищающиеся небольшим круглым щитом (*parma*) и фехтующие кинжалом (*sica*); мурмиллоны (*murmillones*), на голове у которых шлем с изображением морской рыбы *turma*; обычно противостоящие последним ретиарии (*retiarii*), с их сетью и трезубцем. За исключением *sportulae*^{*}, идея которых зародилась в помраченном рассудке Клавдия — они заключались в бурных, чудовищной по краткости схватках, при которых с участниками удавалось разделаться с пугающей стремительностью в течение нескольких часов, все прочие *munera* обычно длились, как и игры, от рассвета и до сумерек, или даже, как это бывало при Домициане, до глубокой ночи. Поэтому так важно было их разнообразить, и гладиаторы были в равной степени обучены сражаться как на воде навмахий, так и на прочной почве амфитеатра; а на арене их то отряжали помериться силой с дикими зверями, и это была травля, или *venationes*, то схватиться друг с другом, и это были поединки «гопломахии»^{**}.

По данным литературных источников и материальной культуры нам известно много разновидностей *venationes*. Были среди них и вполне безобидные, состоявшие в показе прирученных и дрессированных животных: они внезапно нарушали монотонность побоища и

* Здесь: «краткие игры», устраивавшиеся Клавдием. Идея «корзинки» для раздачи нуждающимся (с этим значением слова *sportula* мы уже знакомы) пребывает и здесь, относясь уже не к «хлебу», но к «зрелищам».

** Схватка гладиаторов в полном тяжелом вооружении. Слово встречается в греческих источниках времен империи.

резни восхитительными цирковыми трюками, о которых с изумлением вспоминают Плиний Старший и Марциал. Тут могли быть и пантеры, кротко тянущие за собой парные повозки, в которые они были запряжены; львы, отпускавшие живым из своей пасти зайца, уже оказавшегося у них меж клыков; тигры, лизавшие поровшую их бичом руку укротителя; слоны, тяжело встававшие на колени перед императорской ложей или чертившие хоботом на песке арены латинские фразы. Бывали *venationes* ужасные, в которых люди, к счастью, вовсе не появлялись, а смертоносные поединки развертывались между дикими зверями: медведь против буйвола, буйвол против слона, слон против носорога. Бывали зрелища отвратительные, в которых люди не страдали физически, но в которых они, прячась за решетками или с высоты императорской ложи, как позднее Коммод, выпускали стрелы в животных, ревавших от дикой боли и заливавших арену кровью в ходе подлого избиения. Бывали *venationes* трогательные, когда арена внезапно украшалась лесным ландшафтом, и облагораживаемые мужеством и сноровкой гладиаторов. Разумеется, они рисковали жизнью в этой борьбе против пантер и львов, леопардов и тигров; однако, поскольку зачастую их сопровождала свора шотландских собак и они всегда были вооружены горящими факелами, рогатинами, луками, копьями и кинжалами, нависавшая над ними опасность была не больше той, которой подвергал себя сам император, к примеру Адриан, в ходе тех небольших военных вылазок, которыми по сути являлась охота в те времена. На кон ставилась только их честь, когда они либо увеличивали опасность и приканчивали медведя голыми руками вместо того, чтобы пустить в ход оружие, или ослепляли льва наброшенной на него накидкой, либо обостряли схватку с помощью жеста, который будут потом повторять испанские тореадоры, и раззадоривали быков, размахивая перед ними красной материей, либо всячески продлевали опасность во времени, избегая ее посредством живости уловок и проворства ухищрений, когда они, чтобы спастись от нападения хищника, взбирались на стену, или прыгали с шестом, или

заскакивали в один из тех закрытых турникетов с загородкой (*cochleae**), что были заранее заготовлены на арене, или проскальзывали в шаровые корзины, усеянные шипами, что обеспечивало им спасительное сходство с ежами (*ericius*).

Такая травля, *venatio*, которой обыкновенно вознаграждала народ щедрость императора ближе к вечеру, в конце *munera* и дабы их увенчать¹⁰⁸, бывала всего только чуть увеличенным изображением жестокой действительности античной охоты. И мы не можем упрекать амфитеатр за эти изящные и волнующие корриды, в которых подчас, как в больших маневрах, участвовала преторская кавалерия. Что нас в них шокирует, так это количество жертв, кровавые бани, в которые животные отправлялись целыми полчищами: 5 тысяч в один-единственный день *munera*, которыми Тит открывал Колизей в 80 году¹⁰⁹; 2246 и 2243 в двух *munera* Траяна¹¹⁰. Но эти боины, чей преувеличенный размах вызывает у нас отвращение и которые будут в конце III века н. э. отгалкивающе действовать на самих римлян¹¹¹, отвечали необходимости. Именно благодаря такому поголовному уничтожению императоры очистили свои государства от опасности чудовищ, так что в IV веке бегемот был вытеснен из Нубии, лев — из Месопотамии, в Гиркании не стало тигров, а из Северной Африки исчезли слоны. Благодаря *venationes* амфитеатра Римская империя распространила на цивилизацию благодетельность подвигов Геркулеса.

Но вот только, помимо этого, она и обесчестила ее всеми видами гогломахии, а также той формы *venatio*, относительно которой трудно определить, чего в ней больше: жестокости или подлости.

Гогломахия была схваткой гладиаторов в собственном смысле. В каких-то случаях рубка носила показательный характер, с оружием, снабженным предохранительными наконечниками, как в наших фехтовальных соревнованиях, и тогда она называлась *prolusio*, или *lusio*** — смотря по тому, предшествовали они настоящим боям или заполняли все представление, являясь

* Букв. «раковины».

** Букв. «предыгра» и «игра».

рядом представлений, следовавших друг за другом. Но, как бы то ни было, все это было лишь предвосхищение *munus*, нескончаемой последовательности реальных единоборств или наборов одновременно протекавших дуэлей, в которых оружие не было притуплено, а удары не смягчались, где каждый из гладиаторов пытался избежать смерти только тем, что старался причинить ее сопернику. Бойцы, которым назавтра предстояло схватиться врукопашную, сходились накануне вместе на обильной пирушке, которая для многих должна была стать последней трапезой. На эту *cena libera** допускалась публика, и немало любопытных с нездоровой радостью ходило вокруг столов. Одни из сотрапезников, отупевшие или фаталисты, отдавались ходу событий и с жадностью набивали брюхо. Другие, заботившиеся об увеличении шансов благодаря попечению о здоровье, сопротивлялись искушениям чревоугодия и умеряли аппетит. Самые несчастные, которых преследовало предчувствие близкого конца, а страх уже парализовал и желудок, и глотку, вместо того чтобы пить и есть, сетовали на жизнь, вверяли прохожим заботу о своих семьях и составляли завещания¹¹². На следующий день *munus* начинался парадом. Гладиаторы, которых в повозке везли от *ludus magnus* к Колизею, ступали на землю, приехав к амфитеатру, и в военном строю обходили кругом арену, одетые в плащи, окрашенные в пурпур и расшитые золотом. Они шли непринужденно, со свободными руками, за ними следовали слуги, несшие их оружие. Поравнявшись с императорской ложей, они поворачивались к принцепсу и, вытянув в его сторону в знак уважения правую руку, обращались к нему с мрачным и соответствующим действительности восклицанием: «Привет тебе, император! Идущие на смерть приветствуют тебя! — *Ave, imperator, morituri te salutant!*»¹¹³ По завершении шествия начиналась проверка оружия, *probatio armorum*, чтобы отсеять мечи с притупленными лезвиями или остриями, так чтобы зловещее дело могло свершиться до конца. Когда признано, что оружие заточено как следует, его раздают, после чего

* Свободную трапезу.

жеребьями определяются пары сражающихся, причем может быть принято решение, что биться друг с другом будут исключительно гладиаторы одной категории, или, напротив, противопоставить гладиаторов с различным вооружением: самнита и фракийца, мурмиллона и ретиария. Бывало и так, что для оживления зрелища изобретали необычные сочетания или прибегали к вывернутому подбору бойцов, так что, например, негра выставляли против негра, как в том *munus*, который устроил Нерон в честь царя Армении Тиридата, или же карлика против женщины, как в *munus*, организованном Домицианом в 90 году н. э.

Теперь, наконец, вступал оркестр или, правильнее будет сказать, джаз: это была какая-то какофония, в которой флейты звучали заодно с пронзительно надрывающимися трубами, а рога — с водяным органом. Наконец, по распоряжению председателя *munus* под музыку начиналась серия единоборств. Стоило лишь гладиаторам первой пары начать прощупывать друг друга, как амфитеатром овладевала лихорадка, аналогичная той, что царила в ходе бегов. Точно так же, как в цирке, зрители задыхались от беспокойства или от надежды, одни были за «синих», другие — за «зеленых»; зрители разделяли свои голоса и опасения между *parmularii*, которых предпочитал Тит, и *scutarii*^{*}, к которым склонялся Домициан. Пари, или *sponsiones*, совершались точно так же, как и на *ludi*, и из опасения того, как бы состязание не было фальсифицировано тайным сговором сражающихся, рядом с ними находился инструктор, готовый скомандовать *lorarii*^{**} или биченосцам, отданным в его распоряжение, подбадривать их смертоносный жар отвратительными призывами к убийству: «бей!» (*verbera*); «режь!» (*iugula*^{***}); «жги!» (*ure*), а если потребуется, разогреть их и бичеванием до крови с помощью кожаных плетей. Каждое ранение, которое гладиаторы наносили друг другу, будило в трепетавшей

* Первые были вооружены небольшим круглым щитом, вторые — полноценным щитом тяжеловооруженного бойца.

** Служители с бичами (*lora*), чьей задачей было сечь рабов, в данном случае — гладиаторов.

*** Букв. «перережь горло!».

за свои ставки публике взрыв гнусных страстей. Стоило пошатнуться тому, против кого они делали ставку, как игроки не могли сдержать неизменной радости и кровожадно указывали на удар: «получи!» (*habet*); «вот тебе!» (*hoc habet*); и они ощущали всего только варварскую радость от победы своего чемпиона, когда видели, как его противник падает, сраженный смертельным ударом.

Тут же к поверженному подбегали служители, одетые когда Хароном, когда Гермесом Психопомпом*, убеждались, ударяя его молотком по лбу, в действительности кончины и подавали *libitinarii*** знак унести его на носилках за пределы арены, между тем как пропитанный кровью песок поспешно взрыхляли и переворачивали. Подчас случалось так, что, как ни жарка была схватка, ее исход был неясен: единоборцы, и тот и другой, были так могучи и ловки, что либо оба вместе падали, либо оба оставались на ногах: *stantes*. Поединок объявляли ничьей, после чего переходили к следующей паре. Чаще же всего побежденный, оглушенный или раненый, не получал смертельного удара; однако, чувствуя себя не в силах продолжать борьбу, он бросал оружие, вытягивался на спине и поднимал левую руку, прося пощады. В принципе, право пощадить противника или же нет принадлежало победителю, и сохранилась эпитафия гладиатора, который, будучи убит противником, которого он пощадил в прежнем поединке, надо полагать, из-за гроба шлет своим последователям свирепый, но дельный совет: «Да будет вам предупреждением моя судьба! Никакой пощады побежденным, кем бы они ни были!» (*moneo ut quis quem vicerit occidat!*)¹¹⁴. Но в присутствии императора победитель отказывался от своего права, и нередко император, прежде чем воспользоваться им самому, вопрошал толпу. Когда той казалось, что побежденный защищался что было сил, зрители махали своими платками, поднимали в воздух палец и кричали: *mitte!* (отпусти его!). Если император был согласен с их

* Проводником душ (*гр*).

** Служители похоронной команды. *Либитина* — богиня мертвых, смерти и погребения.

пожеланием и, как и они, поднимал большой палец вверх, побежденный был прощен и отпущен с арены живым: *missus*. Если же зрители, напротив, считали, что побежденный заслужил поражение своей робостью, они опускали палец вниз и кричали: *iugula!* (режь). И император преспокойно, опустив большой палец вниз, *pollice verso*, распоряжался о заклании поверженного гладиатора, и тому не оставалось ничего другого, как подставить горло для *coup de grâce** победителя¹¹⁵.

На этот раз победителю все сошло с рук, и он мог считать, что на настоящий момент вполне вознагражден. Он получал серебряные блюда, нагруженные золотыми монетами и ценными подарками, и под одобрительные возгласы *cavea* бегом пересекал арену с этими подарками в руках. Тут уж он понимал, что такое слава и прибыль. По популярности и богатству этот раб, этот падший гражданин, этот осужденный за уголовное преступление сравнивался с пантомимами и модными возницами. Ими увлекались женщины, и как в Риме, так и в Помпеях, граффити которых повествуют об одержанных ими победах, записной головорез делался также и записным сердцеедом: *decus puellarum, suspirium puellarum*^{116**}. Однако ни его состояние, ни удача еще не могли его спасти. Как правило, ему следовало подвергать опасности свою жизнь и приносить в жертву других, одерживая новые победы, чтобы получить уже не пальмы первенства, служившие показателем его успеха, но деревянный палаш, или *rudis*, который вручался ему в знак почета и знаменовал освобождение. Впрочем, в эпоху, в которой мы пребываем в настоящий момент, императоры были склонны сокращать задержки, которые отсрочивали освобождение лучших единоборцев. Марциал превозносит хитроумную мягкость несравненного Домициана,

O dulce invicti principis ingenium...

потому что в присутствии двух гладиаторов, которые несмотря на свою доблесть или как раз из-за нее не смогли одолеть один другого, он остановил поединок,

* Букв. «удар милосердия», которым добивают раненого, чтобы прекратить его страдания.

** Отрада девичьих очей, предмет девичьих вздыханий.

объявил победителями обоих бойцов сразу и вручил знаменовавший свободу *rudis* им обоим вместе с пальмовой ветвью за победу¹¹⁷. Подобным же образом, если только я не ошибаюсь в своем истолковании «Остийских фаст», также и Траян, аналогичный милостивый жест которого демонстрировал щедрость (но для которого, впрочем, с учетом 50 тысяч пленников, захваченных им в Дакии, восстановление комплекта гладиаторов не представляло никаких сложностей), распорядился, чтобы все бойцы, оставшиеся в живых в навмахиях и в устроенных им *munera* в 109 году н. э., по завершении сражений считались освободившимися.

Мы наблюдаем здесь черты гуманности, поражающие нас тем больше, чем сильнее отвращение от кошмара тотальной мясорубки перед этим. Но, начать с того, что сами гладиаторы нередко уклонялись от великодушия императора: их нравственное падение заходило настолько далеко, что они предпочитали вновь взяться за свое ремесло убийцы, нежели отказаться от удобств беззаботной жизни, которую они вели в казармах, от возбуждения, связанного с риском, от опьянения победой, и мы располагаем эпитафией одного из них, по имени Фламма, который, одержав 21 победу, четыре раза вновь брался за то же самое¹¹⁸. Наконец, масштабы *munera* сделались таковы, что требовалось проводить массовые освобождения, чтобы возобновлять зрелище вновь. Мы уже знаем от Диона Кассия, что в 107 году н. э. Траян потешил плебс, заставив биться перед ним 10 тысяч гладиаторов. Из «Остийских фаст» нам не так давно сделалось известно, что в 113 году в ходе предложенных плебсу *sportula* он выставил перед ним 1202 пары гладиаторов, то есть 2404 бойца, а в 109 году в *munus*, тянувшихся с 7 июля по 1 ноября, то есть на протяжении 117 дней подряд, были использованы 4912 пар, или 9824 бойца. Хотя мы и можем быть успокоенными насчет оставшихся в живых, которым Траян дал свободу сразу, гуртом, невозможно не ощущать мучительной дурноты при мысли о груди трупов, предполагаемой этой оргией вооруженных единоборств, о всех тех побежденных, освобожденных от их отвратительной службы смертью, о числе кото-

рых составитель «Остийских фаст» не обмолвился ни словом. Пусть Цицерон утверждает, что «если можно себе представить лучшее наставление в смысле презрения к боли и смерти, оно несомненно отзывалось бы наилучшим образом относительно *munus*»; а Плиний Младший позднее будет представлять дело так, что эти убийства «в высшей степени благоприятны для того, чтобы воспламенять мужество, показывая, что любовь к славе и воля к победе отыскивают себе место даже в преступниках и рабах»¹¹⁹. Мы не склонны принимать всерьез эти жалкие оправдания, и у нас сжимается сердце при мысли как о деградации зрителей, так и о страданиях умиравших или изуродованных жертв. Тысячи и тысячи римлян день за днем, причем всякий раз весь день — с утра до вечера, наблюдали с удовольствием кровавые вакханалии, и перед лицом смерти, которую они щедро сеяли, притом что им-то самим она нисколько не угрожала, не роняли ни слезинки о судьбе тех несчастных, чьи жертвы умножали поставленные ими на кон ставки, римляне эти не выносили из таких постыдных зрелищ ничего, кроме отвратительного презрения к человеческим достоинству и жизни.

А кроме того, сколько было случаев, когда эти мнимые поединки были прикрытием для самых бесчестных убийств и безжалостных расправ? Начать с того, что даже в самих муниципиях вплоть до конца III века сохранялся обычай *munera sine missione*, то есть схваток гладиаторов, в которых не должен был уцелеть никто. Стоило одному из сражавшихся пасть бездыханным, как против его победителя выходил запасной гладиатор, *tertiarius* или *suppositicius*, и так продолжалось до полного уничтожения участников¹²⁰. Далее в бесконечных спектаклях, занимавших в Риме целые дни, встречались моменты, когда обычная программа уснащалась особенными зверствами. Это имело место в ходе утреннего *venatio* и схваток гладиаторов в полдень, когда смерть становилась неизбежной, а отвага — бесполезной. *Gladiatores meridiani* набирались исключительно из грабителей, убийц, смутьянов, тяжестью преступлений обреченных на то, чтобы принять смерть в амфи-

театре: *noxii ad gladium ludi damnati**. Вот во время полдневного перерыва им и предстояло платить по счету. Сенека оставил нам описание этого гнусного зрелища. На арену вытаскивали жалкую процессию приговоренных. От них отделяли первую пару, составленную из одного вооруженного и второго, одетого в простую тунику. Первый должен был убить второго, и действительно уверенным ударом он его умерщвлял. После этого его разоружали и подводили к новому, вооруженному до зубов; так побоище неумолимо шло дальше до тех пор, пока голова последнего из приведенной ватаги не скапывалась на песок¹²¹. Утренняя бойня была еще более мерзкой. Когда Август возвел на форуме позорный столб для разбойника Селура, а затем спустил на него изголовавшихся пантер и леопардов, он, быть может, сам того не желая, изобрел эту зрелищную казнь, получившую затем широкое распространение¹²². Преступников обоего пола и всевозможных возрастов, которых судья по причине их подлинного или мнимого злодейства, а также в связи с низостью происхождения приговорил *ad bestias*** , на рассвете выпихивали на арену, куда поднимались из подвальных помещений дикие звери, на растерзание которым их обрекли. В этом *venatio*, на котором мы можем присутствовать благодаря оксфордскому барельефу, африканской терракоте и мозаике из Триполитании, никаких охотников, *venatores*, не было и в помине, а имелись лишь бестиарии (*bestiarii*)***, беззащитная добыча, брошенная свирепым хищникам¹²³. Это тот род мучительства, иллюстрацией которого служит героизм девы Бландины в лионском амфитеатре, Перепетуи

* Букв. «преступники, осужденные на смерть от меча в ходе игр». Ср.: «История Августов», «Жизнь Опилия Макрина», XII, 10.

** Букв. «к зверям», то есть «[бросить] к зверям [в цирке]», стандартная формулировка приговоров, более всего известная нам в связи с христианами, но бытовавшая в отношении широкого круга уголовных и государственных преступников: в «Дигестах» выражение встречается 19 раз.

*** Бестиариями изначально звали также разновидность наемных бойцов, вступавших на арене в единоборство со зверями. Они были вооружены и могли быть облечены в доспехи, выше Ж. Каркопино уже о них упоминал. Впоследствии название перешло и на безоружных людей, приговоренных к растерзанию.

и Фелицитаты — в карфагенском, и бесчисленного множества христиан римской церкви, как причисленных к лику святых, так и безвестных. В память этих мучеников крест, высящийся ныне посреди Колизея, возносит молчаливый протест против варварства, жертвой которого делались его верные прежде, чем его упразднить, и сегодня мы не можем взирать на эту эмблему, не содрогнувшись от ужаса, ощутив реюющие вокруг него невидимые тени. Напрасно стали бы мы вспоминать, под видом оправдания, время, избиравшееся для этой утренней *venatio*, когда амфитеатр только начинал выполняться, как и час, назначенный для *gladiatores meridiani*, когда амфитеатр был на три четверти пуст (*dum vacabat arena*), потому что работающие еще не имели времени занять места, а праздные уже покинули их, чтобы перекусить дома. Если такое расписание и свидетельствует о некоего рода стыде, оказывается как бы сожалением римлян в связи с тем, что им приходилось устраивать эти кошмарные сцены, среди них отыскивалось немало любителей, которые ни за что на свете не пропустили бы отвратительное для нас зрелище, служившее им услугой. Скорее, чтобы не упустить ничего, они предпочитали (таков был император Клавдий) принудить себя явиться в амфитеатр еще до рассвета и лишиться себя полднего завтрака¹²⁴. И несмотря на все защитительные речи, какие мы только можем вообразить, римский народ повинен в том, что превращал эти смертные казни в общественные увеселения, и ради них слишком часто превращал Колизей поутру — в бредовую пыточную камеру, а в полдень — в бойню, где тушами были тела людей.

Робкие протесты и поздний запрет

Впрочем, следует признать, что римская элита была устрасена масштабами распространения этой пагубы и во многих случаях пыталась уменьшить приносимое ею зло.

Так, например, Август, храня верность давним прецедентам, данным полководцами-филэллинами, и пыта-

ясь возобновить эпизодические попытки Суллы, Помпея и Цезаря, попробовал привить в Риме греческие игры, в которых борьба, понимаемая как наш современный спорт, была призвана укреплять тела вместо того, чтобы их уничтожать, и где часть программы давала место также и уму. В 28 году до н. э. Август, желая в одно и то же время как отметить свою победу над Антонием и Клеопатрой, так и возблагодарить за нее Аполлона, учредил игры *Actiaca*, которые должны были справляться каждые четыре года в Акции и Риме. Однако в 16 году н. э. об играх, справляемых в Риме, мы уже ничего не слышим¹²⁵. Нерон хотел их возобновить, учредив *Neronia*, также периодически отмечающийся праздник, в который включались как состязания на физическую крепость и выносливость, так и конкурсы поэзии и пения. Первые удостоили своим участием сенаторы; в ходе вторых никто не отваживался оспаривать венок победителя у императора, который был уверен, что является несравненным артистом. Однако, несмотря на такое августейшее покровительство, *Neronia* уже вскоре были позабыты, и только Домициану удалось наделить Рим устойчивым циклом игр на греческий лад. В 86 году н. э. он учредил *agon capitolinus* (Капитолийские игры), в которых призы, присуждавшиеся самим императором, вручались попеременно: за бег и за красноречие, за кулачный бой и латинскую поэзию, метание диска и греческую поэзию, метание копья и музыку. Чтобы дать приют спортивным состязаниям, входившим в игры, Домициан выстроил специальный стадион, *circus agonalis*, на том месте, где теперь находится площадь Навоне. Для «интеллектуальных» состязаний он построил Одеон, развалины которого находятся под дворцом Таверна на Монте Джордано. В правление Домициана греческие игры, при поддержке его щедрости, извели недолговечную моду, и Марциал воспевал их победителей. Игры эти пережили Домициана, однако несмотря на то, что мы располагаем свидетельствами того, что Юлиан Отступник уделял им все свое внимание, а юристы не переставали говорить о их величайшей почетности¹²⁶, составлять конкуренцию *munera* они были не в состоянии. Начать с того, что

agon capitolinus устраивался всего лишь раз в четыре года; кроме того, Домициан предназначал его только для ограниченного круга лиц, так как в его Одеоне было предусмотрено всего только 10 600 *loca*, а в *circus agonalis* — 30 088 *loca*, то есть 5 тысяч и 15 тысяч зрительских мест соответственно, и сложив их вместе, мы получим площадь, более чем вдвое уступающую одному только *amphitheatrum Flavium*¹²⁷.

Наконец, нам приходится признать, что и особенно популярными игры эти никогда не были. Толпе, вышедшей из Колизея, они должны были показаться картиной, лишенной всякой зрелищности и живости; не более благоприятным было и мнение элиты, клеймившей их за чужеземное вырождение, пронизанное нудизмом и безнравственностью. Не только Ювенал и Марциал (последний несмотря на свое подобиюприрастие придворного) высмеивают господ и дам, занимавшихся специальной подготовкой, чтобы принять участие в играх. Тут присутствует и Плиний Младший, который в правление Траяна приветствовал решение сената запретить проведение этого «позора», греческих игр во Вьенне Лугдунской, и с явным одобрением цитирует оскорбительную реплику своего коллеги Юния Мауриция: «Вот если бы можно было от них избавиться также и в Городе!»¹²⁸ Между гармонией греческих игр и зверством поединков гладиаторов неизбежно существовало непримиримое противоречие. В самом деле, в то время как большая часть провинциальных городов в подражание Риму строила арены, так что они отыскиваются повсюду, от юга Алжира и до Евфрата, сама Греция уступила этой заразе лишь с крайней неохотой, и, сколько можно судить, по крайней мере в Аттике ей удалось воспротивиться. Однако это всего только ничтожная компенсация за всеобщее пристрастие, и греческие игры, укрывшиеся на италийской почве в Неаполе и Путеолах¹²⁹, в самом Риме были буквально сокрушены *munera*.

И в самом деле, *munus* представлялся неискоренимым. Тогда «добрые императоры»* попытались их сде-

* Устойчивое понятие, сложившееся в римской историографии, где говорится о «пяти добрых императорах»: Нерве, Траяне, Адриане,

лать более гуманными. Между тем как Адриан запретил включать в гладиаторские отряды рабов без их согласия, Тит, Траян, Марк Аврелий приложили усилия к тому, чтобы расширить в программе устраивавшихся ими празднеств часть *lusio*, то есть симуляции *munus*, — за счет *munus* в собственном смысле этого слова. Тит с его любовью к этому фехтованию, в котором не проливалась кровь, не усомнился даже в ходе *lusiones* в Реате, на своей родине, подвергнуть опасности свою жизнь. Согласно «Остийским фастам», 30 марта 108 года Траян торжественно открыл *lusio*, которое должно было продолжаться на протяжении 13 дней кряду при участии 350 пар гладиаторов. Повиновавшийся долгу человеколюбия Марк Аврелий, которому он был предписан его стоическими убеждениями, ухитрился упразднить регламент и бюджеты *munera* вне Рима и тем самым уменьшить их значение. И всякий раз, как ему надо было предложить такой *munus* римскому плебсу за свой счет, он намеренно и неукоснительно заменял его простыми *lusiones*. Однако в этой борьбе, связанной против представлений, в которых человек, по выражению Сенеки, упивался кровью другого человека, *iuvat humano sanguine frui*¹³⁰, философия потерпела поражение. После Марка Аврелия, сын которого Коммод претендовал на звание отличного гладиатора, римляне не ограничились тем, чтобы просто отказаться от *lusiones*, но и забросили сцену, заменив ее на амфитеатр. Начиная со II века мы наблюдаем в провинциях, в частности в Галлии и Македонии, как архитекторы театров изменяют их конструкцию, чтобы они могли использоваться для гогломахии и *venationes*¹³¹. В Риме постановки мрачных спектаклей были перенесены на арену, и было взято за обычай играть самые чудовищные мимы в Колизее¹³²: здесь можно назвать не только «Лавреола», которого для потехи публики в самом деле

Антонине Пие и Марке Аврелии. Они правили один за другим, и при них Римской империи сопутствовали большие успехи во внутренней и внешней политике, но более всего они выделялись добронравием, особенно контрастировавшим с нравами Домициана и Коммода, первый из которых правил перед ними, а второй — после. Как видим, здесь это понятие распространено — и заслуженно — также и на Тита.

распинали на кресте, но и «Муция Сцеволу», погружавшего руку в угли жаровни, и «Смерть Геркулеса», герой которого корчился в финале в огне своего погребального костра*. А так как теперь для драматических представлений достаточно было амфитеатра, в Городе перестали ремонтировать приходившие в упадок сцены, и начиная с правления Александра Севера (222—235) театр Марцелла оказался покинутым¹³³.

Можно было думать, что *munera* окажутся вечными и ничто уже не остановит их назойливое распространение. Однако там, где потерпел поражение стоицизм, преуспела новая религия. Покоренные Евангелием, римляне устыдились этого застарелого позора и отказались подвергаться ему впредь. Если бой с быками продолжался столько же, сколько и бега, умерщвление людей на аренах было прекращено по воле обратившихся императоров. 1 октября 326 года Константин распорядился заменить приговоры *ad bestias* каторжными работами, *ad metalla*, перекрыв тем самым основной источник пополнения рядов гладиаторов. В конце IV века гладиаторы исчезли на Востоке. В 404 году указ Гонория запретил поединки гладиаторов на Западе. Так дух римского христианства изгладил преступление против человечности, которым запятнали свои амфитеатры языческие императоры.

* Сюда можно прибавить и зрелища садистско-порнографического характера. Об одном из них говорит Марциал в 5-й эпиграмме «Зрелищ». Но если здесь Пасифае (по крайней мере согласно мифу) следовало быть скрытой от публики в статуе коровы, то спектакль, описываемый хоть и в художественном произведении (Псевдо-Лукиан. Лукий, или Осел, 52—54), однако, как вполне мыслимый в Римской империи того времени, предполагал явное для всех изнасилование ослom женщины-преступницы, обреченной на растерзание хищникам. Об упоминаемой Ж Каркопино тонкости грани, разделявшей театр и амфитеатр, говорит и страх осла, как бы в театре не появился медведь или лев (там же, 53).

Глава четвертая
Развлечения, бани и обед

В дни, когда не было зрелищ, устраивавшихся императором или магистратами, римляне не испытывали затруднений с тем, как занять свой день. Прогулки и игры, а сверх этого упражнения и бани, которые они посещали в термах, вполне успешно подводили их, не давая скучать не минуты, к *сена*, то есть трапезе, завершавшей их день непосредственно перед погружением в ночной сон.

Прогулки и другие удовольствия

На первый взгляд загроможденность улиц императорского Рима несколько не располагала к прогулкам. Здесь пешехода стесняли лотки¹, толкали такие же прохожие, как он сам, забрызгивали грязью всадники, ему докучали нищие, стоявшие вдоль склонов, под аркадами и на мостах², терзали военные, которые нагло, словно по покоренной стране, перли по мостовой и запросто втыкали гвозди сапог в ноги штатского, оказавшегося достаточно опрометчивым, чтобы не уступить дорогу³. Но начнем с того, что удовольствие доставлял уже один только вид этого безостановочного и причудливого мельтешения. В потоке, увлекавшем прохожего за собой, вместе с ним двигались

все народы обитаемой земли: «фракийский крестьянин и сармат, питающийся кровью лошадей», египтяне, омывшиеся в водах Нила, и «киликійцы, которые sprыскиваются шафраном, арабы, сикамбры и черные эфиопы»⁴. Даже если прохожему не было дела до разложенной мелочовки, лоточники развлекали его своей болтовней, как и фокусники, и заклинатели змей — своими ловкостью и сноровкой⁵. Кроме того, если, несмотря на всеобщее запрещение, распространявшееся на экипажи среди дня, этому римлянину все же предоставлялась возможность не идти пешком, он мог развлекаться этой суматохой, не испытывая от нее беспокойства. Тогда он либо ехал верхом на собственном муле, либо на том, что был ему предоставлен предупредительностью друга, или же на таком, которого нанял за деньги с погонщиком-нумидийцем, обязанным его вести за повод⁶. Или еще он мог развалиться в глубине громадных носилок (*lectica*), отгороженных от мира «зеркальным камнем», откуда можно было выглядывать, оставаясь невидимым: носилки эти рассекали толпу на плечах шести или восьми сирийских носильщиков; а когда-то он удобно располагался в портшезе (*sella*), которые привыкли использовать для своих визитов матроны, и где он мог читать или писать на ходу⁷. Мог он удовлетвориться и ручной тележкой (*chiramaxium*), такой, какую подарил своему любимцу Тримальхион⁸.

Но в первую голову римлянину, дабы избавиться от толчеи, достаточно было добраться до зон отдыха, служивших городскими «променадами»: то были форумы и их базилики, после того как судебные заседания завершились; принадлежавшие императорам сады, которые те, однако, если только не желали от них избавиться, как сделал это по завещанию Цезарь, благосклонно оставляли в распоряжении публики — к ее восхищению, поскольку весной «воздух здесь делала благовонным Флора, здесь свисали гирляндами розы, эта слава пестумских полей»⁹. Также сюда относилась эспланада Марсова поля с ее мраморной оградой (*saepa Iulia*), священными площадками и портиками, где можно было укрыться от солнца и спастись от дождя, и в любое время года, как пишет Сенека, то была

отрада для самых неимущих из бездельников: *cum vilissimus quisque in campo otium suum oblectet*¹⁰.

От этих портиков до нас дошел тот, что был освящен Августом от имени его сестры Октавии: между мраморных колонн ограды он заключал внутреннее пространство длиной в 118 метров и глубиной в 135 метров, в котором располагались храмы-близнецы Юпитера и Юноны¹¹. Но имелись и другие портики, дальше на север, и Марциал перечислил нам несколько из них, промечая путь, которым следует прихлебатель Селий в поисках друга, который бы пригласил его пообедать: портик Европы, портик Ста колонн, с его платановой аллеей, портик Помпея с его двумя клумбами¹². Эти памятники не только освежались зеленью и тенью. Их наполняли произведения искусств: фрески, покрывавшие заднюю стену; статуи, украшавшие их межколонные пространства и внутренние дворики. В одном только портике Октавии Плиний Старший перечисляет, помимо некоторого числа заказов, исполненных Пасителем и его учеником Дионисием, группу Александра и его военачальников в битве при Гранике работы Лисиппа, Венеру Фидия, Венеру Праксителя и Амура, которого этот скульптор предназначал для города Феспии¹³.

И в самом деле, во время празднества народ-царь бывал окружен весьма внушительной добычей. Но если римляне все-таки еще останавливались, чтобы посозерцать эти шедевры, прочие только и искали повода к тому, чтобы добавить к развлечениям обычное свое любопытство. Марциал рассказывает нам о весьма красноречивом в данном отношении происшествии. Бронзовая фигура медведя, установленная близ Ста колонн среди изображений прочих животных, притягивала к себе взгляды прогуливающихся и вызывала в них желание поразвлечься. Как-то раз прехорошенький Гил расшалился и вздумал подразнить медведя так, словно он живой; вот что из этого получилось:

* Когда всякий голодранец на Марсовом поле наслаждается бездельем.

Рядом с Сотней колонн изваянье медведицы видно,
Там, где фигуры зверей между платанов стоят.
Пасти ее глубину попытался измерить прелестный
Гил и засунул, шутя, нежную руку туда.
Но притаилась во тьме ее медного зева гадюка:
Много свирепей она хищного зверя была.
Мальчик коварства не знал, пока не укушен был насмерть:
Ложной медведицы пасть злее была, чем живой¹⁴.

То были детские игры, но мы еще убедимся, что мальчишки были не единственными, кто играл под портиками, в садах, на форумах и в базиликах.

Праздные римляне прогуливались в тени своих колоннад или сходились в неподвижные группы и беседовали друг с другом. Внимательными взглядами провожали они прохожих мужчин и женщин. Когда на *saepta* устраивали выставку-продажу, римляне неспешно прохаживались по ней, оценивая выставленные товары и торгуясь¹⁵. Повсюду они со вкусом осведомлялись о последних новостях; и повсюду же находились пустозвоны, которые без труда удовлетворяли их любопытство. Так, описанный нам Марциалом Филомуз по ходу дела измышляет тайны, которыми тут же и потчует своих слушателей: тут и последние совещания, состоявшиеся под председательством Царя царей во дворце Аршакидов, и недавние передвижения войск на Рейне, и наиточнейшая конфиденциальная информация о следующем capitoлийском конкурсе¹⁶. Однако нет такой беседы, которая бы в конце концов не прискучила; и тогда изобретались игры.

Римляне признавались в своей любви к игре. Во все времена они были одержимы игрой. Но никогда еще эта их страсть не бывала такой деспотической. Вот что пишет об этом Ювенал:

Разве когда-либо были запасы пороков обильней,
Пазуха жадности шире открыта была и имела
Наглость такую игра? Ведь нынче к доске не подходят,
Взяв кошелек, но, сундук на карту поставив, играют.
Что там за битвы увидишь при оруженосце-кассире!
Есть ли безумие хуже, чем бросить сто тысяч сестерций —
И не давать на одежду рабу, что от холода дрогнет?¹⁷

Чтобы обуздать эту пагубную страсть, императоры возобновляли запреты, существовавшие в республиканскую эпоху. За исключением периода Сатурналий, о котором и идет в явной форме речь у Марциала¹⁸ и который подразумевает Ювенал в только что процитированном отрывке, поскольку вопрос, заданный им в конце, предполагает холод *bruma*^{*}, который и приходился на время Сатурналий в конце декабря, азартные игры были запрещены под угрозой штрафа, вчетверо превосходившего размер ставки¹⁹, и какой-то сенатус-консулт, точной даты которого мы не знаем, подтверждая законы Тития, Публилия и Корнелия, возобновил запрет, тяготевший над пари (*sponsiones*), за исключением тех, поводом для которых были телесные упражнения²⁰. Из предыдущей главы мы уже познакомились с бешеной популярностью, которую эта своеобразная привилегия доставила как цирковым бегам, так и поединкам гладиаторов. Мы еще увидим, что через проделанную ею брешь во вроде бы репрессивном законодательстве в повседневную жизнь римлянина проник целый ряд игр и *sponsiones*.

Вне всякого сомнения, было бы неблагоразумно устраивать в месте общественных прогулок игру в кости (*aleae*) или в бабки (*tali*)²¹, различные стороны которых приравнивались к числам, нанесенным на бока костей, потому что их падение из стаканчика для костей (*fritillus*), в который их собирали, на землю или на игровой стол (*alveus*) определял только случай, но не ловкость рук игроков. Полагаю также, что неприемлемо было бы, если бы где-то под портиком два приятеля набрались нахальства для того, чтобы играть в *navia aut capita*^{**}, то есть в «орел или решка», или в *par impar*^{***}, это развлечение, к которому приглашал у себя во дворце членов своего семейства Август, выдавая им по 250 денариев на брата, дабы они могли предаваться игре

* Зимнее солнцестояние, а отсюда зимняя пора, зимний холод.

** Разг. лат., так что правильнее было бы *caputa* (также нелитературная форма), в букв. переводе «корабль или голова» (на монетах с одной стороны изображался чеканивший их император или другое должностное лицо, а с другой — корабль).

*** Чет-нечет.

без всяких сожалений и задних мыслей²². *Par impar* заключался в однообразной последовательности пари, заключаемых относительно четного или нечетного числа косточек, камешков или орехов, которые игрок прятал в сжатой руке²³.

Существовала, однако, производная форма *parimpar*, в которой роль случая была скорректирована и ограничена «быстроглазостью», проворством игроков, подсчетом вероятностей и определенной психологической проницательностью. Я говорю о *micatio*, то, что мы сегодня называем *mouurre*^{*}, в которой два противостоящих один другому человека «разгибают пальцы правой руки, каждый раз меняя число тех, которые они оставляют согнутыми, и объявляют вслух общее число пальцев, разогнутых тем и другим»²⁴, до тех пор, пока один из них не выиграет, попав в точку. Явно, что в Риме Антонинов *micatio* допускалось прямо среди бела дня. Начиная с Цицерона и до Августина (минуя также Петрония и Фронтоня) латинская традиция едина в том, что, желая охарактеризовать человека незапятнанной репутации, она применяла к нему «испытанное годами и годами выражение», что «с ним можно играть в *micatio* даже в темноте»; и городской префект до IV века не изгонял *micatio* с Форума²⁵. С другой стороны, в то время как *duodecim scripta*, римский триктрак, который, как и наш, ставил продвижение своих шашек (*calculi*) в зависимость от чисел, выдаваемых костями или бабками, очевидно, подпадал под удар закона, римские «шахматы», или *latrunculi*, были избавлены от его посягательств, так как ходы их шашек зависели исключительно от предусмотрительности и мастерства каждого. И эта основанная на комбинациях и расчете игра, в которой на протяжении I века последовательно блистали стоик Юлий Кан и консуляр Пизон²⁶ и которая еще во времена Марциала продолжала гордиться своими чемпионами²⁷ и преподавателями²⁸, оставалась у публики в чести к радости упражнявшихся в ней любителей и зевак, комментировавших их ходы. Если же случилось так, что игра представлялась участникам слишком

* Игра на пальцах, в которой играющий отгадывает число пальцев, которые быстро показывает его противник.

усложненной, и слишком обременительным материальное обеспечение, которого требовало состязание — доска в 60 клеток и пешки разного цвета и размера, они обходились примитивной игрой в шашки, теми *tabulae lusoriae*^{*}, которую изображали где угодно, проведя несколько линий по земле или процарапав их по мостовой. И в самом деле, многочисленные граффити явились для нас свидетельством их существования под аркадами базилики Юлия и на Форуме.

Но это еще не все: если число барельефов, изображающих детей во время их развлечений, как кажется, делает игру «в орехи», заменявшую у древних современную игру «в шары», уделом ранней юности, то обычай, согласно которому на Сатурналии также и взрослые люди получали в подарок пакетики с орехами, наводит на мысль, что зачастую на площадях и под портиками взрослые развлекались, как дети, то тем, чтобы расколоть орех, его не раздавив, или чтобы точным броском ореха накрыть кучку орехов, ее не разрушив, то ли, как в петанке, угодить орехом в орехи противников и коснуться их, то ли, как в блокете, послать свой орех точно в цель — в ямку либо уже существовавшую, либо специально выкопанную в земле²⁹.

Все это были разрешенные развлечения, безобидные забавы, напоминающие партии наших теперешних «петанкистов», а в горячечной атмосфере императорского города они так и испускали струю свежего воздуха, долетавшего сюда, как кажется, из сельской глубинки и от стародавних времен. К несчастью, весьма вероятно, что с течением времени это времяпровождение лишилось львиной доли своего невинного характера и, будучи отягощено тайными ставками, внесло свой вклад в подрыв нравственности, в то, чтобы обойти правила, которые оно, по видимости, соблюдало. Как бы то ни было, нет никакого сомнения в том, что бездельникам достаточно было во время прогулки чуть отклониться в сторону, чтобы тайно удовлетворить тот порок, которому, как казалось императору, он отвел место в цирке и амфитеатре, однако теперь его подданные носили его с собой повсюду. И

* Игровое поле, игральная доска.

действительно, зачастую гостиницы (*cauponae*), трактиры, *popinae* и *thermopolia*, в которых прохожий мог за прилавком купить или выпить охлажденные напитки или подогретое вино, скрывали в заднем помещении игорный дом, где всякий божий день, а не только во время Сатурналий можно было заключить *sponsiones*, выбросить кости и загреметь бабками. Императорское законодательство, преследовавшее игроков, *aleatores*, наравне с разбойниками³⁰, вовсе не покушалось на их укрывателей, притонодержателей, у которых они находили пристанище, ограничиваясь тем, чтобы запретить им вчинять в суде иск против тех из их клиентов, которые в горячке соперничества или же в отчаянии проигрыша обрушивались на него самого или на обстановку таверны с насильственными действиями³¹. Эта относительная безнаказанность тем более склоняла хозяина снабдить лавочку соблазнами запретных увеселений, что, будучи вправе принять сюда проституток в качестве подавальщиц, он вполне легально мог прибавить к своему заведению злачное место³².

Нередко ссылаются на надпись из Эзернии, на которой путник, проходящий через это местечко и рассчитывающийся с хозяйкой, соглашается на *8 asses* (меньше даже довоенного франка), которые требуют с него за благосклонность, оказанную ему в течение проведенной в гостинице ночи служанкой³³. Можно сослаться также на недавно открытую на Виа делл'Абонданца в Помпеях *popina*, соблазнительную афишу в витрине, которая демонстрировала проходящим трех состоящих при заведении девушек (*asellae*)³⁴. Но мы заблуждались бы, полагая, что по части этих удобств Рим хоть в чем-то отставал от итальянских муниципиев³⁵. В Риме, как и в иных местах, *cauponae*, *popinae*, *thermopolia* зачастую уподоблялись притонам (*ganeeae*), и в то время как лупанары, согласно ограничению, внушенному властью заботой о хорошей физической подготовке молодежи, должны были оставаться закрыты до девятого часа³⁶, римские кабаки предлагали свои беспутные соблазны любому посетителю начиная с самого утра и весь день напролет. Подпольные распивочные,

* Маленьких ослиц.

должно быть, не приобрели в императорском Риме такого распространения, какое приходится наблюдать в современных столицах. Но они свирепствовали также и здесь и, опекаемые силами правопорядка городских эдилов, открыто растворяли праздношатающимся свои двери. Сколько распутников, по свидетельству Сенеки, заворачивали сюда вместо того, чтобы направиться в палестру, и проводили здесь свои праздные дни: *cum illo tempore vilissimus quisque... in popina lateat*³⁷.

Термы

К счастью для римского народа, у него имелись и лучшие возможности воспользоваться своей свободой, и в отстроенных императорами термах он мог предаваться «рекреационной деятельности» в полном смысле этого слова. Само слово «термы» — греческое, однако то явление, которое за ним стоит, впервые соединившее палестру, где тела становятся более гибкими, с банями, где они очищаются от грязи, представляет собой нечто специфически римское. То был один из наилучших подарков, сделанных императорским режимом, причем не одному только искусству, навсегда обогащенному этими памятниками, чьи размеры, пропорции и рациональное устройство, даже в полуразрушенном состоянии, будят в нас глубочайшее восхищение, но цивилизации вообще, которой они послужили на свой лад. С возведением терм вопрос о гигиене был поставлен в повестку дня Города, будучи легко достижим для самых широких масс; а в обрамлении восхитительного декора, которым строителям угодно было уснащать эти памятники, физические упражнения и уход за телом сделались излюбленным всеми удовольствием, отдыхом, доступным людям даже из самых низов³⁸.

Начиная с середины III века до н. э. римляне позаимствовали у греков обычай устраивать ванную комнату в собственном городском доме или загородной вилле. Однако такая роскошь позволялась только богачам, и республиканская строгость нравов, не позволявшая еще Катону Старшему мыться в присутствии сына,

противостояла созданию бань за пределами семейного круга. Но в конце концов любовь к чистоте оказалась сильнее неумеренной чопорности. В течение II века до н. э. в Риме появились общественные бани, естественно, раздельные для мужчин и для женщин: *balneae*, отличавшиеся от *balnea*, частных бань, женским родом³⁹. Народные благодетели наделяли ими свой квартал. Предприниматели строили их, чтобы извлечь доход из предусмотренной за вход платы. В 33 году до н. э. Агриппа предписал провести их перепись: их оказалось 170, и в будущем их число только росло. Плиний Старший отказывается от мысли пересчитать те, что существовали в его время⁴⁰; позднее их количество подошло к тысяче⁴¹. Плата, взимаемая собственниками или откупщиками, в подряд которым отдавались бани, была незначительной и таковой оставалась: *quadrans* или четверть асса, три довоенных су, притом что дети от платы освобождались⁴³. В 33 году до н. э. бывший тогда эдилом Агриппа, который должен был в качестве такового осуществлять надзор за общественными банями, проверять их отопление, контролировать поддержание в них чистоты и руководить поддержанием порядка⁴⁴, пожелал отметить свою магистратуру неслыханной щедростью. Он принял на свой счет уплату всех входных взносов, закрепив тем самым, по крайней мере на год своего эдильства, безвозмездный характер пользования общественными банями⁴⁵, а вскоре после этого учредил здесь «термы», которые сохраняют его имя, а безвозмездность доступа в них должна была быть постоянной⁴⁶. Это и сделалось стержневым моментом переворота, который, будучи связанным с опекающими представлениями, составленными империей о собственной роли по отношению к массам, произошел одновременно и в истории архитектуры, и в истории нравов, так что ему предстояло распространять, по мере воспроизведения прообраза, те же самые конструкции, громадность которых, все возрастающая из царствия в царствие, отвечала растущему притоку все новых и новых толп.

После терм Агриппы на Марсовом поле были возведены термы Нерона⁴⁷. Затем Тит отстроил уже свои

термы сбоку от прежнего Золотого дома, с внешним портиком, выходящим на Колизей, многие пилястры которого сохраняются со своей кирпичной облицовкой. Наконец, Траян возвел на Авентине термы, посвященные им памяти друга Лициния Суры, а к северо-востоку от терм Тита, отчасти перекрывая место, где находился Золотой дом, уничтоженный пожаром 104 года, — термы, которым он дал свое имя. Их ему удалось торжественно открыть в тот же самый день, когда и свой же акведук, 22 июня 109 года⁴⁸. Позднее, одни за другими, были выстроены следующие термы. Сначала те, что мы называем термами Каракаллы, между тем как нам следовало бы называть их официальным именем «Термы Антонина», потому что если Септимий Север заложил их фундамент в 206 году н. э., они были досрочно открыты его сыном Антонином Каракаллой в 216 году, а закончены последним Антонином из их династии, Александром Севером, между 222 и 235 годами. Далее последовали термы Диоклетиана, в развалинах которых ныне помещаются Национальный римский музей, церковь Санта-Мария деи Анджели и оратория Святого Бернара. Гигантская экседра этих терм продолжает вырисовываться посреди изгибов площади, сохраняющей их имя. Наконец, в IV веке н. э. на Квиринале были возведены термы Константина.

Наилучшей сохранностью отличаются термы Диоклетиана, занимающие площадь в 13 гектаров, но хорошо сохранились и раскинувшиеся более чем на 11 гектаров термы Каракаллы, одно из чудес античного Рима, обнаженные нефы которого оставляют неизгладимое впечатление в душе самого бесчувственного туриста. И те и другие выходят за пределы тех хронологических рамок, которых мы стараемся придерживаться, однако развалины терм Траяна были за последние годы расчищены в достаточной степени для того, чтобы проследить их основные контуры и прийти к выводу, что они совпадают с термами Каракаллы⁴⁹. Разница между ними сводится, так сказать, исключительно к масштабу, и в термах Каракаллы мы видим едва увеличенный слепок с терм Траяна. Так что мы можем совершенно спокойно представить себе

типичное устройство этих монументальных ансамблей в те времена, когда они вызывали такое воодушевление у Марциала, и дать себе отчет в тех нововведениях, которые были в них осуществлены.

И правда, термы эти не были исключительно банями, в которых сводились воедино, благодаря самой изощренной компоновке, самые разные виды омовения: парилка с сухим паром и баня в собственном смысле слова, баня горячая и баня холодная, бассейны и ванны. Помимо этого, они заключали в своих гигантских прямоугольниках, вдоль внешней стороны которых были устроены портики, запруженные населением, а также посетителями здешних бесчисленных лавок, еще и сады и места для гулянья, стадионы и кабинеты отдыха, гимнастические залы и массажные салоны, и даже библиотеки и настоящие музеи. Они предлагали римлянам как бы краткое изложение всех тех благ, которые делают жизнь счастливой и прекрасной.

В центре высились здания терм в собственном смысле этого слова. Никакая *balnea* не могла состязаться с ними – ни по объему воды, поступавшей по акведукам в резервуары, занимавшие своими 64 сводчатыми помещениями в термах Каракаллы две трети южной стороны; ни по головоломной отрегулированности системы печей, гипокаустов (дополненных или же не дополненных воздуховодами, поднимавшимися внутрь пустотелых стен и тем самым их заполнявших), которые переносили, распределяли и дозировали тепло по залам с дифференцированным тепловым режимом. Вблизи от входа располагались гардеробы, где купальщики раздевались: *apodyteria*. Шедший далее *tepidarium*, большое сводчатое помещение с чуть пониженной температурой, располагался между *frigidarium* на севере и *caldarium** на юге. *Frigidarium*, вне всякого сомнения слишком обширный для того, чтобы над ним могла простираться крыша, располагал бассейном, в который погружались купальщики. *Caldarium*, которому предшествовали помещения (*sudatoria, laco-*

* *Tepidarium* – прохладное [помещение], *frigidarium* – холодное [помещение], *caldarium* – теплое [помещение].

nica»), в которых высокая температура вызывала выделение пота, был спроектирован в виде ротонды, освещаемой полуденным и послеполуденным солнцем и подогреваемой парами, циркулировавшими между *suspensurae*** , лежащими под ее каменным полом. *Caldarium* окружали небольшие залы, в которых можно было мыться в приватной обстановке, а сам он, в свою очередь, заключал по центру громадную бронзовую чашу, вода в которой поддерживалась при температуре, требовавшейся печью, располагавшейся непосредственно под ней, в центре гипокауста, лучеобразно расходившегося под помещением. Наконец, этот исполинский комплекс находился в обрамлении палестр, к которым примыкали *scholae*, где уже разоблачившиеся от одежды купальщики могли предаться своим любимым упражнениям.

Мало того: эта внушительная группа строений была окружена освежаемой тенью и фонтанами эспланадой, служившей площадкой для игр, вдоль которой проходила, над ней нависая, непрерывная крытая галерея для гулянья, или *xystum*. Позади нее закруглялись экседры гимнастических залов и отдельных кабинетов, тянулись библиотечные и выставочные залы. В этом-то и заключалось подлинное своеобразие терм. Физическая культура, да еще в соединении с любознательностью, получила здесь полноправное римское гражданство. Они одержали верх над предупредительными мерами, объектом которых было внедрение спорта на греческий манер. Несомненно, общественное мнение должно было подозрительно взирать на атлетику***, которую упрекали в поощрении безнравственности посредством прилюдных демонстраций своего тела, в том, что она отвлекает от серьезного и мужественного овладения военным делом, принуждая своих поклонников больше ценить аплодисменты собственной красоте, вовсе не помышляя о том, чтобы приобрести качес-

* *Sudatoria* – парильные [помещения], *laconica* — букв. «лаконские» (то есть спартанские) [помещения], еще одна парилка на спартанский манер.

** Подвесными конструкциями, сводами.

*** Здесь в широком значении спорта как такового.

тва, необходимые доброму пехотинцу. Однако общественное мнение больше не оскорбляла нагота в банях, где она была неизбежна; оно допустило здесь, наряду с играми, которыми атлетика пренебрегала, едва ли не все те, которые та настоятельно рекомендовала, стоило только выясниться, что те и другие, вместо того чтобы предлагаться публике в качестве зрелища и практиковаться как самоцель, служат тем же оздоровительным целям, что и сами бани, благотворное действие которых они готовят, способствуя тем самым присносимой банями пользе для телесного здоровья. В предыдущем параграфе мы упомянули о частичной неудаче, которую потерпел *agon Capitolinus*. Однако то изменение в нравах, которого впустую добивались Август, Нерон и Домициан, переноса на римскую почву точную копию олимпийских состязаний, было суждено завершить императорским термам, когда в эпоху, в которой мы пребываем теперь, римский народ усвоил, как настоящую потребность, привычку ежедневно приходить сюда и проводить здесь свой наиболее отрад-ный досуг.

Если наши источники едины в том, что обыкновенно термы закрывались с заходом солнца⁵⁰, то относительно часа, в который происходило их открытие, они дают сведения, представляющиеся на первый взгляд противоречивыми. Из одного стиха Ювенала вытекает, что термы посещались публикой начиная с пятого часа, до полудня⁵¹; заключенные в нем сведения подтверждаются эпиграммой Марциала, в которой поэт, стараясь выбрать наиболее удобный момент для посещения бани, высказывается в пользу восьмого часа, предпочитая его шестому, пышащему зноем, и даже седьмому, также все еще слишком жаркому⁵². Впрочем, с другой стороны, в жизнеописании Адриана из «Истории Августов» сообщается, что распоряжением этого императора предписывалось, чтобы никому, кроме как в случае болезни, не было позволено купаться в общественных термах прежде восьмого часа⁵³, между тем как в жизнеописании Александра Севера в том же источнике говорится, что в предыдущем столетии это дозволение давалось не ранее девятого часа⁵⁴. Наконец, из других

эпиграмм Марциала, как кажется, вытекает, что многие мужчины купались в десятом часу⁵⁵ и что, каким бы ни был час, установленный для открытия бань и возвещаемый звоном *tintinnabulum* (колокольчика), доступ публики разрешался еще задолго до звона колокола⁵⁶. На мой взгляд, разобраться в этом хаосе и внести примирение в разброд имеющихся у нас сведений можно только подвергнув анализу план терм вместе с правилами, которыми руководствовались силы порядка, осуществлявшие здесь разделение полов.

Во времена Марциала и Ювенала, при Домициане и даже еще при Траяне не существовало никакого формального запрета, который бы препятствовал женщинам купаться вместе с мужчинами. Тем дамам, кому претило такое смешение, приходилось либо вообще отказаться от посещения терм, либо обращаться в такие *balneae*, что были отведены исключительно для них. Но теперь среди женщин отыскивалось немало таких, кого соблазняла приманка спортивных занятий, предшествовавших баням в термах, и которые предпочитали быть скомпрометированными, посещая термы в то же время, что и мужчины, нежели отказать себе в этом удовольствии⁵⁷. Вследствие этого, по мере того как популярность терм росла, обострялись и скандалы, в конце концов заставившие власти действовать. Адриан, дабы покончить с ними раз и навсегда, издал в промежутке между 117 и 138 годами указ, упоминаемый в «Истории Августов», в соответствии с которым он разделил бани по половому признаку: *lavacra pro sexibus separavit*⁵⁸. Но поскольку план терм включает лишь один *frigidarium*, один *tepidarium*, один *caldarium*, это, очевидно, следует понимать так, что разделение было произведено не в пространстве, но во времени, отведя мужским баням одно время, а женским — другое. То же самое решение на очень большом удалении от Рима, однако как раз в правление Адриана, было предусмотрено регламентом императорских управляющих, ведавших *metallum Vipascense** в Лузитании, так как перечень обязательств *conductor*, иначе говоря подрядчика, взявшего на себя

* Рудниками в Випаске.

содержание *balnea* в этом шахтерском районе, включает топку котлов для женских бань с самого начала первого часа и до конца седьмого часа, а для мужских бань — с восьмого часа дня и до второго часа ночи⁵⁹. Разумеется, колоссальные размеры римских терм исключали освещение, которого потребовало бы точно такое же, вплоть до деталей, распределение времени также в них. Однако, сколько могу судить, не подлежит сомнению то, что они приняли тот же принцип, сделав поправку на исполинские масштабы. Так что рассыпанные по сочинениям наших авторов указания остается лишь сообразовать с планами римских терм, какими мы вправе их себе представлять, с учетом удвоения возвышавшегося посередине громадного здания бань и обширнейших вспомогательных зданий и служб, которые окружали его по сторонам, и они сольются в единую, в высшей степени правдоподобную картину.

Как утверждает Ювенал, двери вспомогательных служб открывались для публики, без различия пола, начиная с пятого часа дня. С шестого часа открывалось центральное здание, однако исключительно для женщин. В восьмом часу или же в девятом, в зависимости от того, было это зимой или же летом, колокол звонил вновь. Теперь наставала очередь мужчин входить в бани, где им было разрешено оставаться до одиннадцатого или двенадцатого часа. Несомненно, из этого распределения времени следует сделать заключение, что мужчины и женщины раздевались друг за другом исключительно внутри центрального здания и что палестры, обнесенные его стенами, были единственным местом, где допускалось обнажение тела в атлетических целях, но в таком выводе нет ничего такого, что могло бы нас удивить, и он возникает посреди многочисленных текстов, показывающих нам римлян, предающихся любовным утехам в своих термах.

Вспомним, к примеру, встречу Тримальхиона с беспутными юношами, которых он тут же пригласил на обед. Она состоялась в банный час, в термах, пускай это были термы города в Кампании*, однако создавались

* Определить с точностью город, в котором происходит основное действие уцелевших фрагментов романа Петрония (в частности,

они по образцу столичных. Энколпий и его спутники, не раздеваясь, начинают подходить к группам, там и сям возникающим в палестре. Внезапно их взгляды падают на «лысого старца, облаченного в розоватую тунику и развлекавшегося игрой в мяч в обществе подростков-рабов с длинными развевающимися волосами. Не мальчишки привлекли наше внимание, хотя на них, быть может, и стоило посмотреть, а сам обутый господин, усердно швырявший зеленый мячик. Если мячик падал на землю, хозяин не нагибался за ним, ибо слуга с полным их мешком стоял рядом, подавая игрокам по мере надобности»⁶⁰. Это игра в мяч, в которой участвовали трое; римляне называли ее *trigon*: трое игроков «вставали каждый в вершине треугольника» и разогревались, со всей силы без предупреждения швыряя мячи друг другу одной рукой, а ловя их другой⁶¹. Однако римлянам были известны и другие способы играть в мяч в термах: игра в мяч в собственном смысле слова*, где ладонь руки служила ракеткой, как в пелоте басков, и отбивала мяч противника; *harpastum*, в которой игроки должны были завладеть мячом, или *harpasta*, «посреди конкурентов, невзирая на толчки, скоростные перехваты и обманные движения», что приводило к большому утомлению и поднимало облака пыли; и еще много других разновидностей – игра в мяч с отскока, игра мячом об стену и т. д.⁶² В некоторых случаях мяч, наполненный песком (*harpasta*) или пером (*paganica*), заменялся пузырем, наполненным воздухом, или *follis*, который игроки оспаривали друг у друга руками, как в баскетболе, однако изящества в их действиях было больше, нежели азарта⁶³. Случалось и так, что очень больших размеров мяч заполняли землей или мукой, и игроки осыпали его градом ударов своих кулаков⁶⁴, как

знаменитый «Пир Тримальхиона»), не представляется возможным. Считается, что он находился вблизи Неаполя. Ближе к завершению уцелевших материалов герои оказываются в Кротоне на крайнем юге Италии.

* Французам понятнее, о чем идет речь, поскольку за термином «игра в мяч», *jeu de paume*, стоит долгая историческая традиция. В «зале для игры в мяч» имело место одно из самых ярких событий Великой французской революции — так называемая «Клятва в зале для игры в мяч» 20 июня 1789 года.

подвесную боксерскую грушу, а не то рубили фехтовальный столб учебными рапирами. Все эти игры предшествовали баням, и Марциал собрал их все воедино в эпиграмме, обращенной к одному из друзей, философу, который заявлял о своем к ним пренебрежении:

Ты ж ни в ручной, ни в пузырьный, ни в сельский мяч не играешь,
В термы придя, и тупым палку не рубишь клинком.
Ты не взрхляешь неспешно песка борцовской арены,
И не стремишься поймать ты запыленный гарпаст⁶⁵.

Но наше перечисление далеко от полноты, и к нему можно прибавить и простой бег, и бег за металлическим обручем (*trochus*), прихотливые повороты которого особенно нравилось направлять женщинам при помощи раздвоенной палочки, которую называли «ключом»⁶⁶, и упражнения с гантелями, поднимая которые на вытянутых руках, женщины доходили до изнеможения быстрее, чем мужчины⁶⁷. Следует, однако, отметить, что во всех этих играх мужчины и женщины были одеты или в тунику, как Тримальхион, или в трико, как лесбиянка Филенида, вынужденная оставаться в нем, когда она с азартом играет в *harpastum*⁶⁸, или в простой теплый плащ, скроенный для спорта, эндромиду, о которой Марциал сочинил следующее изящное посвящение одной из своих подруг: «Шлю тебе эту экзотическую эндромиду, будешь ли ты бросать тригон, похолодевший от прикосновений или в пыли, поднятой твоими шагами, твоя рука будет силиться ухватить гарпасту, то ли когда ты будешь балансировать из стороны в сторону легким, как перо, обвисшим пузырем-*follis*»⁶⁹.

Напротив того, атлетическая борьба, для которой следовало обмазать кожу *ceroma*^{*}, мазью, приготовлявшейся из масла и воска, которая обладала смягчающим кожу свойством, а затем — слоем пыли, который мешал бы ей скользить в руках противника, происходила между соперниками, предварительно полностью освобожденными от одежды. Приемы и контрприемы этой дисциплины проходили в палестрах центрального здания, близ помещений, которые были

* См. об этом слове примечание выше.

идентифицированы археологами в термах Каракаллы как *oleoteria* и *conisteria*^{70*}, где борцы не только мужского, но и женского пола, которых Ювенал обвиняет в извращенной любви к прикосновениям массажиста, должны были подвергаться предписанным правилами умащиваниям и гримировке⁷¹.

Итак, атлетические занятия находились в тесной связи, в прямом взаимодействии с банями, которые следовали за борьбой, и мытье в бане распадалось на три четко обособленные фазы. Вначале покрытый потом купальщик отправлялся (если он еще этого не сделал) раздеваться в одном из гардеробов, или *apodyteria*, терм. Затем он входил в одну из *sudatoria*, которые примыкали к *caldarium*, и в этой атмосфере парной еще активизировал потоотделение: то была сухая баня. Далее он проникал в *caldarium*, где температура также была повышенной: здесь он мог, сверх этого, подойдя к *labrum* (бассейну), сбрызнуть свою кожу, по которой обильно струился пот, жгучей водой, после чего поскоблить ее банной скребницей. Вслед за этим, очистившись и обсохнув, он повторял те же свои шаги в обратном порядке, делал остановку в *tepidarium*, чтобы сделать переход более плавным, и наконец бежал окунуться в бассейн с холодной водой *frigidarium*. Вот три этапа гигиенической бани, как их рекомендует Плиний Старший⁷², через которые проходят купальщики романа Петрония⁷³, а также те, кого мы встречаем в эпиграммах Марциала, — впрочем, с той особенностью, что поэт оставляет за своими воображаемыми собеседниками свободу действий насчет того, не заменить ли обливания *caldarium* обильным потоотделением в парной или же прибавить первое ко второму⁷⁴.

В самом деле, невозможно было с удобством самому скоблится скребницей перед *labrum*. Не обойтись было без помощника, и если ты не позаботился о том, чтобы привести с собой рабов, эта услуга никоим образом не была бесплатной. Один эпизод из «Истории Августов» служит доказательством того, что прежде чем пойти на такой расход, надо было как следует все взвесить.

* *Oleoteria* — помещения для умащивания маслом, *conisteria* — помещения для посыпания пылью.

Адриан, рассказывает нам его биограф, часто вместе со всеми купался в общественных банях. Как-то раз он увидел, что ветеран, которого он знал по службе в армии, трется спиной о мрамор, которым были облицованы кирпичные стены *caldarium*, и спросил его, почему он так поступает. Старый солдат ответил, что это от нехватки средств на рабов, и император тут же наделил его рабами и деньгами. Естественно, на следующий день, стоило только распространиться вести о прибытии императора, многие старики тоже принялись тереться спинами о мрамор бань, желая промыслить себе благодеяния, пролившиеся накануне. Однако Адриан ограничился тем, что посоветовал им взаимно друг другу пособлять: пусть один скребет спину другому. Биограф добавляет, что начиная с того дня это взаимное почесывание сделалось популярным времяпрепровождением в термах: *ex quo ille iocus balnearis innotuit*⁷⁵. Но есть основания полагать, что предавались ему только бедняки. У богачей были средства для того, чтобы их вволю обслуживали, скребли, массировали и умащали благовониями.

Когда будущие гости Тримальхиона выходят из *frigidarium*, они вновь видят своего случайного амфитриона*: он весь залит благовониями, которые обтирают с него не обыкновенным полотном, но салфетками из самой тонкой шерсти; они наблюдают, как над ним не покладая рук трудятся три массажиста, которые, поспорив за честь приняться за чистку, «завернули его в ярко-красное покрывало и положили на носилки»⁷⁶. Тримальхион, надлежащим образом высушенный попечениями специалистов и поднятый на плечи своих людей, вернулся прямо домой, где его ожидал обед.

Напротив того, большая часть купальщиков, особенно те, чей дом не был столь достаточным, а стол — менее богат, чем у Тримальхиона, задерживались в термах, до самого закрытия предаваясь здешним безмятежным удовольствиям. Они могли собраться в дружеском кругу в отдельных кабинетах или в нимфеях. Или они отправлялись почитать книгу в библиотеках; два

* Радужного хозяина; по герою комедии Плавта «Амфитрион», являющейся переработкой мифологического сюжета.

помещения для книг были обнаружены в термах Каракаллы с двух концов ряда цистерн: они определяются с первого же взгляда по прямоугольным выемкам в стенах, где должны были размещаться *plutei volumina*, или деревянные ящички, заключающие в себе драгоценные *volumina*⁷⁷. Или же они спокойно прогуливались по переходам *xystum* среди шедевров, которыми императоры постоянно и неуклонно населяли свои термы. Широко известны те, что были в ходе раскопок извлечены из терм Каракаллы, где когда-то отыскивали пристанище — на здешних мозаичных полах, под кессонированными сводчатыми потолками, среди стен, облицованных мрамором и колоннадами с капителями, украшенными героическими фигурами — и фарнезский «Бык», и фарнезская «Флора», и фарнезский «Геркулес», и бельведерский торс, и две громадные чаши, в которых теперь вечно поет римская вода на площади дворца Фарнезе⁷⁸. Однако термы Траяна были украшены не менее богато, и это из них происходит, в частности, знаменитая группа «Лаокоон», находящаяся ныне в Ватикане⁷⁹. Просто немыслимо, чтобы после этих упражнений и бань предавшихся телесному благополучию и счастливой усталости римлян не пронизала потихоньку окружающая благодать; невозможно, чтобы посреди этих чудес на кого-то из них не снизошло интеллектуальное или художественное озарение.

Вне всякого сомнения, сами римляне дурно отзывались о своих термах и клеймили распутившиеся там цветы зла. Не подлежит сомнению также, как слишком хорошо известное обстоятельство, что под внешними портиками, окружавшими монумент, находило пристанище множество трактирщиков, кабатчиков и сутенеров⁸⁰; что там слишком уж легко можно было отыскать, чем набить брюхо и затуманить голову, а также и все прочие удовольствия; что находилось много и таких, парившихся, чтобы возбудить жажду, кто раз за разом приходил в баню, чтобы после этого просто-напросто надраться, подвергаясь, впрочем, опасности погибнуть от своего разгула, получив смертельный мозговой удар⁸¹; что излишества, присущие Коммоду, который повторял баню до

восемью раз в день, могли лишь размягнуть мышцы и расшатать нервы; и, наконец, что термы можно упрекнуть в возникновении представления, которое цинически разделяли их жертвы: *balnea, vina, Venus corrumpunt corpora nostra sed vitam faciunt*⁸²! И все же я убежден, что императорские термы принесли народным массам великое благо. В своем изумительном мраморном великолепии они не были только лишь чудесным дворцом Римских вод⁸³. В первую очередь они являлись Дворцом народа, этим предметом мечтаний наших демократов, но таким, в котором римляне когда-то, приобретая вкус к телесной чистоте, а заодно и к полезным занятиям спортом, и к бескорыстной культуре, смогли на протяжении многих поколений замедлить свой упадок через возврат к старинному идеалу, вдохновлявшему когда-то в прошлом их величие, идеалу «здорового ума в здоровом теле», который все еще продолжает им проповедовать Ювенал⁸⁴.

Римские пиришества

Вслед за бодрящей усталостью, испытанной в термах, наступало время пообедать. Солнце уже склонилось к закату, а мы между тем так и не видели, чтобы римляне ели. Тем не менее нам известны среди них и такие, что требовали четыре обильные трапезы ежедневно⁸⁵, а тексты обычно упоминают три ежедневные трапезы, которые, впрочем, меняли название на протяжении веков. Подобно тому, как у нас на смену *déjeuner, doner* и *souper*^{**} по мере того, как ужин оказался отеснен к полуночи, пришли *petit déjeuner, déjeuner* и *doner*^{***}, так и в Риме *jentaculum, cena* и *vesperna*^{****}, вследствие исчезновения *vesperna*, на протяжении всего классического периода вылились в *jentaculum*,

* Бани, вино и любовь губят наши тела, зато рождают жизнь.

** Завтраку, обеду и ужину (*фр.*).

*** Первый завтрак, завтрак просто и обед (*фр.*).

**** Завтрак, обед и ужин.

prandium и *cena*⁸⁶. В эпоху, в которой мы теперь пребываем, многие римляне сохранили привычку к трем приемам пищи, например, Плиний Старший, притом что он не грешил чревоугодием⁸⁷, а также, как правило, старики, которым это предписывалось медиками той эпохи⁸⁸. Но большинство, проснувшись и выпив чашку чистой воды⁸⁹, по совету своих врачей обходились без одной из двух первых трапез. В частности, Гален около четвертого часа ограничивался одним только *jentaculum*⁹⁰, а солдаты довольствовались *prandium* около полудня⁹¹. Впрочем, особой питательностью ни *jentaculum*, ни *prandium* не отличались. *Jentaculum*, о котором говорит Марциал, состоит из хлеба и сыра⁹²; *prandium*, подчас сводящийся к куску хлеба⁹³, обычно сопровождается холодным мясом, овощами и фруктами, орошаемыми несколькими глотками вина⁹⁴. *Jentaculum* Плиния Старшего был не более чем легкой закуской (*cibum levem et facilem*, простая и легкая пища). Его *prandium* можно было бы назвать перекусом (*deinde gustabat*)⁹⁵. *Jentaculum* и *prandium* подавались до того без затей, что не было необходимости ни заранее накрывать на стол (*sine mensa*), ни мыть после них руки (*post quod non sunt lavandae manus*)⁹⁶. То и другое, очевидно, употреблялись в холодном виде и на скорую руку, так что единственной трапезой, достойной этого имени, был для всех вечерний обед: *cena*. Это вспоминая Вителлия и подобных ему, мы склонны полагать, что римляне всю жизнь проводили за столом. И напротив, приглядевшись к действительности повнимательнее, мы видим, что по большей части они оказывались за столом лишь по завершении дня, подобно тому, как это делал столетие назад в нашем посольстве в Лондоне столь изысканный гурман, как князь Беневентский⁹⁷**. Мы представляем себе римлян ненасытными обжорами, но приходится при-

* Завтрак, полдник и обед.

** Имется в виду Шарль Морис Талейран-Перигор, князь Беневентский (1754—1838), знаменитый наполеоновский министр иностранных дел, бывший в 1830—1834 годах послом в Англии. На воспоминания о его косметической безыскусности Ж. Каркопино уже ссылался выше.

знать, что вплоть до самого вечера они обходились почти совсем без пищи.

Правда и то, что уж тогда-то они удваивали порции и наверстывали упущенное. Но также и здесь не следует прислушиваться к ошибочным мнениям и скоропелым суждениям.

Вообразая себе, что давнишние *senaе* всякий раз оказывались какими-то невероятными кутежами, мы совершаем ту же ошибку, как если станем приписывать всем празднествам арабов значение их «диффа»^{*} или всем нашим банкетам – продолжительность, основательность и темп нашей крестьянской свадьбы на широкую ногу. Истина заключается в том, что в приблизительно одинаковых условиях, при одних и тех же обычаях и регламенте *senaе* в высшей степени друг от друга отличались и римляне, смотря по обстоятельствам, темпераменту и нравственному уровню, могли превратить свой единственный за день обед как в грубую попойку, так и в исполненное тонкости и изысканности пиршество.

Если не принимать во внимание таких исторических монстров, как Вителлий или Нерон, начинавших застолье с полудня⁹⁸, час, в который начиналась *sena*, был почти один и тот же для всех: после бани, то есть в конце восьмого часа зимой и девятого часа летом. Это распорядок дня, принятый в окружении Плиния Младшего⁹⁹; и на него же указывает Марциал своему другу Юлию Цериалу, когда назначает ему встречу в восьмом часу в *balnea* Стефана, ближайшей к его жилищу, чтобы отвести его после бани к себе на обед¹⁰⁰. И напротив, час, в который *sena* завершалась, различался в зависимости от того, был ли это обед без затей или же парадное пиршество, скромны ли были запросы хозяина или, напротив, это был чревоугодник. Вообще говоря, порядочная *sena* должна была завершиться прежде наступления непроглядной темноты. К примеру, когда Плиний Старший поднимался из-за стола, летом день еще не кончался, а зимой первый час ночи еще не завершался¹⁰¹. Впрочем, правило это знали многочисленные и разительные исключения; останавливаясь на крайних случаях,

^{*} Очевидно, правильнее все же будет «зифаф» — свадьба (*араб.*).

скажем, что *cena* Нерона продолжалась до полуночи¹⁰², устроенная Тримальхионом — до самого рассвета¹⁰³, а *cena* «полунощников», описываемая Ювеналом с целью вызвать наше негодование, шла до того момента, «когда восходит утренняя звезда, когда полководцы командуют знаменам выдвигаться вперед и снимают лагерь»¹⁰⁴.

Cena, какова бы ни была ее продолжительность, всегда устраивалась, если только хозяева — люди с достатком, в отдельном помещении дома или квартиры: *triclinium*, длина которого вдвое превышает ширину¹⁰⁵, имя же свое он получил от лож (*lectus*) на три места (*triclinia*), на которых возлежали обедающие*. Вот ключевой момент, с которым нам теперь не так-то просто свыкнуться: он сближает *cena* с теми восточными пиршествами, где диваны заменяют наши стулья и кресла. Но ни за что на свете римляне не согласились бы отказаться от него. Они держались за эту деталь как за неотъемлемый элемент своего благополучия, но также как за некий символ утонченности и знак социального превосходства. Да, это было весьма неплохо, когда жены ели, сидя у ног мужей¹⁰⁶. Однако теперь, когда матроны заняли на *triclinia* места рядом с мужчинами, это было верно только в отношении детей, для которых ставились скамеечки перед ложем их родителей¹⁰⁷, или рабов, которым хозяева разрешали возлежать по своему примеру лишь по праздникам¹⁰⁸, или деревенщины из сельских местностей, или провинциалов из далекой Галлии¹⁰⁹, или мимохожих посетителей кабаков¹¹⁰ и постоялых дворов¹¹¹. И неважно, были ли римляне облачены в костюм для торжественных банкетов, в этот *synthesis*, чей легкий муслин служил защитой от возникающей в тесном общении пирушки жары и который подчас меняли при перемене блюд¹¹², в любом случае они сочли бы себя униженными, если бы все пирующие, как мужчины, так и женщины, не возлежали во время обеда друг подле друга. Они прекрасно понимали сурового Катона Утического, который выразил свой траур по поводу разгрома армии

* Судя по всему, лат. *triclinium* происходит от гр. *triklinon*, «тройное ложе» (то есть ложе, составленное из трех частей вокруг стола).

сената тем, что вечером после сражения при Фарсале поклялся (и хранил верность этой клятве до самого самоубийства), что будет есть сидя, покуда тирания Юлия Цезаря будет править бал¹¹³.

Вокруг квадратного стола, одна сторона которого оставалась незанятой, чтобы дать подход обслуге, были установлены три наклонных ложа, восходивших в направлении стола с таким расчетом, чтобы точка упора приходилась чуть выше его поверхности. На каждом из этих лож, отличавшихся большей или меньшей изысканностью и застланных тюфяками и покрывалами, имелось три места, отмеченных разделительными подушками. Хозяин-невежа, не желавший проявлять к своим гостям предупредительность, подчас занимал среднее ложе один или укладывал на него с собой (или скорее «ниже» себя) только одного гостя¹¹⁴. Дело в том, что места были некоторым образом иерархически ранжированы в соответствии с мелочным этикетом, ведавшим их распределением. Впрочем, не без более обходительной учтивости, которая предусматривала, чтобы наиболее скромный из присутствующих гость компенсировал свое низкое положение тем более блестящим соседством. Почетным ложем считалось то, что не имело ложа напротив (*lectus medius*, среднее ложе); и лучшим на нем местом было правое, «консульское» место (*locus consularis*). Следом за ним шло ложе, помещенное слева от предыдущего (*lectus summus*, верхнее ложе), а последним было правое (*lectus imus*, нижнее ложе). На этих двух ложах привилегированным местом было левое, возле спинки, *fulcrum*¹¹⁵. Прочие распределялись следом. На каждом ложе обедающие располагались по диагонали, опершись левым локтем на подушку, вытянув ноги, освобожденные от обуви и вымытые при входе¹¹⁶, в направлении нижнего края. Нередко квадратному столу предпочитали круглый и вследствие этого трем ложам — единое ложе, описанное вокруг него по дуге или, как выражались тогда, в форме лунной *sigma*, *stibadium*, на котором наиболее выдающиеся лица располагались с концов; строго говоря, здесь было место для девяти человек, однако обычно на нем размещались не более семи или восьми¹¹⁷. Если

принять следовало более девяти персон, надо было поставить дополнительные *stibadia* или *triclinia* (*triclinia sternere*) в столовой, обычно рассчитанной на 36 обедающих, или четыре стола¹¹⁸, или на 27, или только три стола¹¹⁹.

Привратник (*nomenclator*) называл гостей и объявлял им предназначенное ложе и место. Многочисленные официанты (*ministratores*) приносили им тарелки и чаши на столы, которые после Домициана стало принято накрывать скатертью (*mappae*)¹²⁰, в то время как прежде ограничивались тем, чтобы после каждой перемены блюд протирать насухо дерево или мрамор столешницы¹²¹. В распоряжении обедающих были ножи¹²², зубочистки¹²³ и различного размера ложки: черпак, или *trulla*; ложка, или *ligula*, емкость которой слегка превосходила одну сотую литра (четверть киафа, *cyathus*); маленькая сужающаяся на конце ложечка, или *cochlear*, с помощью которой разделялись с яйцами и моллюсками¹²⁴. Вилки римляне не использовали – точно так же, как современные арабы или французы в начале Нового времени. Им приходилось есть пальцами, и это обыкновение влекло за собой многократные омовения: вначале перед трапезой, а затем после каждой перемены блюд. Слуги с кувшинами воды сновали вдоль лож, и каждый поливал на руки сотрапезника свежую воду с отдушкой, вытирая их затем салфеткой, которую держал в другой руке¹²⁵. Кроме того, каждый приглашенный был снабжен персональной салфеткой, которую он располагал перед собой, дабы не запачкать покрывало своего ложа, и они испытывали тем меньше сомнений насчет того, чтобы забрать ее с собой, что обычай несколько не препятствовал им унести ее наполненной аппетитными кусочками, которые не удалось съесть за столом: *apophoreta*¹²⁶.

И правда, надо было обладать аппетитом Гаргантюа, чтобы одолеть до конца меню, которое нам дает литература на этих празднествах, где амфитрион покорял своих гостей изобилием блюд и богатством столового серебра. Они состояли по крайней мере из семи перемен или *fercula* (*quis fercula septem secreto*

cenavit avus?^{127*}): закуски, или *gustatio*, три первых блюда, два жарких и десерт, или *secundae mensae*. Мы видим, как их проносят, с добавлением еще одного жаркого, во время пира Тримальхиона, этой «потешной трапезы», чей комизм, однако, заключается не в переизбытке блюд, едва ли более ошеломляющем, чем на некоторых официальных банкетах, воспоминание о которых, с четырехвековым интервалом, донесено до нас Макробием¹²⁸, но в блаженной глупости хозяина дома, безумном ребячестве его выдумок и претенциозной нелепости столовой утвари. На подносе для закусок у него стояла статуэтка осленка из коринфской бронзы, с переметной сумой на спине, причем с одного бока в ней лежали белые маслины, а с другого — черные. Сверху помещались два блюда, на краях которых значились имя Тримальхиона и то, сколько фунтов серебра они в себе заключают. Арки в форме моста поддерживали сонь, пересыпанных медом и маком; на серебряной решетке дымились пышущие жаром колбасы, а под ними — в виде углей дамасские сливы с гранатовыми зернышками¹²⁹. Не успели гости прожевать поданное, как слуги уже подали первое блюдо: деревянная курица на соломенной подстилке, из-под которой виднелись павлиньи яйца, каждое из которых заключало в себе славку**, погруженную в яичный желток с перцем¹³⁰.

Второе первое блюдо прибывает на подносе с монументальной и донельзя усложненной, ребяческой по наивности композицией: на диске с изображением знаков зодиака располагаются 12 тарелок с кушаньями, соответствующими каждому из этих знаков. Так, на Льве лежат африканские фиги, на Близнецах — почки, на Овене — бычья вырезка, на Деве — матки молодых свиней, а на Козероге — лангуст; снизу помещалось блюдо, на котором пулярки с одной стороны и свиное вымя с другой располагались вокруг зайца, «украшен-

* Кто из наших предков поедал в уединении обед в семь перемен?

** Окончательной ясности, что это была за птичка, нет. Ее название (*ficedula*) говорит о том, что она питалась фигами и потому к осени становилась очень жирной. Есть мнение, что это были не славки, а бекасы.

ного крыльями, как обычно изображают Пегаса», между тем как по углам четыре статуэтки Марсия извергали из своих маленьких бурдюков острый соус на рыбок, плававших в Эврипе в миниатюре¹³¹. За этим по порядку следовали три жарких. На первом подносе помещалась порядочных размеров свинья, окруженная поросятами из теста и начиненная дроздами; на втором – огромный кабан, из которого изливался поток сосисок и колбас¹³²; на последнем вареный теленок с шлемом на голове, которого разрезавший мясо стольник, *scissor*, одетый Аяксом, разделил на порции и роздал гостям, подавая куски на конце меча¹³³. Наконец подали десерт в виде фигурного торта: выпеченный Приап, который нес пирожные, фрукты и виноград всех сортов¹³⁴. В промежутке между *cena* в собственном смысле слова и десертом, называвшимся *secundae mensae* (вторая трапеза), столы были забраны и заменены другими, и между тем как *triclinarii* производили эту перемену, другие рассыпали по полу древесные опилки, окрашенные в цвета шафрана и киновари¹³⁵. Надо полагать, в этот момент все присутствующие, накормленные до отвала и пресыщенные, не могли и помышлять ни о чем другом, кроме как откланяться и отправиться по домам – спать. Однако в тот самый момент, когда, как казалось, пир завершился, он начался вновь, и Тримальхион, отправив вначале своих гостей в раскаленную баню, отвел их в другой *triclinium*, где вино, как говорят нам, лилось рекой, так что, утомленные едой, они могли хотя бы продолжать пить в соответствии с ритуалом *commissatio*, обычным завершением чрезмерно обильных *cenae*.

Первое возлияние открывало трапезу. После закусок принято было отведать вина, подслащенного медом: *mulsum*. В промежутках между прочими переменами *ministratores*, одновременно наделяя пирующих маленькими горячими хлебцами¹³⁶, спешили наполнить их чаши винами самых различных сортов, начиная от весьма порицаемых ватиканского и марсельского¹³⁷ и вплоть до бессмертного фалернского¹³⁸. Вино сохранялось благодаря примешивавшимся к нему смоле и вару в амфорах, горлышко которых закрывалось затыч-

ками из пробки или глины и снабжалось этикеткой (*pittacium*) с указанием происхождения и года урожая¹³⁹. Во время пиршества амфоры распечатывали и, пропуская через цедилку (*colum*) и фильтруя, их содержимое переливали в кратеры, откуда черпали чашами. В самом деле, тех римлян, которые пили эти густые вина в чистом виде, считали ненормальными и порочными, на них указывали пальцем¹⁴⁰. Именно в кратерах имело место смешивание вина с водой, охлажденной снегом или, напротив, предварительно нагретой, доля которой почти никогда не опускалась ниже трети, а могла достигать четырех пятых. *Commissatio*¹⁴¹, начинавшаяся после *cena*, являлась своего рода официальной попойкой и состояла в том, что несколько чаш надо было осушить одним залпом¹⁴², следуя указаниям председательствующего. Только председатель был уполномочен назначить число чаш, которые обязан выпить каждый, и число киафов (0,0456 литра), которые следует влить в каждую чашу, что варьировалось в пределах от 1 до 11¹⁴³, но прежде всего следовало определить, как надо пить — то ли по кругу, начиная с сотрапезника, помещавшегося выше всех (*a summo*), то ли последовательно, когда каждый наполнял только что осушенную им чашу и с пожеланием удачи передавал своему соседу, или на еще иной манер, избрав помощника, за здоровье которого каждый должен был выпить столько чаш, сколько букв содержалось в его *tria nomina* (трех именах) римского гражданина¹⁴⁴.

Возникает вопрос: как даже самые крепкие желудки могли привыкнуть к таким горам жратвы, как наиболее здоровые головы могли устоять, когда чаши опрокидывались одна за другой без перерыва?

Начнем с того, что, быть может, число страдальцев куда как уступало числу пирующих. В самом деле, зачастую на этих показушных пиршествах, этих рассчитанных на внешний эффект сабантуях званых было куда больше, чем избранных. Хозяин дома из тщеславия созывал на обед как можно больше людей. А после, из скупости или же эгоизма, он отказывал гостям в предупредительности, ставил себя выше их. Плиний Старший порицает тех современников, кото-

рые «подают приглашенным иные вина, нежели себе, или в ходе пира заменяют хорошие на посредственные»¹⁴⁵. Плиний Младший возмущается кем-то из близких ему людей, поскольку он, желая, чтобы в ходе устроенной у него на дому *сена*, ему доставались изысканные блюда, а прочим посадив на скудный паек, распределил свои вина по трем категориям небольших бутылей, по достоинству своих сотрапезников¹⁴⁶. Одна знакомая Марциалу матрона наслаждается изысканными пирожками непристойной формы, услаждает себя сетийским вином, столь жарким, что оно «воспламенит снега», но не видит ничего предосудительного в том, чтобы прочие люди у нее в гостях прямо в ее присутствии глодали комки из черной муки и «жлебали темное пойло из кувшина с корсиканским вином»¹⁴⁷. Наконец, Ювенал посвятил более сотни строк обедам у Виррона. Этот в полном смысле слова хам взял за обыкновение смаковать старые вина и хлеб из пшеничной муки тонкого помола, набивать брюхо гусиной печенкой, трюфелями и прочими деликатесными грибами, выловленной в Таормине барабулькой и жирными пулярками, изысканными фруктами, которые, можно думать, вызрели в садах Гесперид, между тем как его гости вокруг вынуждены довольствоваться грубым вином этого года, черными горбушками, отдающими плесенью, жаренной в масле капустой, подозрительными шампиньонами, гузкой старой птицы, а в завершение — гнилым яблоком, «какое грызут ученые обезьяны, прогуливающиеся по стенам»¹⁴⁸. И Плиний Младший мог сколько угодно протестовать против полной несообразности таких действий¹⁴⁹, многочисленные согласующиеся друг с другом свидетельства на их счет говорят о их широком распространении. Впрочем, у них имелось хотя бы то преимущество, что они умеряли ущерб от обжорства во время *сенае*.

С другой стороны, этот вред несомненно умерялся той неспешностью, с которой развертывала *сена* свою несообразную по объему программу. Некоторые пир-

* Осуждение Марциала в данном случае адресовано не матроне, а приятелю Луту, который откармливает любовницу, а друзей потчует чем придется, см. эпиграмму.

шествия, как, например, тот же пир Тримальхиона, продолжались и по 8, и по 10 часов. Они чередовались с антрактами: после перемены блюд начинается концерт, сопровождающий пляску серебряного скелета; после жаркого трюки эквилибристов и исполняемый Фортунатой «кордак»^{*}; перед десертом – загадки, лотерея и сюрприз с потолком, раскрывшимся, чтобы дать проход громадных размеров обручу, с которого свисали склянки с благовониями, тут же розданные присутствующим¹⁵⁰. Почти повсюду принято было считать, что *сена* не будет полной без шутовства клоунов, без ужимок красавчиков¹⁵¹, но в первую очередь без исполнявшихся под треск кастаньет сладострастных танцев, на которых в императорском Риме специализировались уроженки Гадеса¹⁵², как ныне Улед Наиль у арабов Алжира^{**}. Так что Плинию Младшему, которого эти дивертисменты ничуть не увлекали, и у себя он их не заводил¹⁵³, приходилось их терпеть у других. Вот только зачастую они, помогая переварить поглощенную в ходе поистине пантагрюэлевского пиршества пищу, являлись переходом к настоящему разгулу, непотребство которого усугублялось невероятной бесцеремонностью сотрапезников.

Как и у арабов, рыгать за римским столом было в порядке вещей: это оправдывалось философами, для которых следование природе являлось высшей мудростью¹⁵⁴. Изданный Клавдием в развитие их учения указ был призван разрешить издавать иные связанные с газоотделением шумы, от которых арабы все же воздерживаются^{155***}, а медики времен Марциала настоятельно рекомендовали пользоваться свободами, дарованными императором – при всей его благонамеренности, донельзя комичным¹⁵⁶. Музыка, которой они тем самым положили начало, в изобилии присутствует за столом у Тримальхиона, который «никому не

* Танец в античной комедии или миме. При общей его загадочности все же известно, что исполнявший его актер подражал в движениях пьяному.

** Улед Наиль — группа полукочевых арабских племен в Алжире.

*** У Светония, на которого ссылается здесь Ж. Каркопино, сказано все же осторожнее: «Как передают, он обдумывал указ...»

запрещал облегчаться за столом»¹⁵⁷. К тому же Тримальхиону еще достало щепетильности подняться с триклиния и удалиться из столовой по неотложной нужде. Все прочие римские амфитрионы не были столь церемонны, и у Марциала мы видим много таких, кто подзывает к себе, щелкнув пальцами, раба с уткой, который и помогает им ею воспользоваться¹⁵⁸. Наконец, в конце *сена* нередко случалось увидеть, как драгоценные мозаики полов оскверняются потоками рвоты¹⁵⁹; и опустошить желудок в комнате по соседству всегда оставалось наиболее надежным средством для того, чтобы проделать до конца весь путь неслыханной попойки: *vomunt ut edant, edunt ut vomant*¹⁶⁰.

Мы не в состоянии скрыть отвращение, которое внушают нам эти описания, как не можем оспаривать того, что в изобильном Риме, выкачивавшем все произведенное в его империи, на всех уровнях общества, в том числе и в том кругу, в котором вращался Плиний Младший, было немало обжор и пьяниц. Достаточно послушать Петрония, который превозносит подвиги повара, способного матке свиньи придать вид рыбы, а куску жира – вид голубя¹⁶¹, чтобы оценить совершенство искусства римских кулинаров, сделавшихся отныне гениями по части создания блюд, способ приготовления которых препятствует опознанию того, из чего они приготовлены¹⁶². И достаточно бегло просмотреть XII книгу эпиграмм Марциала*, чтобы убедиться в прогрессе гастрономии его времени, в превосходном качестве и разнообразии компонентов, которыми она располагала для своих затей. В близко расположенных к Городу заливах ловили рыбу, ракообразных, средиземноморских моллюсков. В лаврентийских и циминских лесах охотились на дичь. Соседние деревни поставляли мясо и молочные продукты своих стад, требуланские и вестинские сыры, а также всевозможные овощи: капусту и чечевицу, бобы и латук, репу и брюкву, кабачки и тыквы, дыни и спаржу. Пиценская и Сабинская области славились своим маслом. Из Испании прибывали рассолы, которыми приправляли яйца; из Галлии — колбасные изделия; с Востока — пря-

* Судя по всему, ошибка: речь идет о XIII книге.

ности. Из всех местностей Италии и со всего мира свозились вина и фрукты, яблоки и груши: фиги — с Хиоса, лимоны и гранаты — из Африки, финики — из оазисов, сливы — из Дамаска. У каждой снеди отыскивались свои поклонники, и Ювенал выстраивает перед нами целую галерею гурманов, зачарованных рыночным изобилием. Здесь и прохожий, с наслаждением обоняющий запах «свиной матки из теплой харчевни»¹⁶³; и сыновья, идущие по пятам седого гуляки и лакомки, своего отца, которые с юности занимаются тем, что чистят трюфели, приправляют подливкой грибы и погружают славок в подходящий соус¹⁶⁴; и мот, уплативший 6 тысяч сестерциев за барвену, которой ему захотелось ответить¹⁶⁵; и гурман Монтан, которому стоит только попробовать на язык, чтобы отличить цирцейскую устрицу от лукринской¹⁶⁶.

Но мы были бы неправы, если бы перешли к широким обобщениям. Точно так же, как, бросив взгляд на Монтана, не следует воображать, что в каждом сенаторе времен империи таился своего рода Брийя-Саварен*, не надо представлять себе все римские *cenae* как те разнузданные шабаши, гротескные и отвратительные примеры которых мы упомянули. В то же самое время, когда последние имели место, немало римлян взяли за привычку превращать завершавший день обед в скромный и изящный праздник, в котором ум принимал не меньшее участие, нежели чувства, и дотошная его регламентация не исключала ни соразмерности, ни простоты. Благодаря письму Плиния Младшего мы знаем, какие *cenae* давал Траян в своей вилле в Центумцеллах (Чивитавеккья): они были скромными (*modicae*), не включали иных развлечений помимо слушания музыки или комедий (*acroamata*), а начало ночи здесь проходило в приятных беседах¹⁶⁷. Как редкие подарки принимает Плиний Младший доставленных ему от Флакка дроздов¹⁶⁸, пулярку, присланную Корнутом¹⁶⁹. Он соглашается обедать у Катилия Севера (консул

* Жан-Антельм Брийя-Саварен (*Brillat-Savarin*)(1755—1826) — французский адвокат и политик, автор знаменитого сочинения о гастрономии «Физиология вкуса» (*Physiologie du gout*, 1825, т. 1—8).

115 года) только при том условии, что *cena* будет без изысков и затрат, а оживлять ее будут лишь сократические беседы¹⁷⁰. Плиний сохранил меню обеда, устроенного им в честь Септиция Клара. Хотя он старался изо всех сил, это поистине образец умеренности: по кочану латука, по три улитки и два яйца на человека; маслины, лук и тыквы; полбенный пирог, запиваемый подслащенным медом вином со снегом; а для развлечения — на выбор чтец, комик или исполнитель на лире, либо все трое один за другим¹⁷¹.

В среде горожан более низкого социального положения преобладала та же утонченная трезвость. Вот, к примеру, из чего состоит *cena*, устроенная Марциалом для семерых гостей на *stibadium*:

Ложе мое для семи: шесть нас, да Лупа прибавь.
Ключница мальв принесла, что тугой облегчает желудок,
И всевозможных приправ из огородов моих.
И низкорослый латук нам подан, и перья порея,
Мята, чтоб легче рыгать, для сладострастья трава.
Ломтики будут яиц к лацерте, приправленной рутой,
Будет рассол из тунцов с выменем подан свиным.
Это закуска. За нею — обед в одну перемену:
Козлик сначала, что был хищным волчищем добыт,
И колбаса, что ножом слуге не приходится резать,
Пища рабочих — бобы будут и свежий салат;
Будет цыпленок потом с ветчиной, уже поданной раньше
На три обеда. Кто сыт, яблоки тем я подам.
Спелые вместе с вином из номентской бутылки без мути,
Что шестилетним застал, консулом бывши, Фронтин.
Шутки без желчи пойдут, поутру об излишне свободной
Речи не будешь жалеть, каяться в том, что сказал¹⁷².

Еще проще обед, предлагаемый другу Ювеналом:

Блюда у нас какковы, не с рынка мясного, послушай:
Из Тибуртинской страны будет прислан жирнейший козленок,
Самый-то нежный из стада всего, молоко лишь сосавший.
Он и травы не щипал, не обглаживал веток у ивы,
Крови в нем нет, а одно молоко. После спаржу отведай:
Прялку на время сложив, ее собрала старостица.
Крупные, кроме того, еще теплые (в сене лежали)
Яйца получим и кур; затем виноград, сохраненный
С прошлого года таким, как он на лозах наливался;
Сигнии груши, Тарента (сирийские); в тех же корзинах
Яблоки с запахом свежим, нисколько не хуже пиценских¹⁷³.

Приятно было бы думать, что примерно такое же меню заказывал, находясь на отдыхе в Помпеях, горожанин, распорядившийся нанести на стенах своего *triclinium* советы, которые все еще можно там прочесть: они прямо-таки дышат пристойностью и достоинством.

Гостю пусть ноги слуга обмоет и их осушит полотенцем;
Следи, чтобы наши ложа он обернул полотном.
ABLUAT UNDA PEDES PUER ET DETERGEAT UDOS
MAPPA TORUM VELET LINTEA NOSTRA CAVE.

Не строй похотливых гримас, не бросай завлекающих взглядов
На супругу соседа. Пусть скромность тебя украшает.
LASCIVOS VOLTUS ET BLANDOS AUFER OCELLOS
CONIUGE AB ALTERIUS SIT TIBI IN ORE PUDOR.

Благожелателен будь, а злобные склоки забудь, если можешь,
Иль возвращайся скорей обратно под крышу свою.
UTERE BLANDIIS ODIOSAQUE IURGIA DIFFER SI POTES
AUT GRESSUS AD TUA TECTA REFER¹⁷⁴.

Нет сомнения в том, что плебеи, как правило, соблюдали такую сдержанность на своих цеховых обедах. Ознакомимся с уставом погребальной коллегии, учрежденной в Ланувии в 133 году н. э. Он предусматривает шесть торжественных пиров в год: два соответственно в годовщины основания святилищ Антиноя и Дианы, героя и богини, под покровительством которых находятся эти «коллегии спасения»; и четыре в годовщины кончины трех своих благодетелей Цезенниев и благодетельницы Корнелии Прокулы. Также в уставе прописано, что стараниями председательствующего на пире, *magister cenae*, каждый сотрапезник получит для участия в нем один хлеб в два асса, четыре сардины и амфору горячего вина. Здесь установлен порядок, в котором размещаются члены коллегии: он должен соответствовать «иерархическому списку», или *album*. Наконец, в нем указаны меры против тех, кто будет себя плохо вести: «Если некто, желая устроить беспорядок, поднимется со своего места и займет другое, он уплатит штраф в четыре сестерция; если некто осыплет товарища

по коллегии бранью или устроит шум, он уплатит 12 сестерциев; а если оскорбление будет нанесено председательствующему собрания, штраф составит 20 сестерциев»¹⁷⁵. Похоже, что старинные римские добродетели оживали в этом объединении бедняков из римского предместья во времена Адриана: трезвость, дисциплина, обходительность. Кажется, здесь, к чести членов коллегии Ланувия, проявляется новое чувство: чувство братства, которое объединяет их в жизни, как позднее должно объединить в смерти, в предвидении которой они и сошлись вместе, чтобы сообща понести расходы на похороны каждого и вместе заслужить вознаграждение в виде загробного спасения.

И то же чувство, но только еще более сильное, поскольку питалось оно более возвышенным и просвещенным идеалом евангельской убежденности, по завершении дня сводило вместе христиан Рима на те *cenae*, которым их общины дали греческое имя, означающее любовь: агапэ. Начиная с I века они, «славя Бога, получали здесь пищу в радости и простоте сердца»¹⁷⁶. В конце II века они практиковали здесь благотворительность, как меж братьев, потому что «бедные приобщались здесь к провизии богатых, но ничего низменного или нескромного здесь не происходило». Как пишет Тертуллиан, «прежде, чем возлечь для трапезы, возносится молитва Богу. Едят столько, сколько требует голод, пьют столько, сколько подобает целомудренным. Этим здесь удовлетворяются, как подобает памятующим, что даже в ночи нужно поклоняться Богу. Беседуют здесь, помня, что среди наших слушателей Бог»¹⁷⁷.

Как же мы далеки здесь от картин Петрония, эпиграмм Марциала, от сатир Ювенала! И какие назидательные примеры мог без лишних слов выставить императорский Рим в противовес всем тем кричащим безобразиям, которые навязли у нас в ушах! Ведь было же некое благородство, которому можно завидовать и теперь, в обычном поведении его элиты, в повседневной жизни рядовых горожан и плебса, в скромности двора Траяна, в умеренности трапез, на которые Плиний Младший и поэты приглашали

своих задушевных друзей, в благодушных *сенае*, сплотивавших в братском единении верных служителей Дианы и Антиноя, и — наконец и в первую очередь, — в безмятежных агапах*, где христиане, возвышая души одновременно с восстановлением телесных сил перед отходом ко сну, свидетельствовали о любви, которую обязаны испытывать дети «Бога, который на небесах», и, кроме того, ощущали в глубине радостного смирения возвышенную сладость божественного присутствия.

* Ага па (*гр.* «дружеская любовь») — «братская трапеза» первых христиан.

ПРИМЕЧАНИЯ

Предисловие

¹ Ювенал, XI, 78—79.

² Там же, 99.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ РИМСКОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Раздел первый. Материальная среда

Глава первая. Город и его население

¹ По вопросу описания форума Траяна следует обратиться к той превосходной монографии по императорским форумам, что опубликовал Коррадо Риччи (*Ricci*) в 1934 году, не забыв в то же время ознакомиться с той весьма примечательной главой, которую Роберто Парибени (*Paribeni*) включил во второй том своей книги «*Optimus Princeps*».

² Что до населения Рима, ограничусь тем, чтобы отослать читателя к классическому труду К Ю. Белоха (*Beloch*) «*Die Bevölkerung der Griechisch-Römischen Welt*», а также к страницам Фердинанда Лота (*Lot*) в его прекрасной книге «Конец античного мира», библиография которой доведена до 1925 года. В настоящем изложении я принимаю в учет выводы, к которым пришел в статьях, готовящихся к печати в обозрении «*Roma*» (1938), а также в «*Mélanges Martroye*» и «*Mélanges Dussaud*».

³ Что касается Рима, образованного четырнадцатью районами, см. два тома *Clementi* (*Rome*, 1933); относительно *pomerium*, стены Севера, стены Аврелиана ср. статьи топографического словаря *Platner-Asbby*; дополнить по *pomerium* статьей Мишеля Лабрусса в «*Mélanges d'Archéologie et d'Histoire*», публикуемых Французской школой в Риме (том 1937 года).

⁴ «Дигесты», L 16, 2; 87 (*Alfenus*); ср. 154.

⁵ Относительно опубликованных Ульрихом *Curiosum* и *Notitia* см. недавно вышедшее исследование: *North A. Prolegomena till den Romerska Regionskatalogen*. Lund, 1937.

⁶ Оутс, который, вслед за Ф. Лотом, обратился к проблеме населения Рима в журнале «*Classical Philology*», 1934, р. 101—116, и пришел в отношении эпохи расцвета империи к числу в 1 миллион 250 тысяч жителей.

⁷ Марциал «Эпиграммы», XII, 8, 1—2.

Глава вторая. Дома и улицы, величие и беды

¹ См., в первую очередь, богатую материалами диссертацию Дж. Лульи «*Aspetti urbanistici di Roma antica*» в «*Rendiconti della Pontificia Accademia di archeologia romana*», XIII, 1937, р. 73—98. Относительно

происхождения *insula* ср. Агнес К. Лейк «The origin of the Roman house» в «*Am. Journal of Archaeology*», 1937, р. 597—601. Верные замечания о его сущности были сделаны Дж. Кальца в «*Rendiconti dei Lincei*» за 1917 год.

² Тит Ливий, XXI, 62.

³ Цицерон «Об аграрных законах», II, 96.

⁴ Витрувий, II, 8, 17.

⁵ В отношении регламентации Августа ср. Страбон, V, 3, 7; XVI, 2, 23; Тацит «История», II, 71*; Авл Геллий, XV, 1, 2; Марциал «Эпиграммы», I, 117, 7.

⁶ Страбон, XVI, 2, 23.

⁷ Ювенал «Сатиры», III, 190 сл.

⁸ Авл Геллий, XV, 1, 2.

⁹ Элий Аристид «Речи», XIV, 1, р. 323 (*Dindorf*)**.

¹⁰ Относительно регламентации Траяна ср. Аврелий Виктор «Эпитома», 13, 13: «*Statuens ne domorum altitudo exsuperaret pedes LX*»***. Ср. «Дигесты», XXXIX, 1, 1, 17 и Кодекс Юстиниана, VIII, 10, 1.

¹¹ Тертуллиан «Против валентиниан», 7.

¹² Ювенал, III, 197—202. На виа Бибератика и на Скала дель Ара Цели было по пять этажей.

¹³ Ср. Цицерон «За Целия», VII, 17.

¹⁴ Относительно прекрасных загородных вилл ср. Марциал, I, 108, 2—4; VII, 61, 1—6. То, что их собственникам не всегда удавалось изолироваться, вытекает, впрочем, из очаровательной эпиграммы X, 79****.

¹⁵ Насчет этих сравнений между античной и современной эпохами см. интересную статью Бозтиуса в «*Scritti in onore di B. Nogara*» (Roma, 1937).

¹⁶ Плиний Старший, XIX, 59; ср. Марциал, XI, 18.

¹⁷ Витрувий, II, 8, 17.

¹⁸ «Дигесты», XIX, 2, 30.

¹⁹ Ювенал, XIV, 305 и III, 196.

²⁰ Ульпиан в «Дигестах», I, 15, 2.

²¹ Об убогости пожитков бедняка ср. Марциал, XII, 32.

²² Насчет этой роскоши см. Кюмон в «*Égypte des Astrologues*» (Bruxelles, 1937, р. 100, н. 6).

²³ О посуде см. Марциал, VII, 53, 11—12.

* Так в книге; вероятно, следует читать III, 71.

** Речь «Похвала Риму», р. 119, 19—24 Jebb. Я понял это место иначе. Конечно, хоть это и риторика, но говорится здесь о том, что могущественный Рим желал, чтобы и другие города не отставали от него, были ему соразмерны, так что если «кто решит свободно расстелить Рим по земле и, спихнув высокие ныне города на землю, поместить их, отстоящие ныне по Италии друг от друга, рядом, то, как мне кажется, они наполнят ее всю и получится сплошной город, достигающий Ионического моря».

*** Постановил, чтобы высота домов не превосходила 60 футов.

**** Как мне кажется, эпиграмма об этом не говорит: Марциал смеется над потугами простолоудина Отацилия, но благородного Торквата они не задевают нисколько.

²⁴ О богатстве римской обстановки см. Марциал, VI, 94; XI, 22; XI, 66; Ювенал, XI, 120 и т. д.

²⁵ Стекланные квадраты, чрезвычайно редкие в Италии, были обычным явлением в виллах Галлии (см. Кюмон «*Comment la Belgique fut romanisée*», р. 44, п. 3). О кубках из раскрашенного стекла, ввозившихся в Рим из Сирии начиная с I века н. э., см. Сильвестрини «*La coppa vitrea greco-alessandrina di Locarno*» (1938. р. 490—493), которая отсылает к прошлой библиографии, в первую очередь к важнейшему примечанию Э. Мишона в «*Bulletin de la Société des Antiquaires*» за 1913 год.

²⁶ Плиний Младший «Письма», II, 17, 16 и 22; см. VII, 21, 2 и IX, 36, 1 и Апулей «*Метаморфозы*», II, 23.

²⁷ Даже в Галлии, где отопительные системы были доведены до совершенства, следовало опасаться удушения окисью углерода от жаровни. Юлиан едва не умер от этого в Лютеции («*Брадоненавистник*» 341 D).

²⁸ Об *aqua Traiana* см. текст из Остии, который я комментировал в *C. R. Ac. Insc.*, 1932, р. 378; *aquam suo nomine tota Urbe salientem dedicavit (Traianus)***.

²⁹ Плавт «*Казино*», I, 30 и повсюду в других местах.

³⁰ Марциал, IX, 18 (кроме того, следует признать, что у Марциала насос был лишь в его загородном доме). На вилле у Плиния Младшего (II, 17, 25) имелся лишь колодец.

³¹ Ювенал, VI, 332.

³² Павел «*Сентенции*», III, 6, 58; ср. Папиниан в «*Дигестах*», XXXIII, 7, 12, 42.

³³ Павел в «*Дигестах*», I, 15, 3, 3—4.

³⁴ Насчет водосточных труб ср. мою статью «*Le Quartier des docks a Ostie*» в «*Mélanges d'Archéologie et d'Histoire*» за 1910 год. Впрочем, канализационная система в наших современных столицах — дело достаточно новое. Еще при Второй империи во Франции откачка нечистот из парижских выгребных ям сдавалась в аренду.

³⁵ Марциал, XI, 77, 1—3.

In omnibus Vacerra quod conclavibus

Consumit horas et die toto sedet,

Senaturit Vacerra, non cacaturit***.

В XVIII веке Филипп V и Елизавета Фарнезе**** имели обыкновение посещать уборную вдвоем; и мне сообщали, что «удобства» на два места существовали в Ипре еще в 1914 году.

³⁶ Насчет богини-фетиша см. мою статью в «*Journal des Savants*»

* Две последние ссылки неверны. В IX, 59 дана довольно подробная опись того, что можно было приобрести у римских антикваров: ясно, что такими же вещами полнились и римские дома.

** «Он от своего имени посвятил водопровод, орошавший весь город».

*** За все те часы, что Вакерра проведет в нужнике, где он сидит день-деньской, он пообедаст, а не только прокакается..

**** Король и королева Испании (где Елизавету именовали Изабеллой)

(1911, p. 456) и ср. с этим Μεγάλη Τύχη τουβαλανίου в термах в Дура (ср. Excavations at Dura, Report VI, New Haven, 1936, p. 105). Во время моего посещения развалин в Триполитании проф. Капуто любезно сообщил мне о наличии статуи Эскулапа в уборных Лептис-Магна и о статуе Вакха в уборных, смежных с банями, в Сабрате. Насчет Семи греческих мудрецов и уборных см. еще неизданные раскопки 1937 года г-на Кальца (*Calza*) в Остии*.

³⁷ Насчет ямы под лестницей, а именно в *insula Sertoriana* ср. CIL VI, 29791.

³⁸ О *lacus* см. Тит Ливий, XXXIX, 44, 5; Лукреций VI, 1022; Ювенал, VI, 602 и статью, которую я опубликовал в «*Mémoires de la Société des Antiquaires*» за 1928 год (см. Кюмон «Égypte des Astrologues», p. 187, n. 1).

³⁹ Ювенал, III, 271.

⁴⁰ Ульпиан в «Дигестах», IX, 3, 5 и 7**. То же юриспруденция в эпоху Антонинов: Гай в «Дигестах», XLIV, 7, 5, 5.

⁴¹ О квартирной плате ср. «Дигесты», XIX, 2, 30 и 58; Диодор, XXXI, 18, 1—3; Светоний «Цезарь», 38; Ювенал, III, 223.

⁴² Об *insula*, управляемой прокуратором Баргатом ср. Петроний «Сатирикон», 95.

⁴³ См. прекрасные статьи *via* и *vicus*, написанные соответственно М. Бенье и А. Гренье в «*Dictionnaire des Antiquités*» Сальо и Потье (цитируется ниже как словарь Даремберга—Сальо)***.

⁴⁴ Плиний Старший, III, 66—67.

⁴⁵ Тацит «Анналы», XV, 38 и 43.

⁴⁶ О ширине, которая требовалась для *maeniana* (балконов), ср. «Кодекс Юстиниана», VIII, 10, 11.

⁴⁷ Выбрасывать отбросы перед дверью было принято в Риме вплоть до 1870 года.

⁴⁸ Варрон «О латинском языке», V, 158.

⁴⁹ Марциал, VII, 61, 6.

⁵⁰ Марциал, та же эпиграмма.

⁵¹ В Париже масляные уличные фонари стали появляться лишь с 1765 года.

⁵² Ювенал, III, 268 сл.

⁵³ Ювенал, III, 305 сл.

⁵⁴ Петроний «Сатирикон», 79****.

⁵⁵ О дневной сутолоке в Риме ср. Сенека «О милосердии», I, 6; Марциал, I, 41 и XII, 57.

⁵⁶ См. статью Эд. Кука *funus* у Даремберга—Сальо и барельеф из Претуро в Акиле.

* О Семи мудрецах из уборной см. ниже, прим. 28 к гл. III, раздела II, и комментарий.

** Вторая и третья (насчет шрамов) цитаты — уже из Гая.

*** Насколько можно судить, статья о дорогах написана Виктором Шапо (*Schapot*).

**** Не вполне верный пересказ реальных обстоятельств дела: герои добираются до ночлега, по крестам, предусмотрительно расставленным Питоном. К тому же действие «Сатирикона» разворачивается не в Риме, а на юге Италии.

⁵⁷ Светоний «Клавдий», 25, 2; «История Августов» «Марк Антонин», 23, 8; «Адриан» 22, 6.

⁵⁸ Марциал, IV, 64.

⁵⁹ Ювенал, III, 236 сл.

Раздел второй. Духовная среда

Глава первая. Общество: цензовые касты и власть денег

¹ Ср. Ювенал, III, 62 и сл.; Сенека «Утешение к Гельвеции», VI, 2 и 3; Лукан «Фарсалия», VII, 404—405, а также авторы, которых цитирует Д. ван Берхем в «Les distributions de blé et d'argent a la plébe romaine sous l'Empire» (Genève, 1939, p. 59).

² Ювенал, XIV, 26; I, 92; VI, 475—485; XIV, 17.

³ Марциал, VIII, 23; см. его полную глубокого чувства эпитафию Деметрию I, 101.

⁴ Плиний Младший, I, 21, 2; VIII, 16; I, 4, 3; VIII, 1, 2; V, 19; I, 12, 7; IX, 36, 4; III, 14, 3.

⁵ Аппиан «Гражданские войны», II, 17, 120.

⁶ Относительно этих цифр ср. Т. Франк «Races mixtures in the Roman Empire» в «American Historical Review», XXI, 1916, p. 689—708.

⁷ Насчет значения свидетельства Критона см. мою работу «Points de vue sur l'impérialisme romain», ch. II.

⁸ *CIL* VIII, 10070 и 14464.

⁹ Ювенал, III, 131—132.

¹⁰ Марциал, XIII, 12*.

¹¹ Один раб на двоих свободных, по свидетельству Галена (V, 49 Kühn), жившего с 136 по 202 год (трактат «О диагностике и лечении индивидуальных заболеваний»).

¹² Ювенал, IX, 140.

¹³ Ювенал, XIV, 322—329.

¹⁴ Марциал, VII, 73; IV, 37; XII, 10.

¹⁵ Щедрые дары Плиния по завещанию см. *CIL* V, 5262.

¹⁶ Плиний Младший, II, 4, 3.

¹⁷ Петроний «Сатирикон», 71.

¹⁸ Относительно финала войны с даками ср. статью Деграсси в «*Rendiconti, dell' Accademia pontificia*» за 1937 год.

¹⁹ Насчет сокровищ Децебала, оценивавшихся в 500 миллионов

* Как толкует эту замысловатую эпиграмму старинный комментатор (M. Valerii Martialis Epigrammatum libri XIV. Interpretatione et notis illustravit Vincentius Collesso J. C. Londini, 1720, p. 517), ею Марциал желал сказать лишь, что, дабы уберечь свое пригородное поле от истощения, следует принять в дар 300 модиев ливийской пшеницы. Поскольку же ранее Ж. Каркопино принял, что душевое потребление зерна в Риме составляло 60 модиев в год, это дает численность семейства в 5 человек. Мне такой вывод представляется достаточно обосновательным, хотя предпосланное XIII книге обращение Марциала представляет содержащиеся в книге эпиграммы как обращенные именно к «среднестатистическому» римлянину (см. XIII, 3).

сестерциев, ср. мои «Points de vue sur l'impérialisme romain», ch. II. См., в этой же тематике, монографию, опубликованную П. Грендором в сборнике Каирского университета под заглавием «Un milliardaire antique: Hérode Atticus».

²⁰ Марциал, XII, 87.

²¹ Ювенал, III, 166—167.

²² Марциал, VII, 53.

²³ Ювенал, VII, 141.

²⁴ Петроний «Сатирикон», 47 и 37.

²⁵ О законе Фуфия Каниния ср. Гай «Институции», I, 42—146.

²⁶ Плиний «Естественная история», XXXIII, 135.

²⁷ Афинея, VI, 104.

²⁸ Относительно жалованья и окладов см. классические исследования А. Домашевски «Der Truppensold der Kaiserzeit» в «*Neue Heidelberg. Jahrb.*» за 1900 год и особенно «Die Rangordnung im römischen Heere» в «*Bonner Jahrb.*» за 1908 год (особенно S. 111, 118 и 139).

²⁹ Марциал, IV, 46 и V, 56.

³⁰ Там же, VI, 8.

³¹ Там же, X, 47.

Глава вторая. Семья: пороки и добродетели

¹ Гай «Институции», III, 17. О *patria potestas* и патронате см., наконец, исследования Казера в «*Zeitschrift der Savigny Stiftung*», Rém. Abt., 1938, p. 67—87 и 88—135.

² Цицерон «Об обязанностях», I, 17, 54.

³ Или бывали съедены бродячими псами, ср. Кюмон «Égypte des Astrologues», 187, п. 2.

⁴ Насчет этой статистики ср. мою статью в R. E. A., 1921, p. 299. Относительно диатрибы Музония Руфа «Εἰ πάντα τα γινόμε να τέκνα θρεπέου» ср. теперь Pap. Nagg., I, опубликованный Дж. Иноком Пауэлом в «*Archiv, f. Papyrusforschung*», 1937, p. 175—178.

⁵ Пример Адриана, «Дигесты», XLVIII, 9, 5.

⁶ Пример Траяна, «Дигесты», XXXVII, 12, 5.

⁷ Маркиан при Александре Севере, «Дигесты», XLVIII, 9, 5.

⁸ Плиний Младший, IX, 12, 1.

⁹ Марциал, III, 10.

¹⁰ Плиний Младший, IV, 2, 1—3.

¹¹ Там же, I, 9, 1—2.

¹² Относительно подарков при помолвке ср. замечания Ульпиана в «Дигестах», XVI, 3, 25.

¹³ Об отношении кольца к задатку см. Плиний «Естественная история», XXXIII, 28.

¹⁴ У Ювенала, VI, 25 и слл. Кольцо дается только невесте. Ср. Тертуллиан «Апология», 6.

¹⁵ Авл Геллий, X, 10.

¹⁶ Что до перечисленных деталей, см. Катулл, 61; Фест р. 63 М²; Овидий «Метаморфозы», X, 1; Плиний «Естественная история», VIII,

* Р. 170 по изданию W. M. Lindsay.

194; XV, 86; XXVIII, 63 (О Геракловом узле); Плутарх «Римские вопросы», XXX и XXXI*; Ювенал, VI, 227—228 и X, 330—338; Клавдиан, XIII, 1; XXXI, 96; XXXV, 328. Насчет обычая с порогом ср. Роуз «The Roman questions of Plutarch», 1924, p. 101 и сл.

¹⁷ Duchésne P. Origines du culte chrétien. P. 455.

¹⁸ Лукан. Фарсалия, II, 370—371.

¹⁹ В отношении древнего «несовершеннолетнего» состояния женщины ср. Гай, I, 144: *Veteres enim voluerunt feminas etiamsi perfectae aetatis sint propter animi levitatem in tutela esse* (Ибо древние сочли необходимым, чтобы женщины даже по достижении ими возраста совершеннолетия находились под опекой по причине своего легкомыслия). См. также Цицерон «За Мурену» XII, 27: *Mulieres omnes propter infirmitatem consilio maiores in tutorum potestate esse voluerunt* (Наши предки намеренно распорядились так, чтобы женщины из-за их слабости пребывали под властью опекунов).

²⁰ О том, как законные опекуны сделались сменяемыми, а затем и вовсе излишними, ср. Гай, I, 173—174 и 115, 145 и 157.

²¹ Ср. с этой цитатой из Юлиана («Дигесты», XXIII, 1, 11**) Ульпиана («Дигесты», I, 17, 30): *Nuptias non concubitus sed consensus facit* (Брак заключается не физической близостью, но согласием).

²² Ср. Ш. Фаве «Un féministe romain: C. Musonius Rufus» в «*Bull. Soc. Et. des Lettres de Lausanne*», октябрь 1933, p. 1—9.

²³ О Секстии и Паксее см. Тацит «Анналы», VI, 29.

²⁴ О Паулине см. Тацит «Анналы», XV, 62—63, а также Ж. Каркопино «Choses et gens du pays d'Arles» в «*Revue du Lyonnais*», 1922; и «Points de vue sur l'impérialisme romain», p. 247—248.

²⁵ Об Аррии Старшей см. Плиний Младший, III, 16.

²⁶ Об Аррии Младшей см. Тацит «Анналы», XVI, 34.

²⁷ Плиний Младший, VI, 24.

²⁸ См. Марциал, XI, 53 (о Клавдии Руфине); IV, 75 (о Нигрине); X, 35, а также X, 38 (о Сульпиции).

²⁹ О жене Макрина см. Плиний Младший, VIII, 5.

³⁰ Похвальное слово Кальпурнии см. у Плиния Младшего, IV, 19.

³¹ См. Плиний Младший, VI, 4 и 7.

³² О браке по расчету см. Плиний Младший, I, 14.

³³ О комнате Плиния Младшего см. IX, 36.

³⁴ Об *abortus* Кальпурнии см. Плиний Младший, VIII, 10 и 11.

³⁵ Ювенал, VI, 243—247; 398—412; 434—456.

³⁶ Плиний Младший, I, 16, 6.

³⁷ Ювенал, VI, 440—442 и 448—451.

³⁸ Там же, VI, 246—264.

³⁹ Там же, VI, 301—305 и 426—433.

⁴⁰ Там же, VI, 509.

⁴¹ Там же, VI, 282—284.

* Полностью сочинение печатается обычно под названием «Римские и греческие вопросы», в нем много сведений о римских свадебных обрядах, причем далеко не только в указанных главах.

** Слегка измененная цитата: у Юлиана вместо *nuptiis* (при браке) читаем *sponsalibus* (при обручении), что не меняет сути дела.

⁴² Плиний Младший, VI, 31.

⁴³ Ювенал, XI, 183—189.

⁴⁴ Катон у Авла Геллия, X, 23; ср. Квинтилиан, V, 10, 104. Относительно *Lex Iulia de adulteris* ср. Павел «Сентенции», II, 26, 4 и 14; Модестин в «Дигестах», XXIII, 2, 26; Ульпиан в «Дигестах», XXV, 7, 1, 2; *Collatio* IV, 12, 3 и 7; Марциал, II, 39 и Ювенал, II, 70.

⁴⁵ Марциал, VI, 4.

⁴⁶ Ювенал, II, 29—31.

⁴⁷ О Септимии Севере ср. Дион Кассий LXXVI, 16, 4: ἐνεκάλει μὲν τοῖς μὴ σφρονοῦσιν, ὡς καὶ περὶ τῆς μὴ οὐχέως ποιοθησαί τινα. Он привлек к ответственности беспутных, а также принял какие-то законы о разводе).

⁴⁸ Текст из Законов XII таблиц см. Цицерон «Филиппики», II, 28, 69.

⁴⁹ Об Антонии, исключенном из списка сенаторов цензорами на 307 год, ср. Валерий Максим, II, 9, 2**.

⁵⁰ О Спурии Карвилии Руге ср. Валерий Максим, II, 1, 4 и Авл Геллий, IV, 3, 2 и XVII, 21, 44.

⁵¹ См. текст Валерия Максима, VI, 3, 10—12. Из имен, которые он упоминает, одно (Квинт Антистий Вет) совершенно неизвестно; два же прочих могли принадлежать персонажам второй половины III века до н. э. (с 293 по 218 год); действительно, мы знаем, что Валерий Максим заимствовал свои примеры из второй, не дошедшей до нас декады Тита Ливия.

⁵² В случае брака *cum manu* женщины достигали того же результата, см. Гай, I, 137A.

⁵³ О пятом браке Суллы см. мою книгу «Sulla ou la monarchie manquée», p. 217.

⁵⁴ Насчет разводов Помпея см. там же, p. 190—191 и у Плутарха «Помпей» IV, IX и XLII.

⁵⁵ О разводе Цезаря см. мою книгу «César», p. 667.

⁵⁶ О разводе Катона Утического ср. Плутарх «Катон Младший», XXXVI, и LII.

⁵⁷ О разводе Цицерона см. тексты, собранные С. Вайнштоком (Weinstock) в статье *Terentia* (Паули—Виссова, 2. Reihe, Hbd. IX. Sp. 714—715).

⁵⁸ О расторжении помолвки см. Светоний «Август», 34; о законах Августа см. Павел в «Дигестах», XXIV, 2, 9, и прежде всего Гай, II, 62 и б3. В общем и целом, что касается последствий «законов Юлия», я согласен с убедительными соображениями, высказанными Э. Куком в «*Institutions*», p. 182.

⁵⁹ Об удержании из приданого, возникающем с конца республики, см. «Дигесты», XXIII, 3, 73; I, 1, 8; XXIV, 3, 47; XXV, 2, 3; 5, 18; Ульпи-

* Очевидно, имеется в виду анонимное сочинение, возникшее не ранее правления императора Феодосия *Lex Dei sive Mosaicarum et Romanarum legum Collatio* (Закон Божий или сопоставление Моисеевых и римских законов).

** У Валерия Максима говорится о Луции Аннии, однако принято считать это ошибкой, и на самом деле речь здесь идет о Луции Антонии. См.: Паули—Виссова, 2. Reihe. Hbd. XV. Sp. 122.

ан «Титулы»*, VI, 9—12 и VII, 1 и следующие, и т. д. О применимости к рассматриваемому нами периоду см. Плиний Старший «Естественная история» XIV, 14.

⁶⁰ Гораций «Оды», III, 24, 19.

⁶¹ Насчет препятствий по управлению мужем имуществом жены вне Италии ср. Павел «Сентенции», II, 21b, 2 и Юстиниан «Институции», II, 8 (ср. с процитированным выше местом из «Институций» Гая).

⁶² Относительно *procurator* см. Марциал, V, 61.

⁶³ Ювенал, VI, 212—213.

⁶⁴ Там же, VI, 460**.

⁶⁵ Марциал, VIII, 12, 1—2.

⁶⁶ Ювенал, VI, 142 и сл.

⁶⁷ Гай в «Дигестах», XXIV, 2, 2, 1.

⁶⁸ Ювенал, VI, 225—230.

⁶⁹ Марциал, VI, 7.

⁷⁰ Яволен в «Дигестах», XXIV, 3, 66, 5.

⁷¹ Гай в «Дигестах», XXIV, 1, 61.

⁷² Сенека «О благодеяниях», III, 16, 2.

⁷³ О доминирующем положении женщин см. Ювенал VI, 224: *imperat ergo viro* (Итак, она управляет мужем) и 141: *Vidua est locuples quae nupsit avaro* (Все равно как вдова будет та, что, будучи богатой, пойдет замуж за сребролюбца).

⁷⁴ О римской семье во времена республики см. превосходную монографию Р. Парибени «La famiglia romana» (Roma, 1929).

⁷⁵ Марциал, VI, 7, 5.

Глава третья. Образование, культура, верования

¹ О конкубинате см. прежде всего юридическую диссертацию Плассара (*Plassard*), Toulouse, 1921.

² О конкубинате Марка Аврелия см. Дион Кассий, LXXI, 29, 1***; «История Августов» «Марк Антонин Философ», 29, 10. Впрочем, Веспасиан предшествовал «философу», взяв вольноотпущенницу Кениду в качестве сожительницы после того, как его жена умерла, см. Светоний «Веспасиан», 3.

³ Плиний Младший, III, 14, 3.

⁴ Марциал, VI, 71, 6; VII, 64, 1—2; VI, 39 и XII, 58.

⁵ О «волчицах» см. Ювенал, III, 66; Марциал, I, 34, 8.

* Именуются еще «Эпитома» (то есть «Извлечение»). Ссылки I, 1, 8 и 5, 18 из «Дигест» проверить не удалось: в первом случае речь идет о совсем иных предметах, второй неясно, как понимать. Нижеследующая ссылка на Плиния также темна, хотя и подкреплена авторитетом Паули—Виссова (впрочем, там ссылка дается не на XIV, 14, а на XIV, 13, см. Hbd. X. Sp. 1594).

** Место заподозренное с точки зрения подлинности: некоторым издателям представляется, что это позднейшая вставка, так как очень близкая сентенция есть у Менандра.

***Здесь только о смерти Фаустины, жены Марка.

⁶ О Катоне см. Плутарх «Катон Старший», XX. «Дигесты», XLIII, 30, 3, 5: *decretis divi Pii optinuit mater ut sine deminutione patriae potestatis apud eam filius moraretur* (Мать добилась по указу божественного Пия, чтобы сын остался у нее без ослабления отцовской над ним власти)*.

⁷ Насчет выбора педагога Кореллией см. Плиний Младший, III, 3, 3 и сл. О начальном воспитании среди рабов см. Тацит «Об ораторах», 29.

⁸ О женских клубах в Риме, засвидетельствованных начиная с I века (Светоний «Гальба», V, 1) и до V века (Иероним «Письма», 43, 3), ср. *CIL* VI, 997 и XIV, 2, 120.

⁹ Об Умидии см. Плиний Младший, VII, 24.

¹⁰ Плавт «Вахиды», I, 2 (см. стих 162); ср. Г. Буасье «Fin du Paganisme», I, p. 149.

¹¹ О жалованье педагогов см. Гораций «Сатиры», I, 6, 75; Овидий «Фасты», III, 829; *CIL* X, 3969.

¹² О *plagiosus Orbilius* (драчливом Орбилии) см. Гораций «Послания», II, 1, 70—71; о его последователях см. Ювенал, I, 15; Марциал, X, 62, 10.

¹³ О школьном учителе из Фалерий см. Ливий, V, 27, 1, рассказ которого, очевидно, вымышлен (см. Диодор, XIV, 95, 6).

¹⁴ Относительно римского образования см. прежде всего А. Гвинн «Roman Education from Cicero to Quintilian» (Oxford, 1926).

¹⁵ Первая государственная школа была основана Феодосием II, «Кодекс Феодосия», VI, 1, 1.

¹⁶ Квинтилиан, I, 3, 16—17.

¹⁷ О способах чтения см. Квинтилиан, I, 1, 24—26.

¹⁸ О способах письма см. Сенека «Письма», 94, 51.

¹⁹ Об абаках ср. статью у Даремберга—Сальо.

²⁰ *CIL* II, 5181; I, 57: *ludi magistros a proc[uratore] metallorum immunes es[se] placet* (Школьные преподаватели не подчиняются управляющему рудником). Впрочем, значение привилегии оказывается принижено тем фактом, что учитель упомянут после общественного глашатая, сапожника, парикмахера и т. д.

²¹ Об алфавите, изображенном на слоновой кости или на кондитерских изделиях**, см. Квинтилиан, I, 1, 25. Об алфавите учителя Ирода Аттика см. Филострат «Жизнь софистов», II, 1, 10***.

* Интересно, что более авторитетные издания дают форму глагола *moretur*, которая встречается в «Дигестах» чаще (16 раз против 4).

** В доступном мне в настоящий момент компьютерном тексте ни слова о кондитерских изделиях нет: возможно, это позднейшая глосса (пометка на полях), включавшаяся в какое-то из более ранних изданий. Впрочем, в лондонском издании 1822 года (ed. Jo. Matthiae Gesneri) упоминания каких-либо печений также нет.

*** Из текста следует, что прием состоял совсем даже не в табличках на спине, а в том, что мальчишки-рабы, приятели мальчика по играм в количестве 24 человек (скорее всего алфавит был не латинский, а греческий, ведь в латинском букв было меньше, но это еще следовало бы уточнить), были названы по буквам, благодаря чему барчук и мог выучить алфавит.

²² Вегеций «О военном деле», II, 19°.

²³ Апулей «Флориды», 20.

²⁴ Авл Геллий, XV, 11.

²⁵ См. моего «César», p. 974 и трактаты Цицерона.

²⁶ Об «интеллектуальной» политике Веспасиана см. Пергамскую надпись, опубликованную в «*Sitzungsber. der Preussischen Akademie*», XXXII, 1935, S. 967—1910 и прокомментированную М. А. Леви в «*Ramona*», 1937, p. 361—367.

²⁷ Светоний «О грамматиках», 1, 2 и «О риториках», 1**.

²⁸ Удачный пример насмешек, которым обычно подвергались философы, мы наблюдаем в сортирной пародии наставлений «Семи мудрецов» на недавно расчищенных фресках терм в Остии (см. выше, прим. 36 к главе II первого раздела)***.

²⁹ См. моего «César», p. 974—975 и статью г-на Марру в «*Mélanges de Rome*» за 1933 год.

³⁰ О вундеркиндах в императорском Риме см. Марру «*Mousikos aner*» (Paris, 1937).

³¹ *Marrou J. Saint-Augustin et la fin de la culture antique*. Paris, 1937, ch. II.

* В тексте Вегеция нет речи о недостатке грамотных среди новобранцев в римской армии. Говорится лишь, что при выполнении ряда команд легионерами требуется грамотность и поэтому при наборе рекрутов определяются не только их физические параметры, но и способность вести записи и считать. В следующем параграфе сказано, что знаменосцам легиона следует быть грамотными, поскольку им под их ответственность передаются общие средства воинов, так что они должны быть в состоянии отчитаться. Не следует также забывать о том, что в последние века существования Римской империи армия все в большей степени комплектовалась представителями сравнительно недавно покоренных народов, романизация которых еще почти не начиналась, или даже выходцами из сопредельных Риму племен.

** Необъяснимая ссылка: если Ж. Каркопино желал привести источники по высылке, то Светоний о ней ничего не говорит, а вспоминает лишь стойка Кратета из Малла, сломавшего ногу в бытность послем царя Аттала в Риме и потому преподававшего здесь какое-то время, будучи прикованным к постели. К тому же, как кажется, не вполне корректно разводить «О грамматиках» и «О риториках» Светония, словно это разные сочинения: его печатают подряд, со сплошной пагинацией. Источники по посольству Карнеада, Диогена и Критоя: Плутарх «Катон Старший», 22; Цицерон «Об ораторе», II, 155; он же «Академические вопросы», II, 45, 137; он же «Тускуланские беседы», IV, 3, 5; он же «Письма к Аттику», XII, 23; Авл Геллий, VI, 14, 8 сл.; XVII, 21, 48; Плиний Старший, VII, 30, 112.

*** Хотя росписи выполнены на достаточно высоком уровне, вложенные в уста изображенных персонажей речения вращаются исключительно вокруг темы дефекации: Семь мудрецов наставляют слушателей, как это лучше всего делать, а размещенная под ними публика, рассевшаяся на стульчаках общественной уборной, дает друг другу шуточные советы на ту же тему.

³² О «грекофилах» II века см. Марциал, X, 68; Ювенал, VI, 185—196.

³³ О Лукиане и его турне с целью заработка см. все еще не устаревшую диссертацию Мориса Круазе.

³⁴ О введении латинского языка вместо греческого в римской церкви см. П. Монсо «Histoire de la littérature chrétienne», р. 42; Э. Пюш «Histoire de la littérature grecque chrétienne», II, р. 8. Относительно наступившего в середине III века культурного упадка см. прекрасные вступительные страницы пособия Л. Гаве «Critique verbale». Напротив, ознакомиться с тонким налетом эллинизма в римской Африке можно по книге Тилинга «Der Hellenismus in Kleinafrika» (Leipzig-Berlin, 1911). Впрочем, легко было бы доказать, что литургия римских иудеев или дионисистов* из Террановы также совершалась на греческом (см., что касается первых, «Recueil» де Фрея, а для вторых – Вольяно и Кюмон в «American Journal of Arch.», 1933, р. 215 и сл.).

³⁵ О Квинте Сульпиции Максиме см. I.G. XIV, 2012.

³⁶ О сыне Дельмация см. CIL VI, 33929; еще пример: CIL XI, 6435.

³⁷ Что касается деталей, отсылаю читателя к своему краткому очерку в «Bulletin de la Société française de Pédagogie», март 1928, р. 15—19, а также к уже цитировавшимся книгам Гвинна и Марру.

³⁸ О Цецилии Эпироте см. Паули—Виссова Hbd. V, Sp. 1201.

³⁹ О «науке» Юбы см. Gsell «Histoire ancienne de l'Afrique», VIII, р. 262—263. О Цирте см. Саллюстий «О войне с Югуртой», XXI, 2^o. Об отрицательной позиции античных мыслителей в том, что касается позитивной науки, см. прежде всего П. М. Шуль «Machinisme et philosophie» (Paris, 1938, р. 1 и сл.)

⁴⁰ Тацит «Об ораторах», XXXVI, 1.

⁴¹ О Гермагоре см. Паули—Виссова Hbd. XV, Sp. 692—695.

⁴² Во многом поучительной остается книга Э. Жюльена «Les professeurs de Littérature dans l'ancienne Rome» (Paris, 1885), прежде всего главы VI—VIII.

⁴³ Светоний «О риториках», II, III^o; см. Диомед «De declinatione exercitationis chriarum»^{****}.

⁴⁴ Квинтилиан, I, 9, 3.

⁴⁵ Светоний «О грамматиках», 5: *veteres grammatici et rhetoricam docebant*.

⁴⁶ Светоний «О риториках», I.

⁴⁷ Насчет этого мнимого *actio de moribus* см. Т. Моммзен «Droit pénal romain», III, р. 88 (в оригинале работа называется «Das Römische Strafrecht»).

* То есть людей, культивировавших поклонение Дионису.

** На деле Цирта (нынешняя Константина в Алжире) отстоит от моря на 65 километров.

*** Непонятная ссылка. К тому же хрий, насколько я понимаю, у Светония нет, зато имеются два примера «контroversий»: о купленном улове и о юноше-рабе, переодетом хозяином в свободного (на них еще сошлется сам Ж. Каркопино).

**** См.: *Grammatici latini*, rec. H. Keil, Lipsiae, 1857, vol. I, p. 310.

⁴⁸ Авл Геллий, XVII, 12*.

⁴⁹ В противоположность мнению Марру «Saint-Augustin et la fin de la culture antique» (Paris, 1937, p. 53—54). Иного мнения придерживается Дератани в «*Rev. Phil.*», 1929, p. 184—189, который находит, что «для обнаружения в декламациях моментов действительности необходимо обзавестись увеличительным стеклом».

⁵⁰ Сенека «Письма», 106, 12.

⁵¹ Петроний «Сатирикон», 1.

⁵² Тацит «Диалог об ораторах», XXXV, 4—5.

⁵³ Ювенал, VII, 150—175.

⁵⁴ Относительно низкого материализма, засвидетельствованного формулами десятков эпитафий, ср. эпиграфические данные Брелиха в «*Aspetti della morte nelle iscrizioni sepolcrali dell' impero romano*» (Budapest, 1937, p. 50 и сл.)

⁵⁵ Что до этого анализа официальной римской религии, см. превосходный пассаж Кюмона в «*Les religions orientales dans le paganisme romain*» (Paris, 1929, p. 25—27). См. также Ювенал, VII, 150.

⁵⁶ *Boissier G.* La religion romaine d'Auguste aux Antonins, II, p. 141—142.

⁵⁷ Ювенал, XII, 1—15.

⁵⁸ Там же, II, 149—152.

⁵⁹ См. Петроний «Сатирикон», 44. Предложение перевести «мохнатые ноги» как «никелированные ноги»* исходит от М. Эрну. Оставляю за собой право подыскать другой эквивалент для выражения *nemo Iovem pill, facit* (Никто Юпитера в грош не ставит) в том же отрывке.

⁶⁰ Тацит «История», V, 5; «Германия», 9.

⁶¹ *Boissier G.* La religion romaine, II, p. 171.

⁶² Плиний Младший, VIII, 8.

⁶³ Там же, IX, 39.

⁶⁴ Там же, IV, 8.

⁶⁵ У императоров больше не было имперской веры, см. о словах Веспасиана Светоний «Веспасиан», 23 и ср. с этим ужасные слова, которые приписывает Каракалле «История Августов», «Гета», 2, как сказанные им о брате: *Geta sit divus dum non sit vivus* (Пускай Гета обожествится — лишь бы его не было в живых).

⁶⁶ Плиний Младший «Панегирик», XI, 3, LXVII, 4.

⁶⁷ *Domus divina*, упоминаемый исключительно начиная с эпохи Тиберия (*CIL* XIII, 4635), быть может, в 31 году (*M. P. Charles Worth, Harv. Theol. Rev.*, XXIX, 1936, p. 112, n. 14; ср. *Pippidi, Revista Clasica*, XI—XII, 1939—1940, p. 250), начинает часто встречаться в надписях

* Здесь нет таких слов, а говорится о Фаворине, что он намеренно избирал трудные темы, а затем пересказана для примера его аргументация в защиту четырехдневной лихорадки.

** *Pieds nickelés*. По-французски это означает что-то вроде «еле двигать ногами», «волочить ноги». Выражение «*Dii pedes lanatos habent*» обычно понимают как «Боги подходят неслышно», то есть воздаяние богов за проступки подкрадывается незаметно. Это несколько иное представление о богах, нежели то, из которого исходит автор, — будто боги впали в спячку или бездействие.

со времен Домициана. Однако при холостом Нерве никакого *domus* не было.

⁶⁸ См., например, различие между формулировкой в надписи из Рабата, опубликованной мной в «*Mélanges de Rome*» в 1931 году, и в надписи из Айн эль Джемалы, которую я опубликовал там же в 1906 году.

⁶⁹ Плиний Младший «Панегирик», XIV, 1.

⁷⁰ О том, как выглядели религиозные общины, связанные с греческими философскими школами, см. в книге Бойянсе «*Le culte des Muses*» (Paris, 1937). При Адриане Эпикурейское общество в Афинах получало дотации.

⁷¹ *Bidez J. La cité du monde et du soleil chez les stoïciens.* Paris, 1932.

⁷² Относительно александрийства неопифагорейцев в Риме см. посвященную Нигидию Фигулу главу в моей «*Basilique*».

⁷³ Доказательством в пользу существования этой нравственной таможни в государствах диадохов может служить, в частности, то, что рассказывается о Тимофее, иерофанте из Элевсина, реформаторе культа Атгиса и основателе культа Сераписа в конце IV века до н. э.

⁷⁴ См. об этом культе в Капуе «*Notizie degli Scavi*», 1924, p. 361; в Риме *CIL VI, 732*; Митра если и не воскресает, то все же является богом-посредником и спасителем.

⁷⁵ Насчет «симбиоза» восточных культов см. Кюмон, ук. соч., p. 52 и 291, а также недавнюю публикацию А. Леви «*La patera d'argento di Parabiago*» (Roma, 1936).

⁷⁶ Ювенал, VI, 550, 553, 585.

⁷⁷ Там же, 533—534; 540—541; 548—549.

⁷⁸ Там же, 511—512.

⁷⁹ Там же, 314—317. Речь идет о мистериях Бона Деа (Доброй богини), регламент которых, очевидно, находился под влиянием восточных оргиастических культов.

⁸⁰ Ювенал, VI, 522—529.

⁸¹ Там же, 570 и сл.

⁸² Петроний 39, 62 и 74.

⁸³ Тацит «История», II, 50; см. *Boissier G. Tacite*, p. 146.

⁸⁴ Плиний Младший, I, 18; II, 20; VII, 27.

⁸⁵ См. *Lagrange R. P. Revue Biblique*, 1919, p. 480.

⁸⁶ См. *Cumont M. Les religions orientales*, p. 15 и 26.

⁸⁷ Ювенал, X, 350.

⁸⁸ Персий, II, 71—75.

⁸⁹ Стаций «Сильвы», I, 4, 127—131. Относящейся к предыдущему периоду молитве стойка Деметрия, которую передает Сенека («О providении», V, 5), присуще столь глубокое чувство, что Делеге не усомнился, сближая ее с «*Suscipe*», которой завершаются «Духовные упражнения» святого Игнатия» (*Légendes hag.*, 1905, p. 170, n. 1).

⁹⁰ О религии спасения Антиноя см. *Dietrichson, Antinoos*, Oslo 1884,

* Имеется в виду книга Ж. Каркопино «*Etudes romaines. I. La basilique pythagoricienne de la Porte Majeure*» (Paris, 1926, переиздание в 1943 году).

** То есть Игнатия Лойолы, основателя ордена иезуитов.

к выводам которого я присоединяюсь скорее, чем к выводам П. Маркони—«Antinoo» в «*Monumenti, dei, Lincei*», XXIX. 1923, p. 297—300. В музее Лептис-Магны мне довелось увидеть реставрированную статую Антиноя, который совмещает венок из плюща Вакха с атрибутами Аполлона.

⁹¹ О *collegium salutare* «древноносцев» в Бовиллах см. мою статью в «*Rendiconti dell' Accademia pontificia di archeologia*», 1925—1926, p. 232—246.

⁹² О *collegium salutare* в Ланувии см. *CIL* XIV, 2112.

⁹³ Такая императорская политика получила развитие начиная с Адриана, выстроившего двойное святилище Венеры и Ромы, и вплоть до Коммода, изображенного в виде Марса, с императрицей Криспиной в виде Венеры; ее превосходно описал Эмар в «*Mélanges de l'École de Rome*», 1934, p. 194—198.

⁹⁴ О приверженности Коммода культу Митры см. Кюмон «*Textes et Monuments...*», I, p. 281 и «История Августов», «Коммод», 9*.

⁹⁵ О монетах Фаустины см. Грайо «*Le culte de Cybèle*» (Paris, 1913, p. 151).

⁹⁶ Плиний Младший «Письма», X, 96.

⁹⁷ Тацит «Анналы», XV, 44; Светоний «Клавдий», 25 и «Нерон», 16.

⁹⁸ См. Светоний «Клавдий»: «*Iudaeos, impulsore Cbresto, assidue tumultuantes Roma expulit*» (Он выслал из Рима иудеев, постоянно затевавших смуту по наущению Христа). Относительно этого знаменитого текста см. Duchesne, *Hist. anc. de l'Église*, I, p. 55, и Janne в «*Mélanges Bidez*», Bruxelles, 1934, I, p. 531—532. Христиане не были каким-то обособленным коллективом, см. *Abbé Vielliard, Bull. Soc. Antiqu.*, 1937, p. 104.

⁹⁹ «Привержены иудейским обычаям» — вот формулировка, к которой прибегает, на основе своего источника, Дион Кассий (LXVII, 14) по поводу Флавия Клементя**.

¹⁰⁰ Апостол Павел «Послание к филиппийцам», 4, 22.

¹⁰¹ О Помпонии Грецине см. Тацит «Анналы», XIII, 32. О Мании Ацилии Глабрионе см. Светоний «Домициан», 10 и Дион Кассий, LXVII, 12, 14. О Клементе и Домицилле см. Светоний «Домициан», 15 и Дион Кассий, LXVII, 14.

¹⁰² О необычном смягчении, наблюдавшемся у Флавия Сабина, см. Тацит «История» III, 65 и 75: «*mitem virum, abhorrere a sanguine et caedibus.; in fine vitae alii, segnem multi, moderatum et civium sanguinis parcum credidere*» (Видя кротость этого мужа, отвратившегося от крови и казней..., некоторые полагали, что под конец жизни он сделался косным и ленивым, но многие думали, что это говорит о его умеренности и бережности в отношении крови граждан).

¹⁰³ См. Male в «*Revue des Deux Mondes*», 15 janvier 1938, p. 347.

* Здесь сказано лишь об осквернении им святилищ Митры убийствами.

** «Привержены» (*attaché*) — не вполне точно; правильнее было бы сказать «прибившиеся к иудейским обычаям» (употреблен довольно редкий глагол из области морского дела — «быть выброшенным на берег», «сесть на мель»).

¹⁰⁴ О второй Флавии Домицилле см. *Duchesne*, ук. соч., р. 217, п. 2 — со ссылкой на «Хронику» (*Chron. Ad. ann. Afr.*, 2 110) и «Церковную историю» Евсевия (III, 18).

¹⁰⁵ В последние годы общая, когда-то знаменитая концепция де Росси (*De Rossi*) оспаривается, в частности, П. Штайгером (*Die römischen Katakomben*, Berlin, 1933).

¹⁰⁶ Об изначальной противозаконности христианства см. мои соображения в *R.E.L.*, 1936, р. 230—231.

¹⁰⁷ *Loisy*. *Les mystères païens et le mystère chrétien*. Paris, p. 363.

¹⁰⁸ *Duchesne*. Ук. соч. P. 198.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДЕНЬ СВОБОДНОГО РИМЛЯНИНА

Глава первая. Начало дня

¹ Иды приходились на 15-е в марте, мае, июле и октябре; на 13-е — в восемь остальных месяцев; ноны приходились на 5-е число в те месяцы, в которые иды приходились на 13-е, и на 7-е — в четыре прочих месяца.

² О неделе как чем-то специфически римском см. Дион Кассий, XXXVII, 18, 1—2.

³ О календарном дне римлян, греков и вавилонян см. Варрон, у Макробия «Сатурналии», I, 3, 2; Авл Геллий, III, 2, 2.

⁴ См. статью *horologium* у Даремберга—Сальо.

⁵ О позднем введении «часов» в Риме см. Цензорин «О дне рождения», XXIII, 8. Об изначальном разделении дня надвое см. Плиний Старший, VII, 212; Авл Геллий, XVII, 2, 10.

⁶ О грекостасисе (*graecostasis*) см. Варрон «О латинском языке», V, 135. Прежде побед, одержанных Деметрием Полиоркетом (Страбон, V, 3, 5), греки не присылали в Рим никаких посольств, за исключением, быть может, одного, и то, вероятно, выдуманного анналистами Александра Великого.

⁷ О делении дня на четыре части см. Цензорин «О дне рождения», XXIV, 3.

⁸ О первом солнечном циферблате, относящемся вовсе не к 293 году до н. э., но к 263 году см. Плиний Старший VII, 213—214.

⁹ См. Плиний Старший, там же, 214: *nec congruebant ad horas eius lineae... paruerunt tamen et annis undecentum*.

¹⁰ Плиний, там же: *donec Q. Marcius Philippus, qui cum L. Paulo fuit censor, diligentius ordinatum iuxta posuit, idque munus inter censoria opera gratissima acceptum est* (Пока Квинт Марций Филипп, бывший цензором вместе с Луцием Павлом, не поместил рядом часы, изготовленные с большей точностью, и этот дар был воспринят как ценнейший из преподнесенных цензорами).

¹¹ О первых водяных часах, появившихся в Риме, см. Плиний Старший, там же, 215.

¹² О больших *solarium* (солнечных часах), находившихся между Алтарем мира и колонной Аврелия, см. *CIL* VI, 702, и Плиний Старший, XXXVI, 72—73.

¹³ Витрувий, IX, 8, 5.

¹⁴ Петроний «Сатирикон», 26 и 71.

¹⁵ Сенека «Отыквление», II, 2.

¹⁶ О различиях календарного и «естественного» дня у римлян см. Цензорин «О дне рождения», XXIII, 2.

¹⁷ Марциал, XII, 57.

¹⁸ Ювенал, XIV, 59 и сл. О различных видах *scorae* см. Плиний Старший, XVI, 108; XXIII, 166; Гораций «Сатиры», II, 4, 81—82; Марциал, XIV, 82. О лестницах, *scalae quae ad lacunaria admoveantur* (Лестницы, по которым поднимаются к потолку), см. Ульпиан в «Дигестах», XXXIII, 7, 12.

¹⁹ Плиний Младший, II, 17*.

²⁰ Плиний Старший «Вступление», 18.

²¹ Авл Геллий, VII, 10, 5.

²² Персий, III, 3—4.

²³ Гораций «Сатиры», I, 6, 119—122.

²⁴ Марциал, XII, 18, 13.

²⁵ Исидор Севильский, XVIII, 20.

²⁶ Цицерон «Письма брату Квинту», III, 2, 1; Гораций «Послания», II, 1, 103; Фронто «Письма», IV, 6, р. 69 Naber**.

²⁷ Плиний Младший «Письма», III, 5, 8.

²⁸ Светоний «Веспасиан», 21.

²⁹ Об «Апоксиомене» Лисиппа и «Новобрачной» Паррасия, украсивших *cubiculum* Тиберия, см. мою статью «Galles et archigalles» в «*Mélanges d'Archéologie et d'Histoire*» за 1923 год. Здесь мне не хотелось бы углубляться в разногласия, связанные с вопросом о предназначении залы мистерий виллы (там же).

³⁰ Гелений Акрон «Комментарии к Горацию» «Сатиры», I, 6, 109.

³¹ Ювенал, VI, 264.

³² Марциал, XIV, 119.

³³ Марциал, XI, 11, 5; ср. «Дигесты», XXXIV, 2, 27, 5.

³⁴ О ложах см. выше.

³⁵ О *torus* см. Петроний «Сатирикон», 32 и 78; Ювенал, VI, 88 и сл.; Марциал, XIV, 90 и 92***. Слава фландрской шерсти восходит, как кажется, к античности.

³⁶ О *stragula* и *operimenta* (или *opertoria*) см. Варрон «О латинском языке», V, 167; Сенека «Письма», 87, 2.

³⁷ О *tapetia* см. Марциал, XIV, 147; «Дигесты», XXXIII, 10, 5. О *iodices* и *polymita* см. Марциал, XIV, 148 и 150.

³⁸ О *toral* см. Варрон «О латинском языке», V, 167; «Дигесты», XXXIII, 10, 5.

³⁹ О смысловом содержании всех этих слов см. статьи в словаре Даремберга—Сальо, принадлежащие Сальо и Потье.

* Все довольно пространное письмо (Ж. Каркопино уже ссылаясь на него) посвящено описанию виллы Плиния. Изолирующий комнату хозяина переход упомянут в § 22.

** По более новому изданию van den Hout (1954): «Переписка с М. Цезарем» (*Ad M. Caesarem et invicem*) I, 4, 1; II, 15, 1.

*** Вероятно, имеются в виду 160 и 162.

⁴⁰ Когда римский костюм состоял лишь из *licium** и *toga*, спать ложились в тоге (Варрон у Нония 14, р. 540, см. «О жизни римского народа», фрз. 44). Позже тогу клали на постель, в соответствии с вечерним свадебным ритуалом (Арнобий «Против язычников», II, 67).

⁴¹ Марциал, XII, 18, 17 и сл.

⁴² Так Катон Утический (Асконий, р. 30, Ор.**) и *cincti**** Корнелии Цетеги, см. Горацій «Искусство поэзии», 50, и Порфирион, коммент. к этому месту.

⁴³ См. Цицерон «Об обязанностях»****, I, 35, 129. Женщины-«борцы» выступали в этом одеянии (Ювенал, VI, 70; Марциал, VII, 67).

⁴⁴ За исключением, быть может, сельскохозяйственных рабочих, откуда и происходит название *campestris*, которое зачастую имеют *subligaria* рабочих (см. Плиний Старший, XII, 59).

⁴⁵ Квинтилиан, XI, 3, 138.

⁴⁶ *Tunica talaris*, у мужчин, была объектом осуждения, как знак изнеженности нравов (Цицерон «Против Верреса», II, IV, 13, 31; 33, 86; «Против Катилины», II, 10, 22).

⁴⁷ Квинтилиан, XI, 3, 139.

⁴⁸ Светоний «Август», 82.

⁴⁹ Авл Геллий VI, 12, 1—7; Ноний р. 536, 15. Противоположное воззрение: Августин «О христианском учении», III, 20*****.

⁵⁰ Плиний Младший, III, 5, 15.

⁵¹ О тоге и способах ею драпироваться см. прежде всего *Chapot V. «Propos sur la toge, Mém. Antiq., de France»* (1937, р. 37—66).

⁵² *Heuzey L. Histoire du Costume antique*. P. 232. Аналогичные рассуждения на завершающих страницах книги М. Бибера «*Entwicklungsgeschichte der griechischen Tracht*» (Berlin, 1934).

⁵³ Афиней, V, р. 213В*****.

⁵⁴ Тит Ливий, III, 26.

⁵⁵ Ср. изображения императоров, которые выступают в более или менее распущенных тогах (Калигула в театре, Клавдий в трибунале, Нерон в храме Весты и т. д.).

⁵⁶ Тертуллиан «О плаще» 5: *ita hominem sarcina vestiat******.

* Набедренная повязка, передник, как будет пояснено в тексте чуть ниже.

** «Речь за Скавра», в более новом издании Кларка (1907) см. р. 25.

*** «Опоясанные», то есть без туники.

**** Перевожу традиционно «Об обязанностях», хотя куда лучший и верный перевод этого трактата — «О долге».

***** Мнение Августина нисколько не противоречит Авлу Геллию, но согласно с ним.

***** § 50 по изд. Kaibel. Здесь говорится, что, когда Афины прикнули к Митридату, местные «римляне» (очевидно, речь идет о греках, ставших римскими гражданами) поспешили переодеться в «прямоугольные гиматии».

***** Букв. «человек одет в весомую ношу», то есть тога оказывается не просто одеянием, но значительным грузом на плечах носящего ее человека.

⁵⁷ См. Ювенал, III, 147 и сл.; Марциал, I, 103, 5; VII, 33, 1; X 11, 5—6 и 96, 11; XII, 14, 4*.

⁵⁸ Август бывал *amictus*, едва встав с постели, чтобы быть гарантированным от всех неожиданностей (Светоний «Август», 73).

⁵⁹ Светоний «Клавдий», 15.

⁶⁰ Марциал, XIV, 124.

⁶¹ «История Августов», «Коммод», 16**.

⁶² Марциал, X, 51, 6.

⁶³ «История Августов», «Север», 1, отмечает реакцию, наступившую в приказном порядке при Септимии Севере***.

⁶⁴ Ювенал, III, 171 и сл.

⁶⁵ Светоний «Веспасиан», 21.

⁶⁶ Марциал, XI, 104, 3—4****.

⁶⁷ Светоний «Веспасиан», 21 и «Домициан», 16.

⁶⁸ См. слово *sapo* в словаре Даремберга—Сальо.

⁶⁹ Авсоний «Послания», 2.

⁷⁰ Светоний «Цезарь», 45. Ср. в наше время туалет г-на де Талейрана, который очищает лицо, скобля лоб серебряным ножом, но проводит часы в руках своего парикмахера (*Rev. de Paris*, 15 июня 1938, p. 884).

⁷¹ О неудобствах, связанных с *tonstrinae* на открытом воздухе, см. ниже, прим. 116, цитату из Фабия Мелы в «Дигестах», IX, 2, 11. О *tonsores* Субуры см. Марциал, II, 17; Карин — Гораций «Послания», I, 7, 46—51. Были они также и возле цирка, возле храма Флоры: *Ad Florae templum ad tonsores*.

⁷² Сенека «О краткости жизни», XII, 3*****.

⁷³ Нередко брились после бани, перед *cena*. См. Гораций «Сатиры», I, 7, 45*****.

* Я предложил бы заменить последнюю ссылку на XII, 72, 4 и XIV, 125.

** Здесь сказано, что Коммод повелел зрителям явиться на гладиаторские поединки «в плащах, а не в тогах, как это бывает в случае похорон, и сам председательствовал на них в траурном одеянии».

*** Рассказанный эпизод из юности Севера (когда он в плаще явился на устроенный императором пир, между тем как следовало быть в тоге, и ему была выдана запасная тога самого императора), разумеется, не может относиться к его правлению.

**** Думается, данного текста недостаточно для обоснования столь важного тезиса. Ведь «по одной воде» выходит из дома героиня, представляющая собой полную противоположность лирическому герою автора. Впрочем, см., что пишет о двух- и трехразовом питании римлян сам Ж. Каркопино ниже, в IV главе второй части книги (разд. III, Сеп; там он также ссылается на данный текст, причем тоже как на эпиграмму 103, что неверно. Можно было бы предположить различие в изданиях, но среди тех, которыми пользуюсь я, а их 5, лишь два, первой половины XVIII века, дают ей номер, отличный от 104, но не 103, а 105. В частности, в превосходном французском издании 1825 года (изд. Лемера) она также стоит под номером 104).

***** См. «Диалоги» Сенеки, кн. X.

***** Судя по всему, неверная ссылка: в виду имеются те же

⁷⁴ Гораций «Сатиры», I, 7, 3. Уже во II веке до н. э., см. Полибий, III, 20, 5.

⁷⁵ Плиний Старший, XXXV, 112 и Проперций, III, 9, 12.

⁷⁶ Марциал, VII, 64, 1—2; Ювенал, X, 226. В тарифной сетке Диоклетiana посещение брадобрёя оценивалось в два денария.

⁷⁷ Плутарх «Как правильно слушать», 8*.

⁷⁸ Об этих подробностях см. Плавт «Пленники» II, 2, 16 (Ст. 266—269); Марциал XI, 39.

⁷⁹ Светоний «Нерон», 51.

⁸⁰ Светоний «Август», 79.

⁸¹ Квинтилиан, XII, 10, 47 и Марциал, II, 36, 1.

⁸² Гораций «Послания», I, 1, 94.

⁸³ «История Августов» «Адриан», 26, 1.

⁸⁴ Марциал, X, 83.

⁸⁵ О красящихся мужчинах см. Марциал, III, 43, 1—4, эпиграмма, направленная против Лецина, который в один момент стал из лебеда вороном: *Tum subito corvus qui cygnus eras.*

⁸⁶ Цицерон «Против Пизона», 25.

⁸⁷ Марциал, VI, 55.

⁸⁸ Там же, II, 12.

⁸⁹ Там же, II, 29.

⁹⁰ О Катоне см. Гораций «Оды», II, 15, 11.

⁹¹ Авл Геллий, III, 4.

⁹² О Цезаре, помимо свидетельства монет, которыми мы располагаем уже для Суллы, см. Светоний «Цезарь», 45.

⁹³ Плиний Старший, VII, 211.

⁹⁴ Светоний «Цезарь», 67.

⁹⁵ Плутарх «Катон Младший», 53.

⁹⁶ Плутарх «Антоний», 18.

⁹⁷ Светоний «Август», 23.

⁹⁸ Дион Кассий, XLVIII, 34. Ср. мою статью в «*Revue Historique*», 1929, p. 228—229.

⁹⁹ Кринагор в «Греческой антологии», VI, 161, 3—4.

¹⁰⁰ Светоний «Калигула», 10 и «Нерон», 12; см. Дион Кассий, LXI, 19, 1.

¹⁰¹ «*Notizie degli Scavi*», 1900, p. 578.

¹⁰² Светоний «Нерон», 12.

¹⁰³ Петроний, 29.

¹⁰⁴ См. статью Леклерка и Каброля *barba* у Даремберга—Сальо.

¹⁰⁵ Ювенал, III, 186—188.

¹⁰⁶ Овидий «Искусство любви», I, 517.

¹⁰⁷ Сенека «Письма», 77, 18.

¹⁰⁸ Авл Геллий, IX, 2 и XIII, 8.

«Послания», а именно место, на которое автор сослался в прим. 71, вероятно, стих 47. Впрочем, прямого указания на то, что герой побывал в бане, здесь нет. Об этом позволяет судить, пожалуй, только указанное время действия и переданное им Мене через мальчика приглашение на обед.

* По изд. Стефана p. 42В.

¹⁰⁹ Марциал, V, 9, 13*.

¹¹⁰ См. Фабий Мела в «Дигестах», IX, 2, 11.

¹¹¹ Сами рабы прибегали к услугам брадоброя (см. прим. 110 и устав Випаски). Было запрещено даже самостоятельно подстригать себе ногти (по крайней мере каждые нундины, Варрон «Сатиры», фрг. 186^b; и Плиний Старший, XXVIII, 28) — все по тем же причинам (ср. Валерий Максим III, 2, 15). От немногочисленных бритв, найденных в Помпеях, практически ничего не осталось; см. каталог «*Mostra Augustea*», p. 631.

¹¹² Плиний Старший, XXXVI, 164—165.

¹¹³ Там же, 165.

¹¹⁴ Плутарх «Антоний», 1. Среди знаков принадлежности к *tonsor*, дошедших до нас на погребальных барельефах, — ни следа ни «кисочки», ни тазика для бритвы. Я впустую отыскивал разрешение проблемы в современной библиографии: наши книги даже не задаются этим вопросом, рассматривают ли они частную жизнь римлян или же греков.

¹¹⁵ Петроний, 94.

¹¹⁶ Марциал, VI, 52.

¹¹⁷ Фабий Мела в «Дигестах», IX, 2, 11.

¹¹⁸ Светоний «Август», 79.

¹¹⁹ Марциал, VII, 83.

¹²⁰ Там же, VIII, 52.

¹²¹ Там же, XI, 84.

¹²² Плиний Старший, XXIX, 114.

¹²³ Марциал, III, 74, 1—4.

¹²⁴ Там же, X, 65, 8.

¹²⁵ Ювенал, XIII, 51* и схолии к этому месту.

¹²⁶ Плиний Старший, XXVI, 164; ср. XXIII, 21.

¹²⁷ См. Плиний Старший, XXIV, 79; XXVIII, 250 и 255; XXX, 132 и 133. К этому следует прибавить лягушачью слизь и все компоненты колдовского зелья (там же, 135).

¹²⁸ Плиний Старший, XXXII, 136: *in omni autem psilothro evellendi prius sunt pili*.

¹²⁹ Светоний «Цезарь», 45.

¹³⁰ Марциал, VIII, 47.

¹³¹ Там же, XI, 23, 6.

¹³² Там же, X, 38.

¹³³ Плиний Младший «Письма», IX, 36.

¹³⁴ Там же, VII, 5.

¹³⁵ Петроний, 77.

¹³⁶ Там же, 47.

¹³⁷ Марциал, XI, 104, 7—8: *Fascia te tunicaeque obscuraque pallia celant: At tibi nulla salis nuda puella iacet* (Ты скрыта повязками, туниками и темным плащом. А по мне, никогда девушка не бывает достаточно нагой).

¹³⁸ «Дигесты», XXXIV, 2, 25.

* На самом деле VII, 95, 11—13 и VIII, 50, 9—12.

** Так в книге; следует читать IX, 15.

¹³⁹ Стаций «Сильвы», I, 2, 113—114.

¹⁴⁰ Ювенал, VI, 502—504.

¹⁴¹ Макробий, II, 5, 7.

¹⁴² Ювенал, VI, 487—493 и сл.

¹⁴³ Марциал, II, 66, 1—4.

¹⁴⁴ О *sapo* см., в частности, Плиний Старший, XXVIII, 191 и Марциал, XIV, 26.

¹⁴⁵ «Дигесты», XXXIX, 4, 16, 7.

¹⁴⁶ Марциал, VI, 93, 9—10.

¹⁴⁷ Там же, II, 41, 11—12; VII, 25, 1—2; VIII, 33, 17.

¹⁴⁸ См. Овидий «Искусство любви», III, 211.

¹⁴⁹ Ювенал, II, 93; Марциал, IX, 37, 6*.

¹⁵⁰ См. Паули—Виссова Hbd. XIII, Sp. 196.

¹⁵¹ Овидий «Искусство любви», III, 209—210.

¹⁵² Не следует чистить зубы (*defricare*) на публике (Овидий «Искусство любви», III, 216): зубной порошок — это в большей степени *ornamentum*, нежели *mundus*** (ср. Плиний Старший, XXX, 27). О толченом роге см. Плиний Старший, XXVIII, 178—179. Прочие рецепты там же, XXXI, 117; Диодор, V, 33, 5; Страбон, III, 4, 16 и Апулей «Апология», 6; в трех последних рецептурах присутствует моча; а последний показывает, что большая часть мужчин и даже женщин ограничивались прополаскиванием рта водой. Прочие, чтобы ароматизировать дыхание, сосали ароматизированные пастилки (см. Гораций «Сатиры», I, 2, 27); в надписях упоминаются *pastillarii*, или торговцы пастилками (CIL. VI, 9765 и сл.).

¹⁵³ Овидий «Искусство любви», III, 210***.

¹⁵⁴ Марциал, IX, 37.

¹⁵⁵ О *periscelides* см. Петроний, 67.

¹⁵⁶ О *supparum* см. Ноний р. 540, 8.

¹⁵⁷ Овидий «Искусство любви», III, 109****.

¹⁵⁸ Апулей «Метаморфозы», XI, 3—4.

¹⁵⁹ О *reticulum* см. Петроний, 67.

¹⁶⁰ О *tutulus* см. Фест р. 355.

¹⁶¹ Арнобий «Против язычников», II, 23.

¹⁶² См. Марциал, III, 82, 10—11; и XIV, 67 и 68.

¹⁶³ О зонтиках см. Ювенал, IX, 50; Марциал, XI, 73, 6 и XIV, 28. Складной зонтик на барельефе из музея Авеццано, слепок с которого был выставлен в 62-м зале *Mostra Augustea*.

Глава вторая. Занятия

¹ Что доводило их — самое дальнее — до ближайшей водоразборной колонки и выгребной ямы (см. Ювенал, VI, 603).

* Еще Овидий «Искусство любви», III, 201.

** *Ornamentum* — украшение, *mundus* — туалет.

*** В оригинале было 329. Ср. также 229—230, 234.

**** Так у Ж. Каркопино, что неверно. Я бы поставил III, 135—136 и сл., особенно 151—152, 150—160; о расцветке одежд 171—192, особенно 187—188.

² Марциал, VI, 88.

³ Ювенал, I, 105 и сл.*

⁴ Плиний Младший «Письма», III, 12, 2.

⁵ Марциал, I, 49.

⁶ Марциал, IX, 49; X, 11; 73; 96 и повсюду. О подарках на Сатурналии см. у него же V, 19 и 84; VII, 53.

⁷ Ювенал, I, 95 и сл.**

⁸ Марциал, VI, 88.

⁹ Ювенал, I, 117—126.

¹⁰ *Rostovtseff M. I. Social and economic history of the Roman Empire.* Oxford, 1926. P. 36 и 155.

¹¹ См. выше, глава «Уровни» жизни и плутократия».

¹² См. Carcopino J. *La loi, de Hiéron et les Romains*, Paris, 1914—1919, p. 188 и сл.

¹³ Петроний, 119.

¹⁴ См. *Carcopino J. Ostie*. Paris, 1929. P. 18, а также указание, которым наделил меня М. Викерт в его издании последнего «*Supplementum Ostiense*», *CIL* XIV, p. 844.

¹⁵ Здесь я обобщаю то, что уже написал в «Ostie», p. 15—18. Об алтаре терм см. Парибени «*Guida del museo delle Terme*», p. 264.

¹⁶ См. Дессау «*Geschichte des Röm. Kaiserzeit*» (Berlin, 1930, II, p. 411).

¹⁷ См. Платнер—Эшби «*Top. Diction.*», p. 260—263.

¹⁸ О форуме Траяна см. выше, глава «Очарование Города». Ясно, что его создание нанесло смертельный удар всем специализированным рынкам: *f. olitorium*, *f. cuppedinis*, *f. Piscatorium* (форумы овощной, кондитерский, рыбный), о которых нам говорят почти исключительно лишь тексты республиканского времени.

¹⁹ Что касается деталей, см. Вальцинг «*Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains*» (4 vol. in-8°, Louvain, 1900).

²⁰ См. выше, глава «Римские улицы и движение по ним» и Марциал, IV, 65*** и XII, 57.

²¹ См. выше, глава «Современное видение римского дома».

²² См. выше, глава «Феминизм и нравственное вырождение».

²³ *CIL* VI, 9525.

²⁴ Там же, 9545.

²⁵ Там же, 33892.

²⁶ Там же, 9758—9759.

²⁷ Там же, 9739—9757.

²⁸ Там же, 9614—9617 (трое последних, вольноотпущенницы, были, возможно, домашними слугами).

²⁹ Там же, 9562—9613. В императорском доме насчитывалось две *medicas* (6851, 7581) против 15 *medici* (8895—8910).

* Лучше было сослаться на более поздние стихи 117—134.

** Здесь вольноотпущенник, как пришедший первым, стремится пробиться в порядке очереди.

*** Так у Ж. Каркопино. Видимо, имеется в виду IV, 64, хотя городские шумы как раз блистают здесь своим отсутствием: описывается поместье Марциала на правом берегу Тибра, вдали от суеты Города.

³⁰ Там же, 9875, 9984, 33907.

³¹ Там же, 9493, 9941 (против 6 *tonsores*, 9 937—9942).

³² Там же, 9726—9736 (всего 11).

³³ Там же, 9720—9724 (всего 5).

³⁴ Там же, 9901.

³⁵ Там же, 9801.

³⁶ Там же, 9683.

³⁷ Там же, 9880.

³⁸ Там же, 9961—9979 (*vestifici* или *vesticarii*).

³⁹ Там же, 9497—9498.

⁴⁰ Там же, 9891—9892.

⁴¹ См. книгу, вышедшую довольно давно, но все еще остающуюся превосходной: *Gide P. Étude sur la condition privée de la femme*. Paris, 1885. P. 152.

⁴² Светоний «Клавдий», 18—19.

⁴³ Гай, I, 34.

⁴⁴ Название *pistrix* отсутствует даже в списках Дессау (Dessau). Законодательство относительно прелюбодеяния уподобляло торговок проституткам (см. Павел «Сентенции», II, 26, 11: *quae mercibus vel tabernis exercendis procurant adulterium fieri non placuit* (Было постановлено, что с теми женщинами, которые занимаются торговлей или держат лавку, прелюбодеяние не может быть совершено).

⁴⁵ *Reinach S. Répertoire de reliefs grecs et romains*. Paris, 1912. V. III. P. 375.

⁴⁶ *Helbig W. Untersuchungen über die campanische Wandmalerei*, 1, 502.

⁴⁷ *Reinach S. Répertoire*, III, 405.

⁴⁸ *Helbig W. Wandmalerei*, 1, 496.

⁴⁹ *Reinach S. Répertoire*, III, p. 44.

⁵⁰ *Helbig W. Wandmalerei*, 1, 497, 498, 503.

⁵¹ Марциал, X, 80; IX, 59; VIII, 6.

⁵² *Helbig W. Wandmalerei*, 1, 501 и *Reinach S. Répertoire*, III, 403.

⁵³ *Helbig W. Führer durch die öffentlichen Sammlungen klassischer Alterthümer in Rom*. Leipzig, II, 773.

⁵⁴ *Helbig W. Wandmalerei*, 1, 500.

⁵⁵ *Helbig W. Wandmalerei*, 1, 493, 495.

⁵⁶ У Апулея в «Метаморфозах» Луций сам занимается покупками (I, 24—25).

⁵⁷ См. выше, глава «Дни и часы римского календаря».

⁵⁸ Петроний, 79.

⁵⁹ Марциал, VIII, 67.

⁶⁰ Там же, IX, 59, 21.

⁶¹ См. выше, глава «Туалет римлянина». То был еще и час смены стражи. Марциал, X, 48, 12, 57* <>.

⁶² Марциал IV, 8, 3—4, что вносит необходимые коррективы в:

* Вероятно, две последние цифры попали сюда по ошибке (вспомним, что XII, 57 — номер эпиграммы, описывающей городские шумы).

Марциал, XII, 978°. Тот же самый вывод следует сделать для горняков Випаски из *CIL* II, 5181, I, 19 и сл.

⁶³ См. выше, глава «Туалет римлянина».

⁶⁴ Плиний Младший «Письма» III, 1, 3.

⁶⁵ Марциал, VIII, 67, 3.

⁶⁶ Законы XII таблиц, I, 6, по Авлу Геллию, XVII, 2, 10.

⁶⁷ См. прим. 69, где, в порядке исключения, упоминаются 7 клепсидр.

⁶⁸ Что несомненно вытекает из Плиния Младшего, «Письма», II, 11, 14, где упоминаются, в отношении процесса, состоявшегося в январе, о 16 равноденственных клепсидрах, откуда и их характеристика как *spatiosissimas* (наиболее вместительных) для речи продолжительностью по крайней мере 250, а возможно, и 300 минут (5 часов).

⁶⁹ Марциал, VI, 35; о характере процесса в целом см. Юмбер «Les plaidoyers de Cicéron» (Paris, 1925, p. 25 и сл.)

⁷⁰ Светоний «Август», 29.

⁷¹ Светоний «Веспасиан», 10.

⁷² См. статью Т. Моммзена «Ueber die Lage des praetor. Tribunals» в «Gesamm. Schriften», III, p. 319—326.

⁷³ См. статью В. Сестона в «Mélangés de Rome», 1927, p. 154—183.

⁷⁴ *Vignaux L. Essai, sur l'histoire de la Praefectura Urbis.* Paris, 1896. P. 125.

⁷⁵ См. «История Августов» «Марк Антонин Философ», 10.

⁷⁶ О центумвирах см. диссертацию Оливье—Мартена (Paris, 1904).

⁷⁷ См. Huelsen—Carcopino, *Le forum romain*, p. 58—66.

⁷⁸ Плиний Младший «Письма», VI, 33, 3. Ср. там же I, 18, 3; IV, 24, 1; II, 14 и V, 9.

⁷⁹ Квинтилиан, XII, 5, 6.

⁸⁰ Плиний Младший «Письма», II, 14 *passim*.

⁸¹ См. Huelsen—Carcopino, *Le forum romain*, p. 62.

⁸² См. Плиний Младший «Письма», VI, 33, 1 и 7—8.

⁸³ Плиний Младший «Письма», II, 14, 1 и сл., а также 14.

⁸⁴ Плиний Младший, VI, 31 *passim*.

⁸⁵ Плиний Младший, VI, 31, 13.

⁸⁶ Grenfell и Hunt. *Pap. Ox.* I, 33. Этот папирус — новейший среди «Деяний александрийских мучеников». Изученные фон Премерштайном (*Von Premerstein*, *Philologus Supplement.*, XVI, 1923) и Неппи—Модона (*Neppi—Modona*, *Aegyptus* 1929 и 1932), эти документы представляют собой «искусственные» стенограммы, в которых, как это бывает в агиографической литературе, вымысел примешивается к реальности тем более бесспорной, что она вытекает из пока еще не изданных антиохийских надписей, публикация которых была возложена г-ном Зейригом (*Seyrig*) на г-на Пьера Русселя (*Pierre Roussel*, апрель 1939 года).

⁸⁷ Светоний «Август», 35.

⁸⁸ *Lanciani J. Ruins and excavations.* P. 268.

* Опять совершенно непонятные цифры. Надо полагать, их следует читать как XII, 57, 8 — там говорилось, что шум продолжается *целый день*, здесь же Марциал подправляет свое утверждение.

⁸⁹ *Willems. Sénat Romain*, I, p. 406, n. 1 et 5 (383 присутствующих в 47 году н. э.) и II, p. 168 и сл. Сенека («О провидении», V, 4) ставит в пример праздным простолюдинам сенат, который *per totum diem saepe consulitur* (Нередко заседает целый день).

⁹⁰ Плиний Младший «Письма», II, 11.

⁹¹ Плиний Младший «Письма», III, 9.

⁹² См. моего «Цезаря» (*César*), p. 975 и n. 290.

⁹³ См. классическую статью Канья (*Cagnat*) «*Les bibliothèques dans l'Empire romain*»: к его списку следует прибавить библиотеку Фрежюса после открытия в прошлом году д-ром Донадье (*Donnadieu*) упоминающего о ней эпиграфического фрагмента, а также, если я не ошибаюсь в идентификации, библиотеку Остиги, некогда описанную Гаттани (*Guattani*) и вновь отысканную г-ном Кальца (*Calza*) на юго-западе форума.

⁹⁴ Гораций «Послания», I, 20, 1—2.

⁹⁵ Сенека «О благодеяниях», VII, 6, 1.

⁹⁶ Марциал, IV, 72 и XIII, 3.

⁹⁷ Там же, I, 1 и 2 и 117.

⁹⁸ Там же, I, 117, 13 и сл.; XIII, 3, 3.

⁹⁹ Я расцениваю в качестве решающего на сей счет упоминание Ювеналом (VII, 86 и сл.) просчета Стация, которому удалось получить с мима Париса деньги за свою «Агаву», но продать издателю свою «Фиwaиду» он не смог.

¹⁰⁰ Гай, II, 73 и 77*.

¹⁰¹ Марциал, XI, 3. Ср. там же V, 18; XI, 108; XIV, 219.

¹⁰² Светоний «Тиберий», 61.

¹⁰³ Светоний «Домициан», 10: *librariis... crucifixis* (Распял... книготорговцев).

¹⁰⁴ См. Светоний «Цезарь», 56; «Калигула», 34, и мою статью в *Journal des Savants*, 1936, p. 115.

¹⁰⁵ Сенека Старший «Контроверсии», IV, вступление.

¹⁰⁶ Светоний «Август», 89**.

¹⁰⁷ Светоний «Клавдий», 41.

¹⁰⁸ Плиний Младший «Письма», I, 13, 3.

¹⁰⁹ Светоний «Домициан», 2.

¹¹⁰ Аврелий Виктор «О цезарях», 14, 3.

* В последней ссылке Гай все же оговаривается, что в случае картины принцип этот дает сбой: если ты нарисовал картину на моей доске, то можешь предъявить на нее права и получить, уплатив мне стоимость доски. Но картина, как ясно всякому, — это уникальное произведение, а списков литературного сочинения может быть бесконечно много и никаких авторских прав на него древность не знала.

** Замечательная глава, повествующая о сознательной поддержке Августом произведений, «благодетельных для общества и семьи»: выдержки из них он рассылал по провинциям, целиком читал их сенату и даже указами оповещал о них народ. Например, в список рекомендованных попали речи «О повышении рождаемости» (*De prole augenda*) Квинта Цецилия Метелла и «О способах возведения зданий» (*De modo aedificiorum*) Публия Рутилия Руфа.

- ¹¹¹ Я не осмеливаюсь говорить здесь об *auditorium Maecenatis*^{*}, предназначение которой так и не выяснено.
- ¹¹² Плиний Младший «Письма», V, 17 и VIII, 12.
- ¹¹³ См. Персий, I, 19; Плиний Младший, V, 17 и IX, 34.
- ¹¹⁴ Плиний Младший, IV, 19, 3.
- ¹¹⁵ Ювенал, VII, 45—47, и Плиний Младший «Письма», III, 18, 4.
- ¹¹⁶ Плиний Младший, V, 17**.
- ¹¹⁷ Ювенал, VII, 39 и сл.
- ¹¹⁸ Плиний Младший III, 18, 4***.
- ¹¹⁹ Петроний 90; Гораций «Сатиры», I, 4, 75.
- ¹²⁰ Плиний Младший, VIII, 21, 2.
- ¹²¹ Петроний, 90****, Плиний Младший, I, 13, 3; VIII, 21.
- ¹²² Плиний Младший, VI, 17, 3.
- ¹²³ Там же, VIII, 21, 4.
- ¹²⁴ Там же, I, 13.
- ¹²⁵ Там же, II, 18, 2.
- ¹²⁶ Там же, VI, 15.
- ¹²⁷ Там же, VI, 17.
- ¹²⁸ Там же, VII, 17.
- ¹²⁹ Там же, III, 18, 4, и V, 5, 2—3.
- ¹³⁰ Там же, III, 10 и IV, 7.
- ¹³¹ Там же, IX, 27.
- ¹³² Там же, VIII, 21.
- ¹³³ Там же, V, 17.
- ¹³⁴ Там же, VI, 15.
- ¹³⁵ Ювенал, VII, 82—86.
- ¹³⁶ Ювенал, I, 52—54.
- ¹³⁷ Плиний Младший, VII, 17.
- ¹³⁸ Там же, VI, 21.
- ¹³⁹ Там же, V, 3 и VII, 17.
- ¹⁴⁰ Гораций «Сатиры», I, 4, 76 и сл.
- ¹⁴¹ См. на этот счет Альбертини «La Composition dans... Sénèque» (Paris, 1923, p. 315 и сл.)

* «Аудитория Мецената», произвольное наименование, данное раскопанному в 1874 году помещению с экседрой на виа Мерулана, южнее Порта Эсквилина. Близость развалин по местоположению к знаменитым «садам Мецената» и его башне, а также датировка (самое начало империи) позволяли предположительно связывать их с его именем, однако никаких серьезных доказательств этого тогда найдено не было.

** Чтение в том случае проходило в аудитории Кальпурния Пизона, но это, разумеется, не столь важно.

*** О триклинии см. VIII, 21, 2.

**** Непонятно, зачем ссылаться на Петрония: Эвмолп не устраивал чтений, но, как видно по следующей главе 91, мог читать свои стихи «кому угодно, где угодно и когда угодно» — в данном случае в банях.

¹ Ювенал, X, 75 и сл.

² Фронто «Начало римской истории», V, 11*.

³ Что касается этих расчетов, следует обратиться не только к статье *calendarium* Даремберга—Сальо, к пособиям Маркардта (*Mar-quardt*) и Виссова (*Wissowa*), но также и к заметкам, сопровождающим каждый праздник в энциклопедиях Паули—Виссова и Рошера. Относительно спорного значения *Nundinae* см. Паули—Виссова, *Hbd. XXXIV*, Sp. 1470.

⁴ Надпись из Тебессы (*Gsell, Inscr. latines de l'Algérie*, n° 3041) известна уже на протяжении длительного времени; однако понята она была лишь после того, как г-н Снайдеру догадался сопоставить ее с еще неопубликованным папирусом из Дуры, который он должен был издать, с прочими сотрудниками, под руководством г-на Ростовцева.

⁵ Здесь я даю краткое резюме прекрасного анализа Жана Гаже (*Jean Gagé*) в его «*Recherches sur la jeux séculaires*» (Paris, 1934).

⁶ Момент, описанный г-ном А. Пиганьолем (*Piganiol*) в его «*Recherches sur les jeux romains*» (Paris-Strasbourg, 1923).

⁷ О смысле данного отрывка из Феста см. мою книгу «*Virgile et les Origines d'Ostie*» (Paris, 1919, p. 119—120).

⁸ Относительно роли государства в *munera* см. моего «*César*», p. 515.

⁹ Фест, p. 135: *munus donum quod officil, causa datur*; Тертуллиан «О зрелищах», 12: *officium mortuorum*; Авзоний «О римских праздниках», 35: *falcigerum placant sanguine caeligenam*.

¹⁰ Светоний «Август», 40; «Клавдий», 6.

¹¹ Квинтилиан (VI, 3, 63) рассказывает о том, как Август гнал из цирка римского всадника, который стал пить во время представления, велел ему сказать: «Когда я желаю подкрепиться, я иду домой». «Что же, — отвечал не без юмора всадник, — но ты-то, когда отлучишься, уверен, что не потеряешь место». О распределении зрителей по категориям см. *Van Berchem D.*, ук. соч., p. 61—62, который совершенно справедливо допускает на представления peregrinov и рабов, однако на худшие места.

¹² Овидий «Любовные элегии», III, 2, 43 и сл.

¹³ Об этих суевериях см. чрезвычайно любопытные тексты, собранные П. Виллемье в его статье в «*Mélanges de l'École de Rome*» (1927, p. 184—209) на тему «Цирк и астрология» (*Le Cirque et l'Astrologie*) и, в частности, Кассиодора «Разное» (*Variae*), III, 51; Исидор Севильский, XVIII, 36; «Латинская антология», I, 197.

¹⁴ См. прежде всего Плиний Младший «Письма», VI, 5: *propitium Caesarem ut in ludicro precabantur* (Словно в цирке, они просили императора о благосклонности); Тацит «Анналы» XVI, 4: *plebs urbana personabat certis modis plerumque plausuque composito* (Городской плебе раздражался согласными криками и стройными овациями). О «*sudaria*» см. «История Августов», «Аврелиан» 43 (*Excogitare non possum quid sibi, haec nota velit*).

* Или II, 18 по более новому изданию ван ден Пуа (1954).

¹⁵ Плиний Младший «Панегирик», 51.

¹⁶ Плиний Старший, XXXIV, 62.

¹⁷ Плутарх «Гальба», 17. Так получил народное одобрение Отон (Плутарх «Отон», 3).

¹⁸ Таким образом в 69 году Тит избавлялся от врагов Веспасиана (Светоний «Тит», 6). О том, как мало лежала к этому душа Тиберия, см. Светоний «Тиберий», 47.

¹⁹ Дион Кассий, LIV, 17.

²⁰ Светоний «Август», 43.

²¹ Марциал, X, 41.

²² Числа, содержащиеся в *Fasti Antiaties** на 51 год н. э.

²³ Дион Кассий, LXVI, 10**.

²⁴ Тит Ливий, VIII, 20, 2, и Энний у Цицерона «О прорицании», I, 108.

²⁵ Тит Ливий, XXXIX, 7, 8.

²⁶ Плиний Старший, VIII, 20—21.

²⁷ Светоний «Цезарь», 39.

²⁸ Плиний Старший, XXXVI, 102, говорит о 250 тысячах. Однако нет сомнения в том, что это число относится к его времени, после расширения, предпринятого Нероном. При Августе Дионисий Галикарнасский, III, 68, насчитывает не более 150 тысяч мест.

²⁹ Плиний Старший, XXXVI, 71***.

³⁰ См. Август «Деяния», IV, 4, с комментарием Жана Гаже (Jean Gagé) и текстом Кассиодора «Разное», III, 51, 4.

³¹ Светоний «Август», 43****.

³² Светоний «Клавдий», 21.

³³ Тертуллиан «О зрелищах», 8; Дион Кассий, LIV, 17***** и Кальпурний «Эклоги», VII, 49—53.

³⁴ Светоний «Домициан», 5 и Плиний Младший «Панегирик», 51, 5; ср. изд. Дюрри, данное место и введение, р. 13; см. *CIL* VI, 955; Лульи (Monumenti antichi di Roma, р. 391) пришел к тому же самому результату, двигаясь иным путем.

³⁵ Нижеследующее описание заимствовано из превосходной заметки в «*Topographic Dictionary*» Платнера—Эшби.

³⁶ Что касается деталей, отсылаю читателя к хорошей статье Сальо «Circus» в словаре Даремберга—Сальо, которая сама по преимуществу вдохновлена восхитительным разделом у Фридлендера (Friedländer).

* «Антийские фасты»; Антий — город в Лации, ныне Понто д'Анцо.

** О Траяне говорится в LXVIII книге Диона Кассия. Некоторую переключку с данной цитатой можно найти в LXVIII, 6—7.

*** Здесь лишь о вывезенном из Египта обелиске. О дельфинах на *spina* см. у Диона Кассия, XLIX, 43.

**** О том, что Август проявил мужество именно в цирке, здесь ничего не говорится: сказано лишь, что это был *titius*, устроенный внуками Августа.

***** Ссылка неверна; можно было бы отдаленно сослаться на LXI, 6, поскольку там говорится о внимании, которое уделял Нерон бегам. Еще в XLVIII сказано об установленной на ипподроме статуе Посейдона (Нептуна).

³⁷ Светоний «Калигула», 18*.

³⁸ Светоний «Домициан» 4**.

³⁹ Ювенал, X, 36 и сл.

⁴⁰ Марциал, VIII, 33.

⁴¹ Весьма вероятный вывод, вытекающий из пробных раскопок, предпринятых Ж. Шеданном в 1886 году; см. на этот счет первую главу книги Навенна «Le Palais Farnèse et les Farnèse» и статью Леблана в «*Mélanges de Rome*» за 1886 год.

⁴² Овидий «Искусство любви», I, 135 и сл.

⁴³ *CIL* XV, 6250.

⁴⁴ О мозаике Помпейских бань, ныне уничтоженных, см. «*Rec. de Constantine*», 1880, III, и Даремберг—Сальо, fig. 1535.

⁴⁵ См. надпись Диокла, *CIL* VI, 10048; Dessau, *Inscr. Sel.*, 5287.

⁴⁶ *Wilmanns*, 2600, 2.

⁴⁷ См. диссертацию А. Одоллена о *Tabellae defixionum* (Таблицы заклинаний).

⁴⁸ См. Ювенал, VII, 113—114 и Марциал, IV, 67 и X, 74 (ср. прим. 51).

⁴⁹ См. приложение Фридлендера и надписи, сгруппированные Дессау (Dessau), *Inscr. Sel.*, II, S. 322—345.

⁵⁰ См., среди прочего, Светоний «Нерон», 16.

⁵¹ Марциал, V, 25.

⁵² Там же, XI, 1.

⁵³ Там же, X 50.

⁵⁴ См. *CIL* VI, 33950, 10050, 10049.

⁵⁵ Овидий «Искусство любви», I, 147***.

⁵⁶ Марциал, XI, 1, 15—16.

⁵⁷ Ювенал, XI, 201 и сл.

⁵⁸ См. у Даремберга—Сальо превосходную статью *Missilia*, принадлежащую П. Фабиа. Насчет *epula* эпохи, о которой у нас идет речь, см. Стаций «Сильвы», I, 6, и Светоний «Домициан», 4.

⁵⁹ Марк Аврелий, I, 5. Ср. аналогичное презрение у Плиния Младшего «Письма», IX, 6.

⁶⁰ Тутен (Toutain) у Даремберга—Сальо, III, p. 1372, насчитал 17 дней в цирке против 55 в театре.

⁶¹ См. дельные замечания О. Наварра в словаре Даремберга—Сальо, V, p. 203.

⁶² Плиний Младший «Письма», IX, 6, 3.

⁶³ Ювенал, IX, 142—144.

⁶⁴ Текст, опубликованный М. Кальца в «*Bollettino dell' Associazione internazionale degli, studi, Mediterranei*», 1932, fasc. 4, p. 26—27, и про-

* О числе заездов, устроенных Калигулой в честь Августа, говорится не здесь, а у Диона Кассия (LIX, 7): в первый день их было 20, а во второй — даже 40 (в Паули—Виссова *Supplbd.* VII. Sp. 1634 сказано почему-то о 20—24 заездах — возможно, на основе неизвестной мне конъектуры).

** Здесь сказано, что *отдельные* заезды по случаю Столетних игр, чтобы вместить в один день их сотню, были сокращены до пяти кругов.

*** На самом деле 167—168.

комментированный мной в С. R. Ac. Inscr. за тот же год, р. 363—364.

⁶⁵ За подробными сведениями и их обоснованием следует обратиться к статьям *Top. Diction.* Платнера—Эшби и к Лульи («*Monumenti antichi di Roma*», I, р. 346 и 391), который согласен с Эшби, полагая, что каждое *loca* (место), исчисляемое «Регионариями», равняется всего лишь одному кв. футу, между тем как сидящему зрителю требует как минимум 1,5 кв. фута (44х44 см).

⁶⁶ Ювенал, VI, 67—70.

⁶⁷ Об эллинистическом, возможно, александрийском происхождении пантомимы см. прежде всего Луи Робер «*Pantomimen im griechischen Orient*» в «*Hermes*», 1930, S. 109—110.

⁶⁸ Светоний «Цезарь», 84.

⁶⁹ Цицерон «Тускуланские беседы», III, 19, 44.

⁷⁰ Тацит «*Анналы*», XIII, 15.

⁷¹ Диомед Keil, р. 491*.

⁷² Цицерон «Об ораторе», I, 59, 251; Светоний «Нерон», 20.

⁷³ Светоний «Август», 45**; Тацит «*Анналы*», I, 77; Светоний «Тиберий», 37.

⁷⁴ Тацит «Диалог об ораторах», 39; см. также «*Анналы*», XIII, 25 и XIV, 21.

⁷⁵ Сенека Старший «Контроверсии», III, вступление.

⁷⁶ Макробий «Сатурналии», II, 7, 16.

⁷⁷ Валерий Максим, II, 4, 4; Тит Ливий, VII, 2.

⁷⁸ Квинтилиан, XI, 3, 86—87.

⁷⁹ За этим и последующими указаниями следует обратиться к сочинению Лукиана «О пляске» (сочинено между 162 и 165 годами; см. Луи Робер «*Pantomimen...*», р. 120).

⁸⁰ Ювенал, VI, 86—87.

⁸¹ Макробий, ук. место.

⁸² Иосиф Флавий «Иудейские древности», XIX 1, 13, XIX, 94 и сл.

⁸³ Светоний «Нерон», 21.

⁸⁴ Ювенал, VI, 63—66.

⁸⁵ Дион Кассий, LXVIII, 10.

⁸⁶ Плиний Младший «Панегирик», 54.

⁸⁷ *Paribeni R. Il teatro durante l'impero romano* в «*Dioniso*», 1938, р. 210.

⁸⁸ Афиней, I, р. 20; ср. Сенека «Контроверсии», III, вступление. О миме в целом см. статьи Ж. Дальмейда и Г. Буасье у Даремберга—Сальо, а также статью в Паули—Виссова *Nbd.* XV, Sp. 1743—1760.

⁸⁹ Цицерон «Письма к родным», IX 26; «Письма к Аттику», IV, 15; «Речь за Планция», 30.

⁹⁰ Эванфий, цитируемый Г. Буасье (G. Boissier) у Даремберга—Сальо, III, 1093.

⁹¹ «Латинская антология», 693, изд. Riese.

⁹² Ювенал, I, 35 и сл.; VI, 41 и сл.

* См.: Диомед «Грамматика», III в изд. *Grammatici latini rec.* H. Keil, I, р. 491.

** Дион Кассий, LIV, 17.

⁹³ Валерий Максим, II, 10, 8. Один из барельефов театра в Сабрате (cf. Guidi, *Africa Italiana*, III, 1930, p. 1 и сл.) изображает мим, очевидно, под заглавием «Суд Париса». Справа Парис, убеждаемый Гермесом, что ему следует сделать выбор среди трех богинь. Посередине богини изображаются одетыми, за исключением Венеры, чей шарф развевается за спиной. Справа – заключительная сцена, очевидно, с тремя богинями, все они *nudatae*°.

⁹⁴ Марциал, III, 86. Некоторые мимы, в порядке исключения, должны были сохранять при империи форму ателланы. Возможно, что один из барельефов театра в Сабрате, изображающий трех персонажей, среди которых лысый *stupidus*** , относится как раз к одному из них, и, должно быть, на них специализировались любители древности (греч. ἀρχαιολόγοι), чья роль была выяснена Луи Робером (R. E. G., 1936, p. 235 и сл.).

⁹⁵ Ювенал, VIII, 185 и сл.; Марциал «О зрелищах», 7.

⁹⁶ Цицерон «Против Ватиния», XV, 37.

⁹⁷ Цицерон «Письма к родным», II, 3, 1.

⁹⁸ Плиний Старший, XXXIII, 16; Плутарх «Цезарь», 5; Светоний «Цезарь», 10.

⁹⁹ Закон Юлия о муниципиях и Закон колонии Юлия Генетива, гл. LXX и LXXI; Тацит «Анналы», IV, 62–63.

¹⁰⁰ Дион Кассий, LIV, 2 и Светоний «Тиберий», 34.

¹⁰¹ «Деяния божественного Августа», IV, 31.

¹⁰² Последние чрезвычайные *munera* магистратов, о которых сообщают источники, это те, что были в 70 году устроены действующими консулами по случаю *natalis* Вителлия (Тацит «История», II, 95).

¹⁰³ Плиний Старший, XXXVI, 26. Относительно Курионов – отца и сына – следует обратиться к моему «César», p. 690. Амфитеатр в Помпеях (который я лично отнес в моей «Histoire romaine», I, p. 474, n. 71 к времени Суллы) представляется более старым, но, на мой взгляд, эту хронологию необходимо подвергнуть новому исследованию.

¹⁰⁴ Дион Кассий, XLIII, 23.

¹⁰⁵ Овидий «Метаморфозы», XI, 25 все еще пользуется перифразой: *structum utrimque theatrum* (Театр, возведенный с обеих сторон).

¹⁰⁶ Относительно данных памятников см. заметки в словарях Платнера–Эшби и Даремберга–Сальо, а по Колизею к этому следует прибавить превосходные страницы Лульи (Monumenti antichi di Roma, I, p. 186–200). Насчет *amphitheatrum castrense* я присоединился к мнению Huelsen, ныне оспариваемому (см. Lugli, ук. соч., III, p. 490).

¹⁰⁷ За деталями следует обратиться не только к книге Фридлендера, но и к превосходным статьям, написанным Г. Лафайе для словаря Даремберга–Сальо, в частности под рубриками *gladiator* и *venatio*. Лучшей иллюстрацией к *munera* императорской эпохи служит бордюр чрезвычайно красивой мозаики из Злитена, выставленный в настоящее время в замке Триполи (см. *Aurigemma*, I Mosaici di Zliten, Rome,

* Такого слова нет ни в одном из доступных мне словарей. М. б. *nudulae* – «голенькие».

** Глупец, один из стандартных персонажей мима.

Milan, 1926); здесь мы видим, в частности, отдание гарамантов* на разтерзание зверям, и оркестр, в котором на органе играет женщина.

¹⁰⁸ Момент, в котором я расхожусь со своими предшественниками, устанавливается, в частности, надписью из Помпей, *CIL X 7295: venatio et vela erunt* (Будут травля и тент). *Venatio* — «гвоздь» всего представления.

¹⁰⁹ Светоний «Тит», 7.

¹¹⁰ *CIL XIV, 4546.*

¹¹¹ «История Августов» «Проб», XIX, 5—8. В отношении стоимости, которой могли достигать дикие звери для амфитеатра в конце III века н. э., мы располагаем теперь информацией благодаря латинскому отрывку из тарифа Диоклетиана, недавно обнаруженному в Абрुццах и несомненно происходящему из Пескары: вскоре он будет издан м-ль Гвардуччи (*Guarducci*). Здесь присутствует цифра в 100 тысяч денариев, и она, должно быть, нередко оказывалась превышена до введения этого закона о максимальных ценах.

¹¹² Плутарх «О том, что невозможно приятно жить по учению Эпикура», XVII, 6; ср. Тертуллиан «Апология», 42.

¹¹³ Светоний «Клавдий», 21.

¹¹⁴ *CIL V, 5, 933.*

¹¹⁵ Ювенал, III, 36.

¹¹⁶ Ювенал, VI, 78—113, Марциал, V, 24; *Dessau, Inscr. Sel.*, 5142.

¹¹⁷ Марциал «Зрелища», 20.

¹¹⁸ *CIL X, 7297.*

¹¹⁹ Цицерон «Тускуланские беседы», II, 20, 46**, Плиний Младший «Панегирик», 33. Следует отметить, однако, некоторые оговорки: см. Цицерон «Письма к родным» VII, 1, 3.

¹²⁰ Об этом мы читаем еще в 249 году н. э., *CIL X, 6012.*

¹²¹ Сенека «Письма к Луцилию», 7.

¹²² Страбон, VI, 2, 6. Здесь имелся прецедент в случае Сатира и прочих сицилийских рабов, казненных в ходе *tunus* 101 года до н. э. (Диодор, XXXVI, 10, 2—3).

¹²³ См. С. R. Ac. *Inscr.*, 1913, p. 444; Цицерон «Речь в защиту Сестия», 64; Овидий «Метаморфозы», XI, 26; Сенека «Письма к Луцилию», 70 и «О благодеяниях», II, 19; Марциал, XIII, 95.

¹²⁴ Светоний «Клавдий», 34.

¹²⁵ Насчет *Actiaca* см. статью Жана Гаже (Jean Gagé) в «*Mélanges de l'Ecole de Rome*» за 1935 год.

¹²⁶ См. «Дигесты», II, 3—4***.

* Африканский народ, обитавший в пустыне Сахара к югу от Триполитании.

** В указанном месте ничего подобного нет. Близкое утверждение находим в II, 17, 41: «Многим зрелище сражающихся гладиаторов представляется жестоким и негуманным, и в отношении того, как оно совершается теперь, это справедливо. Но если бы оружие друг против друга обращали преступники, полагаю, не могло бы быть лучшего предметного урока против боли и смерти, хотя рассуждать на эту тему гораздо многие».

*** Судя по всему, ссылка ошибочная. Может быть, следовало

¹²⁷ Что касается этих зданий, следует обратиться к соответствующим статьям словаря Платнера—Эшби.

¹²⁸ Плиний Младший «Письма», IV, 22.

¹²⁹ См. Луи Робер в «*Revue de Philologie*», 1930, p. 37.

¹³⁰ Сенека «О спокойствии души», II, 13^{*}.

¹³¹ Факт, сделавшийся очевидным в свете недавних дискуссий вокруг амфитеатра в Лионе и раскопок в Филиппах (см. Коллар в «*Bulletin de Correspondance Hellénique*», 1928, p. 97).

¹³² Относительно этих обычных при Домициане переносов см. выше, глава «Театр», и Марциал «Зрелища», 5, 7, 21, 25.

¹³³ «История Августов» «Север Александр», 44, ср. также Lugli, ук соч., I, 346.

Глава четвертая. Развлечения, бани и обед

¹ Марциал, VII, 61.

² Там же, X, 5.

³ Ювенал, XIV, 7—34.

⁴ Марциал «Зрелища», 3, 1—10; ср. Ювенал, III, 60—72.

⁵ Марциал, I, 41, 3—11.

⁶ В каких-то случаях верхом на лошади, см. Марциал, IX, 22, 14. На мулах см. там же, VIII, 61 и XI, 79.

⁷ Насчет *lecticae* и *sellae* см. Ювенал, III, 240—242 и VI, 350—351, а также Марциал, IX, 2.

⁸ Петроний, 28.

⁹ Марциал, VI, 80, 1—10.

¹⁰ Сенека «О провидении», 5, 4 (см. «Диалоги» Сенеки, I книга).

¹¹ См. по этим портикам статьи словаря Платнера—Эшби; по портику Октавии следует прибавить Lugli, ук соч. I, 334 и сл.

¹² Марциал, II, 13, 3—1; ср. III, 19.

¹³ Плиний Старший, XXXIV, 31; XXXV, 114, 139 и т. д.

¹⁴ Марциал III, 19.

¹⁵ См. выше, глава «Торговцы и рабочие». Точная локализация *saepia* вызывает сомнения, см. Lugli, ук соч., III, p. 99.

¹⁶ Марциал, IX, 35.

¹⁷ Ювенал, I, 87—93.

¹⁸ Марциал, XI, 6.

¹⁹ Цицерон «Филиппики» II, 23, 56; Гораций «Оды», III, 24, 58.

²⁰ «Дигесты», XI, 5, 2 и 3.

²¹ См. эти слова у Даремберга—Сальо (статья Лафайе).

²² Светоний «Август», 71.

сослаться на «Кодекс Юстиниана» X, 54, 1, где атлетам, трижды побеждавшим на играх (довольно сильное выражение: *coronis... non minus tribus certaminis sacri* — «трижды освящены венками победителей соревнований»), обещано, при некоторых условиях, освобождение от гражданских повинностей. Норма относится к времени Диоклетиана (284—305 н. э.).

* См. «Диалоги» Сенеки, IX книгой которых и является этот трактат.

²³ См. статьи *par impar* и *capita aut navia* у Даремберга–Сальо.

²⁴ См. принадлежащую Лафайе статью *micatio* у Даремберга–Сальо, III, 1, 890.

²⁵ *CIL* VI, 1, 1770.

²⁶ См. статью Lafaye *latrunculi* у Даремберга–Сальо.

²⁷ Марциал, VII, 72, 7 и 92, 7.

²⁸ *CIL* XIII, 444.

²⁹ См. статью Лафайе *nices* у Даремберга–Сальо.

³⁰ См. выше, прим. 19.

³¹ «Дигесты», XI, 5, 1.

³² «Дигесты», XXIII, 2, 43, 9. Ср. Варрон «О сельском хозяйстве», I, 2, 23.

³³ Внизу грубой работы барельефа, воспроизведенного у Даремберга–Сальо, статья *saurona*, I, 2, 974, рис. 1238, можно прочесть следующий диалог: «Хозяйка, давай сочтемся. — Ты выпил меру вина. Асс за хлеб, два асса за *pulmentarium* (*pollenta*). — Идет. — Восемь ассов за девушку. — И с этим согласен (*Puellam asses veto. Et hoc conventit*)».

³⁴ *Notizie degli Scavi*, 1911, p. 431 и 457. Маленькие «ослицы» заведения (осел славился у древних своим неумеренным сексуальным аппетитом) фигурируют в текстах, которые, как я полагаю, не были в достаточной мере поняты. См. Мальярдо в «*Rivista di Studi Pomp.*», 1934, p. 121—125, и 1935, p. 224—228.

³⁵ Они до такой степени представляли собой часть декораций императорского времени, что Нерон, отправляясь в Остию, озабочивался тем, чтобы подготовить по дороге несколько этих гостеприимных постоянных дворов (Светоний «Нерон», 27).

³⁶ Персий, I, 133 и схолии к этому месту.

³⁷ Сенека «О провидении», V, 4. Из контекста следует, что *illo tempore* равняется целому дню: *totum diem*.

³⁸ См. у Даремберга–Сальо статьи *gymnasium*, *gymnastica ars*, *balneum* и *thermae*.

³⁹ Варрон «О латинском языке», IX, 68. Насчет истории вопроса следует обратиться к Blümner «*Rom. Privataltertumer*», S. 421.

⁴⁰ См. Плиний Старший, XXXVI, 121, и примечание Blümner, ук соч., S. 421, № 8.

⁴¹ В соответствии с «Регионариями»: 858 в *Curiosum*, 927 – в версии Захарии, 956 – в *Notitia*.

⁴² Сенека «Письма к Луцилию», 86, 9; Марциал, II, 52; III, 30, 4; VIII, 42, 1, 3; ср. Гораций «Сатиры», I, 3, 137 и Ювенал, VI, 447.

⁴³ Ювенал, II, 152. Женщины платили больше мужчин: Ювенал, VI, 447. В Випаске тариф составлял пол-асса для мужчин, асс для женщин (*CIL* II, 5181, 19 и сл.).

⁴⁴ Сенека «Письма к Луцилию», 86, 10.

⁴⁵ Плиний Старший, XXXVI, 121; Дион Кассий, XLIV, 43, 3.

⁴⁶ Дион Кассий, LIV, 29, 4. См. оговорки, которые должны быть сделаны по этому тексту согласно Blümner, S. 422, № 9, и цитируемое им же свидетельство Фронтона, S. 422, № 7, издание Naber, p. 247: *loutra ta men demosia pasin kai, proika aneitai*, etc.* (чаевые гардеробщику).

* Пользование общественными банями бесплатно для всех (*gr.*).

⁴⁷ См. соответствующие статьи топографического словаря Платнера—Эшби.

⁴⁸ Информация, почерпываемая из фрагмента «Остийских фаст», опубликованного в 1932 году.

⁴⁹ См. по этому вопросу *Lugli*. Monumenti, I, p. 419.

⁵⁰ Balneae, остававшиеся открытыми и ночью, были в Помпеях, где они были снабжены лампами, в Випаске (ср. ниже, главка «Термы», прим. 59) и в Риме (Ювенал, VI, 419); но что касается римских терм, работа по ночам оставалась исключением («История Августов» «Север Александр», 24 и «Тацит», 10).

⁵¹ Ювенал, XI, 205.

⁵² Марциал, X 48, 3—4. Ср. Витрувий, V, 11, 1.

⁵³ «История Августов» «Адриан», 22.

⁵⁴ «История Августов» «Север Александр», 24.

⁵⁵ Марциал, III, 36, 5.

⁵⁶ Там же, XIV, 143 и 163.

⁵⁷ Плиний Старший, XXXIII, 153; Квинтилиан, X, 9, 14; Марциал, III, 51 и 72; VII, 35; XI, 47; Ювенал, VI, 421.

⁵⁸ «История Августов» «Адриан», 18; ср. Дион Кассий, LXIX 8. C.I.L. VI, 579. Данное сообщение «Истории Августов» следует сопоставить с дополняющей его главой XXII того же жизнеописания (см. выше, прим. 53).

⁵⁹ CIL II, 5181; I, 19 и сл.: *omnibus diebus calefacere et praestare debeto a prima luce in horam septimam diel, mulieribus et ab hora octava in horam secundam noctis viris* (Во все дни следует топить и предоставлять [обслуживание] с рассвета и до седьмого часа дня женщинам, а с восьмого часа и до второго часа ночи — мужчинам).

⁶⁰ Петроний, 27.

⁶¹ Лафайе, статья *Pila* у Даремберга—Сальо, IV, p. 477.

⁶² Там же, p. 476.

⁶³ Марциал, XIV, 47.

⁶⁴ См. у Даремберга—Сальо статью *conyus*.

⁶⁵ Марциал, VII, 32, 7—10.

⁶⁶ См. у Даремберга—Сальо статью *trochus*.

⁶⁷ Ювенал, VI, 421 и Марциал, VII, 67, 6 и XIV, 49.

⁶⁸ Марциал, VII, 67, 4—5.

⁶⁹ Марциал, IV, 19; об эндромиде см. статью Э. Потье у Даремберга—Сальо, II, 616.

⁷⁰ См. *Lugli*, ук. соч., I, 425.

⁷¹ Ювенал, VI, 422—423.

⁷² Плиний Старший, XXXVIII, 55.

⁷³ Петроний, 28.

⁷⁴ Марциал, VI, 42.

⁷⁵ «История Августов» «Адриан», 17.

⁷⁶ Петроний, 28.

⁷⁷ О библиотеках терм Каракаллы см. *Lugli*, ук. соч., I, 420. Еще библиотеки — в термах Диоклетиана, ср. «История Августов» «Проб», 2.

⁷⁸ См. *Lugli*, ук. соч., I, 417—418.

⁷⁹ См. *Lugli*, ук. соч., I, 207.

⁸⁰ «Дигесты», III, 2, 4, 2.

- ⁸¹ Ювенал, I, 143; ср. Гораций «Послания», I, 6, 61; Персий, III, 93; Сенека «Письма к Луцилию», 15, 3, и т. д.
- ⁸² См. Сальо у Даремберга—Сальо, I, 663.
- ⁸³ См. *Hombert O. L'Eau romaine*. Paris, 1935.
- ⁸⁴ Ювенал, X 356; *orandum est ut sit mens sana in corpore sano* (Следует молить о том, чтобы в здоровом теле обитал здравый ум).
- ⁸⁵ См. Светоний «Вителлий», 13 и Дион Кассий, LXV, 4, 3.
- ⁸⁶ Фест, 54.
- ⁸⁷ Плиний Младший, III, 5, 10—11.
- ⁸⁸ Гален, VI, 332, Kühn; ср. Павел из Эгины, I, 23.
- ⁸⁹ Марциал, XI, 104, 3—4.
- ⁹⁰ См. прим. 88.
- ⁹¹ См. о времени *prandium* Светоний «Клавдий», 34. В кампании время диктовалось оперативной необходимостью (Тит Ливий, XXVIII, 15, 2—4).
- ⁹² Марциал, XIII, 31.
- ⁹³ Сенека «Письма к Луцилию», 83, 6.
- ⁹⁴ Марциал, XIII, 13.
- ⁹⁵ Плиний Младший, III, 5, 10.
- ⁹⁶ Сенека «Письма к Луцилию», 63, 6.
- ⁹⁷ См. «*Revue de Paris*» за 1 июня 1938 года (воспоминания Вессенберга о Талейране, 885 и сл.).
- ⁹⁸ Светоний «Нерон», 27.
- ⁹⁹ Плиний Младший, III, 1, 8—9.
- ¹⁰⁰ Марциал, XI, 52, 3—4; ср. X 48.
- ¹⁰¹ Плиний Младший, III, 5, 13.
- ¹⁰² Светоний «Нерон», 27.
- ¹⁰³ Петроний, 70*.
- ¹⁰⁴ Ювенал, VIII, 9—12.
- ¹⁰⁵ Витрувий, VI, 3.
- ¹⁰⁶ Валерий Максим, II, 1, 2.
- ¹⁰⁷ Светоний «Клавдий», 32 говорит об этом обычае как о чем-то старомодном, хотя такое же указание мы встречаем в «Актах арвальских братьев» за 27 мая 218 года н. э.
- ¹⁰⁸ Колумелла, XI, 1, 19.
- ¹⁰⁹ См. в собрании Эсперандье барельефы из Кёльна и Ноймагена, близ Трира.
- ¹¹⁰ Марциал, V, 70.
- ¹¹¹ Росписи из дома трактирщика в Помпеях.
- ¹¹² Марциал, V, 79.
- ¹¹³ Плутарх «Катон Младший», 56.
- ¹¹⁴ Ювенал, VI, 13, 14, 17.
- ¹¹⁵ В отношении всех этих деталей следует обратиться к тексту и рисункам из статьи *caena* у Даремберга—Сальо.
- ¹¹⁶ Петроний, 31.

* Вероятно, следовало бы сослаться на главу 74, где раздается пение петуха; впрочем, когда герои спустя еще некоторое время, воспользовавшись появлением вломившихся в дом пожарных, все же выбирают от Тримальхиона, на улице все еще непроявленная темень.

¹¹⁷ Насчет этого ранжирования мест, все еще соблюдавшегося в V веке н. э., см. Сидоний Аполлинарий «Послания», I, 11. О числе мест *sigma* или *stibadium* см. Марциал, X 48, 5—6; XIV, 87; «История Августов» «Вер», 5; «Гелиогабал», 29. В порядке исключения, *stibadium* на 12 персон у Светония «Август», 70.

¹¹⁸ Витрувий, VI, 7, 3.

¹¹⁹ С этим согласны Цицерон («Против Верреса», II, IV, 26, 46) и Афиней (II, 47 F).

¹²⁰ Марциал, XII, 28, 11. *Марра* должны были менять после каждой перемены блюд.

¹²¹ Гораций «Сатиры», II, 8, 10.

¹²² О ножах ср. Ювенал, XI, 133.

¹²³ О *dentiscalpium* или зубочистках см. Петроний, 33 и Марциал, VII, 53, 3.

¹²⁴ Об этих терминах и приборах, которые они обозначают, см. статьи у Даремберга—Сальо. См., в частности, о *cochlear* Петроний, 33, и Марциал, XIV, 123.

¹²⁵ Петроний, 31.

¹²⁶ Гораций «Сатиры», II, 8, 63; Петроний, 32 и 60; Марциал, II, 37.

¹²⁷ Ювенал, I, 94—95.

¹²⁸ Макробий «Сатурналии», II, 9: анализ этого места можно найти у Даремберга—Сальо, статья *saena*, I, 1, 282.

¹²⁹ Петроний, 31.

¹³⁰ Там же, 33.

¹³¹ Там же, 36.

¹³² Там же, 40, 49.

¹³³ Там же, 59.

¹³⁴ Там же, 60. Всего было, сколько можно судить, два десерта, ср. 68.

¹³⁵ Там же, 68.

¹³⁶ Там же, 35.

¹³⁷ Марциал, X, 36 и 45.

¹³⁸ Там же, IX, 93.

¹³⁹ См. у Даремберга—Сальо статью *vinum*.

¹⁴⁰ Марциал, I, 11; VI, 89.

¹⁴¹ См. у Даремберга—Сальо статьи *vinum* и *saena*.

¹⁴² Плиний Старший, XIV, 146.

¹⁴³ Марциал, I, 26, 9—10; VI, 78, 6.

¹⁴⁴ Там же, VIII, 50, 21—25; IX, 93, 3—4; XI, 36, 7—8.

¹⁴⁵ Плиний Старший, XIV, 91.

¹⁴⁶ Плиний Младший, II, 6.

¹⁴⁷ Марциал, IX, 2.

¹⁴⁸ Ювенал, V, 24—156.

¹⁴⁹ Плиний Младший, II, 6, 3 и 4.

¹⁵⁰ Петроний, 35, 52, 53, 58, 60.

¹⁵¹ Плиний Младший, IX, 17.

¹⁵² Ювенал, XI, 162—175.

¹⁵³ Плиний Младший, ук. место.

¹⁵⁴ Цицерон «Письма к родным», IX, 22; Марциал, X, 48, 10; Ювенал, III, 107; Плиний Младший «Панегирик», 49.

¹⁵⁵ Светоний «Клавдий», 32.

¹⁵⁶ Марциал, VII, 18, 9—10; ср. X, 15, 9—10.

¹⁵⁷ Петроний, 47.

¹⁵⁸ Марциал, III, 82, 15—17; VI, 89.

¹⁵⁹ Ювенал, XI, 175.

¹⁶⁰ Сенека «Утешение к Гельвецию», X, 3*.

¹⁶¹ Петроний, 70.

¹⁶² Апиций, IV, 2: *ad mensam nemo agnoscet quid manducet* («Никто за столом не поймет, что он ест»). Сказано по поводу блюда, которое Апиций (автор едва ли не единственной дошедшей до нас античной поваренной книги) красноречиво представляет как «пирог из корюшки без корюшки» (насчет того, корюшка это или анчоус, единого мнения также нет). Кстати, блюдо из «корюшки без корюшки» напоминает о другом знаменитом ястве: корюшка из жареных огурцов. Но в данном случае задача повара как раз обратная: сделать так, чтобы никто не догадался, что пирог приготовлен в основном из рыбы.

¹⁶³ Ювенал, XI, 79—81.

¹⁶⁴ Там же, XIV, 6—14.

¹⁶⁵ Там же, IV, 15—16.

¹⁶⁶ Там же, IV, 140—142.

¹⁶⁷ Плиний Младший, VI, 31, 13.

¹⁶⁸ Там же, V, 2, 1.

¹⁶⁹ Там же, VII, 21, 4.

¹⁷⁰ Там же, III, 12, 1.

¹⁷¹ Там же, I, 15. Септиций Клар предпочел обедать там, где танцевали дочери Гадеса.

¹⁷² Марциал, X, 48.

¹⁷³ Ювенал, XI, 64—76.

¹⁷⁴ 173. См. *Della Corte*, *Notizie degli Scavi*, 1927, 93—94. Первый дистих особенно труден для реконструкции и понимания (ср. *Vogliano A. Rivista di filologia classica*, 1925, p. 220 и сл.).

¹⁷⁵ *CIL* XIV, 2112; ср. *Boissier G. La religion romaine*, II, p. 283.

¹⁷⁶ «Деяния апостолов», 2, 46.

¹⁷⁷ Тертулиан «Апология», 39.

* См. «Диалоги» Сенеки, XII, 10, 3.

СОДЕРЖАНИЕ

Раймон Блок. Предисловие	6
Введение	9
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ РИМСКОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ	
Раздел первый. Материальная среда	13
<i>Глава первая.</i> Город и его население	14
Великолепие Города: форум Траяна	14
Городские стены и истинные размеры Города	23
Прирост римского населения	32
<i>Глава вторая.</i> Дома и улицы, величие и беды	40
Современное видение римского дома	41
Архаические аспекты	52
Римские улицы и движение по ним	72
Раздел второй. Духовная среда	81
<i>Глава первая.</i> Общество: цензовые касты и власть денег	82
Эгалитарная иерархия и космополитизм	82
Рабство и отпуск на свободу	88
Смещение социальных ценностей	95
«Уровни» жизни и плутократия	100
<i>Глава вторая.</i> Семья: пороки и добродетели	115
Ослабление отцовской власти	115
Обручение и брак	120
Эмансипация и героизм римской женщины	126
Феминизм и нравственное вырождение	134
Разводы и непрочность семьи	141
<i>Глава третья.</i> Образование, культура, верования	149
Признаки распада	149
Начальная школа	152
Формальное грамматическое образование	158
Мнимая риторика	167
Упадок традиционной религии	177
Оживление восточной мистики	185
Возвышение христианства	196
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДЕНЬ СВОБОДНОГО РИМЛЯНИНА	
<i>Глава первая.</i> Начало дня	203
Дни и часы римского календаря	203
Утреннее пробуждение	212

Туалет римлянина	220
Утренний туалет матроны	229
<i>Глава вторая. Занятия</i>	238
Обязанности клиентов	238
Торговцы и рабочие	240
Право и политика	255
Публичные чтения	266
<i>Глава третья. Зрелища</i>	278
<i>Panem et circenses</i>	278
Расписание развлечений	282
Бега	290
Театры	303
Амфитеатр, залитый кровью	318
Робкие протесты и поздний запрет	337
<i>Глава четвертая. Развлечения, бани и обед</i>	342
Прогулки и другие удовольствия	342
Термы	350
Римские пиршества	363
Примечания	380

Каркопино Ж.

К 23 Повседневная жизнь Древнего Рима. Апогей империи / Жером Каркопино; пер. с фр. И. И. Маханькова. — М.: Молодая гвардия, 2008. — 420 [12] с.: ил. — (Живая история: Повседневная жизнь человечества).

ISBN 978-5-235-03085-5

Эпоха Римской империи — один из самых блестящих периодов истории человечества, наследие которого определило ход развития европейской цивилизации на века вперед. В I—III веках н. э. Рим стал центром громадного государства, крупнейшим городом мира, куда стекались представители сотен народов и племен. Бьющая в глаза роскошь здесь соседствовала с нищетой, высокоразвитая культура — с жестокостью и деспотизмом. О том, как жили римляне того времени, о их занятиях и семейной жизни, труде и развлечениях, о пиршествах и боях гладиаторов рассказывает классическая работа известного французского историка и государственного деятеля Жерома Каркопино (1881—1970). Полноправный герой этой книги — сам Вечный город с его лабиринтом улиц, с храмами, театрами и банями, среди которых протекала жизнь многих поколений римлян.

УДК 94(37)

ББК 63.3(0)32

Каркопино Жером

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ДРЕВНЕГО РИМА.

Апогей империи

Главный редактор А. В. Петров

Редактор В. В. Эрлихман

Художественный редактор Е. В. Кошелева

Технический редактор В. В. Пылкова

Корректоры Т. И. Маляренко, Г. В. Платова, Т. В. Рахманина

Лицензия ЛР № 040224 от 02.06.97 г.

Сдано в набор 13.12.2007. Подписано в печать 13.03.2008. Формат 84x108/₃₂. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Гармон». Усл. печ. л. 22,68+1,68 вкл. Тираж 3000 экз. Заказ 83096.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127994, Москва, Сушевская ул., 21. Internet: <http://mg.gvardiya.ru>. E-mail: dse1@gvardiya.ru

Типография АО «Молодая гвардия». Адрес типографии: 127994, Москва, Сушевская ул., 21.

ISBN 978-5-235-03085-5

Что свидетельствует ныне о быте ушедших эпох? Как выглядели жившие в них люди? Как были одеты, причесаны, как развлекались и любили друг друга, чем украшали себя женщины, какие кушанья подавались к столу, что считалось приличным, а что возмутительным? На эти и множество подобных вопросов ответят книги новой серии

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ:

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Уже изданы и готовятся к печати:

В. Малявин

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
КИТАЯ В ЭПОХУ МИН**

У. Макдональд

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
БРИТАНСКОГО ПАРЛАМЕНТА**

Л. Реньё

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ОТЦОВ-ПУСТЫННИКОВ IV ВЕКА**

И. Курукин, Е. Никулина

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ**

Ж. Мартино

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
НА ОСТРОВЕ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ
ПРИ НАПОЛЕОНЕ**

А. Каспи

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
В ЭПОХУ «СУХОГО ЗАКОНА»**

Телефоны для оптовых покупателей:

8(499) 978-21-59; 8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64

<http://mg.gvardiya.ru>. dse1@gvardiya.ru

Что свидетельствует ныне о быте ушедших эпох? Как выглядели жившие в них люди? Как были одеты, причесаны, как развлекались и любили друг друга, чем украшали себя женщины, какие кушанья подавались к столу, что считалось приличным, а что возмутительным? На эти и множество подобных вопросов ответят книги новой серии

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ:

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Уже изданы и готовятся к печати:

А. Вульф

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
РОССИЙСКИХ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ**

Н. Никитина

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ЛЬВА ТОЛСТОГО
В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ**

П. Фор

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
АРМИИ АЛЕКСАНДРА
МАКЕДОНСКОГО**

С. Ру

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ПАРИЖА В СРЕДНИЕ ВЕКА**

О. Елисеева

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
БЛАГОРОДНОГО СОСЛОВИЯ
В ЗОЛОТОЙ ВЕК ЕКАТЕРИНЫ**

Телефоны для оптовых покупателей:

8(499) 978-21-59; 8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64

<http://mg.gvardiya.ru>. dse1@gvardiya.ru

Всех любителей
гуманитарной литературы
приглашаем посетить
новый специализированный
магазин-салон

КНИЖНАЯ СЛОБОДА



открытый при издательстве «Молодая гвардия»

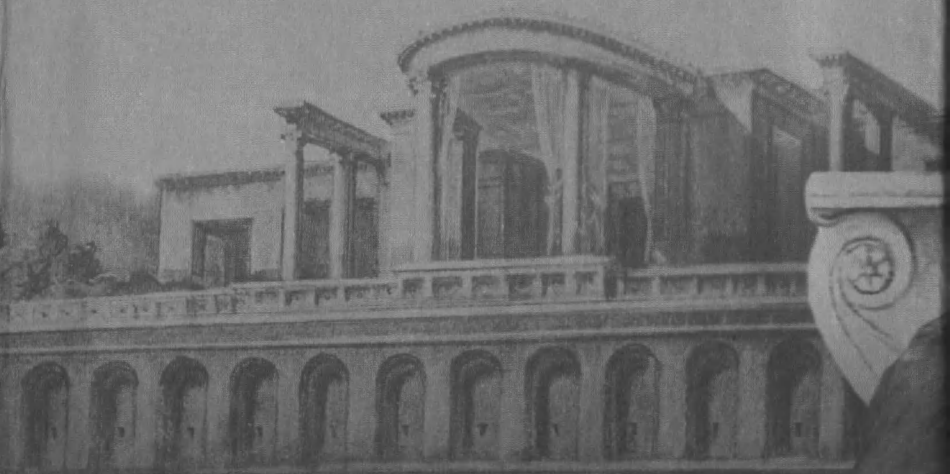


В продаже самый широкий ассортимент
биографических изданий,
книги по истории, философии, психологии
и другим отраслям гуманитарных знаний.

Наш адрес: ул. Новослободская, 14/19, строение 4.
Проезд до станций метро «Менделеевская» (в минуте ходьбы)
или «Новослободская».

Телефоны: 8(499) 972-05-41, 8(495) 787-64-77.
<http://mg.gvardiya.ru> E-mail: mol_gvard@mail.ru









СКОРО ВЫЙДУТ В СВЕТ:

В. Молявин

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
КИТАЯ В ЭПОХУ МИН

И. Курукин, Е. Никулина

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ

Ж. Мартино

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
НА ОСТРОВЕ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ
ПРИ НАПОЛЕОНЕ

Г. Андреевский

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
МОСКВЫ
В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Л. Реньё

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ОТЦОВ-ПУСТЫННИКОВ
IV ВЕКА

Н. Будур

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
КОЛДУНОВ
И ЗНАХАРЕЙ

ISBN 978-5-235-03085-5



9 785235 030855 >

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ